скандинавская линия

ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОГРАММОВ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

«Большая литература маленькой страны».
Денис Шек,
телепрограмма German Literary

«Продолжатель литературной традиции Халльдора Лакснесса, Хатльгрим Хельгасон написал один из самых красивых и невероятно амбициозных романов XXI века».
Лили Кинг

18+

ХАТЛЬГРИМ ХЕЛЬГАСОН

НОРД БУК

Annotation

«Шестьдесят килограммов солнечного света» – исторический роман о том, как на рубеже XX века в холодной и бедной Исландии наступили новые времена. Жители отдаленного фьорда на севере страны веками влачили жалкое существование в борьбе за выживание: боролись с вьюгами и лавинами, пасли овец и коров, выходили на промысел трески и акулы, чинили протекающие крыши своих землянок. Казалось, из этой накатанной жизненной колеи невозможно выбраться. Но однажды во фьорд зашел косяк сельди, а следом за ним – норвежские рыбаки, и все в захолустье пришло в движение! Это не только большой роман об истории народа, написанный живописно и с чувством юмора, но и трогательное повествование о судьбе мальчика, который ищет способ выжить в этом суровом мире.

Хатльгрим Хельгасон (р. 1959) – один из самых известных исландских писателей, лауреат многих национальных и международных литературных премий, кавалер Ордена искусств и изящной словесности Франции (2021). На русском языке выходили стихотворения автора и романы «101 Рейкьявик», «Десять советов по домоводству для наемного убийцы», «Женщина при 1000 °C». Роман «Шестьдесят килограммов солнечного света» был удостоен Исландской литературной премии (2019), а также наград за Лучшую переводную книгу года в Германии (2020) и Лучшую аудиокнигу в Исландии (2021).

- Хатльгрим Хельгасон
  -
  - Книга 1
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8

- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28

- Книга 2
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16

- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44

- Книга 3
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8

    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
    - Глава 15
    - Глава 16
    - Глава 17
    - Глава 18
    - Глава 19
    - Глава 20
    - Глава 22
    - Глава 22
    - Глава 23
    - Глава 24
    - Глава 25
    - Глава 26
    - Глава 27
    - Глава 28
    - Глава 29
    - Глава 30
    - Глава 31
    - Глава 32
    - Глава 33
    - Глава 34
    - Глава 35
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46

- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83

- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120

- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143

Хатльгрим Хельгасон
Шестьдесят килограммов солнечного света

© Hallgrímur Helgason, 2018 Title of the original Icelandic edition: Sextíu kíló af sólskini
© Ольга Маркелова, перевод на русский язык, 2023
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2023

Сегюльфьорд
Сегюльнесские горы
мыс Сегюльнес
Концеземельские скалы
Сегюльский пик
Мертвяцкие обвалы
Сугробнокосская впадина
Сугробная река
Сугробная коса
Старый хутор
Мадамин дом
Нижний Обвал
Затон
Верхний Обвал
Лощинная гора
Столбовая вершина
Лощина
Хуторская хижина
Пастбищный хутор
Угор
Перстовый хутор
Перстовая река
Перстовое озеро
Перстовая хижина
Седловина
Перевал Подкова
Пастбищнохуторский рог
Дно Долины

Книга 1
Из сугроба ты вышел

Глава 1
Адам на ледяной пустоши

Вначале страница была пуста: просто чистый белый лист бумаги. Нигде – ни черной былинки: ни точки, ни запятой. Фьорд был одной слепой снежной целиной: от водопада в глубине долины до самого берега моря, и непонятно было, что там под снегом: земля или вода. Пороша стерла все следы пребывания человека, и фьорд лежал под северным небом такой же нетронутый, как в тот день, когда его открыли – а это было 999 лет тому назад.

И вот на эту чистую страницу выходит герой: ковыляет человек, притаскивается изможденный дух с заиндевевшей бородой, в пропотевшем свитере – осунувшийся мужчина, который просто не может носить другое имя, кроме имени Эйлив [1] Гвюдмюндссон. Он останавливается на горном перевале и смотрит на свой родной фьорд, который больше не фьорд, а белая страница – чистая, пока не началась история. И вот он входит на нее и кладет истории начало – прокладывает следы, с каждым шагом чуть ли не по колено проваливаясь в снег своими шерстяными носками и башмаками из акульей кожи. Мы слышим его дыхание – пыхтение, он запыхался от ходьбы, но сейчас его вдобавок еще и бросило в жар; он ничего не может понять: в этом месте у него стоял хутор, где были и домочадцы, и скотина – но сейчас он не видит своего жилища, – а ведь буран, бушевавший целых три дня кряду, уже улегся, и небо подобрало свой снежный шлейф.

Эйлив Гвюдмюндссон спешит спуститься с перевала, разбрызгивая вокруг себя сухой снежок, словно льдинобóрдая паровая машина. И мы следуем за ним – взмокшим, зябконогим, несущим мешок рождественской пшеничной муки – и слышим его пыхтение. Его мы слышим даже лучше, чем он сам, ведь мы – книголюбы – воспринимаем вещи с удобной дистанции, окруженные той самой идеальной книжной тишиной, которая обычно царит вокруг пододеяльников, и с наслаждением сопереживаем чужим страданиям при свете лампы на ночном столике.

По мере спуска с горы пороша превращается в сугробы, сугробы в снега, а снега – в наст. Сейчас пешеход проваливается лишь по

щиколотку, приближаясь к тому, что он считал своей жизнью, своим жильем, которое на картах именовалось Перстовая хижина, а теперь его больше нет, и само его название тоже завалило снегом. Солнечный утес – и тот исчез, а ведь он – самая надежная примета, он всегда стоит частично незаметенным, словно неколебимый заповедный ориентир, словно щит для объявлений о сегодняшнем и завтрашнем дне. А теперь – не за что ухватиться в жизни, держалки никакой не стало, и вот хуторянин стоит там, где раньше был его дом, выпускает из себя облако пара и глядит из этой прозрачной дымки большими черными зрачками – единственными темными точками в этой белизне: они катаются по дну долины, словно две горошины по тазу.

«Что за черт, я прямо как «Адам среди снегов» в стихах нашего Лауси!» – подумал Эйлив Гвюдмюндссон и машинально начал бормотать знаменитые строчки из «Книги Лауси», в которой этот плотник-язычник, по полному имени – Сигюрлаус с хутора Нижний Обвал, привязал к родным местам различные сюжеты из Пятикнижия Моисея, чтобы скоротать зиму, когда ему пришлось сидеть без досок.

Среди снегов Адам стоял
В костюме Евы.
А в его жилах снег играл
Свои напевы.

Отчаяние Эйлива было так велико, что ему даже пришлось снять свою шапку с наушниками. Посредине его заледеневшей бороды протаяла широкая дорожка. Она пролегала от носа до рта, а к подбородку исчезала; в той местности это называлось «оттепель в носу». Его космы спускались вдоль крупных ушей мокрыми от пота изгибами, а на макушке поблескивала сорокалетняя плешь. Он шагал взад-вперед по тому месту, где должен был стоять его хутор – где по всем приметам просто обязан был стоять его собственный хутор, который сейчас вымарали со всех карт, – разевая пасть как собака, которая чует запах, но не находит куска. Но в конце концов он остановился и стал смотреть в сторону устья фьорда. Церковь в Сугробной косе – и та исчезла из виду, а ведь она была с колокольней и выкрашена в черный цвет. Корабли Кристмюнда из Лощины, выходившие на промысел акулы – и те были невидимы, а ведь эти

смоленые суда никогда не были добычей снежной слепоты, они всегда вздымали свою парусоподвязанную высокомачтовость у берега близ самого крупного хутора в Сегюльфьорде. Неужели так намело – или это разом обрушились целых четырнадцать лавин? Да еще утром самогó Рождественского сочельника?

Глава 2
3 кг пшеничной муки

Хуторянин Эйлив из Перстовой хижины был в отъезде десять дней, из них четыре – в дороге домой, а ведь в иной погожий день она заняла бы всего лишь пять часов пешком. Целых три раза он пытался переправиться через перевал Подкову, чтобы попасть из Хейдинсфьорда в Сегюльфьорд, но его дважды отгоняли обратно к хутору Угор супруги Буран и Вьюга. Во вторую из этих попыток он был не в состоянии шевельнуть рукой: ветер так бушевал, что даже не давал ему поднять ладонь, чтоб заслонить голову. Настал день святого Торлаука[2], и Эйлив вознамерился во что бы то ни стало добраться домой до вечера. Дома его ждали жена и дети, – а если у них не будет пшеничной муки, то какое уж Рождество! Но вот – хуторянин полдня провел в борьбе с ветром, во время которой Буран беспрестанно пулял по нему из своего дробовика (дробь с юга градом сыпалась ему на левую щеку). Наконец человек сдался и повернул вниз, в долину, но тогда и Буран тоже повернул и задул с востока: Эйливу пришлось ползти вниз по склону на четвереньках, а пять часов спустя он еле-еле добрался до дома супругов Крёйеров на хуторе Угор.

Его ввели в коридор землянки на хуторе[3], словно полуоттаявшего выходца с того света в поскрипывающем панцире, а затем и в горницу, – а ему показалось, что та сияет алым, почудилось, что свет жирника имеет кроваво-красный оттенок, напоминающий дома веселья в Южных морях, о которых однажды читал ему Лауси с хутора Обвал в книжке «В сторону моря».

– А… уже Рождество? – вымучил Эйлив сквозь искусанные стужей губы и почувствовал страх: он подвел своих близких! – И, сказав таковы слова, приблизился он к чернокаменному зеркалишку на столбе и узрел в нем облик свой: глаза налиты кровью до самых зрачков, а в середине зрачка трепещет полная луна на мудреном небе, – и ясно увидел он, что игольное ушко его души омыто кровавым светом луны, ибо пред взором его было красно. Тут сбили с него большую часть сугробов, а потом отвели из горницы по коридору в кухню, где дали постоять над очагом, пока двое человек счищали с него снег. И напустился на лед огонь, и тогда восплакало и возрыдало все его тело.

И все это – ради трех килограммов муки, и пирогов, и хлеба!

Глава 3
Киоск с окошком

В сегюльфьордском торговом кооперативе, размещавшемся в углу складского помещения в Сугробной косе, после целого месяца льдов на море закончились товары, зато прошел слух, что в Оудальсфьорде стоит торговое судно. Из устья фьорда на восток параллельно берегу тянулась узенькая полоска открытой воды среди льдов, и по ней пробиралась шхуна, словно усатый кит, увенчанный парусами и длинным бушпритом. *“Fanden splitte mine bramsejl!”* [4] – раздавались мысли на этом судне, – кто-то ведь должен возить им муку, этой бедноте колченогой, кормить-то этот проклятый народ надо, но не спрашивайте, почему – и почему именно мне? А в тех товарах, которые они предлагают взамен, ценности немного: топленый акулий пот, палки запекшейся крови[5] да высохшая от старости треска…

Такими были датские мысли, правившие этим торговым судном, – а датчане уже много веков владычествовали над этим народом, и в этом союзе двух стран терпение обеих истощилось до предела, ведь из всех колоний мира Исландию оказалось труднее всего угнетать. Господ уже давно раздражали все эти расходы, и в Исландии все датчане ходили угрюмые.

Так что датчанин – капитан корабля – не желал, чтоб по его палубе шлялись обитатели нищих исландских хижин, и отпускал товары через круглое окошко в корме. Это был, можно сказать, первый в истории Исландии киоск с окошком. Покупатели подгребали на лодках к борту корабля, выкрикивали в дырку название и количество из своих больших и впечатляющих списков покупок, а затем бросали туда свой мешок. Жутко долгое время спустя он возвращался назад в руке датчанина, а полномочный представитель народа-покупателя, исландский купец, приехавший из другого полушария, столицы Четверти[6], самого Фагюрэйри, – клал на датскую ладонь монету. Затем он записывал в книгу, сколько тому или иному голодранцу отпущено в кредит. Такая уж тогда была экономика. В этих трех фьордах денежной купюры не видели с тех давних пор, как в церкви в Сугробной косе однажды выступал один чудной странствующий пастор. В доказательство

существования дьявола он размахивал пылающей «пятикопытной» купюрой, утверждая, что она-де служит платежным средством в преисподней. Торговцу отдавали в уплату кожи и рыбий жир, мясо и овечьи головы и брали у него под запись бреннивин[7], сахар и башмаки.

Торговцем обычно бывал тот, кто в поселке носил самое красивое имя (Сигурд Скьёт, Элиберт Хансен…), лучше всех одевался и разговаривал по-датски. Он должен был обладать окладистой бородой, солидным видом и радушием, но при этом крайне неохотно отпускать товары, особенно хмельное. Последняя черта считалась специфически исландской: исландские торговцы – единственные в мире, кому было жаль продавать свой товар, каждая «продажа» была для них разочарованием, каждого «клиента», которого угораздило притащиться к ним в лавку, они встречали вздохом. Из-за бескупюрной экономики и удаленности от мировых портов торговец смотрел на склад товаров как на собственное имущество, нажитое тяжелым трудом – и поэтому расставался с ним неохотно. Было очевидно, что обтянутые кожей деревянные башмаки, сработанные каким-нибудь искусником в Гамбурге, а может, в Хеллерупе[8], и выставленные на полке в исландском фьорде, проделали сюда такой же далекий путь, как китайский шелк – до Копенгагена. Так что торговцу оставалось только одно: заломить цену за этот товар, надеясь, что тогда его никто не купит. Так сложилась особенность исландской торговли, сохранившаяся и до наших дней: продать как можно меньше, зато как можно дороже. Некоторые торговцы доходили даже до того, что сами пользовались товаром, пока он не был продан, например, подтяжками и сервизами. На таких вещах это незаметно, и их всегда можно заново выставить в лавке. Однако на торговцев минувших веков без конца наседал нуждающийся народ, изнуренный голодом и рабством, поэтому их работа была трудной и неблагодарной, и не всем удавалось одинаково хорошо беречь свой склад.

А тот благородный господин, о котором речь пойдет в нашей повести, – красивоусый Эдвальд Копп – как раз отъехал непривычно далеко от дома, от родных прилавка и кассы в Фагюрэйри, и по этой причине суетился и нервничал. Его родной Эйрарфьорд, как и все другие фьорды, затянуло льдом (мороз чинов не спрашивает), и к кораблю нигде нельзя было подплыть – только в этом невзрачном

Оудальсфьорде, где жили разве что одни тюлени. Торговцу пришлось трое суток вместо шляпы надевать на голову шапку, спать под крышами землянок, переправляться на коне вплавь через целые ущелья, заполненные снегом, и даже перейти одну горную пустошь с конем в поводу. Но его толстое брюхо при этом не убралось (после трех бесплатных обедов, где ему подали варено-копченую баранину со скиром[9]), и у берега он выпятил живот, так что с моря было видно, что за человек едет: *det var en mand med maend!* [10]

Да уж, этот народ не весь из сугроба выполз, и здесь встречались люди, накопившие жирок!

Затем он извлек из футляра цилиндр и попросил переправить себя на корабль стоя, так что позади него красиво развевались полы жакета. Спустя один полдень он вернулся назад, слегка подшофе, и отобрал с собой в корабельную шлюпку троих хуторян в одежде овечьих цветов: пусть, мол, сами подают и забирают свои мешки через датский иллюминатор, он не желает о них мараться! Это была вынужденная мера: киоск с окошком предназначался для жителей ближайшей округи, однако жажда хлеба привела к нему множество хуторян из других, совсем уж дальних краев, даже тех, кто не был записан в книгах у Коппа, но надеялся, что торговец войдет в их положение. И хотя эпоха торговой монополии[11] в Исландии уже давным-давно закончилась, у торговцев все еще были «свои» хуторяне, а у хуторян – «свои» торговцы.

Глава 4
99 форелей

Эйлив пришел поздно: жидковатый свет в небесах уже угасал, большинство хуторян разошлось по домам, назревал большой буран. Но одна возможность съездить в киоск все же еще оставалась: однорукий хуторянин с Двойной скалы в Оудальсфьорде со своей неизменной буранной усмешкой уселся в лодку и без дела сидел там на скамье напротив гребца-датчанина, безбородого мальчишки с лихорадочно-красным лицом; из почтения к Коппу и датской короне он ухитрился одной рукой стащить с себя шапчонку и так и сидел в лодке с непокрытой головой, несмотря на холод. А торговец все еще стоял на взморье, когда к нему вдруг принесло такую важную птицу с мешком:

– Перстовая? Нет, тебе я кредита не давал!

– Нет, мы – сегюльфьордские, всегда кредитуемся в лавке в Сугробной косе, у Сигюрда.

– А здесь что ты забыл? В моем omrĺde [12], на моем корабле…

– Ну это… У него, родимого, зерно закончилось. На море же льды.

– Что это за непутевый торговец, у которого склады пустеют! И что же это за хозяйство?

– Да, Сигюрд говорит, ему на мешках плохо спится.

– А! Вот как? А что ты мне дашь? В Сегюльфьорде, поди, денег не печатают?

– Я тут подумал… ну, тринадцать форелей за три килограмма пшеничной муки. Понимаете, Рождество… и жена…

– Ах вот как! Рождество и жена? Так-так! И где же твои форели?

– У меня в озере.

– Вот как? А почему ты их не принес?

– Ну там же все заледенело. А лед-то сейчас толстый.

– Вот как? И когда же мне их ждать?

– К весне. Могу сдать их весной.

– Тринадцать непойманных форелей за три килограмма муки?! А я скажу: тридцать три форели за каждый килограмм!

Торговец слегка запинался в конце фраз, и Эйлив, как и все вокруг, понимал, что это действует капитанский ром. Чуть выше на взморье стоял конюх торговца с лошадьми, собакой и двумя непонятными

человечишками; они слушали этот разговор, а чуть поодаль двое хуторян корячились над свертками новоприобретенной тяжести и собирались вместе со своими собачками пуститься в путь домой.

«Девяносто… форелей?» – повторил Эйлив, чувствуя, как его сердцу становится жарко, и оно разом выпускает в кровь семнадцать разных дум. Что можно на такое ответить?

– *Ja, ni og halvfems ørreder!* [13]

Эйлив ненадолго взглянул на пьяное лицо торговца: этот маленький носишко, крупные щеки, эти навощенные усы, эти глубоко посаженные глазки под твердой-твердой шляпой. И вдруг он представил себе, как девяносто девять форелей воспаряют из Перстового озера погожим весенним вечером, плывут по воздуху вглубь фьорда, через горы, долго-долго летят по небу, а потом вереницей прилетают в Фагюрэйри, к деревянному дому Коппа, выстроенному в норвежском стиле, засасываются в дымовую трубу, вылетают из кухонной плиты и мчатся прямо по коридору (предводитель рыбьего косяка сразу найдет, где у них столовая), потом одна за одной прошмыгивают к концу стола (под люстрой) туда, где сидит господин Копп, осалфетившись и разинув рот, – в который эти рыбы и впрыгивают поочередно на большой скорости. А торговец девяносто девять раз глотает.

Вот что он увидел. Но ничего этого так и не высказал. Они просто стояли там друг напротив друга: долговязый хуторянин-изнуренка и шикарный толстозад. У одного из носа и рта струился пар дыхания – человеческая машина дымила, – а от другого ничего не струилось, судя по всему, его вырезали из цельного куска дерева. И как этому маленькому деревянному человечку удавалось смотреть на такого верзилу сверху вниз? Его высокий цилиндр доходил Эйливу лишь до глаз. При таком положении головы торговца хуторянин видел круглую площадку – верх цилиндра, больше всего напоминавший кусочек пленительного рая: хотя с небес порой летели снежинки, на сию благородную кровлю они не ложились. Но вдруг в лице Коппа что-то начало подрягивать, и через пару снежинок он повернул голову в сторону моря, из его рта вылетела струя рвоты и, описав длинную величественную дугу, со смачным бульканьем коснулась воды.

Эйлив бросил взгляд на лодку и заметил, что человеком, посреди его разговора с Коппом шагнувшим в шлюпку и притулившимся рядом

с однoруким гримасником, был не кто иной как работник Кристмюнда из Лощины по имени Якоб – с мощными челюстями и бородой-воротником. Почему подняться на корабль дали ему, а не Эйливу? Они же оба из Сегюльфьорда, то есть из другого торгового округа! И вот он увидел, как этот Якоб очень изящно кивнул ему, и это движение выражало все разом: 1) Ну что, приятель, зерно кончилось? Вечно у тебя одно и то же! 2) Ты и впрямь считаешь, что для тебя и для нас, лощинцев, порядки одинаковые? 3) Да нет, Копп, конечно, – попросту сбрендивший сквалыга, он и пить-то не умеет, вон, смотри: роскошный обед, который съел на корабле, таким жалким образом выблевал!

Торговец все еще соплечавкал на взморье, согнувшись в три погибели. Цилиндр свалился с него. Эйлив видел, как ветер гонял его по заснеженной приливной полосе: черное на белом, как блестящая гроздь из роскошного сада, которая упала в убогий заледеневший мир и теперь перекатывалась там. Тут он увидел свой шанс, сделал нужные шаги и подобрал цилиндр, пока тот не улетел к конюху.

Обитатель землянки подобрал шляпу торговца и стоял с ней на взморье, словно робкая девушка с букетом цветов, а маленький большой человек тем временем завершал свое дело. Наконец Копп выкашлял последние капли слюны, поднялся. Огляделся – голова словно закатное солнце над поблескивающей серой гладью моря: «Где моя шляпа? Где моя шлюпка? Где я вообще нахожусь?» И торговец побрел обратно, ступая своими французскими кожаными сапогами по щиколотку в морскую пену, и от его прежнего запала не осталось и следа, казалось, его одолела усталость: каких же, черт побери, хлопот стоит попытка представить этих виртуозов голода иностранцам!

Копп без слов подошел к своему цилиндру, словно мать к ребенку, и взял его из рук Эйлива, затем вновь повернулся к морю и подозвал шлюпку. Но пока гребец-датчанин отчаливал, торговец развернулся и что-то крикнул тому долговязому – нечто, что могло означать «Ну подойди же!» или «Проваливай к черту!». В представлении хуторянина это значило одно и то же, и он побрел к воде. И пока он стоял там перед верткой лодкой с тремя сидящими людьми и одним стоящим торговцем, с его уст сорвался таковой вопрос:

– А что насчет цены за килограмм? Тридцать три форели за килограмм мне нипочем не заплатить!

– Да ну! Пошли! Как-нибудь устроим… – крикнул ему Копп заплетающимся языком.

Цилиндроносец, кажется, изблевал из себя почти всю свою надменность, и сейчас в его глазах светилось редкостное и тем более удивительное понимание. Значит, во всем этом убожестве все же крылась какая ни есть удача? Этим декабрьским днем у Ледовитого океана всем управляла какая-то милостивая рука? Рука Всевышнего? Нет, вряд ли, подумал Эйлив, в лучшем случае отсутствующая рука однорукого хуторянина с Двойной скалы, который ждал в лодке, окруженный облаком собственного дыхания. Эйлив выделил себе миг на размышления об этом вопросе: на его вкус, все было весьма непонятно. Как и лодка, и тот самый добрый цилиндр, цена за килограмм плясала перед ним на волнах вечно беспокойного моря, а потом он вспомнил, что его ждет Рождество дома, лица доброй Гвюдни и детей, – и шагнул в ту ледяную бесформенность, которой зачастую отличается торговля в Исландии, перелез через борт и нашел себе место на передней скамье, позади лихорадочно-красного гребца.

Он увидел, как цилиндр над плечами датчанина склонился на корму, позади работника Якоба, с усталой ухмылкой расправлявшего свою бороду-воротник. Рядом с ним по-прежнему сидел однорукий со своей извечной буранной усмешкой. Но сейчас она была как раз к месту: началась нешуточная пурга.

Разве это что-нибудь сулит, кроме верной погибели? – думал Эйлив. Неужели он действительно собирается поверить словам пьяного торговца? Но в следующие мгновения он увидел перед собой лишь громадные руки управителя мира, которые появились из вселенской тьмы и оттолкнули датскую шлюпку от берега. Так уж устроен мир, так он вертелся, одно сменялось другим: кто в один миг сел в лодку, в следующий уже будет в море. На глазах стемнело, туча над морем спустилась на тон ниже, и соответственно этому буря разбушевалась еще сильнее. Берег ответил порывом ветра, с него длинной дугой поднялась метель, заплетаясь в воздухе, словно плеть, которой погоняют зверя непогоды, крича в его длинные повислые уши: «Трогай!»

Утомленный делегат в ту ночь выспался в датском корабле, а виртуозы голода отправились восвояси, домой, к трудам, исчезли в тумане, словно лошади с обернутыми кожей копытами.

И вот, сейчас Эйлив стоял здесь, на широком снежном покрывале, обливаясь по́том от страха, и думал: Три килограмма муки – за это все? Три килограмма муки – за мое жилище, жену, детей, корову? Три килограмма муки – за всю мою жизнь?!

И тут он услышал у себя под ногами мычание. Он вдруг услышал мычание под снегом.

Глава 5
Ромул в снежной обители

– Му-у! Му-у!

Эйлив начал копать в том месте, откуда доносился звук. Корова продолжала мычать. Звучало это как труба из потустороннего мира. Из нижнего. Он не мог ничего с этим поделать: он представлял себе бурого пятнистого человека, дующего в золотую трубу длиной с косовище, заканчивающуюся внизу изгибом, напоминающим лезвие косы.

О, Хельга, моя Хельга! Где же ты, родимая?

Он выкопал в снегу две дыры, но ему все время казалось, что корова Хельга где-то сзади, и он принимался рыть в новом месте. Может, это «му» было только у него в голове? Да, конечно, корова запросто могла быть у него в голове, конечно, туда вмещалась целая корова, целый хлев, этот фьорд, эти горы, да и весь белый свет. Конечно, всему этому было место в голове у одного человека.

Так думал Эйлив.

Он часто так думал, даже в решающие моменты – о какой-нибудь несусветной ерунде, не относящейся к делу, и это нередко создавало ему трудности. Например, когда сислюманн[14] давным-давно допрашивал его насчет того куска дельфинятины, он сидел, разместив свои ноги-ходули, обносоченные до колен, напротив самой сислюманновой холеной бороды – и вдруг начал думать о яйцах. О большом множестве яиц. Перед его внутренним взором на заднем плане тянулись длинными рядами тысячи яиц, и его мысли дали ему чайную ложечку и велели ударять каждое яйцо по темечку и подсчитывать, сколько он стукнул. Задание было крайне мудреное – а тут еще ему надо было одновременно отвечать на вопросы сислюманна.

– Что вы делали на берегу в вышеозначенный вечер?

– Яйца бил.

– Простите, как это понимать?

– Да там поднимать не надо: ложкой стукнешь – и все.

Эти яйца надежно обеспечили ему два месяца тюремного заключения в столице. Честно признаться, он ожидал его с радостью: тогда он наконец смог бы уехать из этого вилкообразного трехфьордия.

Он был записан батраком в Лощине, а значит, был прикреплен к сельской местности так же прочно, как камни в ограде. Для такого человека тюремное заключение с сопутствующим плаванием на юг, в столицу, было почти как кругосветное путешествие. Однако из-за льдов на море в ту зиму приговор не удалось полностью привести в исполнение, а в следующую зиму за ним не прислали. Исландское правосудие славилось подобной медлительностью, и часто от преступления до допроса проходили годы, а от допроса до приговора и от приговора до тюремного заключения – еще дольше. Иным приходилось в старости отбывать наказание за преступления, совершенные в молодом возрасте. Но большинство простых людей относились к этому спокойно; ведь они уже давно пришли к выводу: что сидеть в тюрьме, что ходить в батраках – разницы почти никакой. Степень несвободы была схожей, хотя работникам дозволялось раз в год переходить к другому хозяину. Зато в темнице, как говорили, трудиться не требовалось.

Эйлив издавна принадлежал к этому сословию, вмещавшему большинство жителей страны и в чиновничьих бумагах именовавшемуся «работными людьми». Поскольку все пригодные земли в Исландии уже были заняты, и вся страна, от мысов до долин в глубине острова, «запродана», работникам вменялось наниматься к какому-нибудь фермеру; этот вид кабалы назывался батрачество. Батраки подчинялись строгому домострою. Им было запрещено вступать в брак и заводить детей. Это исландское рабство, существовавшее веками, недавно было упразднено законом. Но с законами дело обстояло так же, как и с правосудием: чтоб добраться до севера страны, им могли потребоваться десятилетия. Исландских рабов все же не оставляли совсем без жалованья, так что Эйливу за двадцать лет удалось накопить на трех ягнят и одну крышу над головой. Он выстроил себе землянку и стал мелким хуторянином – владельцем хижины с женой, детьми и коровой – где бы они все сейчас ни были. Но приговор все еще висел над ним – видимо, в судебной системе про него забыли. И сам он умудрялся забывать про него на долгое время, хотя, если ему случалось искать овец в горах в лютую непогоду, он порой согревался мыслью о том, что когда-нибудь отправится на юг в уютную тюрьму.

Эйлив снял рукавицы и надетые под ними варежки и вновь принялся раскапывать снег своими длинными пальцами, но опять услышал мычание в голове, метнулся вверх и назад и всплеснул руками: «Что, мол, за черт…» И вдруг провалился в снежную целину по пояс, в какую-то дыру – и это была дыра между тем и этим светом, и Эйлив исчез со снежной целины и угодил вниз, в свою прежнюю жизнь, и теперь от него не осталось и следа, лишь мешок с рождественской мукой: обветшавший побуревший мешок из дерюги.

Эйлив нащупал под собой ступеньку и вскоре высвободился из рассыпчатого снега, скрывавшегося под настом. Он насчитал восемнадцать снежных ступеней в сугробный мрак, непохожий на другие виды мрака, потому что в нем был снежный отсвет. Сердце усилило трепет и принялось посылать ему стрелы мыслей, на острие которых были глаза его детей и… Значит, она все-таки выкопалась, значит, она жива! И здесь они все – и корова!

Наконец он добрался до самого низу, его грубообутые ноги нащупали пол – своего рода пол, и сейчас корова замычала громче, чем прежде. Он сползал своим длинноногим телом вниз по ступенькам, а задом – по ледяному полу, пока не высвободился из этого странного белого коридора и не оказался внизу. Здесь его ждал коридор землянки, темный и тесный, и в конце концов ему пришлось продвигаться там ползком, так как из-за снегопада потолок частично обвалился; в глубине коридора сверкал большой сугроб. Эйлив вполз на четвереньках в бадстову[15], и там его взорам предстали… глаза – два больших глаза его малютки Геста, который глядел на рождественского духа – своего отца, круглые глазенки, словно сероватые латунные пуговицы, сияющие в снежном полумраке. Из угла рта у него тянулась молочная дорожка, а рукой он держался за сосок, он сидел у вымени, словно Ромул без Рема – двухлетний мальчуган, вскармливаемый коровой. Корова Хельга лежала в своем стойле. Она повернула к хозяину свою большую голову, закатила глаза, еще промычала и рьяно потрясла головой, так что ее хлопающие уши намели ледяной крошки со снежной стены, теперь подступавшей к самому стойлу. Она, очевидно, крепко обиделась на то, как он поздно пришел.

Наискосок над хребтом коровы убого висела крыша бадстовы – да, это была именно она: крыша «бадстовы с хлевом». Она была ломаной-переломаной, а в одном месте на ней, словно подкладка на рваной

одежине, проглядывал снег. Один ее конец завалился на пол, а второй накренился, и его подпирали три бревна, которых раньше не было: очевидно, их подставила под крышу жена, а в остальном помещение было одной большой кучей снега. Вот они бы мне еще посмеялись за то, что я крышу покрыл досками внахлест!.. Эйлив обвел помещение глазами и тут увидел под снежным курганом по левую руку рядом с собой ноги – то была его любовь, радость и жизнь: две аккуратные ноги – те, что обеспечивали ему связь с землей, обутые в свои домодельные башмаки из овечьей кожи[16] с голубым узором на плюсне, который умела вышивать только Гвюдни – лишь она одна в целом фьорде. Суд божеский на небесах, враг нечистый в преисподней, – да ведь она…

А где же девочка? Моя девчушка!

Малыш Гест – румяный двухлетний мальчуган, сейчас что-то лепетал, протягивая ручки, и Эйлив поспешил к нему и обнял: бутуз мой милый, что же у вас тут стряслось? Корова вновь взглянула на хозяина, и на мгновение ее глаза сделались человеческими и рассказали ему обо всех горестных событиях, длившихся неделю. Хуторянин начал дышать часто и тяжело: как же в этих снежных домиках жарко! Затем он спросил с комком в горле:

– А где Лаура? Где твоя сестра?

– Мама! – ответил мальчик в его объятьях и указал на торчащие из-под снега ноги с выражением лица, которое было самым горестным, что Эйлив видел на своем веку.

Затем он отпустил мальчика и принялся откапывать жену.

Он трудился: потрясенный, разгоряченный, несмотря на мороз, с зубодробительным отчаянием, с его лба градом катился пот – в то время как сердце потихоньку покрывалось инеем.

Это тело – тело, которым он не переставал восхищаться, наслаждаться, любить, эта жизненная сила, бушевавшая под ним, бурливо мягкокожая и горячая, каждый раз превращавшая их хижину в озаряемый светильниками дворец любви, где с каждой стороны ложа выставлен почетный караул в тринадцать человек, а в изголовье прикован лев, открывающийся вид на две пирамиды, эта кожано-мягкая светлая овчарня, когда-то дававшая приют их троим ягнятам (один умер, двое выжили)… – теперь он счищал с этого всего снег, словно соль с дохлой рыбы: вот юбка, бедра, талия, живот, кофта, грудь… Все это напоминало овцу, которую он прошлой зимой выкопал из ущелья:

одни лишь внутренности, холодные как лед, – все то, без чего жизнь не может обойтись, а все же бросает, когда спешит вылететь из-под снежного заноса.

Его Гвюдни была совсем такой же, как прежде, в ней не хватало только жизни (чем бы она ни была). Он высвободил из-под снега ее руку; снег был грубозернистый, к рукавам пристала холодная изморозь, сама рука была как лед – но мягкая; это была левая рука. О, эти грязноногтые, истерзанные работой пальцы – эти, несмотря ни на что, до сих пор изящные пальцы-грезы, вновь подарившие ему жизнь… Тут у него вырвался жуткий звук, затем потекли слезы, ему это пришлось не по нутру, и он принялся расчищать себе побольше пространства в этом гробу, поднял руки к потолку и все рыл да рыл, словно полярный зверь, сооружающий себе на зиму снежное логово, затем смёл накопанный снег и продвинулся вглубь ее спального места, счистил погибельную субстанцию с ее лика и потом долго-долго смотрел в эти закрытые глаза. Его жена была бледна красивой смертельной бледностью, вечно красный след от ожога, тянувшийся от правого локтя по плечу, шее и щеке до самых глаз, сейчас потускнел от холода и стал почти не виден: никогда этот ангел еще не был так прекрасен! Он склонил голову над телом, поцеловал ее губы, и когда его обмороженные клешнищи встретились с этими мягкими мышками-подснежницами, ему стало очевидно: мертв как раз он, а вовсе не она. Его сердце было не согласно и посылало мозгу свое изображение. И хотя оно было покрыто льдом, словно парус при буране, было видно, что эта проклятая тварь еще бьется: бум, бум.

В его груди клокотали вздохи и стоны, словно огонь в очаге; он потерял свою Гвюдни – из-за трех килограммов муки; но тут корова Хельга сказала «му», и он очнулся, вспомнил про мальчика и вылез задним ходом на четвереньках из этого своего последнего супружеского алькова. Но Геста след простыл! Вдруг его тоже завалило?

Эйлив быстро осмотрелся по сторонам и вдруг разом воскрес: что, черт возьми, стряслось с мальчиком? В конце концов он вспомнил про лестницу и ринулся из этого смертного трюма на палубу, которая здесь была шириной с целый фьорд. Ах, вот он где – малыш Гест! Он сидел у мешка, и все его лицо было белым от муки:

– Ам!

Глава 6
Трое с чайными ложками

«И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться зла, ибо ты со мной, жезл твой и посох служат мне утешением». Эйлив вспоминал это, когда шел по светлому долу, неся мальчика на руках. В его голове раздавался голос пастора Йоуна с Сугробной косы: он на каждых похоронах всегда говорил эти слова глубоким басом. Некоторых это злило, и они упрекали пастора в однообразии, но Эйлив был не из их числа, – и результат не заставил себя ждать: он, человек неначитанный, это выучил. «Жезл твой и посох служат мне утешением». Он был доволен пастором, хотя, в общем, соглашался с людьми в том, что тот порой является на кладбище, крепко залив за воротник.

А сейчас похорон предстояло двое: его жены Гвюдни и маленькой Лауры. Когда он откопал правую руку жены, вытянувшуюся от тела вглубь снеговой горы, то в нее оказалась вложена пятилетняя ручонка. Иные при первом шаге падают под тяжестью ноши.

И хотя горе наполовину пожрало его голод, он последовал примеру сына и как следует впрыснул себе в рот молока из коровьего соска, а потом встал, отпустил мальчика, шагнул в сторону от него и испустил из себя мочу по направлению к морю. Если бы читателя в его уютном кресле сейчас перенесли на саму Столбовую вершину, он увидел бы оттуда в глубине белой долины две черные крохотки, одну подлиннее, другую покороче, а затем услышал, как длинная испускает протяжный вопль, а в это время от нее протягиваются какие-то руки. Крик того человека эхом отразился от крутых гор, приглушенный снегом, а потом замер, но не исчез, а слился с воплями и стонами всех эпох, вместе образовывавших так называемый основной тон бытия, который, если как следует прислушаться, можно услышать в каждой долине Исландии.

Коротышке тоже захотелось пи́сать, – что ему в конце концов и удалось после долгих хлопот длинных отцовских пальцев.

Раньше Эйливу не доводилось надзирать за сыновним мочеиспусканием, и он удивился, что из такого крошечного крана хлынула такая мощная струя. Затем он посадил мальчика себе на плечи,

и они пустились в путь и сейчас шли вниз с горы к Перстовому хутору, хотя оттуда не было видно ни крыш, ни дыма. Сейчас они, видимо, переходили Перстовое озеро: снежный покров был абсолютно ровным, горизонтальным, и идти здесь было легче, рассыпчатый снежок всего лишь глубиной ниже щиколотки, а под ним – наст.

– Кудя идёмь?

У Стейнгрима наверняка найдется старый парус или другая ткань, чтоб подстелить под корову. А еще для мертвых тел нужны носилки… Не может же быть, чтоб и у них там все погибли?

Стояло тихоструйное морозное безветрие, и сизые тучи над устьем фьорда были горизонтальными, твердой формы, так что они напомнили Эйливу узор на потолочных балках дома – того самого дома, который был, – на которые он порой глазел по вечерам при свете жирника. Что же он сказал ей на прощание, когда уходил?

– Папкя, кудя идёмь?

Такая погода – сущая насмешка со стороны небес, черт возьми! Устроить такую благодать именно сейчас, когда все уже позади, когда твоих уже убили… И вдруг хуторянин сник, с ребенком на руках. Его грудь вздымалась и опускалась, рот слюнявился – а у глаз обнаружилось недержание. Мальчик ошарашенно смотрел, как его отец-великан съежился на льду в позу эмбриона и стал выламывать из себя горе, – но вот удивление сменилось неким заботливым выражением; на ребенка, сидевшего на давно промокшем заду, снизошел материнский покой, а отец тем временем свернулся калачом вокруг него – единственного, что у него осталось – и плакал. Эйлив Гвюдмюндссон плакал. Это сочли бы неслыханной новостью в трех фьордах: этот долговязый овчар – человек, который в начале февраля четыре дня прорывался сквозь погибельный буран к Фагюрэйри, который, разыскивая в горах овец, сменил трех собак – и вдруг плачет!

– Папкя не по́мей, – наконец сказал румяный карапуз, которому явно не хотелось терять еще и отца в придачу к матери и сестре, и он положил голую ладошку на скулу отца, которая на удивление хорошо легла ему в руку и оказалась именно той кнопкой, которая выключила слезоточивое устройство.

– Пошли, Гест, родимый! Отыщем Стейнгрима.

– Тейнгрим доблый.

– Да.

– Тейнгрим не высёкий.

– Нет.

– Тейнгрим лыфый.

– Да.

Название Перстовое особенное: озеро получило свое имя из-за тучи мошки, роившейся над ним, подобно облаку пыли, когда оно впервые предстало человеческому взору. Слово «персть» в древности означало пыль или порошок. Изначально озеро называлось Перстным, но это слово было неудобно рту, и века обтесали его, попутно изменив и его значение.

А сейчас Перстовый хутор, судя по всему, канул в Лету. Они уже перешли озеро и спустились по склону, а до сих пор им не попалось ни досточки. Но все же вскоре они набрели на теснину в насте и вдруг оказались на краю снежной могилы, а под ними трое человек откапывали хутор из-под завала; уже показались крыши двух прилепившихся друг к другу землянок вместе с фасадами, на вид не пострадавшие, а те трое стояли в тесном проходе, который прорыли себе между этими фасадами и стеной, где сейчас стоял Эйлив; от его подошв до двора на хуторе было, пожалуй, метра четыре.

– Сигюрд, а не покопать ли тебе снова у ручья?

– А он разве не замерз?

– Подо льдом там обычно что-то бурлит; в глубинах какое-то тепло есть.

– Я раньше таких снегопадов не припомню.

– Нет, по-моему, такого обильного и не бывало.

– А ты в сторону Хижины смотрел, Гисли?

– Здравствуйте! – сказал тогда Эйлив со снежной стены.

Все трое с удивлением подняли головы и увидели, что над ними возвышается тролль, одетый для перехода через горы, держит тощий мешок, а к спине у него привязан ребенок.

– Не, какого лысого! Да ты нас здорово напугал…

Обитатель хижины стоял над своими соседями, облаченный плащом горя и онемения, и ему казалось, что эти люди уменьшились: уж больно они походили на стайку эльфов-малоросликов с чайными ложками в руках. (Лопаты да грабли, которыми хуторяне разгребали снег, отнюдь не самые удачные инструменты для такого занятия. Исландцы, даром что тысячу лет жили в одной из самых многоснежных

стран мира, все еще питали надежды на относительную редкость снежных завалов, а значит, никогда не изготавливали орудий борьбы со снегом. Это говорит нам о несгибаемом оптимизме исландского народа. Он раз за разом терпит метели, но постоянно верит, что погода улучшится.) И возможно, он был прав: здесь люди рьяно откапывали, мастерком и чайной ложкой, момент своей жизни, который покуда лежал неизменный, застывший, под слоем снега, словно сохранившееся с древности помпейское утро. Снегопад превратил людей в археологов собственной жизни.

– Стейнгрим, а у тебя парус есть?

– Парус? – переспросил хозяин Перстового хутора.

– Ты сейчас в море собираешься? – пошутил Гисли.

– Мне нужно к тебе корову привезти.

– Это, что ли, в подарок на Рождество?

– А еще мне нужны носилки или санки – отвезти жену и дочь в Сугробную косу.

– Ну, Лив, дружище, ты и отмочил! Значит, Стейнгриму телушку, а пастору девчушку?

Вся троица рассмеялась легким смехом в своей снежной могиле, а малыш, прицепленный за спиной Эйлива словно котомка, вытянул голову из-за отцовского плеча и уставился на смеющихся с хозяйственным выражением лица. Затем хозяин Перстового спросил уже чуть более серьезным тоном, держа руку над глазами на манер козырька от солнца и глядя вверх, на Эйлива:

– Ты, что ли, уезжать собрался?

– Мамкя помейлá.

Глава 7
Пение двух душ

Работника Гисли послали за подмогой в Лощину, где местные только что сняли крышу с овчарни. Найти людей было непросто, ведь хлопот в тот день – сам сочельник – было хоть отбавляй. Но смерть есть смерть, – и Кристмюнд заставил умолкнуть все вздохи своих работников и ворчание, что, мол, тут люди сами виноваты, мол, упорство Эйлива ни за что не довело бы до добра. «Таких упорных, как Эйлив, еще поискать», – напомнил фермер-рыболов, а потом принялся расспрашивать своих домочадцев, где Якоб и не ездил ли он за мукой на тот же самый корабль, что и житель Хижины, дней эдак десять тому назад.

К хижине их пришло всего двенадцать, не считая Эйлива. Кристмюнд заключил, что Гвюдни, супруга хуторянина, проявила недюжинную выносливость и смекалку, соорудив себе ложе внутри сугроба, который потом и обрушился на нее саму и маленькую дочку, очевидно, пока они спали, ведь глаза у них были закрыты, так? На это Эйлив закрыл свои глаза и кивнул.

Они еле-еле успели вытащить корову на поверхность до темноты: с помощью раскапывания снега, веревок, воловьей кожи, долгих совместных усилий, а также отчаянного верчения хвостом и копытами. Когда Хельгу подняли наверх, она неожиданно вскочила на ноги, оттолкнула двоих силачей и ринулась на открытый наст, но тотчас провалилась в него по самое вымя и застряла, распустив слюну, – в исландской природе этот вид животных нуждался в ежеминутной заботе человека. Они попробовали вытащить ее, но провалились сами и на несколько мгновений усомнились в том, что жизнь в этой стране вообще возможна. Эйлив стоял чуть поодаль, пялился на сероватые кустистые облака в небесах, и ему казалось, что небо обрушилось на него. Мальчика он оставил у женщин в Перстовом.

Им снова пришлось проявить терпение и сноровку, когда они откапывали ноги коровы, чтоб она не сломала их, когда ее перекатывали на воловью шкуру. Наконец скотинку поволокли прочь от раздавленной хижины, и она три раза испустила жуткий рев в быстро синеющие декабрьские сумерки, словно вдруг осознала, насколько

серьезно дело, и решила как следует постараться для этой санной похоронной процессии.

Впереди шли четверо человек, сильно наклонившихся вперед; они тянули каждый свою веревку, привязанную к одному из углов шкуры. За ними – корова Хельга. Следом – двое человек, при необходимости подменявших тягачей или подталкивающих корову сзади. Затем – двое мужчин постарше, тащивших тело Гвюдни, привязанное к носилкам, поставленным на лыжи. За ними – двое мужчин помоложе, один из которых тащил тело Лауры, также на лыжных носилках. За ними по лыжне шагали двое коллег – Кристмюнд со Стейнгримом. Никто не проронил ни слова. А вскоре и заря догорела, и дорогу им освещала лишь белизна снега. Иногда смерть – медленно движущаяся толпа мычащих теней.

В десяти метрах позади них плелся Эйлив, словно человек, замыкающий шествие собственной жизни.

Держать Гвюдни за плечи, пока ее выкапывали из-под снега, выпало Кристмюнду. Прежде чем приложиться своей белой головой и короткой белой бородкой к ее красивой щеке, он снял шапку. Эйлив был слегка ошарашен этим зрелищем – и вдруг ощутил, что всего лишь ненадолго брал жену взаймы, а на самом деле она всегда была собственностью крупного фермера из Лощины. Потом он отказался смотреть на свою дочь – просто не смог (кто захочет глядеть в нутро смерти?) и отвернулся, сосредоточившись на том, что взметнулось со дна его души: то было видение волн на море, громадных жутких волн, а он – в открытой лодке в бушующем море огня, и языки пламени перехлестывают через борт, а Кристмюнд у штурвала, у него уже загорелась борода, но он не тушил ее, а вместо этого облизывался и забирал пламя в рот. А сам Эйлив сидел у борта, возле сетей, и тянул, тянул со всей силы, пока из огненной пучины показалась… нет, не акула, а прелестное личико ребенка, которое сказало такую вису[17]:

А я умру, умру я сам,
и в мире жить не буду.
Одно тебе в наследство дам:
тебя не позабуду.

И лишь когда они спустились к озеру, где им пришлось остановиться, чтоб поправить кожу под скотинкой и получше привязать одну веревку, он нашел в себе силы украдкой посмотреть на тело Лауры. Тягачи замешкались надолго, потому что корова была тяжелая как горе, и Эйлив нагнал их, когда брел в низину, – и там она была: на задних носилках, положенных на снег. Веревки пересекали ей грудь, талию и лодыжки, она превратилась в багаж – он до ужаса ясно это видел: ребенок стал багажом, холодным как лед. И все же Эйлив осторожно приблизился и наконец заглянул ей в лицо – и его выражение выбило Эйлива из колеи: настолько оно было суровым. Девчушка была явно недовольна, что он пожертвовал ее жизнью ради трех килограммов муки.

«Куда же я дел тот мешок?» – эта мысль должна была помочь ему выбраться из бездны, и сейчас он держался за нее как за соломинку всю дорогу до Перстового, – а там хозяйка Эльсабет выставила ответ на стол в виде мучных пирожков с пылу с жару для тринадцати замерзших мужиков. Он видел, как Гест уплетает их один за другим, сидя на коленях у работницы на кровати в глубине бадстовы: судя по всему, малыш уже стал для этой работницы королем и светом ее очей. И только сейчас Эйлив отдал себе отчет в том, что настало Рождество.

Эйливу и его двенадцатерым помощникам пироги пришлись весьма кстати; после такого изнурительного перехода им еще пришлось прокапывать в снежной стене траншею перед самым входом на хутор, чтоб корову можно было спустить перед домом и загнать внутрь: двери в хлев там располагались как раз посередине коридора. Зато мертвые тела, после обсуждений, решили в дом не заносить. Откопать сарай еще не успели, а Эльсабет заявила, что под ее крышей смерти не место: ни в кухне, ни в хлеву. Муж попытался переубедить ее, но она была неумолима, причиной этому служило то, что ее брат умер во цвете лет после того, как на хуторе их родителей подержали в доме тело мертвого странника.

Жители Лощины поздравили всех с Рождеством, а потом вскарабкались на сугроб и отправились восвояси, скрылись в темноте, где земля светлее неба, двигаясь по тропке, которую еще на днях протоптал в снегу работник Гисли. Мертвые тела втиснули между постройкой и снежной стеной, головами вверх, прислонив затылками к фасаду, а ручки носилок воткнули в угол сугроба.

Ночью опять разыгралась метель, и Эйлив лежал без сна и слушал храп своего соседа по кровати, длиннобородого работника Сигюрда, и похрапывание в других кроватях вперемежку с завыванием ветра. Можно было явственно расслышать, каким белым и холодным было это пение над теплым мраком, наполнявшим бадстову. Но в этой ночной черноте он все же различал предметы: столб в изножье, висевшую на нем отгоревшую лампу, ниточку вереска, свешивающуюся с травяной крыши из щели между двумя продольными балками над ним; при наиболее сильных порывах ветра она чуть трепетала. Он подвесил на этот стебелек свои глаза, словно две ягоды голубики, и попытался вспомнить одну студеную вису, которую знал, но вспомнил только последнюю строчку: «У свечки лета фитилек – малёк».

Но с утра во дворе никаких следов метели не обнаружилось: ни наносов, ни наметов – стало быть, ночью погода была тихой. Возне на крыше объяснение нашлось, когда мертвецов осмотрели. Они стояли, как их поставили – только их подбородки отвисли, и рты оказались открыты настежь. С точки зрения комического ока вселенной мертвые мать и дочь напоминали двух стоящих навытяжку поющих дев.

Глава 8
Какие в той местности были волосы

Вновь и вновь вспоминал Эйлив то зрелище: Кристмюнд из Лощины прикладывает свою щеку к щеке Гвюдни и поднимает ее из снежной могилы: бережно, ласково. Как уже говорилось, свою шапку зажиточный фермер снял, и густые волосы разметались по его лицу, раскрасневшемуся от стояния нагнувшись. И чтобы отвести свой разум от неудобных мыслей, Эйлив сосредоточил свой внутренний взор на шевелюре хозяина Лощины, этой кустистой копне, настолько непохожей на головную поросль других жителей этого хреппа[18], что она одновременно заключала в себе ответы на вопрос, почему его уважали – и почему многие питали к нему недоверие, смешанное с завистью. И корни этой недоверчивости были весьма глубоки, ведь исландцы издавна оделяли своей подозрительностью густовласых.

Заселила эту страну публика, около 900 года бежавшая от произвола норвежского короля Харальда Прекрасноволосого, и с древности считалось, что у самих исландских первопоселенцев по части растительности на голове было негусто: жидковолосые или совсем безволосые конунги-плешивцы да их жены с тощими косицами. Все как есть – дети Грима Лысого да Ньяля Безбородого. А тот король получил свое прозвище потому, что дал обет не стричься, пока не подчинит своей власти все фьорды Норвегии; значит, можно сказать, что первые поселенцы в Исландии спаслись бегством от волос. И на своей новой земле они тотчас принялись сбривать под корень леса. С тех пор исландцы не любили никакой поросли: ни на склонах, ни на головах, а лучше всего чувствовали себя среди голого простора, хотели, чтоб им открывался вид на море и чтобы листва и пряди не лезли в глаза. Самым красивым зрелищем они считают сверкающую под небом лысину ледника и требуют, чтоб их горы и пустоши были полностью голы. При крещении Исландии юную нацию больше всего раздражали пышные волосы Христа. По ее мнению, боги должны быть редковолосы от вечной жизни, мудрости и глубины – как то водилось среди языческих богов.

И духовные лидеры в Исландии, от Ньяля до Арасона[19] и Сигюрдссона[20], не могли похвастаться обильными волосами, и поэты – от Снорри[21] до Хатльгрима-псалмопевца[22]. В бездревесной стране длинные волосы были табу – о чем свидетельствует вековая ненависть исландского народа к Халльгерд Лангброк[23]. А ее мужа в действительности убили именно за красивые локоны. Исландцы прекрасноволосых никогда не любили.

Хозяева хутора Лощина, Кристмюнд и Кристбьёрг, оба блистали пышноволосостью. Знаменитые волосы хозяйки, черные и мягкие как шелк, спускались ниже спины, ведь она регулярно мыла их коровьей мочой. Белоснежная копна хозяина была мягка как пушица и густа как шерсть. Кристмюнд, единственный в Сегюльфьорде крупный фермер, рослый и красивой масти мужик, хозяйство вел образцово, имел целый хор детей и держал множество работников.

Когда-то волосы у Кристмюнда были «басковые», это значит черные. Но много вёсен тому назад его земляки, ради пьяной в дым завистливой забавы, обрили его налысо ножницами для стрижки овец, пока он спал во хмелю на третий день свадьбы своей дочери. Через несколько дней на испещренной порезами лысине вновь выросли волосы, но абсолютно белые. Через пару недель голова хозяина Лощины совершенно побелела, и буквально в то же время в устье фьорда появился красивый высокий айсберг. Тогда море стало часто замерзать; это продолжалось до сих пор, а виновными в этом считали тех, кто тогда в Лощине учинил эту выходку с бритьем: мол, эти мерзавцы тем самым бросили вызов судьбе, – и все ругали «бритые льды» в хвост и в гриву.

В те годы пастором в Сегюльфьорде служил преподобный Йоун Гвюдфиннссон, а сидел он в Сугробной косе. Волосы, такие как у него, густые и на удивление вьющиеся, народ называл «ненашенскими», – и это, наряду со многим прочим, затрудняло пастору несение службы. Из-за «вавилонов на голове» паства не хотела верить его словам, даже цитатам из Заветов. «У всех богов волосы прямы, кроме Бахуса», – якобы сказал когда-то Лауси с Обвала, и всем было ясно, на кого он намекает. Пасторская шевелюра была самой пышной во всем хреппе, по его голове взвихрялись вихры, напоминавшие гряды облаков, которые крутятся вокруг Земли, но они могли и неподвижно торчать целый день, если их поворошить.

Сигюрлаус Фридрикссон, хозяин хутора Нижний Обвал (или, как его прозвали, «До следующего обвала», – этой шутке было уже много веков), был духовной возвышенностью этой местности, худощавым рассадником юмора и рассказов, прекрасно управлявшимся и с рифмами, и с досками, а значит, желанным гостем на каждом хуторе: его привечали и за вирши, и за плотницкую работу. Все свои гонорары он принимал исключительно в рюмочной форме, но, выпив, никогда не становился скучным, напротив, казалось, винный дух лишь взбадривал в нем другой дух: чем больше в него вливалось, тем больше выливалось из него острот, стихов, поэм, занимательных рассказов. Лауси придерживался золотого правила всех хороших авторов: «Дай мне, Господи, силы примириться с тем, что правдиво, мужества облечь его в вымысел и мудрости, чтобы отличить одно от другого». У его жены, Сайбьёрг, от жизни с таким супругом волосы уже давно встали дыбом, но все ж она всегда сидела рядом с ним на пирах, с натянутой улыбкой и поднятыми бровями, уставившись в пространство.

Эйлив из Перстовой хижины был темноволос, лохмат, с патлами, свалявшимися, как у старой овцы, а борода курчавилась мелкими ягнячьими завитками и была вечно юной, хотя его щеки уже носили следы первых заморозков. Зато у его жены Гвюдни локоны были просто загляденье: светлые, вьющиеся. На трех хуторах во фьорде хранилось по пряди ее волос, и многие соперничали за нее саму, когда она, юная и цветущая, пришла вместе с матерью наниматься к Кристмюнду в Лощину. Но когда она покалечила руку и получила ожог щеки из-за несчастного случая на кухне, толпа поклонников резко поредела. И все же жители Лощины не испытали особого восторга, когда из всех возможных женихов к ней посватался Эйлив Гвюдмюндссон, этот долговязик из Хейдинсфьорда, с которым хлопот не оберешься, который прославился тем, что дельфинятину украл, – и он получил согласие! Тогда он, вроде бы, начал возводить себе хутор, да какой там хутор – одно название! – землянку в глубине фьорда, за землями Перстового. «Кто же мне тогда будет по утрам кофе подавать с такой ласковой улыбкой?» – думал Кристмюнд Белоголовый. Но девушке уже грозило вот-вот стать перестарком, а приговор, когда-то вынесенный Эйливу, считай, запорошило снегом.

Минуло уже шесть лет с тех пор, как пасторское благословение превратило батрака и батрачку в свободных малоземельных фермеров.

Глава 9
Магнит

Как и многие другие фьорды Исландии, Сегюльфьорд получил свое название от первого человека, проснувшегося возле его гор, а произошло это 999 лет тому назад. Но, как известно, людьми Исландию заселили позже всех других земель, и она долгое время была державой гордых гор, независимой от человеческой настырности, населенной лишь птицами, моржами, тюленями да лисами. Даже народы Крайнего Севера, множившиеся и размножавшиеся вокруг полюса, боровшиеся за существование на самой мерзлой в мире мерзлоте, не желали селиться в Исландии, а ведь во все эти ледниковые периоды добраться до нее было несложно.

Заселение этого изрезанного бухтами острова состоялось в 800900-ые годы и проходило согласно классическому правилу всех первопоселенцев: «Кто первым пришел, того и земля». Люди направляли свои суда к берегам Исландии, огибали остров, пока не находили незанятый фьорд, – почти как в бассейне, когда приходишь в раздевалку и осматриваешься в поисках свободного шкафчика. Когда таковой обнаруживался, люди снимали с себя пальто и шкуры и вешали в этот пустой шкафчик, таким образом давая знать: «Теперь он наш!» – и давали ему свое имя: Ингоульвсфьорд, Торгейрсфьорд, Лодмундарфьорд…

Тот шкаф, о котором речь у нас, взял себе Кольбьёрн Сегюль. В ту пору большинство шкафчиков было уже занято. Он был шведских кровей, родом с материка. Как сказано в «Книге о заселении земли», «кровь его бежала по жилам на востоке». Свое прозвище он получил благодаря мечу Секулю, сделанному из того доброго металла, который происходит из Георгийских гор, именуется «магнит» и натуру имеет такую: притягивает к себе все ценности, какие встретит на пути, прочее же оставляет. К этому мечу примагничивались кольца и монеты, ожерелья и другие украшения, золото и серебро, – так Кольбьёрн и разбогател. И свой шкафчик назвал Сегюльфьордом[24] – Магнитным фьордом.

На северном побережье Исландии есть три фьорда, которые разевают свои пасти навстречу Ледовитому океану и считаются самыми

северными в стране: Сегюльфьорд, Хейдинсфьорд и Оудальсфьорд. Первый из них самый западный, короткий, продолговатый, украшенный двумя плоскими мысами. Мыс, расположенный ближе к устью, называется Сегюльнес – там стояло жилище первопоселенца; он до половины перегораживает вход во фьорд с востока, а тот, что в глубине, называется Сугробная коса. Он чуть больше и перегораживает фьорд с запада. В глубине фьорда, совсем недалеко от моря, расположено Перстовое озеро. Средний фьорд называется Хейдинсфьорд, он длинный и узкий – наполовину море, наполовину долина. На востоке лежит Оудальсфьорд, и он самый короткий на вид.

Эти три фьорда окружены четырьмя горными грядами, чьи склоны круто обрываются в море. С высоты они напоминают горную вилку с четырьмя зубцами, которую кто-то положил на водную скатерть. Вокруг фьордов берега обрывистые и горные склоны неприступны, но выше в горах чередуются вершины и впадины, лишь немногие из которых проходимы. По этой причине добраться из одного фьорда в другой крайне трудно. Здесь часты бури и бураны, море заливает, а снег заваливает.

Но на земле едва ли найдется край, столь же прекрасный в те три недели лета, когда солнце болтается над устьем фьорда, словно лавово-раскаленный райский маятник, и в своих выверенных колебаниях лишь слегка задевает поверхность моря. Тогда все ночи светлы как струи водопада, среди вереска и снегов царит умиротворение, а природа столь великолепна, что заезжий путешественник рискует с непривычки потерять рассудок.

Глава 10
Ледяная лава

На второй день Рождества пришло солнце и тепло с юга, и травяные крыши землянок восстали из-под снежной целины, словно форштевни кораблей из пучины. Во всем фьорде лавина не поломала ни одного дома, кроме хижины Эйлива, хотя у Магнуса с хутора Верхний Обвал завалило овчарню и погибло 37 овец и два барана. Неожиданная оттепель превратила снег, заполнивший фьорды, из тяжкого груза в нечто грубозернистое рассыпчатое, ни пройти ни проехать. Добраться до хлевов, чтоб подоить и покормить скотину – и то подвиг; ковылять по этому ледяному зерну все равно что ходить по хрустальной крошке.

Тогда во льду, сковавшем фьорд, открылись три полыньи, и в самой дальней из них показался кит. Он испустил из себя фонтан, – хотя в тех краях и не знали, что бывает такое архитектурное сооружение – «фонтан».

А через два дня сильные северные ветра принесли мороз, и хрустальная крошка смерзлась в одно сплошное, словно лавовое, ледяное поле, и оно покрыло всю землю во фьорде от края до края, а подступы к хуторам превратились в каток. Сейчас наконец появилась возможность сходить к плотнику Лауси за двумя гробами и взять с собой мертвые тела, чтобы наконец избавить Эльсабет от этих «певуний» на дворе. Сигюрлаус с Нижнего Обвала был приятелем Эйлива, и прощание с покойницами решили провести на его хуторе, тем более что до Сугробной косы оттуда было рукой подать по льду через фьорд даже для хорошо выпившего пастора.

В тот день дул до дрожи резкий северо-восточный ветер, а «лавовое поле» было то пористо-скользким, то гладким как стекло. Не успели поезжане добраться до Альвова холма, что в устье речки в глубине фьорда, как буря стала крепчать так, что идущим пришлось сделать в своем походе перерыв. Они решили покрепче подвязать веревки на покойницах, потому что ветер подхватывал санки. Но покуда люди заново завязывали узлы, вышло неладное: часть шерстяной юбки Гвюдни выбилась из-под веревки, которой были крест-накрест перевязаны ее лодыжки. Ураган в мгновение ока подхватил этот кусок юбки, и он надулся словно черный мешок-парус, – и тут

санки мигом унеслись прочь по склону, твердому как лава, и дальше по берегу реки, а позади них трепетали веревки и канаты, образуя кильватер, который виден, когда мертвецы вплывают в царствие небесное. Все произошло так быстро, что поезжане только и успели проводить взглядом санки с покойницей, – в профиль напоминающие сверхскоростное техническое устройство из будущего, – когда те пронеслись по Перстовому озеру, сейчас представлявшему один сплошной сияющий мраморный пол. Гвюдни развила такую скорость, что санки, доехав до другого берега, взмыли вверх по пологому склону и переехали невысокий кряж. И все увидели, как она скрылась там, в белизне гор.

Эйлив, желая не допустить, чтоб дочь отправилась тем же путем, рухнул на колени и склонился над ее телом. Оттепель разморозила ее лицо: теперь она уже не пела, а нижнюю челюсть ей подвязали веревкой, так что рот был закрытым. А в целом мороз сильно потрепал ее: на почерневших губах – белый иней, на щеках – гнилые пятна.

Затем они развернулись, прочь от ветра, и отправились домой, на Перстовый хутор. Через два дня двое человек пошли искать Гвюдни и обнаружили, что зверье затащило ее в свой тайник, а икра левой ноги у нее перегрызена.

Глава 11
К северу от солнца и от Рождества

Первый день нового года появился из ящика комода Всевышнего словно прозрачное небесное покрывало, которое он вынимает раз в год, чтоб расстелить над буднями свою праздничность. После недавних треволнений решили похоронить мать с дочерью во время самой рождественской службы, по разным обстоятельствам перенесенной на Новый год. Морозы все еще стояли нешуточные, но пастор Йоун должен был воспользоваться оттепелью, чтобы подготовить для них могилы.

Хоть погода выдалась хорошая, а в полдень небо было ясное, солнца нигде не было видно. Даже в первый день года оно не удосуживалось показаться, а было где-то за этими высокими белыми горами, окружавшими фьорд с трех сторон. Солнечного света здесь не водилось с 15 ноября по 28 января.

Но из ящика комода Создателя также высыпался тончайшим слоем свежий снежок, так называемая ночная пороша. И вся земля оказалась покрыта белой скатертью при безветрии, и небесная синь отражалась в сосульках на застрехах церкви и Мадамина дома, как называлось жилище пастора. Но вся эта праздничная красота в основном прошла мимо траурно одетых борцов за существование, которые сгрудились хорошо утеплившейся толпой перед церковными дверями, ожидая церковного помощника (он ушел за ключом), и скорее плакались на невзгоды старого года, чем радовались приходу нового. Магнус с Верхнего Обвала, вытянутый человек с длинной бородой, плохо скрывавшей отсутствие подбородка, стоял в центре толпы и выслушивал соболезнования: ведь та лавина в сочельник погубила его овец. У северного фасада Мадамина дома скучали несколько лошадей, словно скорбящие с опущенными головами.

Но никто не замечал, что на кладбище близ северо-восточного угла церкви трое человек с ломами и кувалдами спешили вырубить в мерзлоземе могилы.

Жители Сегюльфьорда уже третье Рождество кряду ходили в церковь через фьорд по льду. «Это ведь все равно что в церковь по полу войти?» – спрашивал кто-то. «А-а?» – раздавалось в ответ после

небольшой паузы, и слышно было плохо. Они всегда приходили первыми на мессу и первыми уходили домой, эти молчаливые щекастые люди, и манеры у них были просоленные, и головы проштормленные, но они славились тем, что отлично обрабатывали акулятину. Они жили на разных хуторах – и все же лица выдавали, что они все из одной местности. Было трудно понять, кто здесь муж с женой, а кто брат с сестрой, ведь этот народ с самой эпохи заселения земли из поколения в поколение боролся за существование на этой самой дальней оконечности острова, и сейчас все они состояли в родстве настолько близком, что дальше некуда. Бывало, что это маленькое сообщество страдало от нехватки женщин, когда у всех рождались одни мальчики, а порой не хватало мужчин, когда у всех накапливались дочери. Тогда местным родам приходилось уповать на семя моряков, потерпевших крушение, и засунуть свои предубеждения против пышных волос куда подальше. (В известном рассказе бретонца XVII века Бреваля Морвана говорится, как он один остался в живых после крушения и пробирался к человеческому жилью сквозь прибой и метель по приливной полосе под скалами к востоку от Сегюльнеса, – по одной из самых труднопроходимых в этой стране дорог. Но после этого ему пришлось напрячь все силы не меньше: его уложили в постель и заставили ублажить пять хозяйских дочерей.)

Церковь в Сугробной косе была довольно новой постройкой – средней величины классический деревянный неф с колокольней, – но расположена совершенно не по-христиански: ее двери смотрели на юг, а хоры – на север, вместо того чтобы, как водится у христиан, повернуться алтарем к восходящему солнцу, ибо их бог – солнечный. А вот бог Сегюльфьорда был ветровым, а на северном побережье всякая тварь знает, что к ветру лучше поворачиваться задом, а самый лютый ветер всегда дует с севера. А что касается задней части, то тут уж не важно, освященная она или нет. Так новая церковь выдержала тринадцать ураганов, повернувшись к ветру, словно лошадь зимой в горах. На ее скамьях могла разместиться почти вся паства, хотя заднему ряду несколько лет назад пришлось уступить место роскошному органу, который принесло морем и в целости и сохранности вынесло на берег. На нем была надпись *“Farrand & Votey”*, а остряки прозвали его «Фанфарон из вод», после того как его с большим трудом втащили в

церковь. Этим церковным имуществом народ гордился, – хотя первого органиста в Сегюльфьорде еще предстояло дождаться.

От толпы, стоящей перед церковными дверями и облаченной в свою самую приличную одежду, струился морозный пар. Люди всегда приходили в церковь рано, чтобы занять место, пока там не расселись как у себя дома эти сугробнокосцы: ведь совсем рядом жила самая большая во фьорде семья, число человек в ней порой доходило до двадцати, и большинство из них обреталось на Старом хуторе – в живописных землянках к северу от церкви. В Мадамином доме жили только пастор, его мадама и вдова предыдущего пастора, а также экономка и помощники. В большой бадстове Старого хутора постоянно ночевали всякие залетные мореплаватели, застрявшие на берегу; сейчас это были четверо норвежцев, ждавших, пока море очистится от льдов, – благочестивые богомольные моряки, которые уже научили всех на хуторе словам «фи» да «фан» [25], а сами ни одного исландского слова взамен не выучили. А еще преподобный Йоун по доброте своей взял к себе из хреппа убогих, целых восемь штук, среди которых больше всего выделялись трое стариков-мокроштанников: Сакариас, Йоунас и Йеремиас, – и сейчас они все трое, один за другим, высыпали из землянки. Из-за имен пастор прозвал их своими пророками.

Прихожане молча наблюдали, как старый Сакариас преодолевает эти пятьдесят метров от землянки до церкви. Его походка была деревянной, ноги разъезжались, и шерстяные подштанники, доходящие до паха, болтались между тощими старческими ногами, которые он переставлял – сперва одну, потом другую, – словно тяжеленные шахматные фигуры по доске, а его руки низко свисали. На них болтались варежки, казавшиеся необычайно длинными и от этого напоминавшие промокшие крылья морской птицы. – Последний день года! На ужин каша! – сообщил он: одновременно никому и себе самому.

Гримаса беззубого рта придавала ему отталкивающий вид, да и прозрачные, как у мертвеца, глаза в глубоких глазницах тоже не добавляли привлекательности. А если прибавить к этому соломинки, украшавшие его икры, ляжки, плечи, патлы, создавалось полное впечатление, что в церковь направляется выходец из могилы.

По крайней мере часть его уже перешла в иной мир: когда старец приблизился, стало видно, что левая нога у него боса.

– Разве новый год уже не настал? – спросил мальчик из глубины долины.

– О, нет. О, нет. На ужин каша!

С криком пробежала батрачка, несущая ботинок и носок, и стало видно, как наш знакомец Эйлив внутри могилы остановился, опираясь на лом. «Подумать только, я тут выгрызаю в земле последний приют для моей Гвюдни, а этот ходячий костяк все еще прозябает на свете!» Итак, преподобный Йоун вовсе не удосужился воспользоваться неделей оттепели и не велел тогда выкопать могилы. Эйлив трудился с тех самых пор, как накануне привез гробы, и лишь сейчас прокопался сквозь замерзший слой земли, – и тут раздался похоронный звон. Но он продолжил орудовать ломом, а Лауси, изготовивший гробы, стоял над ним и убеждал его, что пастор все еще дома и в церковь пока не заходил. На подмогу им был прислан рыжий и конопатый мальчишка из поселка, отряженный самим пастором.

Наконец сей великий деятель церкви показался на высоком крыльце Мадамина дома, он снизошел по ступенькам в полном облачении: черной рясе, белом воротнике. А волосы у него были вьющиеся, что придавало ему вид весьма тролльский, но отнюдь не пасторский – ведь кто ж воспримет всерьез пастора с такими волосами? Но его толстощекое лицо, на котором была написала крайняя серьезность, открылось взорам, когда Йоун сошел с крыльца, и повернулся, держась рукой за перила, и сделал передышку, прежде чем направиться в церковь. А за ним шла его супружница, одетая в простую вязаную одежду, маленькая, изящная, – таких двух можно было бы сделать из этого человека, который в своей рясе казался просто горой – но горой бродячей и бегучей.

– Вот, сейчас он мне нравится, – сказал Лауси, отодвигая прядь от глаз. – Но сейчас пора прекращать. Лив, дружище, все равно ты их глубже не зароешь.

Эйлив, весь взмокший от натуги, отложил лопату, взял с кучи выкопанной мерзлоты свою шапку, отер ею пот со лба, а потом позволил себе выругаться на освященной земле. Что это за страна окаянная: сначала жить нельзя из-за снега, а потом умереть по-человечески нельзя – из-за него же! Затем он попросил мальчишку продолжить выгребать землю из ямы: в могиле должно хватить места

на два гроба. Они пошли вдоль сводчатых окошек церкви, и в голове Лауси зажглось начало строфы:

К северу от солнца, от оконца,
да на севера́ от Рождества…

Глава 12
Падение пастора

Когда наши приятели вошли в церковь, на скамье собралось уже столько народу, что супруг и отец покойниц туда уже не помещался. Эйлив рассчитывал, что место для него оставили в первом ряду, как это было принято, но его правое крыло уже заполонили живущие здесь норвежские моряки и другие местные, а с левой стороны были постоянные сиденья пророков. Рослому хуторянину были видны их затылки: три подрагивающие безликие головы, окруженные белыми космами; казалось, они издевательски ухмыляются ему. Воздух в церкви тотчас стал тяжелым – его загрязнил перегар, тянувшийся от большинства фермеров, которых пастор до службы приглашал к себе. А пол был мокрым от табачных плевков и тающего снега, и многие в публике пристроили кожаные подошвы своей обуви на перекладину для ног. Крошечные псалмовники виднелись в руках – крупносуставных, красно-бурых от работ на морозе, лишь изредка какая-нибудь домохозяйка щеголяла в искусно связанных варежках. Малыш Гест, стоявший на руках у работницы с Перстового, увидев отца, заорал на всю церковь: «Папка!» Перед алтарем стояли оба гроба: просто сколоченные наподобие ящиков, грубо выкрашенные черной краской. Из-за тесноты маленький гроб поставили на большой, и эти стоящие штабелем гробы больше всего напоминали непозволительно громоздкую посылку на небеса.

Преподобный Йоун с трудом протиснулся между этим штабелем и передним рядом скамей, но зацепился своей рясой за гвоздь, торчавший из нижнего гроба, рванул ее, шумно и тяжело дыша, и край подола треснул. То тут, то там отдельные лица снова повернулись к Эйливу, мявшемуся на пороге, но никто не уступил места вдовцу: мол, сейчас служба также и рождественская, так что теперь тут сижу я! Наконец Эйлив встал в задней части церкви и оперся рукой на орган из вод. А Лауси подсуетился, проворно забежал вперед него и пристроил свою левую ягодицу на подоконнике. В самом заднем ряду, перед органом, сидели Стейнка и Эйнар из Хуторской хижины со своими четверыми детьми: лица дряблые от голода, а спины – заплата на заплате, от них

струился густой запах хлева: поговаривали, что супруги по ночам клали между собой корову.

Сейчас большинство жителей хреппа (кроме старой сребровласой пасторши, оставшейся в Мадамином доме за вышиванием, и нескольких дряхлых стариков, гревших лежанки то тут, то там во фьорде) собралось в церковном «корабле», и сейчас была бы пора отчаливать в лучший мир, если бы капитан не был в таком скверном состоянии.

Сейчас он возился с перилами вокруг алтаря: они были высотой ему по колено, в них была калитка, через которую он должен был войти, – его место было там, там и должно было начаться богослужение. Он некоторое время корпел над этой детской задачей, но – боже мой! – замок почему-то все время распухал перед его глазами и под пятью неловкими пальцами, словно тот огромный латунный калач, которым запирают врата самого рая. Отпереть этот адский механизм было вообще невозможно! Наконец он выпрямился, сделал долгую паузу и послал восхитительно пьяный взгляд в заднюю часть церкви, на своего помощника, прозывавшегося «Марон-родной», который стоял возле закрытой двери рядом с Эйливом: грудь колесом, а голова недавно острижена. Но Марон-родной был простая душа и к своей роли относился серьезно, поэтому ему вообще нельзя было соваться в пасторские дела, от него требовалось лишь открыть церковь, позвонить в колокол да проследить, чтоб номера псалмов на стене[26] были верные. Все это он уже выполнил и теперь стоял навытяжку, задрав подбородок – рядовой солдат Господа.

А его командир сейчас предпринял финальную попытку и помахал ему рукой (перекрикиваться через гроб нельзя, даже если ты пьян в лоск), а Марон-родной ответил ему тем, что быстро отдал честь по-военному, как он видел на палубах кораблей, крича взглядом: «Все готово, ваше благородие!»

Тут преподобному Йоуну Гвюдфиннссону стало ясно: свое затруднение ему придется разрешить самому; и он рискнул перелезть через перила. Но рясу он при этом задрал не слишком высоко, и она натянулась над перилами и помешала ему как следует шагнуть. Дородный пастор свалился внутрь отсека, который создавали перила вокруг алтаря, и прекрепко ударился головой о планки на той стороне. Женщины, бывшие в церкви, издали изумленный «ах», а в остальном

паства приняла это в спокойствии и молчании. Их пастор лежал на левом боку в алтаре, спиной к прихожанам, словно громадный морской тюлень, почти неподвижно, от него лишь послышался глубокий стон, а затем – тяжелое дыхание.

Долго-долго все было недвижимо: и губы помощника, и прихожане на скамьях, – но вот наконец пастор принялся храпеть. Во время этой части программы паства терпеливо сидела на местах, даже субтильная пасторша не встала. Люди решили дать своему пастырю поспать, раз уж ему было так надо.

Немногие народы относятся к недотепам и неудачникам так хорошо, как исландцы, – а те наиболее щедро проявляют доброту, если какой-нибудь высокопоставленный бедолага упал низко. Тогда их снисходительность просто расцветает. Может, так сложилось из-за того, что борьба за существование у них была столь сурова, а смерть караулила за каждым бугорком (сходить задать корм скотине – и то могло оказаться опасным для жизни) – и тогда народ уже не принимал чересчур близко к сердцу, что, например, сислюманн ночью обмочил постель, после ужина взгромоздился на хозяйку хутора или повышибал работнику зубы. Все это скорее было предметом для радости, для положительной характеристики большого человека – ведь о таком ходили предания, сочинялись легенды, для развлечения в безрадостные зимы. Сильнее Христа, Короля и Северного ветра исландцы чтили рассказы, таков был их обычай, их вклад в мировую культуру, и эти слова были неразрывно связаны: «исландцы» и «рассказы». Этот народ верил в бога рассказов, и в этой религии рассказам о начальниках отводилась большая роль. О людях примерных рассказать можно было мало, и они в этой стране не задерживались на пьедесталах. Народу хотелось, чтоб начальство у него было беспутным, и он находил удовольствие в том, чтоб восхищаться его бесчинствами. Мужикам – обитателям хижин это тоже дозволялось, но тогда они должны были «уметь рассказывать истории». Именно по этой причине Лауси с Обвала сходило с рук что угодно, а Эйливу – нет. Историй он не знал, в его голове царили картины, но у него никогда не получалось облечь их в слова. Поэтому когда он стучался в чью-нибудь дверь, то всегда получал в ответ «ох» да «фу».

А пастор все спал. Лишь норвежцы удивленно переглядывались – но наконец и они сошлись на фразе «в каждой стране свой обычай»

и решили промеж собой, что в Исландии богослужения именно так и начинаются: священник плюхается у алтаря.

Очевидно, ни одна алтарная доска никогда на своем веку не удостаивалась такого пристального внимания и рассматривания, как сейчас. А может, эти красивые картины как раз и были задуманы как экстренная заставка, если передача запаздывала. В толстой серо-голубой раме просматривалась довольно маленькая и пригожая картина, которую время за две сотни лет обработало по-своему (зимой – с помощью мороза, а летом – с помощью мух) с тем результатом, что все краски на ней приобрели такой оттенок, о котором сам художник и мечтать не мог. Картина изображала воскресение: Христос шагал из могилы, подняв руку вверх, наполовину сбросив саван пурпурного цвета, и излучал одновременно силу и привлекательность. Сия добрая сцена происходила во дворе дома в некой голландской местности в начале семнадцатого века, и на заднем плане выстроились все обитатели, а также их соседи: лица сияли от восхищения и пламенной веры, простонародье неуютно чувствовало себя в присутствии звезды мирового уровня.

Из сопоставления этого живописного полотна и совершенно неживописной сцены под ним можно было вычитать историю христианства. Что и делали собравшиеся, коротая время, пока пастор спал.

Сейчас пастор поудобнее улегся в своем закутке и хрюкнул, так что всем невольно пришел на ум уже не тюлень, а плечистый черный боров в слишком тесном загоне. Послышался шепот норвежцев: *“Nej, men fan”* [27]. Лауси ухмыльнулся до ушей, а затем посмотрел на Эйлива, стоявшего у края органа. Скорбящий вдовец явно скрылся в метель своих дум, его голова была полна черным снегом, который несся большими тучами.

А малыш Гест незаметно для всех вдруг подошел к алтарю. Перебирая руками перила, он добрался до гробов своих матери и сестры, а затем и дальше, за угол ограды, и наконец до самой всклокоченной головы Йоуна. Тут он протянул руку в «клетку», где лежал пастор, и ущипнул освященное ухо, сказав при этом:

– Па́той по́мей!

От этого преподобный Йоун очнулся от пьяного забытья и, постанывая, с трудом встал.

– Па́той не по́мей! – вскричал тут Гест Эйливссон, и тотчас его забрала от гробов его нянька. – Гетт вы́лесиль па́тойя!

– А на третий день он воскрес, – раздался с одной скамьи мужской бас, неизвестно кому принадлежавший. Работники принялись посмеиваться.

Тут началась рождественская служба. Она прошла в целом без приключений: сон пошел пастору на пользу. Ему даже удалось с большим искусством перейти от благой вести праздника к темной юдоли, относящейся к каждым похоронам. Но когда дошло до надгробной проповеди, положение стало сложным, потому что для этого священнослужителю нужно было подняться на кафедру, а она была тесная и в самом прямом значении этого слова хитровыгнутая, – эта кафедра была художеством великого словосплетателя Лауси. На второй ступеньке преподобный Йоун наступил себе на рясу и чуть не грохнулся навзничь на лестницу. При этом он скрылся от взоров паствы, но сидящим на первом ряду слева все же была чуть видна возня, больше всего напоминающая биение орлана в черном мешке. Но вскоре мешок пропал из виду, и послышалось, как пастор пробирается вверх по ступенькам, а затем – опять тишина. Снова заснул? Нет, очевидно, всего-навсего забрел в незнакомый бар в этом круглом мире винтовой лестницы, потому что оттуда раздались звуки глотков. Когда они закончились, вновь послышалась возня, а затем пастор восстал из церковной кафедры, словно герой саги из бочонка со скиром[28], вооруженный растрепанной Библией, и сейчас выглядел гораздо бодрее, чем прежде.

Преподобный шумно сглотнул и кивнул головой Всевышнему. Но когда он вознамерился водрузить слово Божие на пюпитр, его угораздило уронить книгу с кафедры. Она шлепнулась на колени одному из норвежцев, который тотчас встал и подал Библию обратно на кафедру, почтительно, спокойно, в своем норвежском воскресном свитере, как раз с такими светлыми волосами и такой густой шевелюрой, от которых бежали в свое время первые жители Исландии.

Преподобный Йоун смиренно взял слово Божие и начал листать в поисках надгробных проповедей, которые составил накануне в трезвом виде и перед тем, как отправиться в церковь, засунул под золотой переплет. Но этого листка больше не было внутри Библии: куда-то он, окаянный, улетел, когда книга упала. Пастор свесился с кафедры и

нагнул свою большую голову, так что его вьющиеся волосы совершенно неторжественным образом откинулись на лоб, и стал глазами искать белое пятно – бумажку на покрытом слякотью полу или же на серых, как шерсть, коленях, – «ух ты, какие у этой варежки красивые; а это часом не Кристбьёрг из Лощины?» Но все впустую. Голова опустилась еще ниже, обнаружив редковолосую макушку; так эта голова и свисала с пюпитра некоторое время, пока пастор не сделал некий внутренний рывок и не втащил самого себя обратно, поднялся, открыл глаза и с прекомичным выражением лица выпрямился, – а кровь в это время отхлынула от сосудов головы, и его лицо покрыла сероватая бледность.

За сим последовала тишина, расцвеченная покашливаниями.

«У-хммм. Да, а где бумаженция? Здесь ее нет. Нигде здесь нет. Я, что ли, забыл ее засунуть в библенцию? И она лежит дома на столенции, на столе столе столе?» Сейчас пастор щурился на прихожан, надеясь: а вдруг в густом, как шерсть, хмельном тумане что-нибудь промелькнет, хотя бы имена усопших.

– И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться… – начал он, чтоб хотя бы не молчать, дрожащим голосом, с трясущимися волосами, но тут сообразил и сменил тон. – Ну нет… Сегодня мы собрались здесь не только в связи с рождественским праздником, сочельником, простите, новым годом… но и…

И тотчас пастора поправил подрагивающий головой пророк из первого ряда:

– Сегодня тридцать первое! – возвестил Сакариас голосом, напоминающим ягнячье блеянье, но к этому его присловью все уже давно привыкли. У него была своя теория: что давным-давно из календаря этого хреппа выпал один день: не пришел во фьорд, а заблудился в горах и умер там, где умирают лишь дни. Так что на самом деле сегодня не первый день нового года, а последний день старого. В доказательство этого Сакариас демонстрировал искусные расчеты и выкладки и совершенно непостижимо размахивал циркулем в бадстове Старого хутора, ссылаясь на «тех отца с сыном», Пи и Пифагора, но главное доказательство пропажи одного дня все же имело место каждый год в ночь летнего солнцестояния, когда он в полночь измерял расстояние от самого западного оконного переплета до солнца, раскаленным шаром лежавшего на горизонте в северном окошке в

крыше бадстовы, и из этого круглого оконца, опушенного по краям травой, открывался вид на закат в устье фьорда.

– Не, гля-ка. Оно в тридцати четырех сентиметрах от рамы, а по правде должно было быть в тридцати пяти!

Оттого в представлении сего нумеролога завтрашний день не существовал, вчерашний тоже, а текущий момент – тем более. Потому что день, каждый раз вставaвший за окном, на самом деле был завтрашним днем еще не прожитого вчерашнего. От этого Сакариас постоянно испытывал душевные муки и желал исправить календарь; он уже давно написал властям длинное письмо.

А наш оратор, напротив, настолько привык к этим поправкам пророка, что не услышал его возгласа, а продолжил свою пьяную болтовню с кафедры:

– … но… но также здесь мы хором… хороним Гвюд… Гвюдрун Оусвальдсдоттир из Перстовой хижины и ее дочь Бауру, то есть я хочу сказать Лауру Эйливсдоттир, возрастом дитятю.

По-настоящему покойницу звали Гвюдни Роусантсдоттир, тут наш оратор почти угадал, но дальше пошли уже сплошные домыслы.

– Гвюдрун родилась в тысяча восемьсот сорок… да. Родилась в том славном месте, где… короче, где жили ее родители. И приехала в наш фьорд… – тут пастор поднял глаза и спросил паству. – Она ведь в Лощину приехала? Да, и приехала в Лощину. Совершенно верно. Красивая девушка. Весьма хорошо сложена…

Здесь воцарилось молчание, слишком красноречиво свидетельствуя о том, что этот увлажненный хмелем человек сейчас отдался на волю дум, еще более влажных, – но затем он подобрал нить и вспомнил ребенка, сейчас лежавшего в меньшем гробу, уделив ему пару механических фраз, настолько холодных, что душу скорбящего отца бросило в озноб.

Постепенно эти до дрожи затянувшиеся похороны подошли к концу, и пастор поздравил слушателей с новым годом, а заодно и с Рождеством, бросая в могилу комья земли. Затем собравшиеся спели псалом «Цветку подобно…»[29], без аккомпанемента, в то время, когда самые крепкие в хреппе работники выносили гробы. Первым за ними выскочил Эйлив; в дверях он подхватил своего сына, когда тот подбежал к папе. И тут хуторянин ощутил, что к нему протягиваются долгие желтые помочи с небес: матерчатые, тонкой работы, посланные

теми веселыми херувимами, которые обретались в небесной державе на самом нижнем ярусе, – этот день все же не был лишен благословения. Он поднял взор и посмотрел над горами: там они и сидели, пухленькие, толстощекие, улыбались и махали, словно старому знакомцу, а он с ними был незнаком и видел их впервые. Желтые тягучие ленты пропали, едва достигнув его сознания.

Им пришлось долго ждать во дворе одним, перед черными гробами, вместе с похоронщиками, Лауси и насторожившимся помощником пастора, потому что народ не мог выйти из церкви, пока вперед не продвинулись пророки, ходившие весьма медленно. Лауси потратил это время на то, чтоб завершить в уме свое четверостишие:

К северу от солнца, от оконца,
и на северах от Рождества,
я засну, избавлен от суда и от труда,
и от мира, и от божества.

И вдруг вокруг них начал крепчать ветер, и людей, протискивающихся из церкви на выход, охватило беспокойство. Порывы трепали юбки, взметали бороды – наверно, сейчас лучше отправиться домой, чтоб успеть до темноты – а в первый день нового года дневной свет в этом фьорде выключали ровно в 15:03.

– На ужин каша! – послышался крик Сакариаса, повлекшегося восвояси на хутор. За ним следовали Йоунас и Йеремиас, такие же скорбные ногами ковыляльщики. Кристмюнд из Лощины в шутку спросил, не желают ли они проводить мать с дочерью в могилу, и Йеремиас слегка обернулся и проговорил со своими тремя зубами во рту:

– Ай, она же нас проглотит!

И тут пророки, все вместе, ускорили свой медленный шаг, преуморительным образом спеша подальше от разверстой могилы, словно дети, убегающие от воображаемой угрозы.

А большинство все-таки побрело к месту последнего упокоения, и пастору, когда он наконец появился, пришлось протискиваться сквозь толпу; он густо и мохнато носопыхал, а веки у него были тяжелые. Гробы водворили в могилу, меньший – первым, чему Эйлив удивился, но, оказалось, это произошло по той простой причине, что он стоял

ближе к могиле, ведь Лауру выносили из церкви первой, так как ее гроб стоял наверху. Потом на него опустили более длинный гроб. На то, чтоб вырыть две могилы или сделать эту двухместной, времени не хватило. Могила у матери с дочерью оказалась тесной, ее едва хватало на такое двухэтажное сооружение: до крышки верхнего гроба всего полсажени. И все же вдовец считал чудом, что эти две его родные души вообще удалось пристроить в землю, учитывая, насколько она вчера вечером была проморожена.

Затем началось пение, а Гест скидывал своей матери снежки, – но вот преподобный Йоун начал церемонию прощания. Он протиснулся туда, где стояли отец с сыном, а затем простер руку над открытой могилой, шатаясь из стороны в сторону, и приготовился благословлять во имя отца, сына и святого духа, но вытянул руку слишком далеко вперед и начал терять равновесие, стал хвататься за воздух на краю могилы, чтоб удержаться за него при падении. Стоящие рядом тотчас принялись протягивать ему руки помощи, но прежде чем они успели спасти своего пастора от падения, из плотной толпы высунулась жилистая рука и быстро ткнула преподобного Йоуна в спину, от чего он рухнул в могилу и плюхнулся на живот прямо на гроб Гвюдни, да так, что тот хрустнул.

Эйлив бессильно наблюдал, как служитель церкви лежит на его жене: хотя она была в гробу, а пастор явно без сознания, это зрелище было не лишено двусмысленности.

У всех присутствующих от ужаса перехватило дыхание, однако никто не понял, что же здесь произошло, никто не заметил руку, толкнувшую пастора, и не знал, кому она принадлежала, – никто, кроме маленького Геста Эйливссона. Он видел, что случилось – он смотрел на это снизу, из тесной от курток середины толпы, и видел четко. Так его память сделала свою первую зарисовку.

Глава 13
Мадама

Она выглянула в окно. Белый как лед дневной свет играл на сетчатых морщинах ее лица. Вот и еще один новый год начался – да такой светлый; а что там на кладбище за переполох? У них с погребением что-нибудь не заладилось? Она слишком плохо видела, чтоб понять, что происходит, но снова посмотрела на гору и в очередной раз спросила себя, каково ей в этом фьорде. Это был ее сорок первый новый год. Она приехала с юга страны – сорокалетняя жена пастора, который владычествовал здесь до преподобного Йоуна, и он, от большой любви и мук проспиртованной совести, два десятка лет назад выстроил для нее это жилище, до сих пор остававшееся единственным солидным жилым домом в Сегюльфьорде; все остальные были землянками, за исключением дома торгового управляющего Сигюрда, стоявшего на Косе чуть ближе к берегу, довольно сносного деревянного одноэтажного сарая. А чуть к востоку от него располагалась и сама лавка в помещении склада с дырявой крышей.

Звали ее Сигюрлёйг: она была пригожей, правда, нос несколько крупноват; рот у нее был очерчен на диво четко, а губы она часто смачивала, облизывая языком, так что они всегда блестели, как два бело-розовых червяка на пересохшей морщинистой почве – ее лице. Тело у нее было маленькое, руки маленькие, а все же от этих тоненьких побегов произросли одиннадцать больших семей, заполнивших одиннадцать хуторов по всей стране. Каждый месяц она получала письма, в которых сообщалось о погоде, скотине и рождении внуков (именно в таком порядке), с востока, юга и запада страны. Ей неоднократно предлагали уехать жить к внукам, но она все время отказывалась: ей хотелось быть именно здесь, в своем Мадамином доме, хотя пасторы здесь порой вели себя буйно.

Исландские пасторши назывались мадамами, это слово сулило почет и деликатное обращение. Для женщин выйти замуж за пастора было единственным способом избежать вечных хлопот по хозяйству, так как пасторские усадьбы располагались на лучших в стране земельных угодьях, там было самое сносное жилье и лучшие батраки. Даже если муж оказывался беспробудным пропойцей, жребий

пасторши все же был гораздо лучше многих других. Поэтому пасторши заставляли себя смириться со множеством неприятных вещей и обладали большим запасом терпения. А когда они становились вдовами (а вдовели они все, так как все без исключения пасторы допивались до смерти), то могли припеваючи жить на деньги, которые посылал им фонд пасторских вдов.

Мадамин дом был выстроен из хорошей норвежской древесины: один этаж и чердак, а подвал каменный, у западной стены крыльцо, а со всех четырех сторон – окна со стеклами. Рукоположенный супруг Сигюрлёйг хотел воздвигнуть ей подходящее жилище и гордо ввести ее в другой мир, на дощатые полы, вверх по лестнице… И это была лестница в небо. Подумать только: она вышла из грязи, земли, мокрети, мытарств и маеты! И поднялась высоко – на второй этаж! В первые дни на лестнице постоянно толпились работники и даже их знакомые с Сугробной реки, да и из Лощины тоже. Новую церковь еще не построили, и люди прежде не поднимались наверх таким способом. Когда экономка впервые взошла на верхнюю площадку лестницы и посмотрела вниз, у нее так сильно закружилась голова, что она едва не свалилась со ступенек.

С той поры мадам Сигюрлёйг редко покидала свой прекрасный мир. Даже в церковь на службу она не выходила. Среди молодых поколений жителей фьорда мало кто видел пасторшу собственными глазами, этим не могли похвастаться даже те, кому посчастливилось на минутку присесть в Мадамином доме. Когда у преподобного Йоуна случались рюмочные дни в гостиной, старая дама обреталась на верхнем этаже, сидела там за вышиванием или читала датскую книгу. В сознании своих односельчан она была возвышенным существом, живущим на высоком этаже, некая помесь бродящего выходца из могилы с восседающей на троне королевой.

Ее собственный преподобный супруг умер всего через несколько лет после постройки дома – и его сразил Бухус, вихрастый бог, выбивший его из седла посреди Перстовой реки. Она умеренно скорбела по нему, а потом радовалась, что у нее поселились новые люди, новый пастор со своей тихоней женой – а значит, с ними в этот дом вошли и экономка, и работники, и обеды, и обслуживание, в этом доме рабочие руки были нужны, одна вдовья пенсия много прокорма не давала. И преподобный Йоун с его женой Гвюдлёйг были

замечательными людьми. Зато он внезапно принялся пьянствовать даже сильнее, чем ее покойный супруг, и ей все так же приходилось не спать ночами; тогда она, лежа в постели, пересчитывала потомков. Преподобный Йоун был более шумным, чем ее муж. Это огромное тело с копной волос имело специфическую потребность орать так, что чертям тошно, колотить в двери и петь среди ночи тоскливые песни про любовь к бутылке и горам.

Сейчас она осторожно спускалась по лестнице – мадам Сигюрлёйг, субтильная, изящно одетая, как всегда; седые волосы выбивались из-под черного берета с черной кисточкой. Сейчас она шагнула вниз по ступенькам в еще один год, – женщина, родившаяся не когда-нибудь, а в день коронации самого императора Франции, Наполеона Великого. Почти в тот же миг, когда он преклонил колени на шелковую подушку у алтаря в Нотр-Дам в Париже перед папой Пием Седьмым, чтоб принять от него корону на свою голову, в мире раздался тоненький крик в неком деревянном алькове в исландских хреппах, скупо освещенном декабрьским днем. А сейчас она спускалась по ступенькам во всю эту историю, спускалась в свою маленькую жизнь – бескоронная императрица с северов, женщина, прожившая большую часть жизни; она ставила свои облаченные в кожу мягковойлочные подошвы на деревянные ступеньки, и они глухо поскрипывали, и их скрип был таким же четким, как выражение ее рта, но чем ниже, тем тяжелее становился этот звук, и вот наконец она высоким гостем сошла в разливанное море тиканья, заполнявшего нижний этаж, словно гость из вечности – в будничность, где часы без устали взбивают мгновения билами, чтоб их всегда было в избытке.

В последний раз она спускалась вниз несколько дней назад; очевидно, сейчас она что-то почувствовала, потому что в следующий миг входная дверь распахнулась, и в прихожую напротив лестницы ввалились три запыхавшиеся женщины. Пасторша узнала свою экономку Раннвейг, а еще Кристбьёрг из Лощины и супругу ныне царствующего пастора, Гвюдлёйг, жену Йоуна – последнюю вели под руки две остальные, словно бледную пожилую куклу, и они сильно суетились, их пальто и юбки – и те, казалось, обрели дар речи и то и дело повторяли «Господи Исусе!» и «Боже, оборони!»

Не успели женщины войти, как девчонка-работница Сигрид, которую называли не иначе, как Краснушка, потому что ее щеки все

время были ярко-алыми, колоритная девка со вздернутым носом, ворвалась вслед за ними, задыхаясь от бега, и объявила:

– Его кто-то столкнул, кажется, я видела!

Три перепуганные женщины, толпящиеся в прихожей, повернулись к ней, и хотя в их взорах читалась растерянность, им удалось добавить в них удивления и гневного огня: «Не может быть! Кто так поступает? Господи ты, боже мой! Кто столкнул пастора, да еще проводящего погребение, в открытую могилу?!»

– Кажется, я видела, – повторила девчонка, а затем закрыла входную дверь.

Эту новость было трудно переварить, особенно в придачу ко всем другим. Никто больше ничего не сказал, все повернулись к старой мадаме, спустившейся по лестнице. А здесь объяснения были, по большому счету, не нужны. Она стояла перед этой более юной версией самой себя и видела, что говорят ее глаза: «Кто хоронил, теперь сам похоронен. Преподобный Йоун – все…» И хотя маленькая пасторша была потрясена, а старая – ошеломлена, молчание между ними было таким, что его можно было резать ножом, а из отрезанных кусочков выковыривать проблески облегчения.

Женщины сняли пальто, а потом принялись разыгрывать на деревянном этаже, в гостиных, в коридоре и на кухне ту пьесу, которую полагается играть, когда умирает супруг и хозяин дома. Четыре женщины по очереди садились рядом с пятой, чтоб немножко поплакать вместе с ней, сделать ей кофе, принести хлеб и масло, а потом ходить то в комнату, то из комнаты с шумом вздохов и юбок, чтоб в воздухе трепетали косы и расспросы. Они изо всех сил старались сотворить из всего этого печаль в доме, да только светлынь на улице, новогодняя белизна, отказывалась в этом участвовать. Ведь хотя стрелка часов начала клониться к трем, темнота все еще не наступала. Как будто весь фьорд радовался смерти пастора. Но пять женщин упорно продолжали играть свою пьесу, пытались разжечь в себе скорбь, приличествующую моменту, когда в хреппе преставился начальник, – но эта наигранная постановка постепенно переросла в довольно незамысловатый допрос алощекой девицы Краснушки. Что она видела? Кто его столкнул? Его точно кто-то столкнул? Но у нее на все был только один ответ: кажется, она видела, будто кто-то подошел к нему

сзади и толкнул в спину, и в итоге этот громадный человек свалился ничком в могилу.

Две мадамы сидели друг напротив друга, кажется, они уже не слушали, словно это было не важно, и снова заглядывали друг другу в глаза. И вновь из молчания между ними можно было вычитать вот что: «Теперь нам наконец дадут поспать, мы спокойно выспимся!»

Глава 14
В одной связке

Вот и миновал Новый год со старым снегом и старым льдом, и почти ничего не произошло. Эйлива и Геста взяли жить на хутор «До следующего обвала», потому что в Перстовом им житья не было, потому что там раздавалось слишком уж много проклятий в адрес матери и дочери, даром что тех уже не было в живых. Эйлив дважды застукивал перстовских супругов, Стейнгрима и Эльсабет, в их кухне у очага за обсуждением отца и сына и слышал там слова «дите сопливое», «тролль бадейный» и «не человек – прорва». Ведь Эйлива не хотели никуда брать, хотя он не знал устали в любой работе: он был осужден за воровство, слишком много ел, да еще долговязый, а ведь эти его ходули не отстегнешь. И вообще, откуда мы знаем – может, он свою жену сам убил, а пастора-то наверняка он в могилу столкнул! Вот она – вершина его бедняцкой удачи! Просто никто об этом не говорит вслух, слишком уж велик этот грех – убить священника!

Оттого-то Лауси и пригласил его жить к себе, ведь они долгое время были братьями: младший и старший, мысль и лопата, и хотя для такого человека тамошнее жилье было тесновато и низковато, он мог и умел работать, а за мальчика полагались кое-какие выплаты от хреппа[30]. Хутор Обвал сам был похож на старую лавину, остановленную тонкой переборкой фасада, а сам этот фасад низко наклонился вперед и едва сдерживал оползень. Казалось, дом готов в любой момент весь целиком сорваться и покатиться вниз по склону. Внутреннее убранство все носило отпечаток какой-то поломанности. Здесь действовал вечный закон: в доме сапожника целых сапог не найдешь.

На этом хуторе размещалось пять душ: фермер Сигюрлаус, Сайбьёрг, его жена, и Грандвёр, ее мать, молчаливая как камень женщина с дальнего мыса, а также дочь супругов, придурковатая девочка-переросток по имени Сньоулёйг, называемая Сньоулька; она всегда беззлобно ворчала, а ее лицо застыло в извечной гримасе, обнажавшей большие, совсем телячьи, передние зубы. Они были желтыми, неухоженными – а все же казались всем гостям главными сокровищами этого хутора. Также здесь обретался работник Йоунас,

видом как собака, а на щеках – редколесье. Как выражался Лауси, «у него вместо бороды кошачьи усы выросли». Но хотя хозяин этого хутора и был весельчаком, на самом хуторе все носило печать бренности и многое было устроено на особый лад. Мальчик явно скучал по жизни в Перстовом, где за обедом в гостиной собиралось по пятнадцать человек, а к ним в придачу три собаки и одна кошка, и, несмотря на строгость хозяйки, в том домике было весело. А здесь детей не было, да и четвероногих товарищей для игр тоже, разве что мышка под кроватью. Даже собаки здесь не было, и не было коровы Хельги: его добрую жизнеподательницу до весны решили держать у Стейнгрима. И здесь никто не разговаривал – кроме Лауси, но он всегда думал о чем-то своем, что-то записывал или плел какие-то словеса. В его сундуке лежала целая куча книг, но даже Эйливу оказалось трудно понять то, что хозяин читал по вечерам: «Приветствую царство / черного чада! / Прими, преисподняя, / владыку нового – / меня!» А заглавие было как будто нарочно создано для Эйлива и его великого верстания с судьбой: «Потерянный рай по-исландски». Долговязый чувствовал себя здесь почти сиротой: несвободным, нелюбимым, – но какой выбор был у него сейчас, когда его жизнь со всех сторон затирали морские льды?

Хутор Нижний Обвал не просто так прозвали «До следующего обвала». На него и на хутор Верхний Обвал, находившийся двумя покосами дальше вглубь долины, веками обрушивались бесконечные сели, оползни, камнепады, обвалы, но в основном снежные лавины, и люди на них жили в постоянном страхе перед следующей лавиной, а лавины все шли из Вредоносной впадины, огромного снегосборника под Столбовой вершиной, самой высокой горой в этом фьорде.

С тех пор как остроумец Лауси обосновался в этом месте, он ввел такое правило, что в самое опасное время года домочадцы должны были ложиться спать, связавшись одной веревкой. Хозяин накидывал вокруг своей талии петлю, потом веревка продевалась сквозь ручку его сундука с книгами, затем тянулась к кровати напротив, где петля завязывалась вокруг хозяйки, затем свекрови, потом дочери и, наконец, работника. Если случится обвал, их всех будет легко отыскать. Эти осязаемые семейные узы, весьма прочные (так называемая манильская веревка рыжеватого оттенка, из лавки Коппа), завязывались вокруг каждого туловища морским узлом, так что никого не сдавливали. А

сейчас веревку предстояло удлинить для новых членов семьи, но Эйлив отказался: *привязываться* к этим людям ему не хотелось. «Нет, Лауси, жить вот так вот я не хочу. А мальчика бери». – И Гест оказался с домочадцами в одной связке.

Эйлив ухаживал за овцами в хлеву, который был еще меньше, чем когда-то его собственный, так что ему казалось, что баранешки здесь карликовой породы, и он поил их мышиными порциями. Также он выходил на весельной лодке добывать рыбу вместе с этим лисом Йоунасом, когда льды стали отступать, и не возражал, когда ему велели вязать вместе со всеми по вечерам под чтение стихов в древнепесенном размере. Но его подавленность никуда не уходила. Ночь за ночью ему все снилось, что его жена на том свете с кем-то спуталась.

Но гораздо больше его угнетало происшествие на похоронах, тот факт, что в придачу ко всему пастор «доклюкался» и помер. Он снова и снова видел перед собой мертвенно-бледное и перепачканное лицо преподобного Йоуна, когда того перевернули, эту величественную, все еще пьяную в лоск физиономию, хотя, вроде бы, хмель уже должен был слететь с пастора, ведь в этот самый миг его уже вводили в палаты самого князя тьмы. (Об этом обстоятельстве они – Эйлив, Лауси и работник Йоунас – спорили весь месяц торри[31], и обладатель кошачьих усов считал, что кто помер пьяным, тот будет пьян и в вечности. А о том, в какое место пастор Йоун отправился после смерти, и спорить нечего.) И он снова ощущал тяжесть пасторского тела, каменную тяжесть этого каменного тела, снова и снова чувствовал, как же обидно, что его приходится вынимать из могилы при помощи его же собственных работников. Следы этих трудов ему так и не удалось смыть. Пастор неописуемым образом нагадил ему, испустив дух в могиле его жены и дочери. Что это за пастор, черт его раздери, который во время погребения помирать удумал! Громила окаянный! И теперь эта пакость навек замарала память о Гвюдни и Лауре. Если жена и дочь просто погибли – это одно, а если их еще и пастором придавило – это совсем другое.

Глава 15
Mr. Eternal

И вот в один прекрасный день из-за угла фьорда показался пассажирский корабль «Тира», державший путь на запад, за Рог, и сделал там вежливую остановку. Это было в последний день марта месяца, небо было серым, но высоким, летали во́роны, лед, сползший со всех склонов, щетинился жухлой травой и оголенными камнями, а горные вершины были белоснежны, и море тонко подрагивало как живое.

Приятели Эйлив и Йоунас возвращались с ловли, добыв рыбы столько, что она едва закрыла дно лодки. И тут им закричали и замахали с оконечности Косы. Это могло означать только одно, и они на мгновение задумались, не отвезти ли им сначала улов домой, потому что сейчас в лодке наверняка появятся пассажиры, но Йоунас и слышать не хотел о такой ерунде, так что они развернулись и принялись грести навстречу кораблю. В этом фьорде, конечно же, не было ни причала, ни пирса для крупных судов, а сами эти господа, плавающие вдоль побережья Исландии, лодку без крайней нужды не спускали: корабль должен был укладываться в расписание. Поэтому существовало неписаное правило: если рядом плавала какая-нибудь посудина, она должна была подойти к борту корабля и перевезти пассажиров и груз на берег.

Вот как вышло, что на скамье напротив Эйлива в лодке оказался словоохотливый южанин, чистюля в перчатках, в зарубежных обутках, таких роскошных, что ему пришлось сидеть как девочке: на помосте, подобрав обе ноги на скамью, и от его безбородого лица непрерывно струилась речь, а порой он косился на кучу пойманной рыбы под собой, и выражение лица у него становилось как у человека, вдруг обнаружившего, насколько же в действительности отвратительна основа жизни этого замученного народа. Эйливу это не понравилось – и тут он увидел, как «Тира» на всех парусах покидает фьорд. Ну и как этот человек, такой чистоплюй, собирается жить здесь, среди рыбьей слизи?

– Ты можешь продать свою корову. За корову пока еще много чего можно купить. А еще я могу тебе сильно сбавить, потому что ты –

первый, с кем я разговариваю в этом фьорде, а записалось к нам мало народу. Единственное, что тебе нужно будет сделать, Эйлив… ведь тебя Эйлив зовут, так? Эйлив – пишется без ипсилона? Да. Тебе надо будет заранее быть в Фагюрэйри, корабль отчаливает третьего мая. Что ты говоришь, у тебя сын? Ему два года? Тогда мы за него платы не возьмем, просто запишем его как собаку, некоторые берут с собой собак, хотя собакам во Мерике на берег нельзя. В нью-йоркском порту стоит целый корабль с собаками, и они по ночам воют и зовут старый мир. Ну, господин хороший, прощай. Во Мерике для таких больших и сильных, как ты, возможностей полно, у тебя там с самого первого дня была бы работа и зарплата! Тебе бы банкнотами платили! И в лавку ты мог бы ходить без кредита, просто платил бы за сам товар, за soap, shoes или там jacket, а потом сходил бы в «Фотографию» и снялся на карточку! Mister Eternal Gudmundsson!

Ну и болтун! Эйлив до смерти обрадовался, когда выгрузил этого кота в сапогах на приливной полосе, не доезжая Мадамина дома, вместе с посылками двум пасторшам, которые сейчас, в своем вдовстве, сидели там, раскачиваясь взад-вперед. А забирала ящики с посылками помощница экономки, Краснушка, девчушка с алыми щеками и вздернутым носом, которая в придачу приняла от наших гребцов связку сайды. Она ошарашила Эйлива, одарив его теплым взглядом в тот момент, когда забирала рыбу. Она с ним заигрывала? Эта девчонка сопливая? Либо так, – либо она была уверена, что пастора, ее хозяина, убил именно он, и была ему настолько благодарна. Неумолкающий южанин, весьма величаво соскочивший с носа лодки на берег, почти не замочив ног, отпрянул, когда помощница экономки прошагала мимо него на берег, помахивая рыбой.

– Благодарю за труды, – крикнул он Эйливу на прощание. – Приходите в воскресенье в church, я там буду анонсировать переезды во Мерику и записывать желающих! *The Promised Land is not only a promise!* [32]

Английского языка Эйлив не понимал, а вот эту запальчивость понял хорошо. И конечно, он слыхал об Америке; в Лощине батраки с батрачками семь лет назад как-то собрались, а на следующее Рождество они уже оказались запечатлены на скрижалях истории в фотоателье в Манитобе, разодетые не хуже самого Коппа. Подумать только: этот негодник Кристьяун и эта бабенка Марфрид с мельницы стали совсем

как чистая публика… Узы батрачества до самой Америки не дотягивались.

Он взялся за весла с таким рвением, что даже костяшки побелели под весенними варежками, а сам смотрел, как американский агент забегает в Мадамин дом с такими кошачьими повадками, словно плут-затейник из английского романа, которого ему как-то раз описал Лауси. Впрочем, агент и впрямь был исторической личностью, ведь за тысячу лет ни один купец не явился сюда, чтоб избавить людей от оков этого фьорда, – хотя, может, это только штучки, какие в ходу у торговцев, один мухлеж и надувательство? Тот человек никогда не видал рыбьего плавника, а к тому же выказал беспримерную хитрость:

– Ты же это сделаешь ради меня, да, Эйлив? Чтобы это все окупилось, мне нужно по меньшей мере по десять человек из каждого здешнего фьорда.

Они легко неслись через фьорд: человек, весло и морская вода – единственная и настоящая троица, – а Эйлив думал о своей жизни и своем положении. Вот он сидит тут в открытой лодке – сорокасемилетний исландец, и все части тела у него в целости, а вот репутация подмочена, – хотя кто бы не стащил кусок еды в открытом сарае для сушки рыбы после того, как ему отказали в ночлеге на третий вечер большого бурана, а перед этим он два дня шел, и у него маковой росинки во рту не было? Один лишь случай – вполне закономерный страх голода зимой 1878 года – и все моменты его жизни попали под осуждение. Чтоб окрасить всю бадью, оказалось достаточно одной ягодки.

Он смерил взглядом затылок работника Йоунаса, сидевшего на скамье возле отсека для рыбы, – тощего, синюшного – а грести-то этот мужичонка вполне может, этого уж не отнять. Но ему агент даже слова не сказал, он обращал свои тирады исключительно к Эйливу. Может, он смекнул, что за сокол сидит тут на веслах – тенелюбивый, жухлобородый, для всех неудобный, а в первую очередь для самого себя. На прошлой неделе Эйлив набрел на работника на взморье, где тот засовывал свой прибор в Сньоульку, и его сугробно-белые ягодицы сверкали среди черноты камней. С такого расстояния было трудно определить, что выражает натужная гримаса, навек прилипшая к лицу девушки: наслаждение или принуждение. По старым порядкам и за одно, и за другое полагалось бы двадцать семь ударов розгами. Но

Эйлив отвернулся: ему не хотелось, чтоб власти исхлестали эти белоснежные ягодицы в кровь. Что это за жизнь, когда своим струментом пользоваться запрещено? Да и где на белом свете нашелся бы такой исусик, способный выдержать целый век без женщин? Сам Эйлив в свои винные годы лакомился не только холодной дельфинятиной, может, у него где-нибудь в Эйрарфьорде уже ребенок подрос, – но сам бы он ни за что не позволил себе взгромоздиться на дурочку.

Нет-нет. Но каждый выбирает, что ему подходит.

Его взгляд обратился в сторону Перстового хутора, там перед домом обозначалось какое-то движение, – и его душу заполнили смешанные цвета. Эльсабет – женщина жестокосердая, зато Стейнгрим дал ему в жизни возможность, продал небольшой участок, где поставить землянку, а Гвюдни дала ему самую жизнь, – которая сейчас отлетела. А сам он после этой смерти был жив. У него все еще была жизнь: и собственная, и сына. Ему оставался еще по меньшей мере десяток лет, если не два, а это не так уж плохо, как говорится, жить можно, а у маленького Геста все еще было впереди, – и разве он не обязан дать собственному сыну участь лучшую, чем участь бедняка-иждивенца, принимающего подачки от хреппа – ягненка-выкормыша в этой лачуге с наклонным полом, – тем более что жизнь его матери и сестры он уже сгубил ради трех килограммов муки?! Разве мальчик не был достоин, чтоб Эйлив купил ему лучшую жизнь за одну корову – свое единственное имущество? Хотя корова принадлежала ему не полностью, он все еще был должен Стейнгриму один сосок из четырех, но тот вряд ли станет взыскивать этот долг: глаза фермера с Перстового блестели совсем не таким взглядом, хотя позади него виднелось суровое лицо хозяйки на пороге дома. Неужели он купит для них Мерику по цене коровы?

Он представил себе Хельгу, как она мычит в стойле в большом хлеву Перстового, скотинка родная. Разве его собственная судьба хоть чем-то отличалась от ее судьбы? Разве он не был так же привязан в загоне, то есть в этом фьорде, разве его так же все время не доили его хозяева, а сейчас его еще и унизили на похоронах его собственных жены и дочери и в итоге почти превратили в голытьбу? Строго говоря, для того, чтоб переехать в свой родной Хейдинсфьорд или в Америку, да куда угодно, ему требовалось разрешение и пастора, и главы хреппа;

слава богу, хоть отбывать на тот свет ему еще не запретили. Он ничего не проигрывал – разве не так?

И тут он представил себе своего мальчика, эту круглолицую большеглазую резвость, эту кипучую жизненную силу. Внешне он был не так уж похож на отца. Гест был из породы круглых – а его отец вытянутый. Конечно, мальчик потом еще вытянется, как выкидной ножик, и все же было ясно видно, что эти руки не превратятся в лапищи, а эти ноги – в широкие ласты. Он был похож на покойницу мать, как и она, светловолосый, мягкощекий, а отцовские гены проявлялись в его поведении и привычке коротко хмыкать, прежде чем повести речь. Но откуда такой жар жизни в этом холодном фьорде – было ведомо лишь Создателю. Малец приветствовал своего отца радостным криком, когда вышеназванный отец заверзилился в низенькую бадстову, неся в голове планы путешествий:

– Сньокка мине лбинчик даля!

Позади этого жизнерадостного огонька, каждый вечер озарявшего темную лачугу, сидели рядышком на кровати две женщины с дымящимися чашками, две исландки, молчаливые и усталые, сорокалетняя Сайбьёрг, дыбоволосая супруга Лауси, и ее мать, Грандвёр, тяжеловесная женщина, в душе у которой была целая гора. Мать и дочь были непохожими: одна – камень, другая – тростинка, но приобретали сходство друг с другом на той картине, где на их лбах сверкали отблески пламени от жирника. Чуть ближе стояла Сньоулёйг, женщина с телячьими зубами, и перечисляла Эйливу все блины, которые слопал Гест:

– Четы-вёты номерь он пыра-глатил цилико-хом!

Глава 16
Ночные картины

В бадстове кроватей было мало, и все короткие. Так что Эйлив спал один в так называемой гостевой горнице, выходившей своим повалившимся вперед фасадом на двор, а его сын, Гест, лежал под боком у своего самого любимого человека на этом хуторе – сладкохрапящей Сньоулёйг. При этом мальчуган волновался за отца и решительно требовал, чтоб тот по ночам находился в одной связке с остальными хуторянами. «Папкя, и ты пйивязись!» – настаивал он, и в конце концов верзила поддался уговорам. Лауси удлинил рыжую веревку, так что она протянулась из бадстовы в коридор, а оттуда в гостевую, прямо в кровать к Эйливу, который накинул антилавинную петлю вокруг пояса.

И вот, в этот вечер он лежал на своем ложе – а перед глазами у него само собой вставало слово «МЕРИКА», написанное на потолочной балке, и в этом великом слове ему слышались громкий скрежет и лязг железа, стук молотков, звон подков, пароходная сирена и ружейные выстрелы, полицейские свистки и фотоаппаратные вспышки. Затем в сознании проносились два железных вагона по новой *железной дороге*, о которой он когда-то слышал, и это тотчас наполнило его желанием устроиться на такую работу: строить *железнодорожное полотно* – для человека, знавшего лишь заснеженные дороги да овечьи тропы, это слово звучало по-волшебному. Дорога железная, блестяще-гладкая, прочная! Как приятно шагать по такой дороге! Тут он позволил себе вытянуться во весь рост, и тогда его босые ноги высунулись из-под одеяла и свесились далеко с изножья; и если бы он сейчас распрямил стопу, то его плюсна коснулась бы деревянно-холодного фасада дома: ему стоило только пнуть эту стенку как следует, и она бы рухнула прямо во двор. Лауси и впрямь был искусным стихоплетом, а вот собственный дом сколотил словно четверостишие: вся эта конструкция буквально держалась на паре созвучий.

И тут Эйливу предстала последняя картина, на которой он был в Сегюльфьорде: он лежал, растянувшись вдоль него, словно Гулливер, его голова покоилась на Дне Долины, сердце находилось близ Солнечного утеса, живот – между Лощиной и Угором, а зад накрывал

Сугробную косу, причем колокольня была готова вонзиться между ягодиц, а ноги торчали из устья фьорда, стопы и пальцы возвышались среди моря, будто два гигантских айсберга.

Безбородый агент-американец пригласил его в воскресенье в церковь, где собирался рассказывать о переездах во Мерику, – но черт побери! – Эйлив не мог заставить себя снова приблизиться к этому зданию.

Глава 17
Двое на одном камне

Лауси от чтения книг приохотился к язычеству, в церковь его можно было затащить разве что силком, а ко всем богам он относился как к книжным героям. И рассказы о них были, конечно же, познавательны и во многих отношениях хороши, хотя Исус Христос не шел ни в какое сравнение с Эгилем Скаллагримссоном в силу своей «слабооружности».

– Ну вот, значит. В саге о Христе отсутствует почти все, что украшает сагу об Эгиле. Разве что сцена распятия достигает своей цели, но она довольно затянутая, и в ней ни крови, ни ярости – ничего. И там автор упустил возможность: там Отец мог бы сочинить какую-нибудь «Утрату сына», или сын – какой-нибудь «Выкуп головы»[33], – так нет же: все вырождается в какие-то мученические стоны, – и ведь затем преподобный Хатльгрим[34], болезник наш, наплел по мотивам всего этого аж тыщу двести строф, самое длинное и скучное псалмоплетение, на которое только оказался способен наш брат-северянин, а народ все это проглотил из одной жалости к несчастному прокаженному поэту! А что до самой саги об Исусе, то весь этот лепет о распятии ей как раз впору по стилю. Где царит всепрощение – там никакого драматизьма нет, а где нет драматизьма, там с лиходеями не ратоборствуют, там литература не зарождается, там ни побед, ни боли, ни башкоснесения! Вот… Подставить другую щеку – это, в сущности, всего лишь теоретизирование. Исключение! То, что проповедует Христос, – это же на самом деле уничтожение литературы, он никому не дает жить как поэту, он – великий истребитель сюжетов. Ему ногу отрубают, а он подставляет другую, руку оттяпывают у плеча, а он предлагает другую, сердце из груди вырезают, а он… да, тогда-то он что предлагает? Тогда он превращается в дым костра и в таком виде возносится на небеса! Даже баба, ну, Сигрид со Дна Долины, ни за что не позволила бы себе в свои рассказы напускать такой копоти. Фить-фить, и раз – в небо, и все! На том стою: Исус Христос – величайший истребитель историй, – вот он кто! Истребитель!

Когда друг заводил свои лекции по литературе, Эйлива это утомляло больше всего – слушать его экспромты и остроумные ответы

ему было гораздо веселее. И сейчас, когда они вдвоем сидели на одном камне чуть ниже хутора по склону, он пресек эту лавину, которую обрушил на него Лауси, заявив, что в следующее воскресенье собирается в Сугробную косу в церковь. Лицо Сигюрлауса приняло выражение, какое бывает у профессора, которого потревожили среди лекции, но все же он быстро сориентировался и торопливо проговорил:

– В церковь? А кто мессу служить будет? Пастора прислали?

– Нет, но приехал один человек…

– Человек?

– Да, и он будет анонсировать…

– Американский агент, что ли? Ты на американскую мессу собираешься. Вот это я понимаю, вот это вера: они рай обещают прямо на земле! Там, куда можно доплыть на корабле. Хотя непонятно, отчего церковники в свой собственный дом конкурентов впускают, или они позволяют этим проповедникам использовать церкви для оттягивания прихожан из приходов?

– Просто для меня здесь никакого будущего нет. Для меня с мальчиком.

– Ты его с собой возьмешь?

– Да. А ты хотел его оставить себе?

– Я больше всего хотел бы оставить вас обоих. Ты уверен, что…

– Я как раз над этим думаю… нет, возьму его с собой. Прежде всего, это делается ради него.

Тут воцарилось молчание – сказавшее гораздо больше, чем они наговорили до того, вобравшее в себя все многолетнее общение этих добрых приятелей. Молчание это дало им рассмотреть себя в свете текущего момента, похвалить и превознести – подобно двоим ученым, которые склонились над пылающим камешком, заключенным под стекло, и постанывают от изумления. Сейчас они получили передышку для того, чтобы поблагодарить друг друга за дружбу и поддержку в нелегкой жизни в этом фьорде, – и это дорогого стоило: такое молчаливое общение равнялось десяти тысячам куч всяческого богачества; в своем сердце они ощущали блаженство, благодарность и любовь друг к другу – но держали это все при себе: ведь если не отпускать это от себя, то проживешь дольше; и вдобавок это молчание было такого рода, что выражало все лучше, чем мог бы сам человек.

Но, как это нередко бывает с такими моментами, этот таил в себе тяжелое грузило, которое начало тянуть их на нешуточную глубину, – и как раз в этот момент Лауси вновь заговорил – вдруг сухо прошептал:

– Это ты его столкнул?

– Уфф. Нет.

– А кто же тогда?

– Не знаю. Я не видел. Но вроде бы точно не я.

– За убийцу пастора взяться могут крепко. Просто убить человека – это одно, а убить рукоположенного человека – прямая дорога в ад, так они говорят, а значит, и считают, а сам я за такое рукоположение гроша ломаного не дам… чтоб преподобный Йоун считался более важным человеком, чем… Да в Стейнке из Хуторской хижины святости больше, чем в нем! А еще пастор назывался, полномочия у него были божественные! Но вот убить пастора в самый разгар похорон – это… да, с их точки зрения, это самая что ни на есть высшая мера преступления, и она заслуживает самой высшей меры наказания.

Лауси ненадолго замолчал, а затем ужасно усмехнулся и добавил:

– Представляешь, он же сам себя отпел: сперва бросил в могилу комья земли, а потом и сам в нее бросился.

И тут они рассмеялись – два друга на камне близ хутора Обвал в семнадцати метрах над уровнем моря погожим утром в начале апреля.

– От сислюманна ни слуху, говорят, сюда от него никто не приезжал, – промолвил Лауси. – К весне, видимо, будет расследование. И нас, разумеется, вызовут на допрос.

– Должен признаться, с тех пор я несколько раз желал, чтоб его столкнул именно я, – фыркнул Эйлив.

– Ну так ему все равно было поделом. А говорят, больше всех этому радовались две его вдовы. И все-таки, кто же его столкнул? – Может, просто рука Божия?

Такой ответ настолько ошеломил Лауси, что смех на его губах в мгновение ока застыл, и он вытаращил на друга глаза: слышать от Эйлива остроты он не привык, – но затем он отмер, и дружеская ласковость прочертила от его сощуренных глаз глубокие морщины, – и он снова рассмеялся.

Глава18
Завтрашняя туманность

Воскресным утром наш вольник[35] с Нижнего Обвала отправился в Сугробную косу по снежной круговерти и складчатым волнам. Лауси долго провожал его взглядом, когда тот спускался по склону, и подождал до тех пор, пока у берега не закачалась лодка; владелец хутора чувствовал себя так, словно его друг уже отправился во Мерику. А потом закрылся занавес метели и скрыл от него гребца. Пурга продолжалась долго, так что наш верзила причалил к косе дальше, чем рассчитывал, но все же выволок лодку на берег и направился прямиком в церковь. В Сугробной косе он не бывал с самых похорон, и в нем сидела эта распроклятая робость: он побаивался этого места, церкви, кладбища и людей, которые наверняка будут бросать на него взгляды, полные осуждения (ага, вот он – этот, который нас без пастора оставил, плакала наша пасхальная служба в этом году!), а может, даже и жалости, что еще хуже. Но черт побери, если ему необходимо прошлепать вброд через канаву прошлого, чтобы прийти к будущему – то пусть так и будет! – подумал он и сосредоточил взор на глазах своего сына, и его лицо заполнило собою сознание любящего отца.

Порой в белом мраке светились прогалы, и сквозь один из них он взглянул на берег: там была только лодка с Сугробной косы, ни из Сегюльнеса, ни с Верхнего Обвала, ни с Пастбищного, ни с Холма, ни с Перста никто не приплыл. А ведь он знал, что многие собирались быть. А когда он вошел за кладбищенскую ограду, возле церкви не было заметно никакого движения, лишь неистоптанные сугробы, а церковь вдобавок еще и оказалась заперта.

Эйлив недолго постоял на дорожке, а затем шагнул за угол и нерешительно побрел к могиле своих жены и дочери: они все еще лежали там, близ северо-восточного угла церкви под простым крестом, на который Лауси, впрочем, употребил свое искусство – на его концах красовалась умелая резьба, а имена красиво прочерчены ножом, и борозды просмолены. Древесина уже слегка посерела. К Эйливу закралась мысль: а не спросить ли у них разрешения поехать с Гестом во Мерику, – но потом он решил, что это будет глупо, неловко развернулся и, посмотрев на Мадамин дом, решил, что, наверно,

собрание перенесли в него. Кот в сапогах, наверно, сидел там на плюшевом кресле и залучал бедноту на Запад.

И все же на лестнице было не видать ничьих следов, а на его стук к дверям подошла лишь Краснушка, та самая щекастая девка, и прямо сразу начала эдак улыбаться ему – с чего это она его так завлекает? Но впускать она его все же не стала, сказала, мол, агента здесь нет, этот безбородый, мол, пару дней назад уехал. Затем она как следует пихнула долговязого вольника ногой, высунув из угла ухмыляющегося рта язык, так что его собственный бушприт чуть приподнялся на этой волне, а потом захлопнула у него перед носом дверь.

Итак: собрания не будет, агента не будет, Америки не будет. И кажется, все это знали, кроме него. Черти полосатые! Он облекся в свою робость как в тесную робу и нарочно притащился сюда, чтоб записаться в будущее – а будущего не будет: его отменили!.. За семью годами счастья идут семь лет несчастья, думал Эйлив, сам удивляясь, насколько же он расстроился, что ему не дали перебраться со всем скарбом во Мерику.

И чтобы не получилось, что он приехал совсем понапрасну, он снова побрел на кладбище, на место рукоположенного преступления. Там он заметил неподалеку свежую могилу, встал на нее и стал мочиться, но, едва начав, пожалел об этом. Вдруг его кто-нибудь увидит? Чем это не готовое доказательство виновности в преступлении? Нет, его никто и не мог увидеть: пурга окружила его со всех сторон. Зато не успел он закончить свое дело, как из метели появился простоволосый призракоподобный старец. Он направлялся на юг вдоль сложенной из камня кладбищенской ограды – снежновласый и снежнобородый, и, кажется, не заметил Эйлива, а тот провожал его взглядом до угла, а затем из калитки.

Ему показалось, что это был Сакариас – пророк и жалобщик на календарь. Он прошел прямым ходом к церкви и взялся рукой за дверную ручку – положил дряхлое на дряхлое, – но ему дверь не открылась так же, как и Эйливу, и вскоре они оба стояли на ведущей к церкви дорожке, словно двое заядлых мессоманов. Пророк вперил взгляд в побитую непогодой дощатую конструкцию – эту дверь.

– Кажется, сегодня собрания не будет, – сказал высокий.

Молчание.

– Ты в церковь шел?

Молчание.

– Я-то думал: тут собрание будет, насчет Мерики. Так сказал этот, в сапогах, который на «Тире» приплыл.

Молчание.

Эйлив, никогда не отличавшийся красноречием, сейчас вдруг принялся болтать – так на него влияло присутствие пророка. А тот в конце концов отпустил дверную ручку, и повернулся, и стоял на церковном крыльце со своей торчащей из плеч головой-снегосборником, заиндевелой бородой и бледно-серой физиономией. И в этой сплошной белизне единственной черной точкой был его зрачок, крошечный и продолговатый: им он смотрел далеко вглубь долины (в этом фьорде было всего два направления: вглубь и вовне) и, казалось, углядел там какую-то интересную передачу: он некоторое время не отводил оттуда глаз и, как и прежде, не замечал вольника со Следующего Обвала.

В глубине косы среди снеговерти парило солнечное пятно, очень широкий луч из божьего прожектора, и оно придвигалось все ближе к ним, словно небесный мастер по свету сейчас устроил поиск своих персонажей, стоящих в этот миг на сцене. И вот крыльцо церкви осветилось, и они зажмурились и заволновались, словно актеры, осознавшие, что свет направлен на них, а зрители ждут.

– Вот он обдает нас своей божественной пыльцой, – наконец вымолвил пророк – не Эйливу, и тем более не сам себе, а залу.

Эйлив этого не понял или в тот момент был где-то в другом месте, а самому ему не пришло в голову ничего, что можно было бы сказать этому залу, поэтому он лишь тихонько простонал:

– А?

– В начале был свет, и свет стал днем. И власть его пробуждает все человечество. День… Он проистекает из своего великого источника за Уралом и оттуда – на весь мир. Течет и течет…

Тут старик снова отключился и уставился во все глаза на божий свет. Луч, пробившийся сквозь метель, теперь уплывал от них вниз по горному хребту, отметая прочь снежную пыль там, где пробегал, словно он был веником господним, и где он светил, там снежно-родные пылинки вспыхивали светом, а все прочее неосвещенным падало во прах. Пророк подождал еще немного, пока луч прожектора вновь не упал на церковь и на него.

– А все же они, родимые, одинаковыми не бывают: один день – летний, другой – печальный. Подумать только: новый день… – произнес Сакариас и выдохнул, словно только что откусил свежеиспеченного заварного хлеба, намазанного маслом, вобравшим холод кладовой. Затем зажмурился, продолжая обсасывать эту мысль: – Новый день…

Услышать такие слова от человека столь преклонных лет было вовсе недурно. А потом он вновь открыл глаза и продолжил проповедовать свое евангелие:

– А потом он укорачивается, он понимает, что его власть недолго продержится, и поэтому он должен отступить. И всю свою пыльцу сложить в огромные мешки, потому что не все надо тратить, не надо все тратить, нет-нет… ведь завтра придет другой, и он зовется завтрашний день – а это самое прекрасное обещание, данное людям. Завтра.

Пророк изронил эти слова в каком-то трансе души, и они вышли, взявшись за руки, из его уст, обвитые самым что ни на есть святым дымом от костра веры, пылающего у него внутри, и, так же держась за руки, вознеслись на небеса. «Да, если этот человек не написал бóльшую часть Священного Писания, то это писание само написало его», – проплыла мысль в голове у Эйлива. Но вот старик как будто пришел в себя – снова вынырнул на поверхность. – Представляешь: а если бы у нас в Сегюльфьорде был всамделишный завтрашний день? Ведь сейчас на самом деле не третье апреля, а второе. И по тому вопросу я много писал властям, и датским, и исландским. Наши календари все насквозь неправильные! – Да… – только и пришло на ум Эйливу, которого в присутствии старика охватила какая-то юношеская бездуховность. А тот продолжил свою речь, за все это время ни разу даже не кинув взора на высокого человека.

– Представляешь, как они маху дали: пропустили сам високосный день. Они про него просто-напросто забыли. Среда, 29 февраля 1532 года, к нам во фьорд вовсе и не приходила! И мы обречены отставать от всех остальных на один день, и все же быть… да-да, у нас тут на самом деле вышла такая чертовня, что жизнь в нашем Сегюльфьорде – один бесконечный завтрашний день. Ведь, проскочив один день, мы превращаем настоящее завтра в сегодня. А значит, мы

никогда не живем в сегодня, а навсегда застряли в какой-то завтрашней туманности. Я много писал их величеству…

– А разве это не прекрасно? Разве мы тогда не впереди всех на пути в будущее? – спросил Эйлив, а его мысли в это время витали в другом месте.

И тут пророк наконец повернул голову, вытаращил глаза на Эйлива и сказал:

– В Писании сказано: «Кто выбирает короткую дорогу в рай, долго там не задержится».

Глава 19
Беглец

Что бы ни творилось с календарем, сезон добычи акулы начался, как заведено, 14 апреля. Тут лодки (палубные или беспалубные) столкнули со стапелей во всех фьордах на севере страны, спустили на воду, подрядили на них мальчиков и мужчин, и если бы лед так не мешал, они бы уже через двое суток пришли к Острову китовых костей, где матросы сидели, склонившись над своими снастями.

Этот остров был крайней северной точкой Исландии – плоский как блин, камень посреди моря, который никогда не бывал сухим, зато служил излюбленным пляжем для тюленей и птиц, коих там гнездилось два вида: кайра и малая гагарка. Этот островок был последним в стране местом, где фауна оставалась еще такой же, как до прихода первопоселенцев. Человеку с его гадким разумом не удалось нарушить незамутненность бессловесных тварей. Птицы сами клали голову охотнику на ладонь, тюлень подставлялся под нож. Цветку подобно…

У Эйлива были связи среди моряков, он сам отходил на веслах шесть путин для Кристмюнда из Лощины еще до того, как нажил жену и дом, а еще на его счету были два сезона добычи акулы в экипаже некоего Халькиона с Фагюрэйри на одном из первых палубных судов, и Эйлив хорошо запомнил эту роскошь: в открытом море иметь возможность заснуть в сухой постели.

Поскольку пастор приказал долго жить, все решили воспользоваться паузой до того, пока у этого фьорда не появилось новое начальство, которое могло и запретить прихожанам поездки. Вообще-то начальство во фьорде было о двух головах, но нынешний хреппоправитель, старый Сиггейр с Сугробной реки, был давно и основательно прикован к постели.

Помимо судов, выходивших на промысел акулы из Сугробной косы, Лощины и Сегюльнеса, во фьорде нередко можно было видеть и множество других; например, туда часто заходили корабли из Фагюрэйри, когда там, на безгорье, ветер крепчал: ведь Сугробная коса была волнорезом, созданным самой природой, перегораживавшим половину фьорда и заслонявшим берег от всех налетавших с севера буранов, которые оказывались в запасе у тогдашнего века. А еще

отсюда было рукой подать до мест промысла. Порой Эйлив причаливал Лаусину кривулю к высокому борту и перекидывался словом с корабельщиками – старыми знакомцами из мира акульего промысла. «И-и, сейчас эта Серая туго пошла, от силы десять бочек набралось…» За одной из таких бесед выяснилось, что дата отбытия судна во Мерику уже определена: заграничный пароход отчалит из Фагюрэйри третьего мая. Мечта, умершая на крыльце Мадамина дома перед лицом краснощекой девахи, вновь воскресла в голове Эйлива. Значит, это не вздор: этой части страны и в самом деле давали шанс на поездку на Запад. Также в том разговоре он выведал, что один из кораблей, промышляющих акулу, «Слейпнир», при первой же возможности зайдет в Фагюрэйри за провиантом.

В тот же вечер, в девятом часу, когда все другие обитатели Следующего Обвала тщательно привязались своей веревкой безопасности, а огонек светильника потух, высокий человек тихонько выскользнул из постели и стал готовиться к отплытию, выволок из тайников свои пожитки, а затем сгреб в охапку мальчика, укутал его – вытаращившего глаза – своим свитером и ушел с хутора, не попрощавшись – хотя все-таки положил обпилок доски на сундук с книгами, принадлежавший хозяину-храпуну. Лишь молодой работник, Йоунас с кошачьими вибриссами, резко пробудился – но ему было до такой степени наплевать на важные шаги своей эпохи, что он не стал высказывать свое мнение по поводу исчезновения отца и сына, а снова заснул еще до того, как Эйлив спустился к морю.

Эйлив двигался быстро, но осторожно, держа мальчика в охапке, словно покражу, поскольку вокруг была непроглядная темень, лишь в самом верху на горах тускло светилось снежное пятнышко. И все же можно было различить во фьорде восемь акулоловных шхун, из них одну – неизвестно по какой причине, – под всеми парусами, а также четыре открытые лодки. На темной поверхности фьорда парусники казались еще более черными единорогами, которые спали, положив голову на копыта, так что их рога смотрели прямо вперед. С одной палубы в ночную мглу вылетел вопль, затем смех. Эйлив положил мальчика в лодку и оттолкнул ее от берега, а потом и сам запрыгнул в нее.

– Носью плывем? – спросил Гест, но в его словах не было ни тени страха, напротив, такая затея отца ему, кажется, была по нраву.

– Да, мы уезжаем из этого фьорда. Скажи ему: «До свиданья!»

– Досиданя!

– Вот именно. И сиди спокойно, держись за скамью.

– Досиданя!

Эйлив тайком подошел к борту «Слейпнира» и осмотрелся в поисках кого-нибудь из экипажа, но на вахте, судя по всему, никто не стоял. Он примерился к борту: чтоб дотянуться до его края, ему придется встать на скамью в кривуле – что он и сделал, с мальчиком на руках: поднял своего карапуза на борт шхуны (и таким образом Гест стал первым и единственным ребенком, которому когда-либо довелось побывать на исландском акулоловном судне), а затем отпустил его на палубу, не видя, что его там встретит: поколюка или совня, крюк или резак – так назывались разные виды оружия, применявшегося в той войне, которую человек вел против Серой. – Ты уже там?

– Тут пафнет! – отвечал детский голос из-за побитого волнами просмоленного борта, в течение шести лет служившего для двенадцати человек бруствером против самых лютых морских чудищ, испещренного следами от укусов акул и айсбергов.

– Что?

– Тут пафнет!

– А, пахнет? Это вытопка проклятая. Обожди там!

Потом Эйлив взял линь своей лодки с грузилом и зашвырнул его на корабль, подальше за релинг, чтоб не зашибить мальчонку, и булыжник с громким «бум!» ударился о палубу. За ним последовали пожитки в кожаном мешке, с более мягким звуком, а затем и сам беглец начал подтягиваться на борт, но это дело шло крайне медленно: хотя руки у него и были крепкими, тело все же было большим.

– Эта нась коляблик?

– Уффф… Нет, мы просто попросим, чтоб нас на нем подвезли… Здравствуйте!

«Бум!» все же разбудил кого-то, и теперь этот кто-то шел им навстречу, пробираясь вдоль релинга – во всяком случае, им так показалось в темноте. Эйлив не договаривался о спальном месте для себя и сына с предводителем, понадеявшись лишь на добрых парней Эгира[36], ведь на море все братья, к тому же один из экипажа был ему знаком. Он приготовился рассказывать историю своей жизни, перечислять, кто были его предки, где он батрачил, где жил, а затем – ту

историю, которую он в минувшие ночи сколотил молотом своей робости, – историю, которая должна была дать им возможность добраться до Фагюрэйри. Но с этим ему пришлось погодить, потому что в этот момент голова корабельщика свесилась за борт, и из нее изверглась мощная струя блевотины, сопровождаемая горловыми звуками. Гест смотрел на это действо, выпучив глаза. Затем корабельщик выпрямился, вытер остатки рвоты тыльной стороной ладони – и подал ту же руку Эйливу, так как был рад гостям, а рукопожатие сопровождалось редкозубой улыбкой под черной как ночь шапкой. Эйлив ответил на его приветствие и тотчас заметил, что моряк был пьян в дым. Едва успев закончить рукопожатие, тот стремглав бросился снова к борту и изрыгнул свой внутренний свет в ночную мглу. Но сейчас Эйлив услышал, что блевотина попала не в воду. Он выглянул за борт и увидел, что светлые цветные пятна украсили лодку возле корабля. А затем моряк шутливым тоном произнес:

– Какой у нашего Лауси нынче улов богатый!

Глава 20
Веселая компания акулоловов

– Что за бабу ты притащил, Снюсси?! А это кто – ребенок?

– Ну она и уродина, так ее растак!

– Ты, небось, напился до бесчувствия, когда ее подцепил!

Все трое уже спустились под палубу и стояли на пороге кубрика, дожидаясь, пока утихнет град насмешек. Кубрик был битком набит моряками, они сидели каждый на своей койке и передавали друг другу бутылек, разражаясь громовым хохотом. Воздух здесь был просто ужасный, насыщенный трубочным дымом, по́том, рыбьим жиром и соленой влагой, и этот мужской туман освещал довольно изящный жирник, свисавший с одного из стропил. Вдобавок огонь чадил в печурке, стоявшей у переборки возле дверного проема. В передней части этого корабельного отсека были двухъярусные койки по обе стороны, на трех из них сидели люди, а на четвертой (нижней) было навалено непонятное барахло, коробки и мешки. Внутри помещения были две носовые койки, сходившиеся концами у штевня корабля. На них можно было разглядеть двух лежащих людей. В другом углу виднелись промоченные морем кожаные чулки, кожаные куртки, свитера и моряцкие рукавицы среди принадлежавших корабельщикам рундуков – так назывались в акулью эпоху контейнеры для завтрака. Пол был обезображен пятнами морской воды, крови и табачными плевками.

– У меня мамкя помейла, – ни с того ни с сего брякнул сидевший на руке у отца Гест, словно понял эти просоленные издевки и почувствовал необходимость объяснить свое место в мире. Эйлив сносил насмешки моряков со всепрощающей улыбкой, – он хорошо помнил свою разгульную жизнь, когда он, бездетный, ревел над откупоренными бутылками, – и нагнул голову, стоя на пороге кубрика. Он не увидел своего приятеля – того, кто, как он надеялся, должен был стать его опорой в этом экипаже, – зато один из корабельщиков оказался знаком ему: черноволосый редкозубый уроженец Оудальсфьорда, который сидел возле койки-склада на своем рундуке и уписывал из него сушеную рыбу, а сейчас замолчал так же по-дурацки, как и остальные.

Гесту удалось заткнуть рот целой веселой компании акулоловов – а ведь ему всего два года! Да он бы во Мерике стал генералом, не иначе!

– Ну у мальца и язычище! На наживку, что ли, его пустить?

Тут хохот зазвучал снова, но уже более тяжеловесный – отягощенный грузилами нечистой совести.

– Нам во что бы то ни стало нужно попасть в Фагюрэйри, а мне стало известно, что вы идете туда за попутным ветром. Старшой у себя?

Тут компания вновь разразилась ржанием, потому что сейчас нашему беглецу указали на того, кто был пьянее всех: тощего длинного мужика с бородкой воротником, широкоплече притулившегося на краю койки у левого борта; казалось, он забыл только закрыть глаза, а так – находился в каком-то забытьи между сном и бодрствованием перед пародией на стол, стоявшей посреди кубрика под лампой. Этот мужик держал руки на коленях, а голову вытянул, и его поза больше всего напоминала позу человека, поднявшего пол-ягодицы с сиденья, чтоб воздух из кишок выходил лучше. Старшой был одет в желтоподмышковую нижнюю рубаху, с левого плеча которой на спину тянулось пятно сажи. Продубленная морем, редковолосая голова все время клонилась вниз и вперед с удивительно точной медлительностью, при этом осторожно подрагивая в такт корабельной качке, и эта большая голова постоянно стремилась на стол, и лоб грозил встретиться с бортиком, окантовывавшим края столешницы. Но когда казалось, что эта встреча вот-вот неминуемо произойдет, голова неожиданно отклонялась назад-вверх, и, судя по всему, здесь действовали одни лишь божественные помочи, все еще трепетавшие при его душе; в сознании этого мужика капитанская ответственность еще не заснула пьяным сном и удерживала его голову на своих потрепанных веревках, – и вот, он успел поднять эту голову и повернуть ее к Эйливу, все еще стоявшему в дверях, и тогда все увидели, каких нечеловеческих усилий это потребовало от старшого в его полубессознательном состоянии. Он, разинув рот, уставился на Геста и спросил его отца голосом, доносившимся с большой водочной глубины:

– Ты ягненка привел?

Экипаж рассмеялся над своим предводителем, который, надо заметить, говорил до обалдения искренне, и постепенно эта веселая, лампоосвещенная вечеринка угасла на темных волнах холодного фьорда в середине акулодобывающего века, как оно во все века бывает с мужскими вечеринками, если туда забредет ребенок. В меру пьяный штурман проводил отца и сына в каюту старшого на корме, где Гест и заснул самым крепким сном в древнейшей колыбели мира под мощный храп капитана, которого двум корабельщикам в конце концов удалось взгромоздить на его постель. Эйлив проснулся еще до отплытия и отбытия и попросил штурмана держаться берега настолько близко, чтоб можно было забросить линь с грузилом от лодки Лауси на взморье возле Следующего Обвала – что и было сделано. Там Йоунас на следующий день и найдет лодку, всю облеванную, а бедняга Лауси в это время не будет сводить глаз с обпилка доски, который обнаружит на своем сундуке с книгами и на котором вырезано слово «МЕРИКА».

Так отец с сыном окончательно уехали из Сегюльфьорда.

Когда шхуна на всех парусах проходила мимо оконечности Сугробной косы в утреннем сумраке, а Эйлив стоял возле кнехтов у левого борта, ухватившись за такелаж рукой, он не удержался и бросил взгляд в сторону пасторского жилья. По левую руку ему был виден величавый Мадамин дом, а чуть в отдалении – церковь и к северу от нее Старый хутор, где обретались батраки, голытьба, пророки и коровы. Затем он перевел взгляд на церковь и кладбище и попытался разглядеть крест на могиле жены и дочери, чтобы красиво попрощаться с ними, но в голову к нему забрело лишь изображение из соседней могилы: его внутренний взор вдруг проник в мозг пастора Йоуна: он был нараспашку и гнил, а сам Йоун лежал на вечной подушке у себя в гробу и так чертовски громко орал своей посмертной гримасой, что наш беглец даже отступил и передвинулся на форштевень. Оттуда он увидел, как в соленой предутренней дали поднимается его жизнь, увидел здания, высокие словно горы, дома, которые кто-то прозвал небоскребами (ну и слово!), танцовщиц с пучками перьев в руках и на груди, увидел, как его сыночек сидит в диковинном сооружении, что само катится на колесах: образованный, улыбающийся во весь рот, – а посреди улыбки у него сверкает золотая специя[37].

Глава 21
Сосед по комнате

Город Фагюрэйри располагался в самой глубине великого Эйрарфьорда, который был настолько длинным, что тянулся от самых крайних побережий вглубь острова почти до середины. Если уподобить Исландию большому торту-мороженому, из которого вынули длинный кусок, то место, оставшееся от этого куска, и было бы Эйрарфьордом, украшенным тремя песчаными косами: Фагюрэйри, Квальбаксэйри и Мьяльтэйри. Первая из них находилась в глубине фьорда и благодаря своему расположению была в этой холодной стране единственным островком климата, хоть сколько-нибудь похожего на континентальный. Прохладные ветры с юга, пробежав через всю страну, прибавляли несколько градусов тепла и сбегали с центрального высокогорья горячими, как из печи. Приезжих это удивляло: ведь, согласно общему правилу, исландский ветер должен быть холодным, – и порой можно было заметить, как гость стоял в изумлении на туне[38] и сушил свою давно промокшую душу теплыми дуновениями с юга. Точно так же и арктически студеные северные ветра всегда оказывались изнурены долгим путешествием вглубь фьорда, когда наконец достигали Лужицы – так называлась гавань в Фагюрэйри, в которой веками царил штиль.

Также там произрастал единственный на всю Исландию лес и единственное поле со злаками, а в городе перед лучшими домами в палисадниках распускались декоративные растения. Так что поселение здесь было необыкновенно цветущим, от него веяло другими странами, более обыкновенными, в которых выпадало больше бессвитерных дней, чем лишь один-два, и где люди, например, считали в порядке вещей сидеть в кресле на улице. Жители города в связи с этим осознавали свою ответственность и пытались обращаться со своими необычными условиями жизни достойным образом, снимали шапки перед деревьями и разговаривали со своими цветами по-датски[39].

Здесь было примерно пятьсот жителей, в основном простонародье, в поте лица добывающее пропитание, однако на этой прекрасной косе также складывалось и крошечное сообщество чистой публики, так как множество шляпоголовых стучало тростями о мостовую: сислюманн, викарный епископ, пастор, редактор, торговец, еще торговец, и еще

торговец, рыбопромышленник, крупнейший исландский поэт. Они никогда не спешили по городу, напротив, им приличествовало почтительно шествовать при цилиндре и перчатках. Они всегда здоровались друг с другом, словно учителя, встретившиеся в коридоре гигантской школы, слегка утомленные тем, что им день-деньской приходится общаться со всякими невеждами и просвещать их, а также довольные, что им удалось перекинуться словцом с ровней. Своих жен они держали дома, большею частью на верхних этажах, где те развлекались писанием писем, вышивкой и прическами.

– Смотйи, папа, домики! Много домикев!

Гест как завороженный смотрел на город, полукругом обступивший Лужицу, простершуюся от середины косы вглубь фьорда. Даже его отец удивился этому деревянному царству, которое с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, явно подросло. Плавание прошло хорошо; «Слейпнир» легко вплыл во фьорд под сырым северным ветерком, его лишь слегка покачало, когда он проходил крайнюю скалу Оудальсфьорда. От той качки Гест проснулся, и его стошнило на ладони отцу. Больше всего сия рвота напоминала золото.

Их пустили к себе жить Лауренсия, сестра матери Эйлива, и ее дочь Маргрьет. Они обитали на Косе в каменном подвале искривленного ветрами деревянного дома, стоявшего во втором ряду, если считать от взморья. Отцу с сыном отвели темный закуток в глубине жилья матери и дочери, – место, во многом бывшее дивной помесью сырой прачечной и конюшни, потому что в передней части комнаты стояла рухлядь-кровать для людей, а в задней, за обветшавшей деревянной решеткой жевал сено абсолютно черный жеребец. У него был выход из подвала через заднюю дверь, но он им не пользовался, а справлял нужду прямо на пол. Желтый ручей тянулся из-под решетки на середину комнаты, где впадал в продолговатую лужу, которая в свою очередь вытекала в неприглядный сток, зиявший в полу.

– Как его зовуть? – спросил Гест вне себя от радости.

– Космос, – сухо отвечала старуха.

Лауренсия родила в этот мир 18 детей, и у нее развилась на этот вид существ стойкая аллергия. Младшей у нее была Маргрьет – больная, находящаяся на попечении матери, уже одиннадцать лет прикованная к постели. Это был тяжелый случай морской болезни, возникшей, когда мать с дочерью плыли сюда с Лодочного берега, и не

прошедшей на суше. Эта сухопутная морская болезнь выражалась в обильном образовании влаги и выделений вокруг больной, стена в ее изголовье была сплошь покрыта морскими водорослями, белоракушечными морскими желудями и мшисто-зелено-рвотной плесенью.

– Кофмос! Там мамкя зивёть! – воскликнул милый мальчуган, не сводя восторженных глаз с жеребца, а потом на секунду призадумался: – Мамкя в лофадь.

Конек сделал небольшой перерыв в жевании и чуть заметно двинул головой в сторону отца и сына, а его морда при этом напоминала обиталище усопших. В узкой полоске дневного света из грязного оконца под самым потолком на его черном лбу посверкивала звездочка.

Старуха давным-давно исчерпала весь свой запас гостеприимства; она резкими шагами ходила по комнате: худоногая, согбенная – так что ее седые косички мотались у нее перед лицом, словно атрибуты какого-нибудь дохристианского раввина. Это придавало старухе вид одновременно весьма древний и на удивление девчачий. – Кормить я вас не буду. Тут еще в прошлом году все кончилось.

Вечером они скудно поужинали взятой в дорогу провизией. Назавтра было 29 апреля. Через четыре дня должен прийти их корабль. В этом агент не соврал, потому что подтверждение Эйлив получил от двух галстучных господ у лавки Коппа, и тогда грубиянка Лауренсия стала ругаться, что весь город заполонил люд, «без которого в стране воздух будет чище»[40], а потом взяла и захлопнула ту влагозащитную мембрану, которая в этом жилище играла роль входной двери. Гест вытаращил глаза на эту дверь, а затем на другую, полуприкрытую, ведущую к больной. А затем тихонько вошел к этой своей родственнице, приблизился к кровати и прошептал на ушко тайну:

– А мы во Мейику едем!

Женщина с синими кругами под глазами стеклянно уставилась на него из-под своей богатой коллекции морской фауны, украшавшей стену (а что это вон там? часом не морская звезда?), и ответила жалким хриплым голосом:

– О, о! Прямо через океан?

Ее услыхал Эйлив, вздыхая, пришел к порогу, извинился за сына и велел ему оставить больную в покое. Старый хуторянин из Перстовой

хижины порядком умотался оттого, что ему постоянно приходилось исполнять роль няньки, будь она неладна! Он-то рассчитывал, что родственницы приглядят за мальчиком, а он будет ходить в город по делам и, может быть, заглянет к своему другу старине Вальди из Ущельной хижины, у которого всегда найдется глоток корабельного винца. Но об этом и речи быть не могло: одна не вставала с постели, а другая была настоящим ходячим пугалом для детей. Этот мужик вытаскивал акул из моря, овец из сугробов, проходил буран насквозь за каких-нибудь пятьдесят часов – но все это было детской забавой в сравнении с этим непосильным трудом. Мальчику вечно хотелось есть, болтать, какать, писать, а еще он вечно вертелся, и с него ни на миг нельзя было спустить глаз. Если Эйлив улучал минутку, чтоб выполоскать с тряпки-подгузника и из ночного горшка следы поноса, Гест с голеньким задом уже оказывался на улице и на взморье и уже вовсю ссорился с шелудивым псом из-за дохлой птицы. Заканчивалось все это, разумеется, горькими слезами, а измученный отец спрашивал всех своих внутренних человеков, не лучше ли подыскать для ребенка хорошую приемную семью, а самому отправиться во Мерику в одиночку. Это разве препятствие? Где вообще видано, чтоб мужчина возился с малышней? Конечно же, нигде, и на то есть своя причина. Вот как, черт возьми, повязать на ребенка эту тряпицу, чтоб все какашки сгружались точнехонько в нее?! Но потом он вспоминал свое возвращение в Перстовую, ноги жены и маленькую ручонку в ее руке, – и чувствовал, что никогда не расстанется со своим Гестом.

Корову Хельгу он в конце концов продал Стейнгриму, а также получил на руки сумму за продажу земли Перстовой хижины, которую в свое время положил на счет хозяина Перстового в кооперативе, – всю за вычетом хлопот, которые эта выплата доставила купцу. Ведь в том банке, который представляла собой лавка исландского торговца, деньги снимали отнюдь не каждый день, там господствовал товарообмен, так что торговец обвинил Эйлива в том, что тот хочет выбить почву из-под ног у его дела, требовал у него разрешения от хреппоправителя, – да и что он собирается делать с такими деньжищами – стоимостью целой коровы и хижины? В конце концов нашему герою удалось-таки выбить из него свои деньги: не мытьем, так катаньем; правда, торговец отхватил себе от этой суммы четвертую часть как компенсацию самому себе за моральный ущерб. В карман брюк Эйлив положил сто старых

ригсдалеров – единственные деньги, которые он в жизни держал в руках: их должно было хватить на проезд до Шотландии, а оттуда – через океан на запад.

Через океан на запад! Подумать только: он купит себе целый океан!

Космос был приятным соседом по комнате: спокойным, домашним, не двигался с места и целыми днями жевал свое сено, которое всегда берег, ведь ему – подвальному коню – много и не давали. Для Геста он был богом, а Эйлив был вынужден признать, что ему трудновато заснуть, если так близко от него стоит лошадь; корова Хельга – это другое дело, по вечерам она всегда укладывалась в их маленькой бадстове, а конь спал стоя, плотно сжимал ноги, выпустив из них все сознание, превратив их в четыре ножки, а собственное туловище – в матрас, голову – в изголовье, – он превращал в кровать самого себя и так спал самым идеальным в мире сном.

Этот тихий мудрец был преисполнен метафизического покоя и наделен сверхчувствительностью к обстоятельствам. Когда он бодрствовал, то часами мог стоять неподвижно, размышляя о положении вещей во Вселенной, истории и развитии галактик, тихонько вращавшихся в нем. Его с легкостью можно было бы назвать философом, думающим о судьбах мира, если б он сам по себе не был целым миром. Во всяком случае, наш мальчуган был убежден в этом.

«Кофмос не спа́ет», – такую фразу он произносил последней каждый вечер, а потом снова ложился и смотрел, преисполненный восхищения и благоговения, на этого своего огромного друга, молча стоявшего в своем углу, – пока глазки Геста не закрывались; и тогда его разум выходил прогуляться по сновидениям в детской душе, показывал свои быстро-летучие картины и вытряхивал из своего цилиндра северные сияния, крутящиеся в космосе души. Все это были такие вещи, о которых Гест никогда не узнал бы никаких вестей, этот блистательный хаос принадлежал океанским глубинам жизни. Ибо как море таит в себе жизнь, богаче той, знакомой человеку на земле, так и душевная жизнь представляет большей частью неисследованную бездну, где днем и ночью сверкают гигантские зарницы, которые ни один человек никогда не видел собственными глазами.

Впрочем, мы кратко опишем их здесь.

В Гестовых глубинах ночами напролет сияла та смутная уверенность, что его мама – где-то в конских внутренностях у Космоса, плавает там при мертвенно-синем свете своей души – умершая женщина, а в придачу к ней и сестренка, и они наконец приняли окончательную форму усопших, больше всего напоминающую скомканную бумажку, но при этом твердую и неизменную. И эти два черных горестных комка плывут по Вселенной, повинуясь законам ее ветров, подобно шуршащей опавшей листве на улицах и в садах. Но эти формы посмертного бытия все же имеют крошечный размер, чтобы целые души Вселенной уместились в одном коне, а кроме них коня темноты наполняют все звезды небесные, вся жизнь планет и все планеты галактики, все галактики, известные и неизвестные, вместе с их похожими как две капли воды богами, и вся эта гигантская совокупность тихонько плывет по жилам черного Космоса, где каждое солнце – белое кровяное тельце, а каждая луна – красное кровяное тельце. По этой причине Космосу приходилось двигаться очень осторожно, а лучше всего вообще не двигаться, ибо черно-бурый звездоносный конь лучше людей знал, что он – Вселенная. Каждый клок сена, который он съедал, сгорал в космической пустоте, подобно комете, и каждый метеорит, упадавший с него, тотчас уносился на *всеполе* которое окружает Вселенную и превращает сена воз в навоз путем простой замены звуков. Это называется – круговорот жизни.

Когда Гест просыпался от этой круговерти и распахивал свои прекрасные планеты, которые провели ночь на орбитах во чреве коня, его отцу выпадала крупица покоя, словно кроха сахара, подслащавшая весь день. Конечно же, он – его сын, конечно, он и есть сама жизнь, конечно, он стоил всего этого! И пусть они несхожи обликом, они – одно целое: он и сын. Все, что было внутри него, – было и в нем.

И вот он лежал на подушке, и улыбался своим большим лицом, и восхищался тем, как его сын восхищается миром, который стоял здесь же в углу, со своими по-космически толстыми губами.

Глава 22
Простой человек из народа

День начинается с хлопанья двери. А затем старуха поднимается по лестнице подвала, по-детски торопливо шагает в утренний сумрак со своими двумя косичками над лицом, мешающими ей, и двумя тепловатыми хлебами под мышками, – ммм, это самые теплые предметы этого раннего часа. В шесть она уже торопится на парадную лестницу.

При громком хлопаньи двери Космос и ухом не поводит, он к этому привычен: так в подвале начинается каждое утро: с аромата хлеба и хлопанья двери, – но вскоре он поворачивает уши совсем не туда, куда смотрит его голова, а на самый север, потому что сейчас над городом прокатывается звук пароходного гудка – одного гигантского гудка. Эйлив не может сказать, каков этот звук: мрачный, апокалиптический – или он сулит лучшие, прекрасные времена. Но как бы то ни было, такой гудок не каждый день раздается в исландских фьордах. За ним стоят сто восемьдесят исландских душ, которые этот корабль собрал в портах на востоке страны, и этот трубный звук получился из-за того, что сейчас они все сообща чихают на свою родину. Корабль «Мэйфлауэр», идущий в Америку, входит во фьорд.

– Нет, Гест, родной, не лезь в лужу!

– Я поговойю с Кофмосом. Сена ему даду.

– Тогда обойди с другой стороны.

– Мозно в лужу попи́сать?

– Нет, мы пойдем пи́сать на улицу.

Над высокогорной стеной по ту сторону фьорда пролилась рассветная кровь – недаром про это время суток говорят «рана», – и небо уже стало прозрачно-светлым, как моча, когда отец с сыном закончили свое мокрое дело за домом. Гест после четырехдневного пребывания с отцом научился справлять малую нужду без посторонней помощи. На обратном пути они разглядели в утренних сумерках спину человека, стоявшего у дома напротив, богатого дома ближе ко взморью, украшенного двумя освещенными окнами.

Их глазам предстали черные подтяжки, пересекавшиеся на белой нижней рубахе крест-накрест, в виде большой буквы «Х». Тот человек,

очевидно, был их товарищем по мочеиспусканию; он вытряс из себя последние капли, застегнул ширинку, повернулся и пожелал доброго утра. Эйлив ответил на его приветствие и уже собрался спускаться в подвал Лауренсии, но человек в подтяжках и без шляпы был, очевидно, подвержен приступам утренней бодрости, порой одолевающей мужчин средних лет, что на пике жизни начинают с нетерпением ждать утра и кофе, как в молодости ждали вечера и рюмки, и предпочитают встречать каждый рассвет уже на ногах, в своей мещанской радости от неожиданной посылки, новой собаки или неудачи коллеги, о которой можно узнать из свежей газеты. Во всяком случае, этот мочеиспускатель в то утро был в исключительно хорошем расположении духа и захотел перекинуться словцом с добрыми соседями, а может, к этому примешивалась еще и кроха любопытства: как живет простой народ – люди, населяющие эти бедные домишки позади него.

– Вот это я понимаю – корабль! – сказал он, глядя через плечо Эйлива на взморье и фьорд. – Судя по виду, в нем тонн 1 600 будет.

Эйлив развернулся и не мог не согласиться с собеседником:

– Да… Это ведь пароход?

– Верно. Английская гадость, которая плавает везде, гудит и сманивает от нас население целых долин, словно он их всех своим гудком в сказку зовет. Наш редактор назвал его «пароход-людосос». Будь у меня пушка (а она бы мне не помешала, хо-хо), я бы сегодня утром пальнул со всей силы – и прямо по капитанскому мостику! А так сегодняшний день просто роскошен, потому что вчера «Фагюрэйри» привезла сто бочек. Сто бочек, представляете! А это сынок ваш? Я вас тут раньше не видел, вы у Хавстейнна живете?

– Нет, в подвале, у Лауренсии.

– А-а, этой, с косичками! Вот это женщина!

– Да, ей в жизни пришлось тяжело.

– В этом я не сомневаюсь, а кому вообще легко? Я ведь и сам, скажу как на духу, родом с Раздавленного хутора в Нищебродской долине. Там даже коровы не было – вот представьте себе: не было коровы на хуторе!.. Но, кажется, я тебя узнаю; я тебя раньше видел?

Едва собеседник произнес это, Эйлив понял, с кем же он разговаривает. О нет, какого лысого!..

– Нет, не думаю.

– Слушай ты, болван! Ты мне, милый мой, должен 99 форелей! Девяносто девять! Вот это повезло так повезло! Вышел за нуждой, а вернулся с 99 форелями! Где они?

– Они… ты… Вы тот самый торговец?

Эйлив спросил словно ребенок. Ведь он видел Коппа только в полной амуниции, а в исподнем – никогда. И ему никогда не приходило в голову, что торговцу надо справлять нужду, как и другим.

– Ну, может, я и не «тот самый», но один из троих. Ты брал у меня в кредит пшеничную муку под Рождество, пять кило, верно? – Нет… всего три.

– Ну вот, видишь. И ты должен мне девяносто девять форелей из вашего озера там, в Сеглафьорде!

– Ну… С тех пор много что изменилось.

– Девяносто девять форелей так и остаются девяносто девятью форелями зимой, весной, летом и осенью. Точно так же, как сто бочек – это сто бочек и на море, и на суше.

– Да, но…

– Никаких «да, но»! Когда я получу свою рыбу? Сегодня?

– Нет, сегодня не выйдет. Мы сегодня во Мерику уезжаем.

Глава 23
Взыскание долга

Тут Эйлив Гвюдмюндссон заплатил за честный ответ слишком высокую цену. Позже днем комитет из трех человек: сислюманн, блюститель закона и Копп, – выплыли на Лужицу и поднялись на большой пароход «Мэйфлауэр». Там они спросили некоего господина Гвюдмюндссона и принялись изучать список пассажиров. Мистер Адамс, белобородый капитан с шотландским акцентом, не придал этому значения: ведь все, кто поднялся на борт, заплатили за проезд и фактически уже выехали из страны: корабль есть корабль, а находиться на море – значит находиться в другой стране с другими законами, и мистер Гвюдмюндссон теперь гражданин океанов, свободный от всех грехов на суше. Однако начальнику полиции можно послать ходатайство о выдаче в соответствующую инстанцию, в данном случае в канадское министерство иностранных дел или их представителю в Лондоне. Но исландцы были упрямы как черти и насели на капитана:

– *In this ship is crime!* [41]

Действие перенеслось с капитанского мостика на палубу, где члены экипажа в конце концов поддались уговорам и вывели тех 37 горемык, которые записались в поездку на этом «Майском цветке» в тот день – как раз третий день мая. Сплошь нищие беженцы с трех кос и из четырех долин, длиннополые платконосные женщины да усатые угрюмобровые мужчины, и в присутствии своего старого начальства они добровольно и машинально выстроились в очередь между двумя мачтами по длине палубы, как обычно делают люди в своей дружной покорности властям. Никому не пришло в голову очевидное: могучие батраки запросто могут скинуть эту делегацию, эту ряженую троицу за борт. Но здесь каждый знал за собой какую-нибудь вину, невиновных здесь не было, здесь все были слишком бедны, чтоб считаться порядочными гражданами, и если уж на то пошло, все они что-нибудь да задолжали своему торговцу, а кое-кто даже не отбыл причитающееся ему наказание розгами в самой медленной судебной системе на свете, – на самом деле здесь любого могли вновь бросить в его лачугу или даже в темницу.

Сислюманн был по-тюленьему толстый, пузатый, с лицом более копповским, чем даже у самого Коппа: толстые щеки, маленький нос, аккуратная коротенькая бородка – но колючие глаза хищной птицы под хмурыми бровями и красиво блестящий второй подбородок, которым он гордился и каждое утро тщательно выбривал. Он окинул очередь взглядом, затем прошелся вдоль нее, думая: какая же она, наверно, жалкая, эта богом забытая страна, если собирается принять этих нищих, этих убогих голодранцев! Наверно, эта «Мерика» – какая-то сточная канава мировой истории. Сислюманна сопровождал длиннолицый худощавый полицейский, а следом за ним пыжился Копп в сюртуке и цилиндре, и он быстро нашел своего должника, свои 99 форелей. Эйлив, стоявший и державший мальчика на правой руке, ответил торговцу взглядом свинцово-тяжелых зрачков из-под своих черных бровей.

– Вот он! Он у меня украл! – завопил торговец так громко, что у него в носовой части засвистело, – и тут испытал облегчение, подобно человеку, отыскавшему пропавшую лошадь: – Вот этот, с мальчиком!

Сислюманн облизал губы, сложил их трубочкой, затем снова облизал, так что темные усы и борода вокруг них пошли складками, словно шерстяной носок, который надевают на пальцы, чтоб сделать из него куклу, – но второй подбородок под этим всем двигался словно горло сокола, проглатывающего мышь. Но не успел он обратиться к обвиняемому, как откуда ни возьмись появился тот проворный американский агент, кот в сапогах, южноисландский чистоплюй, который несколько недель назад, словно русалка на скамье в лодке, продал сегюльфьордскому вольнику мечту о строительстве железного пути. И где же этот кот скрывался? Он обратился к Коппу:

– Сколько, вы говорите, стоят эти форели?

– Стоят? – переспросил Копп.

– Да. Почем вы, датчанин, пшеницу продаете?

– Эээ, я… не помню.

– Сколько стоит кило муки у вас в лавке?

– А?

Торговец не нашелся что ответить. Такого нелепого вопроса ему никто в жизни не задавал!

– Какова цена за килограмм? – не унимался агент.

– Ну… тут по-разному бывает.

Это было настоящим разоблачением исландской экономики, основанной на принципе «что левая нога захочет», изменчивой, как облака в небе. Исландцы были выносливы, смекалисты, большинство из них умело и подать руку помощи, и отыскать выход, они лучше всех народов приспосабливались к неожиданным обстоятельствам – но ничто не угнетало их больше, чем постоянные величины, взвешенные решения, заключенные договоренности и четкие планы. Этот народ лучше чувствовал себя при неопределенности, чем при определенности, попав в переплет, предпочитал выкручиваться, но ни в коем случае не находить выход с помощью рациональности и предусмотрительности. Все это относилось и к торговцам в этой стране, ведь у них, конечно же, хватало ума нажиться на такой сложнохарактерности своих земляков. Но может, это все происходило из-за поэзии – явления, которое другие народы только терпели, а исландцы чтили. Ибо здесь даже основные величины экономической системы – цены на муку, на мясо и вино – являлись поэтическим вымыслом, были нафантазированы, переменчивы – зависели лишь от капризов вдохновения.

– По-разному?

– Да, смотря по тому, с кем имеешь дело… и время, и место, и…

– Цена за килограмм муки зависит от времени и места?

– Да.

– Господи Исусе! И стоит ли удивляться, что все эти люди решили уехать в Америку? Как, по-вашему, каково с этим жить, зависеть от вас, платить такую цену за нищету?

– Изменник! Ренегат! – закричал на него торговец.

Капитан Адамс и несколько других членов экипажа удивленно смотрели на это столкновение земляков на открытой палубе, а позади них пассажиры, беглецы из других округов, обступили увлекательную сцену полукругом. Мало что так интересно, как наблюдать чужую ссору. Жители Эйрарфьорда все еще стояли, выстроившись в очередь между двумя мачтами, со своими пощипанными морозом лицами девятнадцатого века, а их широко распахнутые глаза были полны туземного страха и тревоги, так что вся очередь сильно напоминала скот, ждущий, пока хозяин решит, кого пустить под нож, а кого оставить. Сислюманн почувствовал, что речь идет о чести – и его

собственной, и его народа, и вмешался, пытаясь сдерживаться и говорить объективно – что все-таки не вполне удалось ему:

– Мы… давайте, мы не будем пускаться в прения о нашей исландской действительности. Как всем ясно, она сложна, и крайне спорной является та попытка обескровить нашу страну, которую мы наблюдаем здесь…

– «Обескровить»! – вскричал безбородый агент. – Это кровосос-то говорит «обескровить»! Прошу вас забрать эти слова обратно, так как я здесь помогаю нуждающимся. Если уж употреблять сильные выражения, то уместнее сказать, что сейчас рабам даруется свобода.

Люди изо всех сил слушали; видимо, кто-то из них услышал слово «свобода» впервые в жизни, а другие морщили нос: ишь, он нас рабами назвал, да мы рабами-то никогда не были, разве что у собственной страны в рабстве – но ведь это у всех исландцев так. Представитель отечественной власти скосил глаза на широкобрюхого капитана и ощутил острую необходимость загасить этот спор: внутрисемейные дрязги в чужие дома выносить ни к чему. С другой стороны, сислюманну подобало довести процесс взыскания долга до конца.

– Давайте охладим наш пыл. Приношу вам извинения за свои слова. Но факты таковы, что этот человек, Эйлив Гвюдмюндссон из Сегюльфьорда, остался должен торговой лавке, и мы не можем выпустить его из страны. Закон есть закон.

– Девяносто девять форелей! У нас была договоренность! – бубнил Копп.

Агент спустился так же быстро, как и взбегал наверх, и взвешенным тоном поинтересовался:

– Сколько вы заплатите за такой улов?

– Это… это…

Торговец замялся с ответом, а кот в сапогах усмехнулся уголком рта и потряс головой, а потом быстро повернулся к Эйливу и спросил:

– Сколько у тебя есть?

Эйлив превратил свои хижину и корову в ригсдалеры, а их, в свою очередь, в кроны у одного копилколюба в Фагюрэйри, который также снял с этого обмена сливки, как и торговец из Сегюльфьорда. Из того, что осталось в итоге, Эйлив отдал за билет через океан сто двадцать искрон, а своей скупой родственнице за постой – десять крон. Так что оставалось у него семьдесят крон, которые он еще раньше днем

поменял у представителя пароходного агентства на английские королевские фунты.

– Двадцать фунтов.

– У него двадцать фунтов. Этого будет достаточно за форелей?

– Фунтов? А это что такое?

– Это валюта королевы английской Виктории.

– Я беру только исландскими кронами!

– Ну, это равняется семидесяти исландским кронам. Этого будет достаточно?

– Никоим образом, – ответил Копп.

– Сколько не хватает? – спросил кот.

И снова торговец замялся. Цена 33 форели за 1 кг муки была назначена при особых обстоятельствах, в некоем потрясении ума, на самом северном берегу, в двух днях пути от прилавка, вдобавок, за неделю до Рождества. К тому же все происходило на улице, да еще при пяти градусах мороза. Все эти факторы оказали неоценимое влияние на ценообразование и способствовали повышению стоимости.

Сислюманн разрубил этот узел, прибавив новый факт:

– Также за ним остался другой долг – старый тюремный приговор за кражу снеди, приравненный к двадцати семи ударам розгами.

– Он задолжал вам двадцать семь ударов розгами?

– Да.

– Может ли он погасить эту задолженность здесь и сейчас?

Борода вокруг рта сислюманна пошла волнами, глаза горели презрением. Что это еще за шутки? Капитан следил за ними из своей шотландской дали, и от этой бессмыслицы его начало клонить в сон. Как бы мало он ни понимал этот язык, он все же прекрасно понял, что дело здесь совершенно непонятное. Три килограмма муки превратились в девяносто девять форелей, которые стали двадцатью британскими фунтами, а те, в свою очередь, превратились в двадцать семь ударов розгами. Он собрался было сделать шаг вперед и разрубить этот узел, как сислюманн проглотил свой гнев и выдал финальный трубный аккорд:

– К тому же этого человека подозревают в убийстве пастора.

Агент вытаращил глаза, переводя взгляд то на Эйлива, то на сислюманна. А последний повернулся к капитану и обратился к нему по-английски, но слова «подозреваемый» не знал, а сказал только

murder, а затем *a priest.* И все это сопровождалось таким серьезным выражением лица, что капитан переспросил:

– Этот человек убил пастора?

Сейчас все громы небесные пали на одну голову: отец-одиночка, у которого все имущество в кармане, а ребенок на руках, он должен торговцу, воровал с голоду и подозреваем в убийстве священнослужителя. Против такого перечня Эйлив стоял как истукан (а над его головой орали чайки, а майский холодок хватал за плечи и ляжки), и он одновременно был преисполнен раскаяния и праведного гнева, отягощен чувством вины и разгневан несправедливостью этого мира. Ему захотелось встретить этот момент криком – воплем, похожим на предсмертный крик хищника, но вместо того, чтоб поступить так, он лишь бросил взгляд на заснеженные горы за Фагюрэйри, их отроги, плоскогорья, все эти части тела своей родины, которые были знакомы ему лучше, чем чресла собственной супруги. И вот, когда этот темноглазый человек взглянул на эти многосугробные кряжи, он наконец осознал свое место в мире, понял, что он приговорен, что он с самого начала приговорен, не людьми, а страной, этой окаянной ураганной страной, что он виновен, а виновным его признали эти горы, одновременно и следователи, и судьи, и само наказание.

Он был простым исландцем.

Эйлив шагнул вперед из толпы, поднялся на палубу, предавая себя в руки торговца, сислюманна и полицейского, однако этим самым шагом задал самому себе тринадцать вопросов, которые все были разными вариантами одного и того же: «Что я, черт побери, делаю? Я, такой большой человек, склоняюсь перед мелюзгой, унижаю себя перед моим народом и иностранным господином морей! Я шагаю навстречу разверстой могиле…»

Он склонил голову перед властями, закрыл глаза и увидел перед собой огромные пароходные трубы на земле, а на одной из них – Геста, который раскачивался в дыму как на качелях.

И капитан, большой Адамс, наконец устал от всех этих разглагольствований и не стал делать замечания, когда Эйлив оказался за бортом, и его увезли на лодке прочь от парохода вместе с его любимым торговцем и драгоценным сислюманном.

Высокий человек сидел как приговоренный в сислюманнской лодке и по-прежнему не сводил глаз с седовершинных гор за

Фагюрэйри. Никогда они не казались ему столь прекрасными – и никогда раньше он не испытывал к ним ненависти.

Его земляки выстроились вдоль борта «Мэйфлауэра», любопытные головы в шапках и шляпах, и наблюдали, как лодка остановилась посреди Лужицы, и там началась какая-то возня. Через несколько минут высокого человека повезли к одной шхуне, стоявшей на якоре в тихой гавани, ближе к берегу, – двухмачтовому палубному кораблю типа галеас. Шотландским глазам представилось, что это местное полицейское судно, которое сейчас повезет убийцу на юг, на встречу с правосудием. А многие из переселенцев за океан знали, что это знаменитая «Фагюрэйри», одно из акулопромышленных судов Коппа. Лодка скрылась за форштевнем шхуны, но вскоре появилась снова, уже без Эйлива.

Люди, к своему удивлению, заметили, что торговец держал ребенка.

Глава 24
Акулье сердце

«Акула!» – крикнул Гвенд рядом с Эйливом, и их товарищ, подручный на судне, подскочил к нему и начал вместе с ним тянуть. Они работали слаженно как один человек: рука одного держала снасть, в то время как рука другого втаскивала, и так рука за рукой. Качка была сильной, а на востоке набухала чернота, но они наконец набрели на акулу в море, и сейчас надо было приложить усилия и не оплошать. Корабль стоял на каменном якоре, который зацепился на глубине 200 саженей, так что судно удерживалось прочно, форштевнем к мокровею, без устали пронзая белопенную волну своим бушпритом. Старшой – широколицый прищуренный малый, Свальбард Йоуханссон с Лодочного берега, стоял у руля и следил за штагами, и реями, и линями, а паруса они все давно свернули.

Сам Свальбард был слишком поглощен мгновением собственной жизни, чтоб увидеть взглядом наших – более поздних – времен то, что представало перед ним, а это было грандиозное зрелище: дневной свет просачивался из белесого облака тумана впереди, а потом сверкал на промоченной волнами палубе, проглядывающей сквозь мачты, перекладины и реи, ванты и штаги – голые ветви того единственного вида «деревьев», который растет на море, а сильнее всего палуба сверкала, когда корабль «нырял» носом, образуя угол отражения с небом, а затем форштевень разрезал волну, и через него прокатывался шквал, солено-белая мокреть тяжелого сорта – а затем корпус вновь принимался взбираться вверх по водяной горе. На ее серо-зеленой вершине реяли белые гривы, словно снег, вихрящийся над ледником, а потом сугроб раскалывался, и волна обрушивалась на саму себя и на посудину. Но перед этим наклон становился таким опасно крутым, что маленькому мальчику, живущему в душе каждого капитана, казалось, будто он ведет свое судно прямиком в небеса, и это чувство было невероятным, потому что у правого борта четверо человек стояли на коленях у своих снастей, тянувшихся через релинг вниз, в самые глуби земные. Впрочем, один из них уже поднялся, и подручный Халльдоур пошел помогать ему, так как помимо капитана на палубе было пятеро человек, а шестеро – в трюме, объятые сном матроса во время большой

качки: этот сон сладостнее всего на земле, да вот пробуждение от него слишком быстрое. Здесь по морю носились – спящие и бодрствующие, отсыревшие и до нитки промокшие, сильнорукие и мужественные – двенадцатеро исландских сверхбогатырей. Из всех героев моря эти были самыми великими: акулья эпоха в Исландии была вершиной в истории подвигов на море.

Ни до того, ни после того люди не выходили на открытых судах на морские просторы, чтоб помериться силой с таким злым и коварным существом, как акула. И хотя сейчас корабли по большей части оснащены палубами, защиты от холода и сырости на них по-прежнему мало, да и сами плавания не менее рискованные. Из тех 765 акулопромышленных судов, что выходили в море из рыбачьих поселков Исландии, 345 тонули или, как тогда выражались, их «на скалы наносило».

Эйлив стоял на коленях у самой передней акулоловной снасти, в заемных кожаных штанах, двойных рукавицах и почти не годной кожаной куртке, со слишком короткими для него рукавами. При каждом шквале морской холод сковывал его по рукам, как наручниками. Видимо, не существовало той овцы, у которой ноги были бы достаточной длины, чтобы выкроить рукава для такого верзилы. Одну руку он держал за бортом, сжимая натянутый как струна трос, чтобы почувствовать, когда Серая начнет ощупывать наживку или когда ринется на нее и зацепится пастью за «тягалку» – так назывался толстый крюк на акулу.

Его товарищи продолжали рьяно тянуть, Гвенд и хуторянин Халльдоур, подручный на этой вахте. Он помогал всем, дородный выходец из Хунаватнссислы с бакенбардами, сужающимися книзу, расторопный и на удивление крепкорукий. При такой качке работа была нелегка, но вот наконец показалась петля, а затем из волн вынырнуло искусно сработанное каменное грузило. Сейчас двоица пододвинулась к вантам, в сторону тали, но тут на корабль налетел внезапный порыв бокового ветра, и юный Гвенд поскользнулся на палубе, упустил трос и ударился правым бедром об один из ящиков для печени. Но Халльдоур успел удержать трос, пока мальчик не прихромал к нему обратно, весь разбитый, и они вдвоем вытянули это чудище из моря. Промоченная морем длинная борода хуторянина снова стала развеваться на ветру, словно набрякший от дождя шарф. Едва из воды показалось белое

акулье рыло, подручный оставил Гвенда одного держать трос, а сам голыми руками схватил поколюкуи всадил глубоко в акулий хребет. Из-под оружия хлынул алый закат морской зверюги. Затем стали ждать возможности зацепить за акулу крюк тали. Это поручили Гвенду, и ему пришлось вытянуться так далеко за борт, что Халльдоур зажал одну его ногу между своих, чтоб мальчик не кувыркнулся в воду, если на корабль налетит еще один порыв ветра. Гвенд был отчаянной головой, но он пока только учился – этот восемнадцатилетний рыжий отпрыск деревни. Хуторянин Халльдоур обещал его матери привезти его назад. Эйлив смотрел, как паренек ловит нижней губой морскую воду, беспрестанно струящуюся вниз по его лицу, а затем сплевывает – воплощенная сосредоточенность! Его верхнюю губу украшал тоненький светлый пушок.

После нескольких попыток ему наконец удалось зацепить крюк за челюсть акулы, и ее наполовину вытянули из моря на тали, после чего мальчик взял резак и сделал на брюхе акулы горизонтальный надрез, а затем – надрезы вниз по обеим его сторонам. Тогда занавес, скрывавший печень, упал, и ее извлекли из чрева чудовища голыми руками, – ведь от этой ужасно ядовитой туши брали лишь ее одну, именно за ней и гонялись рыбаки; печень давала людям рыбий жир, превращаемый в золото. Он освещал улицы Британских островов и Дании в придачу, и стоило приложить усилия, чтоб все эти почтенные люди могли по ночам добраться до дому, пьяные в стельку, а может, и избитые до потери разума. Вместилище этого золота висело рядом с вместилищем желчи на крепкой жиле, и сейчас оно попало в руки Гвенда – это сверхтяжелое чудо, такое блестяще-скользкое. Он подождал, пока качка поможет ему перенести ее через борт, а затем обрушил ее в ящик для печени, и она шлепнулась, ударившись о его внутреннюю стенку и при этом слизисто поблескивая.

Эти исландские вояки жаждали только сердца своего врага, а остальное вышвыривали; и вот теперь тушу сбросили в море. Впрочем, иногда из Серой также вырезали и так называемый глоткожелудок, если он был достаточно жирный – на приманку, ведь самым большим лакомством акулы считали как раз нутряной жир собственных сородичей. И если людям не удавалось быстро и хорошо зацепить чудище, бывало, что акулу могли извлечь из пучины уже объеденной: стоило той принять вертикальное положение, ее же товарки улучали

момент и нападали на нее. Порой от акулы тогда оставалась одна лишь голова: это называлось «улов прощелкали». Тогда эту голову поднимали на крюке, а потом наживляли на него же в качестве приманки и опускали в море. Бывало, что «прощелкивали» и два раза подряд: тогда над крюком висели две головы, а внизу за него зацеплялась третья акула – уже целая. Она поднималась из пучины словно зубастый, дважды венчанный епископ в двух мордоподобных митрах: одной для папы, другой для Лютера.

«Но обычно наживкой служила либо тухлая конина, либо соленое тюленье сало; все это нанизывалось на крючок по кусочкам, по очереди: сперва тюленина, за ним конина, за ним опять тюленина и так далее; под конец весь крюк становился полосатым от светлых и темных кусков, а делалось это, чтоб потешить взоры Серой, ведь для нее блюда надо было сервировать непременно красиво. В рассол для тюленины добавляли ром, чтоб жир не прогоркал, но пах сильнее», – так пишет в своем фундаментальном труде о предводителе акулодобытчиков Саймюнде Саймюндссоне его увековечиватель Хагалин. Эти два деликатеса покачивались в трюме в двух гигантских бочках из-под керосина, и коктейль из тюленины моряки прозывали «блюёк». Того, кто отпивал его, немедленно постигала морская болезнь. Эта бочка рома в трюме и являлась причиной того, что на промысел акулы не выходили без полного бочонка бреннивина. Корабельщики считали недопустимым, чтоб добыча пропускала рюмашку, а они сами неделями маялись на море всухую.

Ветер все крепчал. И сейчас корабль пронзал бушпритом волну за волной, а у левого борта к тому же показались льдины: они вошли в зону дрейфующего льда. Шел седьмой день мая месяца, и такой весенний лед на море назывался «майским». Надо было срочно поднимать якорь, пока он не оборвался, и ложиться в дрейф, хотя акула все еще клевала. Новичок у передней снасти, тот, длинный, которого хозяин определил на корабль перед самым отбытием, сейчас тащил трос. Силы он был недюжинной, а еще хорошо умел обращаться с тросом и не нуждался в помощи подручного даже в самый первый момент – а ведь тогда трос тяжелее всего, потому что тогда Серая на своем поле: бьется и не желает покидать глубины. Но чем выше ее поднимали из моря, тем она больше слабела и, вытащенная полностью на воздух, уже не шевелилась совсем, она стала уже безвольным

инструментом, добровольно умершим гигантом. А потом подошел хуторянин Халльдоур со своей поколюкой и погрузил ее в хребет белобрюхой Серой, которая со свистом извергла свою кровь, словно кит – фонтан. А затем они подняли ее повыше – акула была такая крупная, каких им уже давно не доводилось видеть, а у Эйлива это была первая акула за более чем десять лет. Он подивился, что такой король так легко расстался со своей короной, а потом позволил так далеко вытащить себя за пределы королевства, чтобы там его проткнули. Эйлив занес лезвие и вырезал у короля обложенное печенью сердце, а затем вырвал его из грудной полости одной рукой. И пока он так стоял, держа в правой руке это сердце – гигантское, как у тролля, пульсирующее жизнью, которой оно наделяло тело, а в левой – лезвие, по носовой части корабля прокатилась волна и надолго скрыла его от взоров экипажа. А затем он показался вновь: стоя на том же месте с теми же предметами в руках: сердцем и копьем, не опираясь ни на борт, ни на штаг. Затем он – с мокро-зябкой медленностью – потянулся к ящику для печени, сбросил в него драгоценную добычу, а свое лезвие прислонил к открытому люку. И тут нежданно-негаданно в его голове возникла не картина или фантасмагория, а стихотворные строки; его глаза начертали их, пока он мокро-медленно окидывал взглядом корабль, от капитана Свальбарда до конопатого Гвенда и хуторянина Халльдоура, стоявших рядом с ним:

Бьет и на море, бьет и на суше,
боец никогда не насытит душу.

Глава 25
Дверная ручка

Маленький мальчик в большой кладовой. Вот удача так удача. Тут варенье пролили, тут маслом капнули, а тут кофтоська от чейносйива… И даже сахаринки на полу, по которым я ползу, и мешок с мукой на полке стоит открытый, и молоко в блюдечке на пороге, или оно для Клеепаты? Так она из-за этого меня вчера поцарапала? А ладно, все равно попью.

– Гест, родной, в кладовку ни-ни! А ну, вылезай! И не пей кошкино молоко! Вот что теперь мама скажет? Мама рассердится, ух, как рассердится. Ну, оп-па!

Это Малла, экономка. Она вечно в дырявых носках; я вижу эти дырки, а другие не видят, они на подошвах, – а вот теперь она берет меня на руки. Я не знаю ничего лучше, чем запах, который исходит от нее, он даже приятнее, чем от лбинчиков, которыми меня угостили в Перстовом в тот день, когда умерла мама. Что это за запах, я не знаю, но думаю, что это пахнут ее веснушки. А вот она закрывает кладовую и спускает меня с рук в столовой, она там накрывает на стол, вечно чем-то занята. Все остальные еще спят, только Купакапа не спит. Он вышел, чтоб попи́сать деньгами.

Здесь полы везде широкие и просторные, как гладь моря у нас во фьорде, только гораздо ровнее, и я могу уползать и убегать далеко, насколько хватает глаз, из вот этого леса ног под столом в столовой, и в другую комнату, где ковер – а он мягче, чем даже земля, которая была там, где мы жили с Хельгой-телкой. Я это помню, хотя и сам того не знаю, потому что я ребенок, и мне не нужно знать всего, что мне известно. А если я заберусь на стул, то увижу в окно все дома и Лужицу – они стоят вокруг нее и отражаются в ней. Это все под стеклом. Я могу постучать по какому-нибудь дому, лизнуть его – но съесть его мне никогда не удавалось. А мне так хочется вон тот большой белый под травяным бережком.

– Это фсё Гетту!

Ну вот, пришла Клеепата, мы с ней в этом доме – напольные обитатели, а все остальные живут там, вверху. Ее иногда берут на руки, но меня все-таки чаще, я им нравлюсь больше, да к тому же со мной и

веселее, я могу их рассмешить, а еще я выгляжу не так по-дурацки, как она: без одежды и волосатая, да еще с этим хвостом, – а еще она ползать совсем не умеет, а ходит на руках и ногах, как обезьянка из книжки, которую мне читала Тедда. А еще кошка довольно злая и очень-очень глупая. Прыгает она, к примеру, очень высоко, зато никогда не облизывала дверную ручку, ту, позолоченную, в гостиной, а ведь умеет запрыгивать и на стул, и на этот, – забыл, как называется.

Дверная ручка – самое лучшее в этом доме. Она из золота, вкус у нее золотой, я бы ее так весь день и облизывал, но мне говорят – нельзя: то ли потому, что она грязная, то ли потому, что она станет грязной, если я ее оближу. Я этого пока не понимаю. Но подозреваю, что на самом деле они ее просто хотят себе. Вечерами, когда я уже сплю, они все наверняка спускаются в гостиную и по очереди лижут дверную ручку. Я в этом уверен. Иначе они бы себя так не вели. Все только об этой ручке и думают. Все-все, кроме Клеепаты и Купакапы. Он облизывает только фигары, которые прячет в специальном фигарном ящике в ползательной гостиной. Лижет, лижет – пока от них дым не повалит. Тогда он исчезает за тучей – совсем как гора, которая возвышается над домами.

Ага, вот она опять пришла. Сейчас меня покормят. Она уносит меня в кухню. Меня не кормят со всеми вместе. Меня кормят отдельно. Мне дают осянку с молоком, а иногда еще и хлеб-сосушку. Он вкуснее всего. Ух ты, вот сейчас мне его дали. Я вынужден прерваться. Больше пока говорить не смогу. Гетт куффаеть.

Глава 26
Пережидая шторм

И волны все бьются и бьются, ибо море разбивает все, что само же породило. Этот вал не ведает преград и не склоняется ни перед чем, кроме берега.

Они продрейфовали ночь, и вот их корабль отнесло к кромке льда на западе. Из-за сопровождавшего их густого снегопада штурман не заметил ее вовремя: волна вознесла штевень на майский лед, и корабль застрял в нем, а его корма так и продолжала плясать в волнах прибоя. Это разбудило шкипера, а вместе с ним и всех спящих, и он приказал людям спуститься на лед. Все вместе навалились на штевень и спихнули оттуда «Фагюрэйри». В результате корпус корабля встал параллельно кромке льда и до утра колотился об него. Волнение на море и до того было нешуточным, а сейчас дело и вовсе приняло серьезный оборот. Никому больше не удалось вздремнуть: прибой беспрестанно бился в изголовье их ледяного ложа, твердого как стекло. Гвенд изрыгнул на белоснежную гладь несколько струй кофейного цвета.

С рассветом непогода улеглась, ветер переменился. Они развернули отдельные паруса, и таким образом им удалось отогнать корабль от кромки льда и развернуть снова на восток, и они пошли в бейдевинд. Печенью было наполнено всего четырнадцать бочек, – а Свальбард не намерен был возвращаться во фьорд с такой мизерной («только дно закрыть») добычей. Он сам встал у руля, потому что судну постоянно приходилось огибать ледяные горы, иные из которых высились наравне с кормой. В искусстве лавирования по волнам с ним могли соперничать немногие.

Когда они выбрались из наибольшего скопления льдов, паруса спустили, корабль встал на якорь, и настало время наживлять приманку. Но Серая клевала плохо, и вскоре ветер опять начал крепчать. Акулешка уже два часа как не клевала, заново задул мокровей с севера: полюс распердился с совсем уж небывалой силой. Буйный студеный ветер в мгновение ока запанцирил в лед весь корабль, и он заскользил на встречу со своей Серой белым аки куропатка. А когда все увидели, что на севере на темно-сером блюдечке с ледяной каемочкой им

предлагают еще больше майского льда, то решили убраться подобру-поздорову. Снасти для лова убрали, паруса подняли – и поплыли к земле попутным морозным ветром.

Эйлива послали в носовую часть оббивать обледеневшие реи; даже парус фок – и тот превратился в лист белого металла. День клонился к вечеру – и человек на короткий миг замешкался, глядя, как вздымается земля – с этого ракурса такая крошечная, лежащая низко у горизонта, черные серосугробные горы, едва высовывавшие макушку из моря, – казалось несомненным, что за ночь уровень воды повысился на тысячу метров, и землю всю залило этим всемирным потопом, из вод которого сейчас виднелись лишь самые высокие пики.

Майский вечер был светлым-светлым, и ближе к земле глаз местного уроженца мог различить в открывающемся пейзаже признаки весны: их привычный глаз считывал из того, как лежат самые крупные сугробы. Но Эйливу было не до весны: он вместе с товарищами продолжал оббивать лед со скованных морозом релингов, а думал о Краснушке из Мадамина дома: пылающий румянец ее щек согревал. Потом он еще думал о своем сыне (интересно, Копп сдержал слово?), и о Мерике, и о пасторе, которого он не убивал, а ведь так хотел, и сейчас решил сознаться, что убил. Мечта о Мерике умерла, но осталась другая: отправиться на юг, в теплую удобную каталажку.

Из-за ближайших водяных гор порой показывались другие шхуны, которые затем уплывали в долину между волнами и скрывались за следующим валом. Не только их корабль шел в убежище в Сегюльфьорде.

Ветропускание полюса сопровождалось ненастной мглой, которая накрыла их до того, как им открылся фьорд, и Свальбарду пришлось применить всю свою моряцкую смекалку, чтоб провести судно мимо Сегюльнесской банки, где его первый начальник окончил свои дни у берега, как носимое волнами бревно, и целую неделю колотился об утесы, – нельзя было и близко подходить к Концеземельским скалам по правому борту: эти скалы переломали кости троим его землякам.

Пурга все крепчала, горы исчезли из виду. И все же природа была не абсолютно жестока, потому что разработала собственную систему аварийных сигналов: края этого серо-трепещущего поля были отмечены белыми полосками прибоя. Наконец чуть-чуть развиднелось, и взорам открылась Сугробная коса, точно гладкая белая взлетная

полоса более поздних времен посреди фьорда, и ни дома, ни церкви нигде видно не было. Корабельщики плыли – летели на большой скорости, подгоняемые силой ветра, мимо оконечности косы в гавань, где лютовал один лишь ветер, без моря.

Сквозь диагональный снегопад они заметили коллег: вот здесь стоит «Слейпнир», а вон там, подальше – неужели жители Сегюльфьорда – лодка Кристмюнда из Лощины? Затем во фьорд вошли еще другие парусники, и к полуночи весь североисландский акулопромышленный флот прибыл в убежище.

Едва показалась Сугробная коса, Эйлив спустился с палубы и сейчас полулежал в матросской каморке на своей койке, которую делил с рыжим Гвендом, и жевал сушеную рыбу с маслом из своего рундука – провиант, который собрал для него Копп и подкинул на борт. Вокруг дремали его товарищи, изработавшиеся из-за бессонных ночей и непогоды, слегка пришибленные зловонным подпалубным воздухом: смрадом, представлявшим смесь чада из камбуза, вонь из жиротопни, тухлятины рассола и кислятины человеческих выделений. Эта смесь бывала такой ядреной, что медные монеты за сутки покрывались патиной.

С трапа, ведущего в кубрик, донеслось, что после таких бурных дней не худо бы заглянуть в корабельный бочонок: истории порассказывать и, может, выговорить себе женщину. Этакое старое моряцкое умение: когда пятеро или больше безбабных моряков в кубрике начинали подолгу болтать всяческие скабрезности, как следует проспиртовавшись и провоняв, в воздухе между ними будто бы воплощалось голое женское тело, так называемая воздушница, и висела она в пространстве горизонтально под лампой, и свет струился вниз по животу, и далее – по чреслам и ляжкам. Венерин бугорок у этих воздушниц всегда был высоким, и на нем светились пубическиеволоски, блистательно манящие, а из заплаты между ног прямо на стол точился по капле рыбий жир сладострастия. Тогда некоторые подставляли под эти капли свои кружки, и женский сок попадал им в бреннивин, – а другие тем временем давали своим истомившимся взорам отдохнуть на мягких подушках, где на другом фланге покачивались сосцы. А вот лицо воздушницы обычно было в тени – она запрокидывала голову от истомы, – и каждый был волен дорисовывать туда милое себе лицо по желанию, – то было виртуозное

искусство, да и выдумывалось на редкость удачно. Бывало, у иного воображение так распалялось, что он, ослепленный похотью и попойкой, поднимался с места и расстегивал штаны, намереваясь вскарабкаться на воздушницу. Тогда остальные возмущались и привязывали восставшего к кровати. На этом все действо заканчивалось.

– А вот сейчас Копп влез на свою, в своем засушенном доме…

– На пересохшую скважину своей супружницы!

– Ха-ха-ха!

– Думаешь, у него на нее встанет, она же стала совсем как остов?

– А разве у него не все время стояк?

– Ребята… – попытался вставить Свальбард и зажмурил глаза в широкой гримасе.

– Ему, небось, лебедкой свой струмент подымать не нужно, у него же небольшой!

– Ха-ха-ха!

– А ведь та, которая у него была когда-то, Дина – она была куда как приятнее!

– Ага, она и танцевала, лебедушка эта, и щебетала…

– Эйки с хреппа ей вставил за домом.

– Эйки с хреппа?

– Ха-ха-ха!

– Для него это была единственная возможность открыть у купца вклад!

И сейчас смех грянул с небывалой силой, щербатые зубы заблестели в черноте, и свет омыл морщины от улыбок на этих снегом исхлестанных и морем битых лицах, похожих то на старые кожи, то на высушенную рыбу. И напрасно рассказчик пытался внести в остро́ту исправление: этот «вклад» имел место еще до того, как Ундина вышла за Коппа. Кажется, здесь проходили самые веселые в этом фьорде посиделки в каюте. Старшой Свальбард сидел на китовом позвонке у дверного проема, по-начальнически прихлебывая пунш, с лицом, ясно показывающим, что он держит винный дух в узде: так он никогда не разражался смехом, а просто улыбался в блестящие усы. И вот сейчас он решил подставить этой шутке подножку.

– Ребята, а обо мне бы вы такого не говорили, если бы я сидел в носовой части и читал свои «Кентерберийские рассказы»?

– Почему же? Давай ты уйдешь, и мы тогда начнем?

Они добродушно рассмеялись.

– Просто, по-моему, не подобает отзываться так о нашем добром хозяине и судовладельце.

Вся каюта замолкла, ребята промекали что-то и пропустили по глотку: этот чертов мужик несносен! Но вот толстощекий хуторянин Халльдоур повернулся к Эйливу и задал вопрос от лица всего экипажа:

– Ты, вроде, во Мерику ехал, да, Эйлив? Мы так понимаем, ты уже загрузился на пароход? Почему же ты бросил свою затею? Ты дал им себя забрать? Почему решил не ехать?

– Исландия – это преступление.

– Чего?

– Мы все связаны общей виной.

Это показалось им забавным, и они громко захохотали, а их разум в это время переваривал значение этих слов. Что он имел в виду? Этот Эйлив, он и впрямь чудной!

Посиделки рассосались: шкипер вернулся в свою каюту, остальные отрубились там, где сидели, головы одна за другой склонились на плечо, словно погасшие фитили.

Эйлив до самого утра лежал и думал, а потом вылез на палубу. Оледенение, охватившее корабль, стало чуть меньше, но на досках под ногами местами был каток. И все предметы в панцирях. Какая скользкая весна! Он остановился над люком, ведущим в каюту, и снова взглянул на фьорд – свой распроклятый родной фьорд. Ведь он с ним распрощался раз и навсегда. Все мы хотим в жизни далеко пойти, но связующая нить у всех разной длины. Эйлив думал – он свою перерезал. А она на самом деле превратилась в железный хвост, торчащий у него позади. А фьорд, как всегда, был сплошным гигантским магнитом-подковой.

Утро взмыло из пучины, словно серая уродливая гренландская акула. Волнение в гавани было лютым, у середины горных склонов висели мокрошерстые облака, но «пока что без осадков», – если воспользоваться самым исландским из всех понятий, которое пригодится любому, кто в Исландии выходит посмотреть погоду на улице и пытается описать словами это вечное промежуточное состояние. Это понятие на самом деле означает, что десять минут назад был ливень или град, а сейчас он перестал, но через несколько минут

может пойти дождь, снег, а то и вовсе дождь со снегом. И конечно, едва ли другие слова лучше передают тот самый исландский полуоптимизм-полупессимизм, чем «*пока что* без осадков». Едва ли найдется выражение, с такой точностью описывающее и прошлое, и настоящее, и будущее.

Он увидел. Что у правого борта хлопочет Йоун-штурман: свесившись через борт до половины, пытается совладать с багром. Эйлив подошел к нему. Возле бока корабля на волнах мотался длинный ящик, и штурман пытался зацепить его канатом.

– Что это?

– Ох, не знаю. Наверно, норвежцы какие-то деревяшки обронили.

Рослый пособил товарищу, и общими усилиями они зацепили за ящик веревки и крюк, а потом подняли его на борт талью для акул. Ящик был простой работы, а его крышка расколота в середине по всей длине. Но прежде чем штурман Йоун вскрыл его, просто разведя обломки по сторонам, – до Эйлива дошло. Он узнал работу столяра, вспомнил звук, с каким раскалывалось дерево…

Останавливать штурмана он не стал, но предоставил ему открывать ящик в одиночку: пусть у него дух перехватит, пусть ему тошно сделается. А Эйлив не дрогнул при виде омытого морем лица смерти, ведь он и сам был мертвец. Лицо Гвюдни было его отражением.

Глава 27
Кофа!

В то утро, когда его отец и мать нежданно-негаданно повстречались на палубе корабля посреди Стикса, Гест выпил свою первую чашку кофе в доме супругов Коппов, что взбудоражило и веснушчатую экономку Маллу, и сестер Сигрид и Теодору, эти две тотчас же помчались с новостью по всему дому – только длинные светлые волосы закрылатились у щек да белополотняные юбки зареяли: «Папа! Гест пил кофе!» Торговец, сидевший за письменным столом с заоконным видом на Лужицу, только что вскрыл разрезательным ножом весьма угрожающую долговую яму, которую ранее пропустил, и ему не удалось скрыть от дочери страх, наполнивший его глаза.

– А? Что ты сказала, родная?

– Гест попил кофе!

Волшебные слова достигли ушей торговца и подействовали на него таким образом, что он отодвинул нехорошее письмо подальше на стол и поднялся с сиденья. За несколько недель мальчик достиг в его сознании такого положения, что ради него он был готов задвинуть почти все на свете, а сейчас ему нужно было еще и ради своей Тедды выйти из кабинета и увидеть лицо этого обворожительного нарушителя, этого светлоголового жизнедарителя, невинного радостеподателя.

– Что сделал Гест?

– Он забрался на стол и допил кофе из твоей чашки, – объяснила Малла, как следует утирая кофейную бороду ребенку, которого держала на руках.

– Кофа – нефкусна! – сказал Гест и помотал головой, а вся семья рассмеялась счастливым смехом, в котором также слышалась радость по поводу самой способности рассмеяться. До того здесь не смеялись годами.

Вначале торговец воспринимал этого грязного ребенка лишь как побочное следствие полного взыскания долга со своего должника – что было исключительно важно, просто необходимо, – а иначе что же начнется в стране, если все начнут сбегать от больших долгов и наказаний в другие, менее важные части света? И ладно бы еще только

должники – так ведь и воры, и убийцы – убийцы пасторов! Из этого негодяя нужно бы извлечь как можно больше пользы, прежде чем его примет тюрьма: сислюманн говорил, что дело будет рассмотрено к осени.

Когда нищий мальчишка, сын убийцы, Гест Эйливссон, впервые оказался у него на руках несколько недель назад на Лужице, господин Эдвальд Копп даже не стал бы засчитывать его в качестве первой выплаты вместо пресловутых 99 форелей: тогда, в лодке, идущей в гавань, он и держал его так, как щеголь держит рваный угольный мешок. И все же это тотчас затронуло в нем необычную струнку, тон которой был жадным и ровно в той же степени – отеческим. Каким-то непостижимым образом мальчик мгновенно установил с ним контакт, светлым, как волна, майским вечером его большие серо-голубые глаза тотчас крепко присосались к его собственным карим зрачкам. Однако на верхней полке в сознании Коппа уже лежало решение в том духе, что ребенка он пристроит в семью приказчика Эгмюнда. Эгмюнд сделал бы ради него что угодно, а его жена Раннвейг по сути была матерью-наседкой, и один лишний рот не сильно разорил бы это обтерханное, но в остальном отличное гнездышко.

И все же нельзя было отрицать: в этом ребенке было что-то особенное – как он смотрел на тебя, как улыбался, сверкая глазками, и как он отнесся к исчезновению своего отца, с выдержкой, напоминающей реакцию прагматичного политика, которому вообще-то жаль законопроекта, отклоненного парламентом, но он решает, что лучше забыть его и обратиться к следующему делу. Каким-то подобным образом Гест и обратился к пышноусому кареглазому человеку, который пах как кухонный дым, только как-то по-другому, и сидел под ним в лодке сислюманна. Тогда Копп в конце концов усадил мальчика – этот мешок с углем – к себе на колено, и оттуда мальчик взирал на него снизу вверх, пока блюститель порядка перевозил их с сислюманном через Лужицу. В глазах ребенка не было отчаяния, только надежда. Однако каким-то неуловимым образом было ясно, что мальчик вполне отдает себе отчет, что больше не увидит своего папу. Ребенок принял эту кончину отца со спокойствием старца: будь что будет! Того, кто не изведал в жизни ничего, и того, кто изведал все, объединяет бесстрашие, доступное лишь в крайних точках жизненного пути. А в середине поля люди бредут вперед, в состязании горя и радости, по

колено в грязи, и отмечают победы и поражения горьким плачем или раскатистым хохотом.

Похоже, двухлетний мальчуган почувствовал, что ему уготована лучшая жизнь под этой темной навощенной бородой, чем под знакомыми седеющими клочьями волос.

Новая глава, новое приключение!

По крайней мере, он поднял сильный рев, когда красивый, знатный и пышноусый Копп попытался передать его носатому береговому мальчишке, чтобы тот добежал с ним до Эгмюндова дома. При этом ребенок крепко схватил торговца за бороду и не отпускал. Вот откуда, черт возьми, у такого маленького такая хватка? Торговец морщился от боли и хотел бы поскорее отделаться от этого грязного малявки, сына убийцы.

Но через некоторое время тот же мальчишка-носатик с тем же малявкой стоял на высоком крыльце дома торговца и сообщал, что у Эгмюнда дома никого не было, во всяком случае, никого старше семи лет: у них там младший обжегся, и родители повели его к врачу. Копп кое-как согласился, хотя и фыркнул, и взял этого Геста к себе на одну ночь, сказав, что наутро его отведет туда Малла. Но едва ношу перенесли через порог, тут же почувствовал: мальчуган пустит в этом доме корни так же быстро, как кошка выпускает когти. Так и вышло: через несколько секунд прискакали его дочери и давай нахваливать мальчика, качать его на руках и смеяться. Торговец стоял поодаль и наблюдал, как Сигрид и Теодора растворяются в этом большом белом широком детском личике с такими большими серо-голубыми вопрошающими глазками, которые зажглись словно две сияющие цветные сказочные луны на темном небосклоне этого дома и подняли их души, словно прилив. Гест появился здесь как раз в нужный момент, именно он и был нужен этой семье – скукоистребительный комочек радости, который никому не желал зла, а себе желал всего.

У супругов Коппов родились четыре дочери, две из которых умерли еще в колыбели, а две выросли. Торговцу, конечно же, хотелось сына. В ливерпульском порту он много лет назад видел вывеску: “Langley & Sons” – и пообещал себе, что такая же надпись однажды встретит всех приплывающих во фьорд: «Копп & сыновья» – написанная громадными черными буквами на фасаде большого склада, который он задумал построить на самой оконечности косы. Но

прибавлений в его семействе, очевидно, больше не предвиделось: схоронив двух детей, фру Ундина отлучила его от своего ложа.

Ее тело, судя по всему, не было расположено к дальнейшему плодоношению. В возрасте 35 лет она увяла словно растение. В этом было что-то ненормальное; два «тик-так» смерти тронули ее морозом и бледностью. Ее формы, прежде вызывавшие зависть, превратились в скрипучие прутья корзины. Она перестала чувствовать аппетит: к еде, к мужчине, вообще к чему бы то ни было. В отличие от нее, супруг с годами, напротив, все ширился и сейчас накопил себе на брюхе порядочную прослойку – а все благодаря своему суровому подходу к бедноте. Хотя он был на добрый десяток лет старше жены, в нем было больше молодого задора, больше жажды жизни. Копп был человеком в расцвете сил. Торговля и рыбный промысел шли хорошо, планы большей частью осуществлялись, уважение к нему по-прежнему росло, что он и сам чувствовал, когда гулял по городу и ловил на себе то тут, то там взгляды, даже от самых юных барышень. Единственным, что омрачало его жизнь, было состояние супруги, ее безрадостность и молчание. Казалось, смерть объявила ее своей собственностью, но решила оставить на потом.

Супруги больше не соприкасались друг с другом, и виною тому был не только горестный холод, исходивший от жены. У Коппа не осталось к ней ни малейшего физического влечения, сколько бы он ни искал в самых дальних закоулках своего сознания. Его душа уподобляла ее бедренные кости углам стола, ребра – стиральной доске, грудь – краю полки. Его подсознание сейчас заполняло другое тело. Он порой слышал знаменитую строчку «Та единственная мягкость, что плоти твердость придает» и видел перед собой будоражащие контуры бывшей экономки, пышнотелой Октавии Пьетюрсдоттир с острова Хнисей, которую он обрюхатил на чердаке своей лавки и услал прочь, пока ее положение не стало заметным. О, какое тело, какой шар наслаждений, даже в свое отсутствие оно зачаровывало его – через моря и страны. Экономка отправилась на остров рожать, но потом ее вновь отбросило с него, ребенка она отдала, а потом скрылась из виду на Западе. Копп разыскал этого ребенка – девочку – и отдал на воспитание верным Эгмюнду и Раннвейг – это часом не она тогда обожглась? Зато, из чистой любви, ему удалось удерживать фру Ундину в неведении относительно внебрачного ребенка. У Коппа было еще

двое таких, в разных концах фьорда, и обе – дочери. А теперь, значит, появился и мальчик, малец, паренек – сын?

Не успел Гест провести в доме и суток – к неописуемой радости дочерей семейства – как торговец начал подумывать оставить его себе. Его разум, быстрый в финансовых делах, уже принялся составлять фразы для Эйлива, к его возвращению из первого рейса в акулопромышленном сезоне, в счет отработки форельного долга. «Я также могу предложить тебе обеспечивать мальчика. И тогда мы в расчете». Но, конечно же, ему не стоило беспокоиться, ведь по осени этого долговязика ушлют в датскую тюрьму.

Во время утреннего мочеиспускания торговец дивился тому абсолютно нелогичному обстоятельству, что он так крепко привязался к этому сыну преступника. Но едва он вновь вошел и посмотрел на щеки юного Геста, все его сомнения улетучились: было ясно видно, что в этой головушке – свет, а не мрак. Однако поделиться своей идеей насчет сына с женой Копп не решался. Фру Ундина в основном обреталась на верхнем этаже дома, где скользила по половицам как привидение, бормоча обрывки библейских текстов, а Геста только мельком видела на руках у экономки Маульфрид, когда та водворила его в кухню перед началом обеда в столовой.

– Мама, Гест с утра кофе у папы выпил!

– Кто что ест с утра?

– Да нет же! Гест! Мальчик!

– Да? Его Гест зовут?

– Ну мама. Ты же… Вы же это знаете! И с тех пор у него понос не прекращается! Кофейного цвета! Ха-ха-ха!

– Тедда. Ну не за столом же! – сделал замечание отец.

Воцарилось молчание, нарушаемое лишь стуком ложек, достигающих дна в супе, чиркающих по фарфору с железным звуком, и громким чавканьем мальчика, доносящимся из кухни. Затем фру оставила свою ложку в ополовиненной тарелке, вытерла рот салфеткой, коснувшись лишь самой вершиной белоснежного треугольника той трубочки, в которую она вытянула свои сухие запекшиеся губы, и произнесла сильно подытоживающим тоном:

– А кто его мать?

– Это вы о чем? – послышалось в ответ из-под усов.

– Кто его мать?

Ее голос был слегка сдавленным, но все же полнозвучным и сполна сохранил свою красоту, хотя его вместилище и пришло в упадок. Иной раз, когда этот голос доносился до торговца с чердака или из гостиной, он успевал зажечь в его сознании образ той женщины, которую он когда-то любил, то тело, которое заполняло его руки, – но этот образ тотчас умирал, едва супруга представала его глазам. Ее голос был эхом лучших времен.

– Любовь моя, я же много раз вам говорил. Ее нет в живых. Он – сын бедняка, который остался должен мне крупную сумму. Сислюманн предложил, чтоб он в счет долга отпахал на промысле на «Фагюрэйри». А после этого он собирается приговорить его к тюремному заключению. Я думал пристроить мальчика к Эгмюнду, но девочки об этом и слышать не хотят. Он их явно очень забавляет. – Да, мама, он такой…

– Разве вы уже не наполнили Эгмюнду весь дом?

Голова женщины дрожала на тощей шее и туловище, словно пляшущая голова марионетки, а сама она повернулась к нему в профиль, который все еще был величествен, все еще хранил намек на красоту, хотя горе соскоблило с него бóльшую часть чар, – потому что сейчас женщина посмотрела в сторону: устремила пристальный взор на улицу, мимо дома Лауренсии и дальше на простор фьорда. А затем прибавила – подобно дракону, который приберег самый сильный яд для последнего плевка:

– Стало быть, вам наконец удалось обзавестись сыном.

Торговец раскрыл рот от удивления – только и смог, что выдавить из себя одно слово:

– Дина?

Но жена уже ушла: встала из-за стола и направилась вверх по лестнице; она влила в себя целых три ложки супа и больше в этот день есть уже не будет.

Вот в этом аду и осел райский мальчик на третьем году своей жизни. Полы здесь были гладкими и сухими, кладовая ломилась – но наверху головы были наполнены снегом.

– Купакапа пьит кофу! – раздался крик из кухни, заглушаемый шиканьем кухарки. Однако он вызвал тихую улыбку на лицах обеих дочерей. Только отец семейства ничего не видел и не слышал из-за ледниковой стужи, которая охватила его органы чувств.

Глава 28
Шнурки

Так молчание в доме торговца сгустилось еще больше и стало абсолютным в той половине дня, когда девочки ушли в недавно открытую Фагюрэйрскую школу, разместившуюся в соседнем здании – доме директрисы. Это гнетущее молчание нарушал лишь Гест в кладовке у Маллы своими криками. «Ищё песе́ньку!» Торговец все чаще и чаще уходил в свою лавку, задумчиво стоял там на чердаке, где был склад товаров, и глазел сквозь открытый грузовой люк на мокреть на улице или перебирал в памяти то, что читал о действии мышьяка на человеческий организм. В те редкие разы, когда он сидел в своем кабинете дома, его одолевал Гест, сидел у его ног с игрушками или сосал сухое печенье, которым тот угощал его.

В одно такое студеное утро в конце мая, когда в южной части неба были солнечные метели, а на Лужице – ослепительный блеск, мальчик сидел у ног своего нового отца Купакапы (это ласковое прозвище он слепил из слов «купец» и «папа», которые так часто слышал в свои первые дни в доме семьи Коппов) и возился с его левым ботинком: развязал узел на шнурке и теперь развлекался тем, что вытаскивал шнурки из дырок и засовывал их в другие. Копп позволил ему это, хотя настроение у него было мрачное; он тихо-тихо сидел, глазея, как на улице хлопочет солнце. Давненько он не видел такого ясного черного дня, лучи солнца, пронзающие тучи, свешивались с небес как траурные ленты, а снежинки, порхавшие за окном, были словно зола от костра позади жизни. Печаль охватила Фагюрэйри, коллега Коппа уже приспустил красно-белый флаг перед своей лавкой, нигде ни звука, весь город молчал, глядя себе в ладони, – весь, кроме малыша Геста, возившегося с черными шнурками.

Городской почтарь, Магнус Неутомимый, беззвучно прокрался между домами со своей потертой почтовой сумкой. Это был широколицый доброглазый мужик с характерной походкой, очень легкий на ногу для своего возраста. Обычно он перемещался от дома к дому почти бегом со звонкими криками, а в то утро был медлительным, тихим и мешкал; сегодняшнее письмо он подал Малле через кухонное окошко, стиснув губы и выразив на лице соболезнование: в тот день

весь город стал одной большой семьей. Затем он двинулся дальше, топча по-утреннему холодные затененные тропинки между освещенных солнцем домов в своих кожаных башмаках – самых стоптанных в этом городе. И при шаге характерно покачивался: легконогому непросто давались все эти тяжелые шаги.

В минувшие выходные бушевала «большая маёвка», как ее называли пишущие люди: мощный северный ветродуй, ледоплав, снеговал. Даже здесь, в ласковой глубине фьорда, море хлынуло на сушу, а на Лужице было волнение. А сейчас поступили известия, что два корабля с Фагюрэйри «нанесло на скалы»: они разбились об утесы близ Крайней долины между Хейдинсфьордом и Оудальсфьордом; погибли двадцать три человека. Эта новость стала известна днем раньше, и в то утро дома в городе смотрели исподлобья: смерть постучалась более чем в двадцать дверей. Больше в эти двери не войдут сыновья, братья и отцы: ухмыляющиеся, веселые, подвыпившие, с богатым уловом. Погибли самые здоровые мужики в городе, нет больше сильных рук, поддерживавших здесь жизнь. Фуси, сын Вальди из Ущельной хижины, силач Гвюдмюнд Гильсон, могучий как тролль Рёгнвальдов Палли, Халли, сын Йоуи, внук Йоун Бочонка, стихоплет со Склона, братья из Домика Гюнны, мальчишка Йоусефа, брата Эгмюнда, старшой Халльмюнд и пятеро парнишек с Крутобокой косы, и многие другие – их всех не стало…

Вот какими были боевые потери Исландии.

Однако Копп не получил никаких известий о самом большом своем корабле, «Фагюрэйри», и сидел как на иголках, когда в дверном проеме показалась Малла, потная, зафартученная; она провела тыльной стороной ладони по лбу, а потом передала ему письмо мучнисто-белыми пальцами. Она вытянула руку далеко, чтоб хозяину не пришлось вставать с кресла, и Геста не потревожили за его превосходным шнурочным занятием. Копп молча взял письмо и поблагодарил ее миганием глаз, а затем еще раз посмотрел в окно на солнечную Лужицу. Там стояли два акулопромышленных судна с отличной обмачтовкой – собственность его коллеги. Исходя из опыта прошлых лет, одно из них было обречено на гибель: каждый сезон половина акульего флота разбивалась – суровый, как льдина, факт, который никто не смел назвать прямо, ни в печати, ни в собрании, но

который сейчас с такой очевидностью вдруг открылся рыбопромышленнику – красивому кареглазому Коппу.

Да разве можно так вообще дела вести?! Из каждой кроны, которую он спускал на воду, на дно шло пятьдесят эйриров[42], кто угодно понял бы, что при таком ведении дел прибыли не жди. Из восьми снаряженных им кораблей три он потерял в море. А теперь еще и «Фагюрэйри»… он не решался додумать эту мысль до конца. Почему он этим занялся? Мало ему было оставаться просто торговцем?! А этим паренькам – почему было недостаточно просто фермерства? Зачем они каждую весну снаряжались, покидали любимый уголок в долине, фьорде, родных, хозяйство и предавались этой изнурительности на холоде, которая часто не давала ничего, – ну, может, сотню бочек, и при этом не ясно, даст ли она им самим воротиться в родную долину? За такой груз можно было получить хорошую цену, но она всегда оказывалась меньше, чем цена человеческих жизней, которыми было заплачено за него. А деньги «на хозяйство», которые фермер, его сыновья и работники приносили с промысла к началу сенокоса? Копп видел, как они просаживали всю эту сумму на бреннивин в его же собственной лавке, даже самые положительные хозяева, – а наутро просыпались на взморье, словно трупы, прибитые волнами к берегу.

Часто они возвращались домой – а прибавить к хозяйству им было нечего, разве что новую шляпу, которую они застолбили себе в лавке, пока над ними не взял власть стакан.

Разумеется, обогатиться на промысле акулы было можно, ведь и сам Копп сейчас сидел в доме, построенном сплошь из дерева – итоге двух удачных промысловых сезонов. И все же они чересчур напоминали розыгрыш лотереи, устроенной дьяволом. Порой торговец сомневался, точно ли там шла речь именно о деньгах. Разве все это не было в конечном итоге связано с каким-то чертовым мужским помешательством и жаждой героизма, с тем, чтоб быть «не хуже людей», быть рыбопромышленником, как все другие торговцы, акулодобытчиком, как все другие акулы, держателем снастей, как все настоящие люди? В других странах для того, чтоб удовлетворить это помешательство, эту страсть к игре со смертью, существовала армия – а у нас акула. И это было неизлечимо: зная, что на океанском дне есть сотня горшков печенки, они не успокаивались, не вытащив их на сушу. Если им это удавалось – их страсть была удовлетворена. И с этим

удовлетворением не шла в сравнение никакая награда. Для них одна-единственная шляпа из лавки была даже бóльшим вознаграждением, чем кредит у торговца на целый год – как зримый венец их моряцкой доблести!

Обо всем этом, не отдавая себе отчета, думал Копп, пока дрожащими руками вскрывал запачканное мукой письмо своим роскошным разрезательным ножиком. Из конверта выпал сложенный листок с коротким текстом. Почерк был крупномужицкий, чудаковский – но прежде всего неуверенный, в нем ощущались замешательство и спешка. Грудь торговца заполнил частый стук, но он нацепил пенсне и принялся читать:

Г-ну Э. Коппу, торг. и рыбопром., Фагюрэйри.

С чувством глубокой скорби и сильной печали Вам сообщается, что Ваше акулопромышленное судно, «Фагюрэйри», затонуло прошлой ночью, со всем экипажем, во время северного бурана, бушевавшего трое суток. Корабль разбился у Сегюльнесских скал. О сём свидетельствует Йоун Йоух., фермер, с Сегюльнеса, вчера, т. е. 18-го сего месяца. Мы шлем наши искренние соболезнования Вам, а равно и родственникам. Погибло много хороших людей.

От им. хреппоправителя, Сиггейра Стефаунссона, хутор Сугробная река, Пастора Сугробной косы (нерукоположж.) и пасторского помощника г-на М. Херманссона

– Сигюрлаус Фридрикссон, хутор Нижний Обвал.

Сегюльфьорд.

Торговец посмотрел на Лужицу, в которой тихонько покачивались под солнечно-ясным снегопадным ветерком суда его коллеги. Он глядел на них и не видел из-за прибоя мыслей. Нижние волоски в его усах колебались от дыхания: он, сам того не заметив, начал дышать через рот. Не заметил он и того, что пульс перебежал из его руки в письмо, и оно подрагивало в такт перед его обтянутым жилеткой брюхом. Тут он поднял глаза на полку, где на своем месте стояла бутылка: бутылка

бреннивина, аварийная бутылка. Он разорен? Всю его державу «на скалу нанесло»? Его удачу и достаток разбило в щепки сегюльнесским прибоем? Сколько стоит такой корабль? Какова сумма страховки? И капитан Свальбард – погиб? Свальбард старшой… Надёжа и опора всей торговли Коппа! «Сильный человек в моей жизни, – подумал Копп, – ее хранитель на суше и на море». Как такой человек мог погибнуть? Копп увидел перед собой его лицо, обветренные скулы… В его сознании они были как истертые суставы перил на блистательной лестнице в прихожей мироздания, которые целую вечность должны были быть несокрушимы! А этот изнуренный, но пышущий жизнью взгляд прищуренных глаз… и это рукопожатие, которого он сам – бумажная душонка – был недостоин. Эта морская лапища, эта клешня, этот широкий короткий плавник – пожать его было все равно что обменяться рукопожатиями с акулой. При этой мысли торговец притянул к себе свою руку – домашне-белую, сливочно-жирную, девичье-мягкотелую – и протер глаза.

Свальбард Йоуханссон. Такое имя просто не могло пойти на дно, наверняка оно еще где-нибудь всплывет, может, он жив… Нет, сейчас акулопромышленник вживую увидел перед собой, как голова и одна рука шкипера выныривают из пучины – снова и снова, и тотчас исчезают в ней вновь – снова и снова, пока со скалы в волны прибоя не падает свежесломанная большая мачта – чудовищное падение – и навстречу ей волна швыряет человека с прищуренными глазами, и когда они сталкиваются – старшой и мачта – удар получается сильный. Такой человек мог погибнуть только так. Неприятель поразил его алебардой[43], ибо подобных героев можно одолеть лишь их же собственным оружием.

«Фагюрэйри» не пошел ко дну. Он разбился о скалы.

Копп положил письмо на стол и вновь заметил сидящего на полу карапуза. Гест поднял на него глазенки, их взгляды встретились, мальчик улыбнулся, поднялся, держась за ляжку своего папы-торговца и победоносно поднял левую руку: в ней был шнурок, свисающий из детского кулачка, – черный, потрепанный – словно зловещий символ лопнувшего постромка, оборвавшейся жизни, перетершейся нити, да что он знал…

– Гетт из бати́нька вынуль!

Торговец поморщился и издал стон, а потом уселся на кресле поудобнее и взял мальчика на руки – этот мячик весом в фунт. И тотчас вспомнил: да, ведь его отец, Эйлив, конечно, тоже был в экипаже «Фагюрэйри».

– Гетт заснюрует!

Усач крепко вцепился в мальчугана и прижал к себе. А потом прижал еще сильнее. Тяжелое большое купеческое сердце отмеряло свои бронзовые удары рядом с карликовыми часиками, тикавшими в груди у мальчика. А потом торговец начал плакать чуть запинающимся, издалека нахлынувшим плачем, тяжковздоховым и густослезным. Мальчик некоторое время оставлял это без внимания, просто нежился в толстых руках отца, который все продолжал прерывисто всхлипывать с тяжелыми вздохами, а затем отодвинулся от навощенной бороды и груди и изобразил на лице преуморительное выражение убеждения:

– Уфпакося, Купакапа. Гетт посинить батинок. Гетт халёсий.

Книга 2
В скитании и с китами

Глава 1
Сын троих отцов

В безветренном фьорде стучат молотки. Что в мире может быть прекраснее! Кто-то решил крепко приколотить к этим местам свою жизнь! Кто-то в них верит! На белых досках сверкает солнце; чайка села на рыбежирный блик на лужице; со всех склонов заблеяло лето.

У всех жеребячья радость.

Здесь кипит работа – строят сцену. Сцену мечтаний, сцену горестей. Здесь в последующие десятилетия будут проходить ежедневные постановки, каждый день новая пьеса, и все на одну тему: бурное сосуществование моря и человека. Зрители – семь гор вокруг фьорда – самые терпеливые в мире зрители, а небеса то поднимают, то опускают свой занавес.

Словом, здесь строят причал: первый коротенький причальчик в истории Сегюльфьорда. Прямо перед церковью, на внутренней стороне Сугробной косы. От дверей церкви до досок причала можно протянуть красную ковровую дорожку, – словно сам Господь задумал эту пристань, чтоб снизойти на нее, если ему вдруг придет в голову самому отслужить мессу в самом северном своем приходе.

А если серьезно, сюда приехал пастор с наметанным глазом.

«Гекла» – корабль, курсирующий вдоль побережья Исландии, вывалил из себя бревна и доски посреди Затона, а затем их сплавили на берег: тяжеленные столбы для причала выстроились там, словно колонны будущего святилища, а затем между ними положили поперечные балки, так что вышел мост (к которому сейчас прибивали половицы), ибо всякий причал – это мост между сушей и морем, точно так же, как всякая сцена – мост между жизнью, сидящей в зале, и смертью в глубине темных кулис.

А на новой сцене стучат молотки – барабаны новых времен. Главный среди плотников – усач Йоун Антонссон с Мьяльтэйри, наиуравновешеннейший человек, какими обычно бывают плотники – или становятся такими от многолетнего взаимодействия с деревом жизни. У него под началом стучат молотками трое мальчишек из пасторского дома, двое работяг от Кристмюнда из Лощины и старый Лауси с Обвала.

На берегу стоят трое пророков и наблюдают издалека: Сакариас, Йоунас и Йеремиас, – словно Господень надзор. В этом хреппе молотка не брали в руки целых пятнадцать лет, с тех самых пор как построили церковь, и эту ситуацию давно пора было исправить. Может быть, к этому причалу в Сегюльфьорде наконец подплывет завтрашний день?

– Если он придет завтра, значит, он придет сегодня, потому что сегодня – это вчера, – произнес Сакариас, но тут же осекся, будто сам запутался в собственной теории.

В последнее время он взял моду, выходя из дому, заворачиваться в льняную простынь, из-за чего приобретал весьма любопытный вид на фоне остальной вязанопорточной команды.

– От этого будет только содом окаянный, – пробурчал Йеремиас: в этой троице он был главным пессимистом. – Какому человеку в здравом уме захочется, чтоб к нему корабли прямо на тун заходили?

– Деревянный пирс, фи, – фыркнул Йоунас. – Это все равно что северный шторм на понюшку табака пригласить!

– По-моему, его зовут Ауртни, – разинул рот Сакариас. – Пастор Ауртни.

Они выстроились, словно трое худощавых парней на фото рок-группы более поздних времен, а между ними было расстояние метра в два. Так что они не слышали друг друга. Они никогда и не разговаривали друг с другом, хотя порой говорили все одновременно, а их рассказы постоянно напрягали нервную систему их домашних, потому что, как и подобает настоящим евангелистам, они постоянно рассказывали каждый свою версию одного и того же события.

Вскоре пришел новый пастор – преподобный Ауртни, молодой темноволосый человек с ухоженными усами, и увел пророков, потому что дома пришло время обеда. Он пока еще не выучил, как обращаться с этими стариками, а они неохотно следовали его приглашениям: к такой энергичности они пока что не привыкли. В конце концов он принялся понукать их и подгонять, как овец, всплескивая руками, и люди веселились, наблюдая, как он загоняет домой авторов Ветхого завета.

Лауси взял мальчика с собой на Косу – молчаливого печального мальчика, который не проронил ни слова с тех пор, как прибыл к ним перед самой Пасхой. Все же здесь, на другом берегу фьорда, двенадцатилетний Гест немного приободрился, ведь здесь что-то

происходило, и он мог послоняться по бортам, поглядеть на строительство, помочь выпрямить гнутые гвозди, и был безумно рад, что вырвался с хутора – этого зубодробительно скучного, тупого, грязного хутора, полного молчаливых, вечно вяжущих женщин, вони и придурочных детей. С ними приехала собачка Юнона, которая шарилась по взморью в компании местных псов.

– Ты же слышал о Святой Троице, Гест. Это Отец, Сын и Святой Дух.

Плотник хотел разъяснить Гесту существование троицы пророков и завершил свою реплику этой крупицей богословия. Гест Эйливссон молчал, но продолжал стоять над Лауси – своим самым новым отцом, словно собака – перед хозяином (раз уж собачка Юнона от них усвистала), но лицо у него было совершенно безрадостное, неподвижное. Это было видно за версту: он все еще не мог оправиться от удара, каким оказалось для него возвращение в родной фьорд, вероятно, имевший над его душой какую-то власть (ему так сказали в свое время), и для него этот фьорд был огромным студеным углом, куда ставят провинившихся детей, – по сравнению с десятилетием, проведенным в деревянном дворце у Купакапы и Маллы-мамы. По ней он тосковал так, что у него буквально ныло в груди: по этому мягкому телу, по ласковому голосу и всему, что прилагалось к ним. Но он продолжал стоять и выслушивать этого чудаковатого мужика, который теперь взял его к себе и только и знал, что вещать о его «вечном» [44] отце. Молчание мальчика подействовало на Лауси так, что он принялся трещать еще больше:

– Это довольно необычная теория, как и многое у этих библейцев, – продолжил Лауси, но потом замолчал, чтобы сделать на своих словах ударение – молотком по настилу причала. – Но она означает, то есть за этими словами стоит вот что, – слушай внимательно: Отец – это небо, Сын – это земля, а Дух витает между ними, то есть это воздух, то, что так вольно овевает нам голову. И это воздушное существо, которое всякие сантиментщики называют «ангел», самая сантиментальная птица на небе, – он у Всевышнего вроде почтальона: например, приносит его рассаду и высевает в молодых девушек, подкидывает незаметно им в пузилище, а потом снова улетает на небеса с вестями о господних детях. Например, он говорит: «Вот. Сегодня твоего Исуса распяли». – «Исуса? Какого

Исуса?» – спрашивает Бог, ведь он уже такой старый стал, забывчивый. «А сына твоего, – отвечает тогда вестник, – которого тебе родила Мария». – «Мария?» – удивляется старик. «Да, Дева Мария», – отвечает вестник. «Все они так называются…» – отвечает Бог, ведь он старше христианства, оно у нас всего-то сколько лет[45]…

Засим последовало плотницкое кряканье и семь сильных ударов.

Гест смотрел, как гвозди исчезают в доске, и рассуждал, каково будет, если такой гвоздь воткнется в ногу, а затем отвернулся и стал смотреть на Затон. Мальчик был слегка толстобрюх и щекаст (с него еще не сошел купеческий жирок). На глади воды покоились несколько лодок и один ботик побольше, иностранный, с чрезвычайно сложной парусовкой: мальчик насчитал 27 парусов, и все рваные. Игру на органе и то легче освоить, чем эту чертовню! Но лекция еще не закончилась. – И все-таки этой религии не хватает одного. А чего именно? – Старый весельчак скосил плотничьи глаза на мальчика. – У нас есть небо, земля и воздух. А про какой первоэлемент они забыли?

Мальчик, казалось, не слушал, а рассматривал других плотников и прикидывал, кто из них будет лучшим приемным отцом, чем этот мочалкожеватель.

– У нас есть небо, земля и воздух. А про какой первоэлемент они забыли? – повторил плотник, но ответа не услышал. Он снова скосил глаза на мальчика, но перед тем, как пристать к нему в третий раз, слегка помешкал, а лицо у него стало тревожно-напряженное: так пытать мальчишку расспросами – опасная игра: или он таким образом чуточку притянет его к себе, или оттолкнет еще дальше.

Но после недолгого молчания Гест наконец ответил, – озираясь, чтоб удостовериться, что никто его не слышит:

– Море?

То было, кажется, седьмое по счету слово, которое он произнес с самой Пасхи; оно сорвалось с его губ, словно десятикилограммовый булыжник. Лицо у Лауси стало радостным.

– Да, Гест, родной, ты просто светлая голова. Как раз его-то и не хватает. В христианстве совсем забыли про море. Поэтому для моряка нет смысла призывать Господа на помощь, ведь тот не знает, что такое море. Все такие запросы он переадресует старику Ною, а ведь тот – простой шкипер, а еще он как услышит про море, так и забрумчит, так и забрумчит.

Лауси остался так доволен этим последним словом, придуманным тут же на ходу, что повторил его несколько раз, стуча по гвоздю, но тут на время умолк, словно задумался, а что же оно значит на самом деле. Но повторение вопроса и повторяющиеся удары молотка при построении этой теоретической конструкции заставили мальчика задуматься: жернова закрутились. И Гест сам себя застал врасплох, спросив:

– А что же тогда море?

– А? – плотник разинул рот. Мальчик задал вопрос!

– Ну… если небо – это отец, а земля – это сын, а воздух… это самое, что ты говорил… А что же тогда море?

– Ну ты и скажешь! – Лауси весь воспрял, отложил молоток и, стоя на коленях посреди причала, упер руки в ляжки.

Мальчик заговорил! И в голове у него есть мозги! К тому же нашему славному профессору нечасто задавали вопросы из зала. И он придал своему лицу как можно больше торжественности и возвысил голос:

– Море – это мать, женщина: сама бездна… оттуда выходит жизнь. Из трений неба и моря возникают земли. А женщина – это второе, о чем забывает христианство. Ты только подумай! Во всех других религиях: у язычников, индусов, будды, дао, Афин, Рима… там женщины – и боги, и богини – наличествуемы, почитаемы, а наш Бог – просто какой-то закоренелый холостяк. Он с женщиной бывает раз в три тысячи лет или около того, потому что знает, какие у этого могут быть последствия. Посмотри-ка на историю христианства. Мы все еще находимся под бременем этой белиберды. Один внебрачный ребенок, деревенский сирота, который подставляет другую щеку – и полмира обязано делать то же самое, по-хорошему или по-плохому! Подумать только: даже силой оружия людей заставляют подставлять другую щеку, как будто в этом есть какой-то прок – подставлять щеку мечу? А все это из-за отца, из-за того, что это сын Бога, родившийся из причинного места матери с девственной плевой на голове, которая есть прекраснейшая в мире корона, но нет-нет: это ценнейшее сокровище они превратили в терновый венец, папы эти римские…

– А что… что значит причинное место?

– Это значит дырка, киска, куночка, лоно, манда, отверстие, пилотка, писька, скважина, срам, хохолок, шерсточка. Вот, у меня это

все идет в алфавитном порядке.

Каждое слово сопровождалось ударом молотка, но легким, потому что сейчас плотник наводил на свою работу последний лоск и по старой привычке простукивал молотком шляпки гвоздей, глубоко спавших в досках, едва поблескивая плешинами, напоминающими звезды в ночи. Да, наверно, звезды – именно такие гвозди, которыми «творец небесный» прибил сверху «небесную твердь»? Правда, старуха Грандвёр полагала, что звезды на ночном небе – это «усопшие души», что бы это ни значило, а Малла-мама уверяла, что они – дырки в полу рая, где всегда светло даже по ночам. «Смотри: в раю полы моют», – сказала она ему однажды, когда они возвращались домой в темноте, а на небосклоне танцевали сполохи северного сияния.

– И одно это слово означает все-все это? – еще спросил Гест. Это явно развязало ему язык; старому Лауси удалось выманить его на разговор.

– Гм, не только это, а гораздо, гораздо больше. Вход для зверя и выход для человека, обитель грез и начало всех войн, одновременно и чудовищный кошмар, и юдоль блаженства.

– Как может одно слово так много значить?

– Потому что оттуда исходят все остальные слова.

Лауси вздохнул и осмотрелся в поисках гвоздей, но потом его взгляд упал на их собаку, которая – такая бурошерстая – стояла на приливной полосе, а на нее взгромоздился черный пес.

– Юнону видишь? Через три месяца из нее выйдет слово «щенок».

– А? Так она разговаривать умеет?

– Ага. Задним концом, – сказал Лауси и снова вздохнул, но затем углядел коробку с гвоздями и пополз к ней на коленях. – Такова жизнь, Гест, родной, она лучше всего высказывается задним концом. – И как бы в подтверждение этих слов тут раздался негромкий «пук» из зада нашего причалостроителя, стоявшего на четвереньках на этой новенькой сцене, словно безрогий, но бородатый баран.

– Ты мало пукаешь, – раздался голос мальчика.

– Что?

– Пукаешь ты мало. А папа Копп только и знает, что пукает. Но только когда мы одни. При Дине или Сигге с Теддой он не пукает. А ты так вообще никогда не пукаешь.

– Э-хе-хе, нам при нашем сиром житье лучше все в себе удерживать.

Гест качнул ногой рукоятку кувалды, стоящей вертикально неподалеку, и лицо его сделалось задумчивым. С тех пор как он обрел дар речи, у него начали всплывать разные мысли.

У меня теперь три папы?

Первым был Эйлив, о котором Лауси все время говорит, а Гест его не помнит. В Фагюрэйри про этого человека говорили, что он вор, а в этом фьорде – чуть ли не святой. «Эйлив из Перстовой хижины в нашей местности самый уважаемый. Если кому-то в небесной спальне и уготован самый теплый уголок, так это твоему отцу. Он был выдающимся человеком», – твердил Лауси мальчику.

А еще был Купакапа, который был к нему так добр, а все-таки услал от себя, ничего не объяснив. А сейчас его отцом должен считаться этот старик, который опустился на усталые колени перед коробкой, выбирает себе оттуда гвозди и три штуки засовывает в рот. Когда его подбородок прислонился к груди, борода расстелилась по ней словно слюнявчик. Лауси пополз обратно, с гвоздями во рту, словно шипозубый козел, волоча за собой коробку. А Гест стоял, смотрел на него – и внутри него крепла уверенность, что такой человек никогда не мог бы стать его отцом. Ему не хотелось иметь трех отцов, а хотелось вернуться к тому, второму, по которому он так сильно скучал.

Удары молотков эхом отдавались между гор, на утреннем солнце люди были бодры. Бурая Юнона прискакала на причал, понюхала длинные доски, впивая в себя норвежский аромат свежей древесины, вобравшей запах соли из моря, и ее зад приплясывал вслед за виляющим хвостом, словно она нашла здесь свои вожделенные родные края, на границе моря и суши – эта собачка, потомок многочисленных помесей иноземных корабельных псов и местных береговых собак.

Гест вышел на оконечность новехонького причала. Стоял там и глядел в воду: море при таком солнце было прозрачным, и две желтые молодые трески помахали ему хвостами, а медуза протрепетала по поверхности, словно старая акулья рыготина. Затем он окинул взглядом местность вдоль и вокруг фьорда, лето сейчас было в разгаре, и сугробы – лишь на самых высоких пиках – в этом невозможном фьорде, узком, как шкаф! – и все-таки начал вновь думать о своей Малле, Малле-маме, и всей той хорошей еде, которую та ему готовила, – а в

этой Обвальной хижине самое худшее было то, что на завтрак, обед и ужин одна лишь рыба: холодная рыба, теплая рыба, плохая рыба… И никогда – ни сахара, ни леденцов и ни сдобы!

Зачем его сюда услали? Почему Купакапа отослал его от себя? Он чем-то провинился? Слишком много сдобы съел? Или это из-за того, что он называл мамой Маллу, а не фру Ундину? Почему эта тихая женщина вдруг ни с того ни с сего наорала на него? Из-за этого? Ему надо было называть мамой ее, если уж Копп – Купа-папа? Среди этих тягостных дум его вдруг окликнули по-иностранному, и мальчик отодвинулся на восточную сторону причала. К нему подошла лодка, а на ней сидел чернобровый мужик, который кинул ему канат с большой петлей на конце. В лодке лежал и спал другой мужик. Хотя Гест не понимал языка, сам приказ он отлично понял, человек просил его накинуть петлю на тумбу. Эту новешенькую причальную тумбу. Он так и сделал – при этом не отдавая себе отчета, что сейчас швартует первое судно у первого в Сегюльфьорде причала, – а потом стал смотреть, как тот черноволосый ершистоволосый чернокудрый моряк с помощью швартова взбирается на причал и шагает на него: маленький, удаленький, колченогий. Гест некоторое время задумчиво стоял, смотря то вдаль, на солнечные доски причала, на Лауси и плотников, склонившихся над своими гвоздями, пока солнце светит им в спину, то вниз, на лодку, которую он пришвартовал, на человека, все еще спавшего в ней, и на парусное полотно, лежавшее на корме и явно скрывавшее какие-то припасы. Не долго думая, он схватился за канат, совсем как тот черноволосый, и спустился с причала в лодку, а сердце у него колотилось от страха разбудить спящего. Но тот моряк не проснулся, хотя лодку слегка качнуло, когда в нее ступил Гест. Затем мальчик забрался под парус, спрятался там и тотчас представил себе, как обрадуется Малла.

Глава 2
Пастор Ауртни

Новый пастор, преподобный Ауртни Бенедиктссон, был блестящим, прямым как струна, рослым, длинноголовым, волнистокудрым, темноволосым и, что называется, дальновзорым: под красивыми бровями таились целые километры, целые десятилетия, этот человек провидел будущее. Он был с юга, ему было слегка за тридцать, и способности у него были по всем направлениям, особенно – к музыке, но в конце концов ему пришлось смириться с должностью пастора, как и всем талантам Исландии в те времена: церковь была единственным оплотом всех этих талантливых язычников. Весь народ веровал в алтарь – кроме тех, кто при нем служил. Там обычно находился скептик, который ясно видел, что стоит за всеми этими завываниями, но все равно предпочитал надеть на себя это облачение, нежели скитаться по хлевовым хуторам страны с сумой и побираться, бормоча хулительные стихи, подобно гениальным оборванцам былых времен: Боулю-Хьяульмару, Лаутра-Бьёрг и Солону Исландусу[46].

Завершив курс наук, Ауртни Бенедиктссон целых семь лет плавал по винному морю в столице, бренчал на пианино во всех кофейнях этого крошечного городка и брал плату поцелуями женщин, в конце вечера всегда был уносим прочь в горизонтальном положении и не имел ни детей, ни невесты, – но вот в одно жуткопохмельное утро его разбудила жизнь и записала его в школу пасторов. Несколькими семестрами и одним пасторским воротником позднее его посадили в легкую лодку в темном фьорде и повезли навстречу другой жизни.

И когда он остался один в незнакомом фьорде – окруженный пятнистыми щербатыми горами, сверкающими на него своими сугробами в апрельском сумраке, а перед ним – церковь, одна-одинешенька посреди косы (как будто остальные дома ее чурались), такая сыростно-серая, но сверкающая почти как голая женщина в ночной мгле, – он возмужал, ему пришлось возмужать: теперь на нем лежала ответственность за весь этот фьорд, эти горы, ведь он был их пастырь! Это студеное открытие так мягко ударило его по голове, что он в момент протрезвел. Он беспробудно пропьянствовал полпути вокруг Исландии на борту «Тиры» вместе с другими новоиспеченными

пасторами (их всех, должно быть, перевезли на берег таких же пьяных, как и его, каждого в свой фьорд), – а сейчас хмель разом вылетел из его головы, но в его башмаках он все-таки еще бродил, потому что его несколько раз угораздило треснуться головой на гололедице, захватившей косу, так что, когда он постучался в двери Мадамина дома, он был мокро-грязный и пропахший винищем.

К двери подошла экономка Раннвейг и, открыв, тотчас подняла брови, – а за ее спиной, на сухом-пресухом дощатом полу у края лестницы перед взором вошедшего встали две пасторские вдовы, культурные и штукатурные, и обе подумали одно и то же: такого непросохшего юноши они не видели с той поры, как познакомились с собственными мужьями. Что такого с этой Пасторской школой, – там, что ли, одно пьянство преподают?

С тех пор как преподобный Йоун нырнул в могилу, жителям Сегюльфьорда с юга завозили новых пасторов дважды: сначала прибыл еще один Йоун, или Йоун Следующий, как его называли сперва, а потом к нему пристала кличка Йоун Слезший. Бог вытащил его из этого фьорда всего через два года, подыскав ему брачную партию на востоке страны. После него был преподобный Эггерт, уже завершавший свою карьеру. Пил он меньше других и по-настоящему пьян никогда не бывал, разве что в дни богослужений, а его крепко сшитая супруга следила, чтоб не стряслось ничего плохого, сидела на передней скамье с тетрадкой, как суфлер, и, где надо, подавала реплики. Зимой они оба очень деловито преставились.

– Не лучше ли вам снять эту одежду здесь? – спросила Раннвейг юношу с юга, принесла для него чулки и старые нижние штаны преподобного Йоуна Слезшего и закрыла внутреннюю дверь прихожей. И новопоставленный священнослужитель принял последнее посвящение: переоделся из южного костюма в северную одежу и вошел в гостиную новым человеком, занял место у окошка, за несколько секунд отрастил усы и приобрел в голосе ответственные нотки:

– Доброго вам вечера! И сердечно благодарю за прием. Это… хороший дом.

– Здравствуйте. Меня зовут Гвюдлёйг, я вдова покойного пастора Йоуна.

– Здравствуйте и вы. Меня зовут Сигюрлёйг, я вдова покойного пастора Тоурарина.

Они подали друг другу руки. И когда он сделал шаг вперед, половица слегка скрипнула. Мадамы были на голову ниже него, в длинных черных юбках, с черными кистями беретов на седых волосах.

И тут его посетила мысль, что он вошел в заколдованный дом.

Ведь они и его переживут – эти красиво-субтильные женщины, и он прибавит свой экземпляр в этот уникальный Музей пасторских вдов. Его преемника встретят уже целых три вдовы! В блестящих от старости, сероватых глазах этих женщин он увидел целые годовые выпуски утраченных иллюзий, целые недели скуки, скрашенной надеждами, и, наконец, облегчение, которое им принесла смерть. На самом деле пасторским вдовам в этой нелегкой стране жилось, пожалуй, лучше всех: специальный фонд обеспечивал им доходы, жилище и помощь по дому. Они были свободны от тяжкого труда, а что самое ценное – они были свободны от своих мужей, вечно пьяных и вечно похмельных. Ауртни увидел, как дело обстояло в реальности: хотя эти женщины не могли сделать так, чтоб на душе у них было хорошо, сейчас их жизнь была гораздо лучше, чем когда-то. Этим вдовам за один вечер удалось то, что Пасторской школе не удавалось два года: вырвать его из объятий Бахуса. Может, его заела совесть из-за того, что в этот поселок он прибыл прямиком из бара (где-то в задней части головы у него еще гремел датский гимн, который он мурлыкал с собутыльниками с презабавной энергичностью под собственный в дугу пьяный аккомпанемент на пианино всего два часа назад: *Kong Christian stod ved højen mast!)* [47], но ему честно захотелось показать себя этим любезным подбородкам с лучшей стороны. И на следующий день он тотчас принялся за работу. Он окинул поселок своими дальновзорыми глазами из своего окна на верхнем этаже Мадамина дома и почувствовал, что это место наполнит всю его жизнь, а он – его жизнь. Новый пастор начал день с того, что отправился в церковь и оценил ее состояние. Не прошло и недели, как он заказал крестильную купель, подсвечники для алтаря, обшивку и черную краску для стен снаружи, стекло в разбитое окошко и новые лопаты для могил. Потом он настроил принесенный морем орган – «Фанфарона из вод» и начал было заполнять перечень домашних визитов, запланировал посетить все хутора во фьорде, а вдобавок повесил при дверях церкви претенциозный календарь с расписанием богослужений. Люди почувствовали, что в их фьорд пришло какое-то будущее. Этого нового

пастора переполнял отнюдь не спирт. Да! Наконец в Сегюльфьорд привалила удача: его жители выиграли в большой пасторской лотерее.

В первое же воскресенье преподобный Ауртни созвал всех на мессу, и в следующее воскресенье тоже. Но когда людям пришлось идти в церковь третье воскресенье подряд, им стало не по себе. Другие-то пасторы служили мессу только трижды в год. Не стоит ли подыскать этому пламенному духу еще другие дела? Так что на следующую неделю он уже заседал в совете хреппа. Пианистопалый образованец сел за один стол с соленобородыми хуторянами. Он им не понравился: мол, этот усатик, небось, акулью снасть никогда не видел! – но новый хреппоправитель, теплый и пухово-мягкий Хавстейн Гвюдстейнссон с колесящей походкой и заразительной обходительностью, ни к кому не относился с подозрением и из всех извлекал самое лучшее.

Кто со стороны пришел, у того взгляд острее. Пастор Ауртни заметил, что здесь самое срочное дело – возвести причал. Корабли, ходящие вдоль побережья, начали останавливаться здесь по графику, а норвежские китобои шастали во фьорд и из фьорда и даже наскребли материалов на сарай на оконечности косы, который воздвигли с разрешения хреппоправителя, и сейчас само торговое товарищество «Крона»[48] – североисландская империя – воздвигла здесь жилище для рыбаков и лавку. На площадке за ним хуторяне-акулопромышленники топили жир, прямо возле кладбища, в больших, врытых в землю котлах, с присущими этому занятию дымом и вонью. В жиротопные дни от всей косы валили клубы, словно от блина на сковородке. Перед Мадаминым домом сейчас стояли четыре других деревянных дома Сугробной косы – не дерновые хижины-полуземлянки, а настоящие жилые дома. Хреппоправительский дом, Факторский дом, Докторский дом и Норвежский дом. Соответственно, здесь сложилось высшее сословие из девяти человек: пастор, врач, «фактор» (торговец), «ассистент» (его помощник), две пасторские вдовы и норвежец-бондарь Эйвинд Йессен с супругой. Такой публике пристало всходить на борт, не замочив ног. Поселок без причала – все равно что дом без дверей.

Но эти аргументы он придержал для себя, ведь акулодобытчики из совета хреппа понятия не имели о портовых сооружениях, здесь суда просто «сталкивали на воду» в начале промыслового сезона и «вытягивали на сушу» в конце, а причалы – это для тех, кто в море собирается в датских башмаках, а значит, баловство одно! Затем они

спорили о праве людей приходить в церковь с мокрыми ногами и ссылались на то, что Христос, мол, ходил по воде, и тому подобные истории. Но вышло все так, как бывало и в более поздние времена: пока люди спорили за столом переговоров, сам этот стол, незаметно для них, перемещался в будущее. Порой ожесточенные споры – лишь тихий аккомпанемент к большим переменам. И когда пронесся слух, будто норвежские китобои хотят соорудить себе причал, вышло так, что акулятники согласились: если пастору удастся раздобыть средств, то ради бога, пусть себе строит такую прибрежную веранду.

Пастор Ауртни использовал свои связи в кофейнях «внизу» (так здесь иногда называли столицу), и ему удалось выхлопотать из казны средства для постройки причала. И тут выяснилось, что лучшее место для причала было напротив церкви: посредине косы на внутреннем берегу фьорда. Причал как раз и привиделся ему там – он увидел его с крыльца по окончании мессы, когда провожал взглядом сегюльнесцев, идущих на взморье к своему шестивесельнику. А через год было возведено и само сооружение – именно на том месте, где он его предвидел.

Глава 3
Ось фьорда и новый год природы

Потом, когда пастор стоял один на дне Сугробнокосской ложбины, высоко над поселком, – длинный одинокий юноша, вышедший на полночную прогулку в день первого с момента постройки причала летнего солнцестояния, – тогда он увидел все как есть: что здесь он, сам того не подозревая, проявил некую гениальность в планировке. Эта мысль явилась ему тогда, на пороге церкви после службы, словно бог иного рода. Ведь здесь, на прямой, проведенной по середине фьорда, были: солнце, церковь и причал. Первое, полуночно-красное, стояло на поверхности моря на севере, идеально располагаясь на одной линии с церковной колокольней и причалом-коротышкой, так как тень от церкви прочерчивала расстояние от солнца до самого конца причала. Все это вместе образовывало одну красивую ось фьорда от севера к югу: от солнечной ладьи через церковный корабль до рыбачьей лодки.

Тут пастору Ауртни вдруг вспомнился рассказ, который он слышал в конторе ландсфогта в Рейкьявике, где он одно время работал секретарем, ведь его почерк славился красотой и четкостью. Датский чиновник, поживший в великом Париже, на все лады расхваливал ландсфогту размеры и многолюдность этого города. «Каждый дом там – как скала в ущелье Альманнагьяу[49], и жильцов в нем не счесть. А в городе таких насчитывается десять тысяч!» А чтоб как-то упорядочить такое безобразие, в городе проложили из конца в конец широкие проспекты-оси, с юга на север и с востока на запад, и они разбили город на кварталы. «Так что можно, например, проехать, ни разу не повернув, от площади Бастилии до Елисейских Полей, а по дороге будет Ратуша и великий музей Лувр. И все это по одной ниточке, протянутой сквозь древнеегипетское «игольное ушко» посреди площади Согласия, а конец этой нити выходит из самой Триумфальной арки. И эта дорога называется *Axe historique – памятная ось*».

В глазах пастора Ауртни новый причал сделался Бастилией, церковь – площадью Согласия, а алое солнце – Триумфальной аркой. И вдруг пастор увидел – в один зардевшийся умогорячительный миг, – как от новой оси его Коса заполняется домами, так что пустого места не остается, а улицы продлеваются в море по причальным столбам: из

Сугробной косы вырастает множество пирсов и причальчиков, словно лучи, а на земле поднимаются бесчисленные трубы поднебесной высоты и изрыгают белые облака тумана. А за Косой стоит в тихой заводи множество парусников, так что Затон выглядит как одна сплошная палуба, а мачты образуют безлиственную и беспарусную чащу.

Но что здесь произошло?

Преподобный Ауртни был совершенно сбит с толку – но постепенно пришел в себя. Он перетащил в свой фьорд целый Париж, а заодно и весь французский флот. Когда это видение растаяло, действительность открылась его взорам вновь: плавающее в море перед причалом красносолнце, коса с четырьмя деревянными домами, тремя сараями и горсткой жалких хижин под дерновыми крышами да бугорков-землянок. Перед ближайшей к церкви хижиной он увидел бродящего старика-призрака: Сакариас, завернувшийся в белую простыню, опирался на струю собственной мочи у восточного угла огорода.

Юный священнослужитель прошагал вниз по склону, качая головой над своим прихотливым видением, – но одновременно отметил про себя тот факт, что место расположения причала он, вероятно, выбрал правильно. Затем у него вновь пошла кругом голова: как же сильно один человек способен изменить жизнь целого фьорда! И чем ближе он подходил к поселку с его жиротопной площадкой, загоном для отсадки овец, рыже-пятнистыми коровами хреппоправителя и сероватыми ярушками врача, чайками на взморье, крачками с их криком и вороном на коньке церковной крыши – тем все яснее понимал, что именно ему выпадет участь застроить здесь следующие участки домами.

Он легким шагом проскакал по камешкам через шумливый ручей на отроге горного склона, а затем пошел мимо Хреппоправительского дома, по овечьей тропке за церковью, – и к себе в Мадамин дом. Осторожно закрыл дверь и тихонько прокрался к себе наверх. Хотя из комнаты работников в подвале раздавался гул голосов, а из кухни гром кастрюль, старые мадамы уже легли и спали своим мирным сном вечности: бородки пуховые, лона освященные. Интересно, скольким моим коллегам доставалось в наследство от предшественника целых две женщины? – подумал преподобный Ауртни, кладя волнистокудрую

голову на подушку. Но хотя они во многих отношениях милы, они же такие чертовски старые… да, и пахнет от них дурно! – усмехнулся он про себя. Мне нужно обзавестись женой! Но где найти приличную партию? Здесь либо одни сплошные коровы, либо дурочки. Пожалуй, новая экономка недурна, только сложена крупно.

На самом деле он был убежден, что тайно помолвлен с умной девицей хорошего рода из Бильдюдаля[50] – Вигдис Торгильсен, дочерью торговца, но сейчас с тех пор, как он получил от нее последнее письмо, прошло уже шесть месяцев. Его он прочитал в день святого Торлаука, один у себя в комнате, этот текст был ему как музыка, и его сердце подыгрывало в такт. На следующий день он сел в церкви и облек эту музыку в органные ноты – пальцы у него закоченели, а дух пламенел. Эту мелодию вместе с ответным письмом он отправил с первым в том году кораблем, – но от нее пока не было вестей. За те четыре года, что прошли со времени их тайного обручения, их письма никогда не бывали в пути больше двух месяцев. А сейчас, очевидно, возникло какое-то затруднение. А вдруг она узнала о том, что с ним произошло во время выпускного путешествия? Он отстал от товарищей и проснулся в землянке в Кеплавике в чужих объятьях – а улыбка у незнакомки была щербатая. Он, конечно, знал, что его новое начальство, Бог, простит его, ведь выпускникам Пасторской школы чуть ли не буквально рекомендовалось перебеситься в промежутке времени от выпуска до рукоположения, чтоб потом их жертвами не пали их же прихожанки. Но Вигга-то никогда бы не простила, что он мог так оступиться! И наверняка ведь об этом разболтали! В той бадстове спало по меньшей мере пятнадцать человек. И все, будь они неладны, ухмылялись! Распроклятой утренней ухмылкой!

Наверняка сейчас рыбы принесли на хвостах эту историю на Западные фьорды. Да, наверняка все кончено, к тому же таким бесславным образом – он променял лучшую в стране невесту на беззубую деваху из землянки! Пастор закусил губу и наклонился, чтоб выглянуть в окно своей комнаты, которое выходило на север. Время было – четверть второго, всего пять минут до восхода солнца. Он облокотился на прохладный подоконник и стал ждать, а по его бурным мыслям плавал облик Вигдис.

На улице была вершина лета – единственный настоящий Новый год природы, и он разворачивался, привычно соблюдая все обычаи

подобных праздников. В без десяти час солнце отступило при дивно-алом пении облаков, и тут же все птицы замолчали и спрятали голову под крыло. Этому правилу подчинились даже чайки и большинство крачек. Словом, у румяной полуночной богини был заведен обычай в ночь солнцестояния купаться в море, и это солнцекупание длилось ровно двадцать девять минут. А потом оно вставало из своей купальни, с солено-желтым ликом, и поднимало всех из постели: принимайте красоту мира! Садитесь на вершину ваших дней! Живите сегодня ночью, чтоб завтра вы могли умереть! Однако эти пожелания осуществил лишь один новый пастор, который подождал, глядя сквозь стекло, пока солнце не поднимется как следует над гладью моря, а потом улегся на покой.

Над этими северными одиночеством и скукой царило ясно-светлое небо, одновременно совсем пустое и до отказа полное: опустошенное, так как в нем не было ни хлопот, ни тревог – но исполненное духа, полное веры. На море перед косой была мелкая рябь, а позади косы – затонное затишье, и на кочках и дерновых крышах – травиночное безветрие. Вот послышалось, как хлопнула дверь склада торгового товарищества «Крона», а потом – ничего, лишь одинокий вопль крачки со взморья. Здесь вершилась прекраснейшая ночь в году – но жители фьорда проводили эту ночь во сне по причине усталости и изможденности. Горше всего та нищета, при которой нельзя позволить себе даже бесплатное!

Глава 4
Мочебдение

Если мы задержимся на этой картине чуть подольше, то увидим: в светлый зал – фьорд – просунулась человеческая голова; ведь сейчас двери церкви с торжественной медлительностью открылись на дорожку, и через порог переступил белобородый старый лысун с белой материей на плечах. Он повернулся, закрыл за собой, а затем осторожно заковылял по тропинке по направлению к причалу, а под его льняным балахоном проглядывали серые расхлябанные шерстяные подштанники и такого же цвета носки, а обуви на нем не было.

Старый Сакариас в середине лета спал всегда мало. Тогда в его мочевом пузыре бывало светло, и он часто ходил по огородам и тунам, радуя истосковавшиеся по дождю одуванчики своими струями – многочисленными, короткими, отвесными. Во время этих своих мочебдений он бродил по всей косе, делал свои замеры освещенности или сидел в церкви, пережевывая псалмы. Он уже почти одолел целый псалмовник. Но после появления нового причала его ночные блуждания всегда заканчивались у него, – а потом он осторожно шагал на доски. И каждую ночь он делал по причалу на один шаг больше, а после этого со всех ног бежал обратно, словно его угораздило шагнуть на те блистающие мостки, которые Господь кладет перед своими лучшими людьми, чтоб облегчить им переход через Райскую реку, – но немногие решаются пройти по ним, ибо сияние рая на том берегу столь ярко, что конец мостков кажется висящим в воздухе.

«И куда это ведут эти мостки?» – думал про себя Сакариас, отступая к дому, – а на следующий вечер приходил сюда снова и делал по причалу еще один новый шаг.

Глава 5
Светлопечальные летние ночи

А где же Гест? Уже семь дней прошло с тех пор, как мальчик пропал. Столько же дней молчал Лауси – и ему не спалось. Как такое могло случиться? Мальчишка просто испарился. Даже собака Юнона не заметила, куда он делся. В море? Неужели? Ну, к берегу пока еще ничего не прибивало. Французский бот тогда уже ушел, норвежский пароходик тоже. Они поднимались на оба судна – он и Хавстейнн, хреппоправитель, но ничего не нашли, ничего не услышали. Как же мог такой шалун, такой пухляш вдруг взять и пропасть с глаз солнца и семнадцати человек? Какое колдовство унесло его с великолепной новой сцены – причала? Может, его поглотило солнце? И он с чавкающим звуком исчез в луче?

Светлыми вечерами Лауси сидел перед своим домом, на видавшей виды скамеечке, на которой обычно точили косы, и не сводил глаз с косы, причала, которому от роду была всего неделя, – проклятого причала, где полным-полно шурупов и четырехдюймовых гвоздей. Ему казалось, что именно на этом причале лежит главная ответственность за это внезапное исчезновение. И как же он скучал по мальчику! Не только из-за того, что Гест был сыном его друга Эйлива – и, соответственно, его совесть была отягощена: это же последний отпрыск рода из Перстовой хижины! – а потому что при возвращении мальчика в Сегюльфьорд старик весь ожил: наконец в его доме появились жизнь, надежда и будущее, быстрый ум, собеседник. Все беседы с тещей он уже давно исчерпал, тем более что старуха перестала разговаривать, а с женой он довольствовался просьбами: женщины под шестьдесят мало что могут рассказать, а работник Йоунас сбежал из этих мест, посадив пару лисьих глазок в ту неподатливую почву, которую представляла собой его дочь Сньоулёйг. На этой неделе, когда его вызвали в Перстовый по плотницкому заказу, Лауси почувствовал, что ему не хочется домой – на хутор, лишившийся мальчика, – и он остался ночевать, хотя до дому ему был всего час пути. Восвояси он отправился мокрым росным утром, повесив голову, и то и дело спрашивал собаку Юнону: «Где Гест? Куда мальчик мог запропаститься?»

А сейчас силы покинули его, он сидел перед домом, словно громом пораженный, и молил самого небесного дьявола вернуть мальчишку, – тогда он пересмотрит свое отношение к нему, только бы он предъявил ему светлую головушку на склоне или две ноги на берегу.

Его солнце поглотило? Он представил себе мальчика, весящего 40 килограммов, высоко на полке в солнечном луче, да, в дальнем углу кладовой солнца, купающегося в роскоши и свете, уписывающим золото и лучи. Это светлое видение – знак того, что Геста призвали прочь? Или это символ жизни? Жизни лучшей, чем та, какую мог предложить ему он? Лауси – поэт до мозга костей – даже потерял способность читать в собственном уме. И все же он – неожиданно и нехотя – начал слагать эпитафию:

А этот гость[51] – он не ушел,
хотя сказал «Прощай!»…

Так прошло это лето – со светлопечальными ночами, и одинокий энциклопедист вечер за вечером молчал перед своим домом, окидывая взглядом горный склон и фьорд в надежде, что сын Эйлива восстанет из пучины и белоночными шагами взойдет вверх по горе – к нему, к ним. Порой он натыкался на внучку, которая спрашивала:

– Дедушка! А что ты все время сидишь?

– Сижу, и все. А тебе спать не пора, голуба моя?

Глава 6
Крепкая хватка страны

Пришел сентябрь, а с ним и ливнищи. Хуторянин Лауси ползает холодными коленями по крыше своего дома, пытаясь наладить пузырь в окошке[52] (по нему вода льет прямо на кровати, на женщин и детей) и одновременно уже в который раз пробуя закончить строфу, которую начал сочинять летом: как странно, что у меня так плохо получается… «возмещай», «обещай», «оповещай», «вычищай»… Черт раздери, какие-нибудь еще рифмы на «прощай» бывают? А может, ну ее, эту первую часть проклятую, – проще новую сочинить? Нет, это было бы ниже его достоинства. А может, в этом стихоплетном запоре есть свой смысл? Может, мальчик где-нибудь живой, хочет жить и оттого не дает мне сочинить про него эпитафию?

И в самый разгар этих набрякших от дождя дум на хутор занесло гостя. Во двор въехал преподобный Ауртни на рыже-пятнистом коне, в сопровождении мальчишки-подростка на уставшей от подъема серой лошаденке. Экипированы они были хорошо, да промокли изрядно; на пасторе была широкополая шляпа и модное пальто. Лауси увидел, что мальчишка был не кто иной, как Магнус по прозвищу Пустолодочный. Три года назад его принесло на Косу штормом в лодке, которую все считали пустой, пока паренек не встал с ее дна. С тех пор он жил в Мадамином доме; волосы у него были льдисто-белые, а брови инеистые (как гласило предание, он три недели пролежал на морской льдине), а лицо всегда красное, толстощекое.

Лауси поспешно закончил шпаклевать вокруг конструкции из пузыря особой смесью земли с навозом, затем подложил туда дерн и быстро вымыл руки о мокрую траву на крыше, а потом легко соскочил с нее вниз. Пастор со светской медлительностью спешился и, пока мальчишка занимался лошадьми, стал здороваться с хозяином хутора. Их рукопожатие было холодным и мокрым, приправленным парой комков земли с примесью навоза, а также оно было сугубо исландским – в том смысле, что ничего не означало: хуторянин не питал никакого почтения к пастору, а пастор – к собственной должности. Здесь всего-навсего сошлись две белые игральные кости, которые жизнь забросила слишком далеко от своего центра, и они упали в этом суровом фьорде, и

на одной выпало «шесть», а на другой – «один», и они безропотно повиновались такому раскладу и поэтому пожали друг другу руки – два исландца, у которых не было выбора: светский человек, никогда не путешествовавший по свету, и поэт, вынужденный чинить крыши и сколачивать не строчки, а доски. Рука руку жала – а страна их мертвой хваткой держала…

Но несмотря на разницу между числами «шесть» и «один», именно этих жителей Сегюльфьорда можно было больше других назвать коллегами. Ведь оба они были людьми духа.

Преподобный Ауртни прибыл в Нижний Обвал во время своего ежегодного объезда хуторов, и Лауси провел его к своим женщинам в темную хижину, быстро посмотрел на потолок: ага, течь поменьше стало, – а потом вынул из щели над супружеской кроватью специальную пасторскую тарелку, сдул с нее землю и пыль и несколько раз обтер о правую ягодицу. Пастор с удивлением посмотрел на эти манипуляции, а затем – на заднюю часть штанов хозяина (после того как тот подал ему тарелку): ну, в общем, не такие уж и грязные.

– Вы нас совсем врасплох захватили. Я даже не знаю, найдутся ли у нас лакомства для человека, обученного богословию.

– Не беспокойтесь: мы едем с Сегюльнеса. Там нас так угощали – мы в седло без посторонней помощи едва влезли! Я насчитал, что мой помощник съел шестнадцать оладий.

Мальчишка, притулившийся на краю кровати, рассмеялся носом – красный как рак, а вместо десен оладьевое тесто.

– В Сегюльнесе народ не бедствует. Море им каждый день приносит по целому лесу[53], – сказал хозяин Обвала, вынимая табакерку, и с легким удивлением добавил: – А вы через Мертвяцкие обвалы верхом проехали?

– Да, но больше не станем. Я пока не все знаю в этом фьорде. Лошадей полпути пришлось вести в поводу.

– А-а. То-то я смотрю, у них копыта скосогорились.

Лауси предложил гостям табака, от которого они отказались, после чего сам всосал понюшку в свою ноздрю с тыльной стороны правой ладони, со смачным звуком. Хозяйка Сайбьёрг ринулась в кухню за кофе, а ее мать Грандвёр неподвижно сидела, – только спицы в руках шевелились. Чтоб остановить эту вечную вязальную машину, одного пасторского визита было недостаточно. И все же старушка подняла

прозрачные глаза на пастора и вдруг напомнила ему женщину, которая сидит в поезде и провожает глазами еще одну проносящуюся мимо деревню: она их явно немало перевидала, этих преподобных.

– Мы ненадолго, – объявил Ауртни, будто принял ее послание; он сидел на кровати напротив «вязальной машины», рядом с Магнусом, отложил тарелку, достал книгу и поднес ее к столбику мелкой мороси, исходящей из только что починенного оконца в крыше. – Итак, посмотрим: Сигюрлаус Фридрикссон, Сайбьёрг Сигюртоура Сигманнсдоттир, Грандвёр Гвюдманнсдоттир и Сньоулёйг Сигюрлаусдоттир. И малыши – это у нас Хельга и Бальдюр, дети Йоунса.

– Нет, Йоунаса! – грянула Сньоулёйг, которая сидела на передней кровати и вязала красно-коричневый носок. Спицы в ее руках ходили так быстро, что казалось – носок вползает к ней на колени с той же скоростью, с какой в мир выползает младенец. Дочка Хельга стояла у переднего столбика кровати и таращилась (а щеки у нее были морозно-алые) то на мать, то на пастора, словно ощущала, что ее мать неспособна понять такого шикарного господина.

Преподобный Ауртни коротко усмехнулся, а затем продолжил с ласковой безучастностью:

– Да, Йоунаса. А добавочный ребенок? По-прежнему пропавший без вести?

Это было точно нож в спину Лауси, который склонился, подставляя живописный жестяной чайник под невидимую течь над средней кроватью в бадстове, между дочерью и пастором. Холодный чиновничий тон и слово «добавочный» пронзили ему сердце. Хуторянин-стихоплет оставил чайник у прикроватного столба и повернулся:

– Это вы о Гесте?

Стоило ему назвать имя мальчика, как капля с протекающего потолка с грохотом обрушилась в темную пустоту жестяного чайника – с таким звуком одинокая слеза падает с большой высоты на самое дно печали.

– Нет, он… Он…

Больше Лауси не смог произнести ни слова; он сник на кровати прямо под источником света. Тут обрушилась другая капля – из того места, где был натянут пузырь, и упала на голову хозяину, чуть спереди

от макушки, а затем стекла на лоб – коричневатая, хорошо заметная в белоснежных прядях. Он стер ее узловатой костлявой рукой, которая, казалось, так и застыла в жесте рукопожатия. Пастор Ауртни замер с карандашом наперевес, ожидая, пока из тела Лауси не улетучится бóльшая часть горя. Ждать ему пришлось чуть дольше, чем он думал.

Потерять ребенка – это плохо. Потерять чужого ребенка – хуже. А самое худшее – потерять ребенка сгинувших родителей.

Глава 7
В хуторской хижине

Дождь все еще льет, скоро стемнеет. Весь фьорд заволокло серостью. Они стоят у моря в дальней части фьорда, перед убогим холмиком, который можно было бы классифицировать как холм альвов[54], если бы из него не выглядывала корова. Такая тощая-претощая корова. Такая задрипанная, заляпанная грязью коровья задница с хвостом, поднимающимся, чтоб дать упасть коровьей лепешке.

У преподобного Ауртни челюсть опустилась вниз, а брови полезли вверх. Это и есть та хижина? Корова, даром что продолжала ронять лепешки, процокала чуть дальше внутрь коридора землянки, а потом разом прекратила и движение, и навозоизвержение. Теперь из холма выглядывал лишь хвост и яростно мотался, словно торчащий из преисподней хвост Нечистого, когда тот занят важными переговорами. Магнус Пустолодочный глядел на этот процесс, напрягая свои слабенькие глаза, и, казалось, не испытывал ни удивления, ни восторга, с таким выражением лица, словно его мозг до сих пор оттаивал после тех трех недель во льдах. Лауси улыбнулся смиренной улыбкой и зажмурился – уж он-то свою родню знал, – а собачка Юнона тем временем вела доверительную беседу с местным кобелем – барбосом темного цвета – близ стены, сложенной из дерна.

Пастор попросил Лауси сопровождать его в поездках по хуторам, – и разве хозяин Обвала не согласился тотчас же, ухватившись за возможность вырваться из дома, даром что погода была премерзкая? Эта нора называлась Хуторская хижина и была одной из тех бедняцких хижин – совсем как блаженной памяти Перстовая, – которые были построены в начале века на землях крупных хуторов этого фьорда после великих недородов и стихийных бедствий; а для этой убогой лачуги участок выделили во владениях хутора Пастбищного, и хозяйство там было, можно сказать, безлошадным, потому что там не держали никакой другой скотины, кроме коровы, – которая сейчас брела по коридору, словно какая-нибудь баба. Здесь люди пробавлялись вязанием и морским промыслом. Однако сейчас подобные хижины вырастали в основном на Косе, где желающие попытать счастья

батраки, рыбаки, вольники и прочий народ, который флюгерится по стране, воздвигал жилье для себя и своих детей, и зачастую эти палатки с дерновыми стенами строились всего за несколько дней. Когда пастор Ауртни объезжал хутора в первый раз, он почему-то пропустил Хуторскую хижину, а сейчас решил это исправить, – да только чтоб отыскать это строение, ему понадобилась помощь местного уроженца: настолько оно было неприметным.

Едва корова скрылась в глубине коридора, Лауси с двумя собаками последовал туда за ней, проворно обошел трехчастную коровью лепешку на цыпочках и, перед тем как войти в комнату, воскликнул: «Бохвпомощь, Эйнар, родной!» Остальные стояли на улице под студеным дождем и пытались согреться навозным теплом, заключенном в ошеломляющем запахе хлева. Но поскольку их провожатый больше не показывался, они наконец нагнулись, чтоб войти в дом, и закрыли за собой ветхую дверцу. Коридор был низким, темным и сырым, и по нему бежал во двор ручей (красиво петляя вокруг коровьих лепешек или окружая их) и отражал крошечное льдисто-белое пятнышко света, падавшее из бадстовы. В конце коридора они разглядели согбенную спину Лауси. Они ощупью двинулись по направлению к нему.

Несмотря на то, что дерновые хижины, вроде этой, порой были не более чем холмы, полые внутри, и в сущности являлись близкими родственницами гренландских иглу в отношении формы и планировки (одно общее пространство с низким входом), коридоры в исландских землянках обычно делались довольно длинными, ведь в этой безлесной стране хорошие двери на дороге не валялись, а длина коридора смягчала холод и сбавляла ветер. Однако самым суровым буранам иной раз удавалось, – если задвижка вдруг открывалась, – замести снегом помещение до самой бадстовы.

В Хуторской хижине дверь бадстовы была – так называемая хлопалка, – и сейчас Лауси отпустил ее, и она захлопнулась прежде, чем его двое спутников успели пройти коридор до конца, так что вокруг стало темным-темно. Преподобный Ауртни ощупал деревянную переборку и наконец нашел дверное кольцо и раздвинул этот занавес реальности, о которой прежде только слышал, но сам не видел – этого апофеоза исландской бедности: бадстовы-хлева. Над его головой

натянулся дверной шнурок, и камень, привязанный к его концу, с низким звуком потащился вверх где-то за дверью.

Вонь вокруг была просто невыносимая.

Хозяйка только что занялась дойкой, и ей было недосуг поднимать глаза, хоть в ее дом вошел рукоположенный. Корова моталась в неком примитивном стойле, сооруженном в одном конце бадстовы; скотинка стояла перпендикулярно кроватям. Она лучилась во все стороны ребрами, ушами, мослами, позвонками. Тем не менее в жестяном ведерке у бабы щедро позвякивало. Сама эта баба носила мужскую шапку – и так высоко носила, что та висела у нее на затылке буквально на честном слове, а под жидкими темными волосами просвечивала белая черепушка – темя. Лицо она прятала между коровьих ляжек – и по-прежнему молчала. Но по ее поведению, а также по выражению морды коровы, которая сейчас взглянула на гостей, было явно заметно, что к этой женщине уже обращались. Преподобный Ауртни поднял глаза от темени хозяйки и стал всматриваться вглубь жилища, а собаки показались из коровьего угла и пошли разнюхивать туда же.

Здешний запах был смесью хлева и дыма и еще какого-то третьего рода вони, трудно поддающегося описанию, но, судя по всему, близкого тем двум.

По земляному полу этой спальни, оглашаемой звуками дойки, бежал тот же ручей, который тек и по коридору, а чтоб с ним не смешался, в красивом сиянии двухцветных струй, желтый ручеек из-под коровы, в пол возле сточной канавки для навоза недалеко от того места, где кончалось стойло, была воткнута подобранная на взморье доска. За ней виднелось жуткое болото жидких и твердых экскрементов – настоящий источник вечной вони, из которого, судя по всему, ничто никуда не утекало. А если перевести взгляд снова на бадстову, становилось ясно, что исток прозрачного ручья был между боковыми стенами. Потому что над одной из них в крыше было оконце – такое же, как его коллега в Нижнем Обвале, только здесь пузырь в окошке был разорван; обрывки трепетали, свисая с рамы, словно кожеобразная нелепица, мотаясь в струях, хлещущих в открытое окно.

Бóльшая часть дождевой воды попадала на толстую, совершенно отдельную балку, проходившую через всю бадстову между боковыми стенами на уровне пояса, над полом и стенами, так что человек, лежащий в кровати, мог просунуть под нее ноги. Такие поперечные

балки были не редкость в самых маленьких хижинах Исландии, их назначение было – поддерживать дом, чтоб он не развалился и стены из дерна и камней не завалились или не рухнули на людей. Это типично исландское архитектурное новшество в быту было довольно несносным, потому что приходилось либо перешагивать через балку, либо подлезать под ней. Прозорливцы также заметили, как поперечная балка влияет на жизнь исландского народа.

«Нашу страну от развала удерживает лишь одно – наша поперечная натура», – говаривал Лауси.

Капли ритмично щелкали по балке прямо над кроватью, и вместе с ними сверху лился дневной свет. С балки вода струилась в кровать, в живописный аск[55], подставленный под балку, но сейчас переполнившийся и передававший воду дальше – на своего рода покрывало: то ли шкуру, то ли сильно закоростевший плед, а оттуда поток уже находил дорогу к краю кровати и на пол – в виде изящного карликового водопада. (Исландия в первую очередь была ландшафтом. Как на улице, так и в доме.) На кровати напротив течи, чуть ближе к троим гостям, сидел мальчик лет семи в бесцветном свитере и во все глаза глядел на вошедших как дитя всех времен, сын всех людей.

Из темного дальнего конца бадстовы доносилось громкое пофыркивание собаки.

Корова издала тяжкий стон, а юный пастор впивал в себя эту сцену столь же жадно, как любопытный гость из будущего, с совершенно завороженным лицом. Раньше он не видел скот и работающих людей вместе в неразгороженном помещении. В хижинах на Южных мысах, знакомых ему по детству, у коров и овец непременно были свои комнаты, а в комнатах людей разве что рыба порой висела над кроватями – но всегда только дохлая.

Наконец эта ранняя вечерняя дойка подошла к концу, и женщина поднялась со своего сиденья (которое было не чем иным, как перевернутым гнилым корытом), сурово фыхнула ртом и носом и, проложив себе путь через толпу гостей, распахнула дверь-хлопалку и скрылась с ведром в кухне: это была вторая комната в этом доме, а вход туда был из середины коридора. Она пропахла своей работой, ее щеки запали, словно высосанные, зрачки – две черные луны, а конопушки под глазами необыкновенно темные, словно лучи этих чернолуний выжгли их на коже.

– Присаживайтесь! – угрюмо бросила она в коридор перед собой за миг до того, как дверь закрылась, обратившись в сторону, противоположную той, где сидели гости.

Однако они вняли этому приказу и не посмели ослушаться. Хозяйский мальчик пролез под балкой, вглубь бадстовы, словно стеснительная змейка. На передних кроватях не было одеял, и они были завалены разнообразными предметами и барахлом. В сумраке жилища просматривались сломанная прялка, дырявая варежка без пары, ржавая коса и живописная охапка сена, а ближе к краю кровати было место для сидения на непонятных подстилках, которые могли быть старыми куртками, свитерами, покрывалами, мешками или моряцкими одеждами с погибшего корабля, давно вынесенными морем на сушу. На них-то и сели наши приятели, а ручей был между ними, и они вместе глядели на него, на течь и на балку. Сквозь ритмичное постукивание капель можно было раслышать чье-то дыхание. На этой кровати лежал еще кто-то. Вдруг послышалось: «Мама». Голос был девчачий, весьма слабый, и раздавался из кровати по ту сторону балки. Хозяйский мальчик по-прежнему смотрел и молчал; два глаза блеснули в темноте, царившей за балкой, в том конце бадстовы, где стояла супружеская кровать. Говорил не мальчик.

– Мама!

Товарищи переглянулись.

– Мама!

– Ну воть! Цыц, девка, тут человек пришел! И лежи тихо! Тут и так уже мокреть!

Дверь распахнулась, и вошла хозяйка, которая и сказала эту фразу, а затем раздала гостям три потертые фарфоровые чашки в той же манере, в какой координатор поездки раздает своей группе талоны на обед. Лауси ошарашенно смотрел на эту женщину – свою землячку, которую к тому же более-менее сносно знал. А уж он-то был ко всему привычным и не подлизывался к пасторам, да и сам по себе был абсолютно неверующим, – но обычно все смиренно съеживались, когда в их темную земляную пещеру входило духовное лицо. Таков был вековой исландский закон. А подобного приема он отродясь не встречал. Сегодня Стейнка была необычайно дерзка.

– Кофе у меня нет, но с Первого дня лета[56] завалялась одна клейна[57]. Хотите ее?

Женщина стояла над ними с выражением суровости на лице, а затем повернулась к течи и склонилась над кроватью.

– Нет, Миса, не шевелись, а то к тебе в постельку лужа натечет! Ну воть! Я же говорила! – Она почти проорала это на девчушку, которая лежала в постели, подсунув ноги под поперечную балку.

После этого хозяйка взяла стоящий под балкой переполненный аск и понесла его прочь из комнаты, но по пути ее осенило, и она остановилась возле хозяина Обвала и повернула сосуд в руках так, что Лауси машинально подставил под него свою чашку, и она налила туда чистейшей дождевой воды.

– Господня вода, – сказала она, перемещаясь к преподобному Ауртни, который тоже подставил свою чашку, – и освящать не надо!

Также она наполнила чашку пареньку с льдисто-белыми волосами, а затем подошла к стойлу, коротко подоткнула юбку, молниеносно перешагнула через сточную канавку, потом пробралась вперед вдоль туловища коровы и с громким стоном наклонилась возле ее шеи и закинула ополовиненный аск в ясли, шепнула на ухо корове: «Воть так, Экла!» – и достала из яслей другой аск, пустой. Затем она вылезла из стойла тем же путем, повернулась к гостям и спросила, держа в руке пустой аск:

– Ну что? Хотите клейну? Она у меня осталась с Первого дня лета. – И после небольшой паузы добавила: – С последнего.

– Нет, нет, не стоит, у нас желудки полны, – ласково ответил преподобный Ауртни.

– Ах, воть как… А у нас у всех пусты, – отрезала она, протискиваясь между ними в длинной юбке, волочившейся по полу, так что подол впитывал воду из ручья. Она вновь наклонилась над водяной постелью и подставила пустой аск под поперечную балку, чтобы большая часть воды стекала в него.

– Мама, мне холодно, – раздался из-за балки девчачий голосок.

– Ах, воть как!

– Можно мне в твою кровать?

– Я тебе сказала. Не дóлжно возлежать близ покойных.

– Ваша дочь больна? – осторожно осведомился пастор.

– Да. Это у нее, родимой, коклюш или корь, а может, обадва, – отвечала Стейнка из Хуторской хижины, и в ее суровом, как скала, голосе сейчас слышались жалость и материнская человечность.

– Давайте мы починим вам окошко? – предложил тогда Ауртни.

– Да, этот пузырь проклятый утром лопнул. А погода, черт бы ее подрал, ливнем обоссывается. Починить?

Лауси снова съежился, услышав, как выражается хозяйка в присутствии священника. Он сам бы себе такое не позволил, даром что был махровый язычник. Но преподобный Ауртни и бровью не повел. – Я уверен, что наш приятель Лауси может помочь нам вставить в раму новый пузырь, у меня в сумке как раз есть один неиспользованный.

– В сумке? – изумилась женщина и вся вытаращилась. Таких невероятных вещей ей слышать не доводилось. Чтоб пастор таскал у себя в сумке сушеные околоплодные оболочки!

Лауси тоже глядел на преподобного с удивлением.

– Да, у меня всегда при себе несколько штук, когда я с хутора еду, – ответил преподобный Ауртни, чтоб обитатели хижины не слишком дивились. Во время своих разъездов по хуторам в прошлом году он понял, что его прихожан больше всего гнетет не первородный грех, не то, что Господь не слышит их молитв, и не сомнения в жизни вечной, – а эти бесконечные распроклятые неприятности с пузырями, затягивающими окошки. Поэтому весной, когда ягнились овцы, он раздобыл несколько околоплодных оболочек и всегда возил с собой – это верное средство уже обеспечило ему постоянное восхищение и благодарность по всему фьорду. – Да, воть это я, черт возьми, понимаю, вот это визит пастора! Вы в прошлом году не приезжали?

– Нет, я проглядел…

– Да, ведь мы – беднота бесскотинная, почти невидимы, словно альвы какие…

– Нет, что вы, виной всему моя собственная небрежность… и… и то, что я только начинающий!

– Вы уж потом не забудьте нас, если у вас еще пузырь найдется!

Стейнка вся приободрилась.

– Уж не забуду! – ответил преподобный Ауртни и достал сокровище: полупрозрачный лоскут, похожий на кожу, желтый как рыбий жир, – околоплодную оболочку ягненка; сквозь это биологическое окошко исландский народ веками смотрел на свою страну, заключенный во чреве времени. Он передал его Лауси, который уже встал и, беря оболочку, спросил:

– А где наш Эйнар? В море?

Лучший мастер хреппа, разумеется, не хотел перебивать инициативу у хозяина в его собственном доме.

– Нет, помер. Во вторник.

– Что?

– Да, вот он лежит. А какой сегодня день?

– Понедельник, – ответил хозяин Обвала и поглядел в ту сторону, куда женщина указала подбородком, – за поперечную балку в темный конец бадстовы, и ему показалось, что он видит там очертания задранной вверх бороды и ноздрей в воздухе. Хозяйского мальчика нигде видно не было.

– Господь с нами! Я вам искренне соболезную, – произнес пастор, но не стал осматриваться в поисках покойника и ограничился лишь изящным крестным знамением, направленным в его сторону. – Да, мне не удалось известить об этом. Тут везде полный разваляй! Правда, я велела новому мальчишке поехать за вами, но он наотрез отказался.

– Новому мальчишке?

– Да, он сюда приехал в конце лета. Из Хейдинсфьорда. Работает за еду – и как работает!

– Это он? – спросил Ауртни, переведя взгляд на хозяйскую змейку, опять обозначившуюся в кровати за девчушкой. Дневной свет быстро таял, и течь в окне сейчас выглядела так, словно это утекали последние капли дня.

– Нет, это Гисли, сын Эйнара, его я через Перстовую реку не пошлю. Ума не приложу, что с ним стало. Гвенд!

Женщина проорала имя мальчика себе в грудь, стоя над гостями, затем подождала с задумчивым видом, словно прокричала это себе в нутро, а теперь ждала эха. «Гвенд!» Но – ничего. Не послышалось никаких звуков, кроме возни коровы, которая ложилась в своем стойле, а этот процесс был непростой, потому что при нем надо было обращать внимание на очень много костей.

– Э… а не лучше ли нам заняться починкой, пока мы не поехали дальше? – спросил пастор и пригладил свои холеные усы, одновременно кивая головой Лауси.

Охочий до работы плотник тотчас вспорхнул на край кровати, а оттуда под самую крышу. Собачка Юнона подбежала к кровати и вытянула шею, смотрела на хозяина, словно волнующаяся супруга, когда он оперся на стропило и в мгновение ока вынул раму с пузырем

из кровли. На кровать посыпались земляные крошки, и он увидел, как девчушка закрыла глаза от соринок и капель, неподвижно лежа на подушке, под адски прозрачными лужами, образовавшимися в ложбинах и складках укрывающей ее кожи, будто сложная система озер на высокогорной пустоши. Отчего, в самом деле, ребенка не уложили в кровать напротив, которую можно было считать сухой? Но тут плотник заметил, что тело его знакомца Эйнара лежало на собственной кровати, и вспомнил, что, согласно старому поверью, детям нельзя лежать рядом с покойниками. «А живой при мертвецах / рядом спать не может, / ни в ногах, ни в головах, / да и сверху тоже». Стейнка вышла в кухню и вскоре вернулась, неся маленький светильник-жирник со слабым огоньком, который стала поправлять своими черными пальцами, пока он не вырос настолько, что в бадстове стало желто-светло. Струи дождя красиво сверкали при рыбьежирном огне, неустанно летя чуть наискосок от главной течи, тяжелые капли которой падали отвесно.

Пока Лауси заканчивал ремонт окошка, пастор перешагнул поперечную балку и занялся покойником, сделал в воздухе над телом подобающие знаки и произнес благословение Господне и краткую молитву. Подбородок хозяина был задран высоко вверх, а кончик бороды торчал из него, будто язык пламени из костра; судя по всему, он запрокинул голову при последнем вдохе, словно его одолело страдание, а потом смерть заморозила это движение, чтоб засунуть в холодильник вечности.

Глава 8
Думы под стеной дома-холма

Когда преподобный Ауртни завершил эту короткую пасторскую работу, ему стало дурно от смеси запахов хлева и покойника, и он, попросив у хозяйки извинения, сбежал прочь по коридору. Тем более что он употребил целую чашку святой воды с небес, и теперь ему требовалось облегчиться.

Весь фьорд заполонили дождь и сгущающаяся мгла, так что Сугробная коса скрылась из виду, но в стеклянных окошках в Лощине – большом хуторе Кристмюнда, подрагивал тусклый огонек, а сам этот хутор стоял на другом берегу фьорда прямо напротив хижины и щеголял роскошным фасадом из лучшей корабельной древесины и единственными среди всех фермерских жилищ фьорда стеклянными окнами. Вблизи слышалось, как волны бьют в берег, и их белая кайма изгибается и разбивается на глазах у преподобного Ауртни, словно яркая лента северного сияния. Их лошади скучали у большого камня на краю двора, а дождь хлестал их сзади по ушам. «Поедем домой в темноте», – подумал пастор, пережидая самый сильный дождь в дверях землянки; а Звездочке верить можно, она дорогу домой найдет. Во мгле тропу отыщут сумеречные очи, как сказал поэт[58].

А брать ли им с собой мертвое тело? Скажем, мой Магги[59] может везти его перед собой, лицом вниз… Или лучше сперва сделать ему гроб? Нельзя ведь и дальше держать этого мужика в кровати, когда там дети… Правда, ректор Пасторской школы в последнюю учебную неделю рассказывал о правилах хранения мертвых тел – практических деталях, но тогда Ауртни лежал дома с похмельным гриппом и пропустил эти самые важные за весь курс уроки.

Наконец он разглядел какой-то намек на то, что дождь заканчивается, выскочил под стену землянки, помочился и посмотрел на небо. Ветер крепчает? За тот год с небольшим, что пастор прожил здесь, он усвоил, что Сегюльфьорд, как магнит, притягивает все ветра, здесь шквалы могли возникнуть буквально на пустом месте и были гораздо сильнее, чем те, что знакомы ему по Южным мысам – а уж в том краю ураганы справляли свой праздник круглогодично. Стоило ему вспомнить родные места, как его снова принялся грызть зуб – тот

самый отсутствующий зуб из щербатой улыбки кеплавикской чертовки, которая заманила его, пьяного до бесчувствия, к себе в дом и в постель. Как это могло случиться? Что он помнил? А помнил он лишь сильное наслаждение, нежнокожие чары, новый мир наслаждения и нижепоясности, смертное утоление своей любви…

Но вот проснуться в присутствии всех этих людей, которые явились слушателями-свидетелями его страсти… он до сих пор краснел.

И опустил глаза на свою струю. Несмотря на надвигающуюся мглу, можно было уловить разницу оттенков Господних капель и человеческих. Последние были желтого цвета. Пастору пришла на ум прозрачная чистая вода, которую ему дали в доме, прямо из Господнего источника. Этот чистейший дар небес прошел сквозь его тело – и теперь он передавал его дальше, земле, и загрязнил эту чистоту человеческой окраской. Да, вот он: мочащийся под дождем человек, окруженный священными струями Господними, – а одна из них имела несчастье последний отрезок пути пройти сквозь человеческое тело и окрасилась цветом греха.

Он стряхнул последние капли и застегнулся, отгоняя от себя основную угрозу, захватившую его, когда он стоял в доме над помершим бондом Эйнаром, – основную угрозу, холодно и сурово вопрошавшую: зачем ты здесь? Что ты здесь делаешь? И это – твоя жизнь? И ты промаешься один? Один в этом фьорде? С этими людьми? И он бежал от всех этих вопросительных знаков, торчащих из пламенеющего щетиной подбородка покойного, по коридору, на улицу, под дождь, прочь… и там наткнулся прямо на чертову кеплавикскую щербатость. О, Вигдис!.. Привлекательная, прекрасная, просвещенная, – и да, поющая по нотам. Все, что служит к чести человека. Сейчас с ее последнего письма минуло уже девять месяцев. Весь этот страх за такое время мог бы превратиться в ребенка – зареванного.

Но разве можно ожидать от молодого юноши, что он годами будет блюсти себя в чистоте? Разве исландская система любовных отношений не была слишком беспощадна, со своими немыслимыми дистанциями во времени и пространстве? Ингибьёрг, жена Йоуна Сигюрдссона, двенадцать лет сидела в Исландии невестой, прежде чем наконец доехала до него и до Копенгагена. Ауртни знал и другую историю, в

которой обрученная ждала так долго, что к тому времени, как сыграли свадьбу, она уже и ребенка успела родить. Нет, может, ему стоит попросту отплыть в Бильдюдаль с первым же кораблем и потребовать к себе свою возлюбленную? Или она уже обручилась с другим? Он спрашивал у гор к западу от фьорда, а они, в свою очередь, – у гор к востоку от следующего фьорда, а те – у гор к западу от него же, и так далее, и вот – четырнадцать гор спросили у четырнадцати, но ответа он не понял. Этому человеку было не уразуметь перешептывания гор.

Глава 9
Угли в углу

Он отвалил хлипкую дверцу и, пригнувшись, вошел в коридор, услышал болтовню соседей в бадстове, за дверью-хлопалкой, но не удержался и завернул в кухню: в настоящую кухню с очагом он не заходил с тех пор, как был мальчишкой, а это было до того, как образование увело его прочь от земляного пола и крыши, на которой росла трава (подумать только: люди здесь жили под дерном и землей!). Он уже полжизни принадлежал исландскому высшему сословию, жившему в мире, обшитом досками, отапливаемом углем, спал на льне и пухе, а не на шерсти и сене, ел с фарфоровых тарелок ножом и вилкой, а не из деревянного аска роговой ложечкой, а та еда была приготовлена на специальных машинках, а не на очаге из каменного века.

Он пригнулся и вошел в короткий поперечный коридорчик, который отходил от основного коридора вправо и вел в маленькую, пахнущую гарью, напитанную дымом и почти совсем темную комнату. Но из дыры в потолке чуть пробивался бледный свет. Рослый пастор тотчас задел головой котелок, свисающий с потолка, а тот ударился о другой котелок: басовитый звук довел его до очага – низенькой каменной кладки в самом дальнем углу в потемках, и до углей, посверкивающих там под чем-то, подобно красно-желтому цветку белого огня. Он пошарил перед собой и обнаружил плоский камень, тепловатый, как рука, – это, конечно же, была «ночная плитка»: он слышал, что такими накрывали на ночь очаг, чтобы спрятать огонь. Каким же это все было первобытным, насколько близко тому, что было заведено в первых кухнях человечества, в пещерах и на полянах на континенте и в норвежских бухтах у викингов!.. Потрогать пальцем этот теплый камень было все равно что прикоснуться к самой мировой истории.

Он распрямился и вдруг ощутил рядом с собой что-то – и повернул голову. Там ничего не было видно, кроме темноты, да, ничего, разве только если… Он ощущал какое-то присутствие, чье-то тело, хотя видно ничего не было, и, казалось, слышал дыхание, – нет, разве ему не почудилось? Ведомый инстинктом нелогичного первобытного

человека, он потянулся рукой в угол и нащупал там плоть, теплую… щеку?

Вдруг он испугался и отдернул руку, ибо ничто не способно испугать человека так сильно, как другой человек.

Глава 10
Недели недоли

Когда преподобный Ауртни вновь возвратился в бадстову, там царила беспомощность. Сигюрлаус стоял над хозяйкой Стейнунн, которая суетилась над дочерью, мужик держал в руках до нитки вымокшее покрывало (и с него стекало в ручей, образованный течью). Пастор нагнулся, входя в двери, и выпрямился. Перед собой он вел мальчика-подростка, довольно крепкого сложения, приунывшего, с пепельным лицом, угольно-серыми щеками и черными хлопьями в светлых волосах. И мальчик постоянно закусывал нижнюю губу от стыда.

Лицо старого хуторянина из Обвала тотчас обратилось в посмертную маску, и из нее он взирал на него, точно выходец с того света – на другого такого же, поскольку у одного из них сердце омертвело, когда другой сгинул.

– Ах, так ты здесь? Где тебя носило? – спросила женщина, которой передалось изумление плотника, и она подняла голову от дочери.

– Я…

– Да, мальчишка, говори!

– Я…

– Да, и что?

– Я… я пошел за пастором, но река разлилась.

– Врешь как сивый мерин! Ты же совсем сухой!

Пробегавшая мимо Юнона начала без устали скакать вокруг мальчика.

А он притворялся, будто не видит собаку, и смотрел прямо перед собой, на студеную струю, стекающую с покрывала в руках Лауси. – Ну, пастора он, считайте, нашел! Это Гвенд? – бодро проговорил преподобный Ауртни, пытаясь разрядить обстановку.

– Нет. Он – Гест, – сказал Лауси, и от каждого его слова исходило золотистое сияние.

– Что значит «он ест»?! Да он каждый съеденный кусок отработал, такой работящий парнишка! А ты почему в таком виде? Что ты так стоишь?

– Где же ты пропадал, Гест, родной? – спросил Лауси, так ласково и душевно, что все остальные наконец поняли, как обстоит дело.

Даже сам мальчик понял, что его игра в прятки окончена. Он больше не мог быть каким-то там Гвендом из Хейдинсфьорда. Он был Гест. И здесь, и в любом другом месте. Собака все еще радостно скакала вокруг него, и сейчас он не утерпел, и взял ее за передние лапы, и дал повалить себя на склад вещей на кровати. Собака продолжала радоваться этой встрече – значит, она его помнит, а ведь с его исчезновения прошло целых три месяца! И тут Гест заплакал. В нем забурлили всхлипы, словно закипающая вода, которая вскоре выплеснулась из глаз. Пастор и хозяйка недоуменно смотрели на это, а Лауси отложил покрывало-водосборник, шагнул к мальчику, притулился рядом и обнял одной рукой молодые плечи. – Ну вот.

Больше ничего он сказать не смог после всех пережитых душевных треволнений и тихо сидел рядом, пока мальчик вычерпывал из себя все три месяца, проведенных вдали от этого своего отца под номером 3. Что же произошло с ним с тех пор, как он пропал красивым плотницким утром в начале лета? Куда он ездил? Где был?

Зато собака была дипломированным утешителем скорбей; она вскочила на кровать с другой стороны от Геста и уткнулась мордой в его грудь-рыдалку, а хозяйский кобель улегся рядом с хозяйкой и оттуда следил за происходящим. Он не вынимал морду из-под хвоста пришедшей в гости «дамы» с того момента, как она появилась, чем доставлял ей массу хлопот, потому что под ее хвостом было сказочно сухо: не так давно Юнона ощенилась на рогожном мешке восемью щенками, весьма нежными изделиями, зачатыми в то строительное утро, когда Гест пропал; а Лауси потом утопил их в море, несмотря на протест внуков.

Пастор Ауртни обретался у прикроватного столба, ближайшего к стойлу, и украдкой смотрел на мальчика. Чужие рыдания не были его forte. Светскость, усвоенная им в годы, проведенные в столице, требовала определенной дистанции. А та любовь к ближнему, которую преподавали в Пасторской школе, была в первую очередь богословской, теоретической. Тут женщина повернулась к ним спиной и склонилась над девочкой. Постепенно рыдания мальчика стихли, слезы скрылись в бурой сухой шерсти собаки и там в мгновение ока высохли, а потом он прижался к собаке сверху и начал обнимать, гладить и тискать, но

слишком сильно, от слишком большого отчаяния, так что Юнона под конец устала от душеспасительных работ и соскочила на пол, но потом сбежала под кровать от хозяйского кобеля, все еще мечтающего о семяизвержении.

– Этот мальчик – ваш? – спросила наконец Стейнка, которая сейчас взяла девочку на руки. Малышка слабо кашляла на материнском плече, и было заметно, как ее отощавшее от голода тельце зябко дрожит мелкой дрожью в объятьях матери. Ее шерстяные носочки потемнели от влаги.

– Этот мальчик ничей. Он сам себе хозяин, разом и сын, и отец, да, а также и святой дух. Но нам было поручено за ним присматривать. Его отец был моим побратимом, это покойный Эйлив из Перстовой хижины.

– А, так это его сын? Вот уж он был врун, каких мало!

– Наш Эйлив у нас – один из лучших.

– Да, понятно: в те времена каждый должен был добывать себе пропитание, как мог, – но что он еще свое хозяйство завел – Боже мылостный! – да еще мелюзги наплодил! У него для этой его Гвюдни даже котелка завалящего не было! Вот, ей-богу, не надо им было собственным домом обзаводиться! Ну и вышло из этого… да, что вышло, то уж вышло!

– Я тебе запрещаю так говорить в присутствии маль…

– Нора лисья! Вот что у них было! Богомерзкая лисья нора!

– Я бы попросил вас не высказываться так об отце… об умершем, – наконец вмешался пастор, устремив взор в покойницкий угол. – Вы бы ведь не хотели, чтоб так же… Ну пора бы нам взяться за дела, они не ждут. Потому что, я думаю, нам скоро будет пора домой. Хотите, мы заберем вашего мужа?

– А, да, неплохо бы его сплавить. Лучше-то он пахнуть явно не будет.

– Куда папу забирают? – спросила девчушка голосом, который при всей его болезненной слабости был таким сильным, что способен разбить в крошку даже самые закаленные сердца. Юный пастор дважды моргнул.

– Да в землю, прочь из здешнего блаженного рая, – раздался ответ матери, напоминающий исконно исландский мокроснежный плевок. Затем она отвернулась и перешагнула с ребенком через балку, исчезла в

супружеском углу, и оттуда послышалось, как она выгоняет из кровати сына, чтоб он уступил место сестре.

Потом воцарилась мелколачужная тишина. Было слышно, как ветер на кровле гладит новую околоплодную оболочку. Наконец Лауси, сидевший возле своего мальчика, осторожно спросил:

– Гест, родной, чего ты хочешь? Ты поедешь с нами?

Гест выпрямился и долго смотрел перед собой на кусок старого лодочного штевня, который лежал вдоль кровати, словно очень худощавая и хорошо просмоленная человеческая фигура, полусогнутая, как заведено у лодок для акульего промысла, на куче неопределенного барахла – вещей, которые когда-то выполняли свою функцию и были важны людям, а сейчас просто лежали, словно какие-нибудь абстрактные формы, только и ждущие, пока в скульптуре изобретут такое направление. На все это Гест смотрел, не видя, потому что думал он другое – совсем о другом.

А думал он о том погожем вечере, когда сбежал, когда в воздухе и над водой раздавались удары молотков, и о том, как он надеялся и представлял себе полный вздор: что эти люди и эта лодка привезут его в Фагюрэйри, в объятья Маллы-мамы.

Снова и снова думал Гест о том, как глупо поступил, каким сказочным идиотом был, – а потом стал думать о том, что получил вместо этого, эти девять безумных недель в обществе французов, об их галетах, их вине, их трубках и о том удивлении первых дней – что за пределами фьордов есть другой мир и даже другие народы. И Гест думал о французах, о том, какие они несчастные и как им плохо – их злосчастье было даже суровее, чем то, которое вместилось в эту Хуторскую хижину, и лучше всего выражалось той жуткой тарабарщиной, на которой они изъяснялись, а заливалось лишь тем ужасным пойлом, которое они пили. И Гест думал о всех тех разах, когда блевал в первые недели, и о смехе, который это вызывало, и об этом дьявольском лове на тресковые головы, бессонных ночах и тяжком труде, о ранах на ладонях, которые до сих пор не затянулись (он их до сих пор расковыривал), и о том, как шкипер вырубился, и о том, как они долго плыли по океану, и о странном городе, в котором все другие остались на ночь, а ему дали только поглядеть на него с палубы: там дома были из камней! И женщины там ходили в странных повязках, и из ушей у них развевались крылья, словно их головы были птицами,

вечно стремящимися подняться в небо. И Гест думал обо всем том бардаке, творившемся в каютах, и о большом Жаке, ночевавшем с ним на борту, и думал: нет, об этом вспоминать нельзя! – об этом черном, болящем, об этой адской палке, которая вечно извергает из себя белую гадость. И еще он думал о неизвестности: удастся ли ему когда-нибудь вернуться домой, или он навеки застрянет в далеком порту?

И Гест думал о радости, которую ощущал, когда они отчаливали, и об этом чувстве: любить море, потому что в нем есть надежда найти землю, и он вспомнил, как его мошонка сложилась сердечком, когда он увидел, что из моря встает Исландия.

И Гест думал о другом бегстве, о том, как обманул их: сказал, что знает, где в Хагафьорде пополнить запас пресной воды, и как успел убежать от них на взморье, и по всему берегу длиной в день пути, пока наконец не рискнул постучаться в дверь на каком-то хуторе. Через неделю он скатился вниз с перевала – знаменитого Сегюльфьордского перевала (который возносился даже выше, чем перевал Подкова, по которому его отец брел в начале нашего повествования), заляпанный и запятнанный душой и телом, – двенадцатилетний путешественник по свету, для которого единственным светом в окошке оказалась родина, – уже не такой, каким уехал, но страстно желающий вновь стать тем, кем он был. Он окинул взглядом фьорд, который когда-то ненавидел и с которым теперь примирился, и взял курс на хижину Лауси. Но его запала хватило только до Хуторской хижины.

И Гест думал о первом обеде, который ел у Стейнки, и о том, что она сделала, эта женщина, а еще и о том, что она только что сказала: о его Вечном отце и «лисьей норе» – «нора лисья!» – он в лисьей норе родился?

И Гест думал о своем детстве за семью горами и снова и снова спрашивал себя, отчего все это произошло именно с ним, мальчиком, взрощенным на дощатом полу, при глотках горячего шоколада, в обществе красивейших платьев и изысканных сигар, у подола лучшей в мире женщины – о, Малла-мама! Да, вот она стоит: экономка в доме Коппа, в одних дырявых носках, с четырьмя веснушками на пухлом лице, в глазах блеск. Она стоит там, как стояла всегда – в глубине его сознания, позади всех его мыслей, и мешала поварешкой тесто.

Наконец он посмотрел в таращащиеся, вечно мокрые глаза Лауси – эти битые-перебитые, ломаные-переломаные, ужасно непростые и

ужасно мудрые, пятнистые, серо-сверкающие глаза. И вспомнил, как их обладатель впервые обвязал вокруг него свою связующую нить – то есть веревку, с особым, нарочно придуманным узлом, который не затягивался – хоть бы за него потянула целая гора.

Можно ли простить того, кто исчез, не простившись?

Глава 11
Бдение в хижине

Бдение по покойному прошло, как заведено по обычаю. Но поскольку в хижине не было гроба и достать для него досок было негде, после того как в этом месяце умерли уже трое, встали вопросы: не лучше ли просто увезти тело сегодня же вечером? И как вообще перевозить на лошади неупакованного покойника? Пастор и плотник немного пообсуждали это, пока стояли за поперечной балкой, в сумрачном и зловонном царстве смерти.

– Да, лучше всего, конечно, было бы послать за ним старину Харона, да только у него в Заливе много хлопот, там же столько кораблей разбивается!

Преподобный Ауртни слегка вздрогнул, услышав, что хуторянин с Обвала цитирует древнегреческую мифологию. И на его лице обозначилось легкое смятение: как эта ученость дошла до каменной хижины на склоне горы, во многих днях пути от школ этой страны?

– Это ты верно сказал; а вот там впереди лежит балка от его лодки, – сказал пастор, стараясь вести себя как ни в чем не бывало, и указал за поперечную балку, на штевень лодки, лежавший на передней кровати, словно тощая смоленая человеческая фигура.

– Гест, родной, помоги-ка нам поднять его.

Хотя мальчик прожил рядом с мертвецом целую неделю, его чуть не стошнило, когда они сняли с Эйнара покрывала. Замаринованный хуторянин – веселенькое зрелище! Руки и ноги трупа стали фиолетово-красными, а его рубище – блестяще-темным от жидкостей и нечистот, и все это было усыпано белыми точками кишащих червей, которые безмолвно стенали, когда на них падал рыбьежирный свет, и стремились в укрытие, ползя друг через друга. Хозяйка Стейнка встала у своей кровати так, чтоб девчушка не смотрела на гниение родного отца, а ее брат Гисли молча таращился на него, вися, словно обезьянка, на поперечной балке, держась рукой за стропило над собой.

– Да, плохо, когда умирают вот так – в самое неудобное время, – сказала хозяйка, и в ее голосе можно было уловить нотки обвинения.

– Он хворал? – спросил Лауси. – Я его летом случайно встретил – он был здоров как бык.

– Он осенью таким стал – просто глядеть скушно, – ответила хозяйка Хуторской хижины.

Преподобный Ауртни отметил про себя употребление этого слова, которое в каждой местности значило разное, – и жестом велел мальчишкам взяться за дело. Но как брать покойника, такого нечисто-скользкого? «Злодеяние», – вот какое слово пришло на ум Лауси, им предстояло совершить злодеяние. Когда дошло до дела, для Геста не нашлось места, потому что тело брали только за голову и плечи. Лауси взял за холодные плечи, а ледяной Магнус за лодыжки. Пастор старался уберечь полы своего пальто, чтоб они не запачкались при этой процедуре. Хуторянин очень осунулся, и щеки, и грудь у него запали, смерть уже высосала из него мозг, кровь и жир.

Для Лауси это был не тот Эйнар, которого он знал: флегматичный гребец, добытчик акулы и передний косец у хозяина Пастбищного в пору покосов, которому всегда больше времени требовалось на то, чтоб наточить косу, чем на саму косьбу; когда Эйнар входил в безветрие фьорда с блестящим золотом в руке, он больше всего напоминал величайшего философа-стоика на земле и, казалось, задумывался о смысле бытия более глубоко, чем иные обитатели суши, – только это была чистейшая видимость, потому что Лауси не заметил ни одной интересной мысли у этого бесскотинного человека. Он был всего лишь худо-бедным милягой, который бы на третью морезамерзательную зиму тихонько угас, если бы жизнь не приковала его к такой богатырше, как Стейнка.

Они опустили тело на пол, а потом подложили под него штевень – сделать по-другому они не могли, потому что смрад выкачивал из них все силы. Потом хуторянин поплыл по собственному Стиксу – тому ручью, который бежал сквозь его дом, хотя вода в нем уже почти прекратила струиться. Затем они привязали его, полусогнутого, к штевню, с руками за спиной, и получилась совсем недурная фигура гальюна, которая вполне украсила бы нос лодки Харона.

Эту фигуру они вынесли в темноту – и моментально внесли обратно. Дождь прекратился, но ветер усилился настолько, что они решили держать покойника в коридоре. Магнус должен был приехать на следующий день, с еще одним человеком, и забрать его. Это было единственное разумное решение. Хотя, может быть, они бы заехали по дороге к Кристмюнду за досками для гроба, а Лауси сколотил бы его

прямо на месте. Так что они попрощались с хозяйкой, поблагодарили за прием, который она оказала пастору, и отправились каждый своей дорогой.

Гест последовал за Лауси; они оба шли пешком. Отец, сын и священный пес.

Но всего лишь через пару минут они снова вернулись в хижину, потому что сквозь ту бурю, которая сейчас заполнила весь фьорд, было не пройти ни конному, ни пешему. Например, Магнус не уследил за своей шапкой, и мгла сорвала ее с него и проглотила в одночасье, как пропасть поглощает камень.

И вот они снова сели в пропахшей хлевом бадстове, слегка смущенные, ветром побитые, – четверо мужчин самого разного возраста. Корова повернула свою тяжелую голову и оглядела их из своего угла с таким выражением, словно спрашивала, не вознамерилась ли новоиспеченная вдова взять себе троих новых мужей вместо одного Эйнара. А вышеупомянутая вдова быстро и проворно перелезла через поперечную балку и стала гораздо гостеприимнее, чем прежде, казалось, она почти рада, что они вернулись в ее жилище, и велела им остаться ночевать, ведь сейчас, когда Эйнара выставили в коридор, места стало много; и она снова предложила им ту знаменитую клейну с Первого дня лета, а еще сказала, что у нее есть чуть-чуть каши из исландского мха и каши из рыбьих костей, – правда, последней поменьше. Преподобный Ауртни попросил ее погодить с этим и выложил в качестве ужина остаток еды, которую они с Магнусом взяли с собой в дорогу, и его за глаза хватило, чтоб насытить всех, включая обитателей хижины. Стейнка обводила большими глазами кусок копченой брюшины, который ей дали, а Гест в душе радовался половине подового хлебца, испеченного на кухонной плите в Мадамином доме – лакомству, которое он в последний раз пробовал еще на кухне у Маллы, милой Маллы. По временам он скашивал глаза на трех влиятельных особ, сидящих рядом: плотника, пастора и силача Магнуса. У мальчика стало зарождаться чувство: ему хорошо ужинать в таком обществе, он не видел, чтоб эти люди желали ему зла.

Когда они закончили трапезу, то сложили свои аски на пол, чтоб собаки вымыли их своими всеочищающими языками, а затем хозяйка и ее сын Гисли принялись вязать. Орудия для этого занятия предложили и Лауси, но он вежливо отказался и передал их Магнусу, а сам достал

табакерку и предложил всем присутствующим и корове Гекле понюхать табачку. Никто не стал. Тут преподобный Ауртни почувствовал, что в этот вечер именно он правит бал, – и он вынул свой большой черный мануал и открыл на том месте, на котором, по его мнению, находилась эта бадстова.

– Здесь я сошлюсь на Евангелие от Луки: «Учитель Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять…»[60]

Пастор сделал остановку в чтении и выругался про себя: какой же он еще неопытный – ведь это совсем не та глава! Но маленькая паства уже прилепилась ушами к этим строкам, и Стейнка требовала еще.

– Что он должен взять?

Преподобный Ауртни не посмел возразить.

– «…его жену и восставить семя брату своему. Было…»

– Вот как? Это церковное уложение такое? И что же?

– «Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй…»

– Э-э, нет. Только не Ханнеса. За него я не пойду.

Глава 12
Летнее солнышко

Едва пастор нашел нужную главу в Библии, как в коридоре раздались возня и крик:

– Вечер божий! А вот и солнце!

Вскоре дверца на петлях, закрывавшая бадстову, отворилась, и глазам собравшихся предстало пугалообразное существо: большеглазое, бородатое и на вид слегка придурковатое. В одну сторону из дверцы торчала шапка с кисточкой, в другую – длинная, заплетенная в косицу бородка, а концы шарфа, полы пальто, воротник и неопрятная рвань, виднеющаяся из рукава, казалось, стремились каждое в свою сторону, словно ветер хотел одним ударом разметать это странное создание. Больше всего этот человек напоминал барабан, простреленный в середине пушечным снарядом; казалось, в нем все держалось лишь на одном шнурке, которым он был опоясан, да на кожаном ремне, наискось пересекавшем туловище.

– Бог в помощь, честной народ! Солнце вошло!

Голос был светлый, сентиментальный, произношение четкое, как у актера, с соответствующей жестикуляцией: правая рука бродила по воздуху, как у оперного певца, скрытая рукавом пальто. Сами руки у человека были коротки, а голова большая – почти одно сплошное лицо с выпуклым морщинистым лбом. Хотя рост у него был средний, в его общем виде было что-то от карлика. Но больше всего взоры Геста привлекла улыбка, которой все это сопровождалось. В те годы улыбались не так уж часто.

– Ну, народ, что приуныли? Вы всё из дома распродали? Это поэтому у вас один в коридоре спит? Я уж его пробовал будить – поцеловал, совсем как солнце – того поэта с юга[61], но все впустую, впустую! А кто тут гости? И приветствую дражайшую хозяйку и мое почтение почтенному хозяину! Давненько я к вам в Хуторскую хижину не заглядывал, милая моя Стейнка да Эйнар – сын Саймюнда-торговца. Но в этот вечер вам повезло, ведь я шел прямым ходом домой в Пастбищный, а меня вот взяло и сюда занесло; здравствуй, здравствуйте, привет честному народу.

Он снял с себя большую торбу, скрывавшуюся у него за спиной – кожаное чудо-юдо, зверюгу величиной с собаку и похожую на нее настолько, что псы приблизились к этой сумке с опаской, а Юнона даже зарычала. Хозяйский кобель тотчас принялся вынюхивать у нее под хвостом. Потом вошедший развязал шнурок вокруг пояса, выбрался из огромной и давно промокшей верхней одежины и повесил ее на веревку над передней кроватью. Все это он проделал весьма естественно, без малейших заминок, сложив губы в бороде трубочкой, так что у всех присутствующих тотчас возникло ощущение, что этот побродяга – самый настоящий светский человек: дом для него – весь свет, здесь – в такой же мере, как и в любом другом месте. После этого он резко встрепенулся со звуком «бр-р», а затем подошел по очереди к каждому, склонился перед ним и как следует поцеловал в щеку.

– Приветствую вас, отрок, – обратился он к Гисли и расцеловал в обе щеки, с почетом, подобающим юному принцу, а потом проделал то же самое с Гестом.

Наш герой ощутил от этого мужика запах, которому не знал названия, но который почему-то связал с полной луной, увиденной однажды над островом Гвендсэй[62] в Ла-Манше.

– Солнце, солнце к нам пришло! И светит на вас, здравствуйте, честной народ! А зовут меня Рёгнвальд, а по отчеству – Соульскинссон![63] – представился он льдиноволосому парню Магнусу, но пастора поцеловать не решился. – Ой, а кто… кто этот важный господин? – спросил он, ограничившись рукопожатием. Зато Лауси достался мокрогубый поцелуй в щеку. – А это же сам Сигюрлаус-плотник, здрасьте-здрасьте, солнце шлет вам свой привет. И Стейнка, здоро́во, родная, а где же Эйнар?

– Там, в коридоре. Он умер. А это наш новый пастор, преподобный Ауртни Беньяминссон.

– Бенедиктссон, – поправил преподобный.

– А вот это – Гест, сын Лауси. А этот – Магнус, подручный с Сугробной косы. Откуда тебя занесло?

– А Сигюрлаус, стало быть, твой новый благоверный? И поэтому вы срочно вызвали пастора? Ну, что я скажу – быстра же ваша сестра! Ай, можно, я тут в уголке присяду, а не будет ли у вас песен – Солнце покормить? – сказал он и плюхнулся в углу рядом с хозяйкой, на

среднюю кровать у балки. – Ну и ветрище же сегодня, Солнцу пришлось с берега реки добираться чуть ли не ползком.

На нем был шерстяной свитер красивого голубого цвета, но весь вываляный в сене. Свитер причудливо бугрился на груди, плечах и предплечьях, словно был с набивкой внутри. В остальном же этот человек был одет в лохмотья, колени латаные-перелатаные, а ниже них многократно обернуты рвань-носки. Костяшки его пальцев были обмороженно-белыми, а сами пальцы – почти фиолетовыми.

Некоторое время ушло на то, чтоб разубедить бродягу в его ошибочном – хотя и интересном – мнении, будто он попал на бадстовную свадьбу, где собрались мало званых, да много избранных. А потом ему подали то, что осталось в хижине: пасторскую провизию к тому времени уже съели. Стейнка поправила свою шапку, вышла в кухню и тотчас вернулась с маленьким корытцем каши из исландского мха. Эта каша была сугубо исландским изобретением и долгое время составляла основную пищу местной бедноты.

В стране, где на земле ничего не росло кроме травы да картошки (выращивать последнюю научились лишь хёвдинги), изголодавшийся народ последовал примеру своих овец и искал дополнительное пропитание в горах. Каждое лето, после того как ягнят отсаживали от маток, люди отправлялись в поход за мхом на целую неделю, и эта шершавая серая пища (которую длинные языки прозвали «высокогорной водорослью» или «морской растительностью с гор») много веков поддерживала жизнь в обитателях хижин. Лучшим мхом считались так называемые кожа́нки, затем уго́рницы и после них крючковатки. Худшей считалась вересковица, а пёсий пух вообще ни на что не годным. После долгой варки из мха получалось клеевидное вещество, – после того как его ростки наконец переставали держать форму и сливались в одну слизь темного цвета, в которую потом добавляли еще воды или (в более зажиточных хижинах) молока.

Потом хозяйка расщедрилась и на добавку попотчевала солнечного гостя роскошной кашей из рыбьих костей, в изготовлении которой главную роль сыграли основные кости тресковой головы: настолько Стейнка была сыта и обрадована тем, что в ее жилище внезапно состоялась эта вечеринка с пастором и отпеванием. Сверх того, нашему улыбальщику удалось выклянчить себе пресловутую клейну с Первого дня лета, – потому что едва ли кто-то отказал бы такому лучу света

в «топливе», как он это называл. Рёгнвальд долго голу́бил по-летнему черную клейну зубами и пальцами, а мальчики – Гисли и Гест – во все глаза следили за ее путешествием из его объятий к губам и вниз, а потом снова той же дорогой. По временам он ласково улыбался им, но не давал откусить ни кусочка, зато рассказывал новости из трех фьордов, в которых недавно побывал, и одну царапучую сплетню с острова Грамсей, что на севере, которую слышал от эйрарфьордских акулоловов. Все это были номера, назубок отрепетированные и отлично исполненные, они оживали перед глазами и ушами, он представлял в лицах ответы и подражал фермерам – тучным и тонкоголосым, и ворчливым бабам, и шикарным красоткам, и одному картавому пастору. Впрочем, этот последний номер у него вышел случайно, и он тотчас свернул его на середине, как только сообразил, кто именно сидит на кровати напротив него, чуть наискосок. Над пасторами при пасторе не веселятся. Солнечного человека за такое уже изгнали из двух хреппов.

Во время одного рассказа Гест заметил, как бродяга весьма ловко спрятал знаменитую клейну себе в левый рукав и протащил ее по нему вверх привычным движением, так что она в итоге прибавилась к одному бугру в его свитере чуть повыше локтя. Мальчик осмотрел бродягу испытующим взглядом и заметил в вязаном полотне дырку недалеко от левой подмышки, сквозь которую выглядывала толстая плоская лепешка. У этого свитера была самая настоящая подкладка из еды.

Его звали Рёгнвальд Йоунссон, а известен он был под прозвищем Рёгнвальд Летнее Солнышко. В своей долгой бродяжьей жизни он рано выучил, что лучше радовать, чем горевать – слишком много его коллег кормились тем, что приходили на хутора, притворно хромая и жалуясь на вымышленные страдания, забирались в кровать на одной лжи и лежали там, ноя о несчастьях и слабом здоровье, но по большей части о терзающем их ужасном лютом голоде. Такие гости были докучливы. Лучше уж прийти сияющим и бодрым, с тщательно подобранным, хорошо отрепетированным репертуаром в голове, – вот и будешь желанным гостем. «Солнце к вам пришло!» Ему удалось перевернуть роль нищего с ног на голову: он не просил у людей милостей, а сам предоставлял их – его приходу следовало радоваться, а не огорчаться. И хотя прозвище изначально было дано ему в насмешку и на поношение, наш улыбальщик принял его с радостью и превратил его в источник

питания в буквальном смысле слова. Этой победительной душе все было нипочем. Завистники из нищенского сословия прозвали его Рёгнвыльет Мокро Солнышко.

– А Солнышко нам споет? – спросила хозяйка Стейнунн, когда Рёгнвальд вдруг замолк посреди рассказа о картавом пасторе и беспомощно заозирался, моргая глазами под своим вспученным лбом.

Солнце на лице бродяги заволокло тучами, он посерьезнел.

– Спеть? Ах да, спеть.

Затем он извлек из кармана платок и вытер кончик носа, медленно поднялся и встал так, что его зад оперся на поперечную балку. И тут из темной половины бадстовы вдруг возникла девчушка-бледнюшка, облокотилась о балку, словно в хорошо отрепетированном эпизоде спектакля, и со всей невинностью спросила:

– Мама, а где солнышко?

Этот вопрос вызвал смеха больше, чем любой из рассказов Рёгнвальда, и он сам ответил, указывая на себя:

– О, оно тут вот стоит, такое страшное и волосатое.

Гест вытаращил глаза на уши бродяги. Они были волосаты – как у богачей бывают волосатые руки. Так вот почему он может рассказать столько всего, подумал Гест: эти уши сами нащупывают смешное.

– А поскольку у нас здесь проснулась одна резвушка, наверно, уместно будет начать вот с этой песенки…

Преподобный Ауртни навострил уши: он был человеком музыки – и слушал не шелохнувшись: его лицо было как на фотографии, глаза под выступающими бровями строги, а очертания рта спрятались под усами, когда Рёгнвальд Летнее Солнышко возвысил голос и без аккомпанемента запел песню, которой никто из присутствующих раньше не слышал – ни мелодии, ни слов, но которая гладила каждого по сердцу, словно нежная рука доброй праматери, и эта праматеринская рука дотягивалась досюда из мрака и праха прошлого, из самой бездны народности, и всем в Хуторской хижине, включая даже собак Глаума и Юнону и корову Геклу, казалось, что они слышат эту музыку души уже в сотый раз.

– О да, это моя душа поет, это она – моя душа, которую я потерял на горной пустоши в прошлом году, в ущелье сером, в юности моей бездомности, при третьей беременности после крутозимья. Так это она – и она поет, да хорошо-то как!

Матушка в хлеву, в хлеву,
не тужи, не тужи, дам тебе свою пеленку,
в ней пляши,
в ней пляши.

И вот – у него больше не было ни рясы, ни прихода, ни знания Библии, он отринул все это; он сподобился откровения, он сидел как завороженный: раньше он не сталкивался с такой красотой, такой глубиной, такими народными чарами! Конечно, эта мелодия народная, конечно, эти слова народные, конечно, это народный сюжет, конечно, это все существует! Конечно, это – наше наследие, наше искусство, наше всё! Мелодия была простая, безыскусная, словно рука, которая держит стих, чтоб он светил, а к себе внимания не притягивает, совсем как рука, держащая свечу.

А история, которая за этим стоит! По просьбе преподобного Ауртни, Рёгнвальд рассказал послесловие:

Молодая красивая работница с крупного зажиточного хутора влюбилась в пригожего хозяйского сына с соседнего хутора дальше по реке. Но на свою батрачку уже положил глаз сам фермер, и прежде, чем случилась наша история, девушка забрюхатела от него. И ей велели вынести ребенка на пустошь сразу после родов. И вот она идет тяжкой поступью со своей однодневной дочкой при густом дожде со снегом, прочь от хутора, и кладет ее в сугроб, а затем поворачивается спиной и слушает, как плач ребенка заглушает снежное покрывало. На следующий день наступает оттепель, и девушка видит: на склон горы слетаются во́роны. Она продолжает делать свою работу по хутору, но спит плохо и глотает слезы на подушке, покуда из супружеской кровати доносится ночная возня.

Наконец наступает весна и все, что бывает в это время: окот, стрижка овец, отсаживание ягнят и веселье, какое вызывает прибывающий день. Однажды тот фермерский сын идет мимо загона для овец на этом хуторе. И он улыбнулся девушке. Разве он не знает о событиях той зимы? А через несколько дней по хреппу разносится весть, что будут танцы – викиваки, и всем с того хутора разрешают на них пойти. А наша героиня решила, что идти не может: у нее выходной одежды нет. И становится ей тяжко. И кажется – удача из рук ускользает, и теперь куковать ей до скончания века на этом

хуторе, быть подневольницей фермера, и представляет она себе, как ее любовь от нее на этих танцах уплясывает прочь. Светлым и красивым вечером накануне танцев она, как обычно, идет доить овец в загоне – и тут до нее доносится пение со склона – с того места, над которым в конце зимы, в месяц торри, кружили во́роны. Детский голосок поет: «Матушка в хлеву, в хлеву…». Это младенец-утбурд предлагает матери тряпку, в которую его завернули в то утро, когда выносили на погибель.

На танцы она не пошла, и вовсе с тех пор ни на какие танцы не ходила, но, когда на каком-то хуторе было веселье, ее всегда видели бродящей по склону горы, а домой она возвращалась лишь утром:

невыспавшаяся, лицо безумное. Через три года на соседнем хуторе, что дальше по реке, в начале месяца торри оглашают свадьбу. В то утро, когда был свадебный пир, та батрачка ушла с хутора, и с тех пор её не видели[64].

Такая история стояла за песней. Затем Рёгнвальд снова спел, по просьбе преподобного Ауртни. И хотя он пел еще песни, пастор их не услышал, ведь в той одной – было всё. Вся страна, весь народ, вся музыка, все время – всё-всё! Вечером он лежал без сна на своей подушке, всматриваясь во мрак землянки, среди сопения и храпения спящих мужиков, коров и ребят, и слушая, как по крыше колотит ураган, и в нем он снова слышал это пение: «Матушка в хлеву, в хлеву…».

Подумать только! Этот чудной бродячий артист, этот оборвыш солнечный, был лишь одним из многих светочей исландской сельской культуры, которая развилась в этих дальних закутках мира, отрезанная, отгороженная от всего мирового искусства, и таким образом являлась уникальной. По чистейшей случайности, застряв из-за непогоды в крошечной землянке, он во взрослом возрасте сподобился откровения о том, что должен был знать с детства: он забрел в то средоточие исландской культуры, какое представляла собой «вечерина» в бадстове. В голодных землянках на Южном побережье в основном читали саги, иногда Библию или сборник проповедей епископа Видалина, а порой туда заходили мужики или бабы, исполнявшие римы[65]. Но чистого пения он никогда не слышал, он даже не знал, что существует нечто под названием «исландская музыка».

На ум ему пришли сказки, которые зародились в глуши немецких лесов, – и которые братья Гримм своим пером вывели из лиственного сумрака в типографии всего мира и таким образом спасли для жизни вечной. То же самое в Исландии сделал Йоун Ауртнасон. «Исландские сказки и былички» он еще раньше в этом веке издал в Лейпциге. А кто-нибудь подумал о музыке – исландской музыке?.. Разумеется, не только его постигла такая участь, разумеется, ни один культурный человек не знал, что она вообще существует. Исландская музыка? – Хе-хе! Он тотчас услышал, как наяву, смех в обшитом деревом зале, громкое покашливание воротниконосцев, одетых в пальто. Но у Ауртни Бенедиктссона хватало мудрости понять, что на перекрестке, где сходятся смех и презрение, как раз и зарыто золото.

И когда он пролежал без сна достаточно долго, чтобы вымести из головы весь мыслемусор прошедшего дня, там осталось лишь самое драгоценное – и сияло как жемчужина в кромешной бессонной тьме, и ему стало ясно, что спасти эту жемчужину нужно именно ему.

Глава 13
Ночной разговор

– Пастор не спит? – раздался в темноте добротный голос, и можно было различить, что его обладатель лежит на боку и шепчет эти слова в сторону от освященных ушей, в земляную стенку.

– Нет.

– Вот такие бадстовы с хлевом – редкость, по-моему, я только в третьей такой сейчас ночую.

– Мне не это спать мешает.

– Не это?

– Нет. Как сказал поэт, «мы все в землянке скотьей рождены»[66].

– А напомните, что это за поэт?

– Я забыл.

– Ну да…

– А скажи мне, Рёгнвальд, откуда ты выучил песню про «матушку в хлеву»?

– А это наша песня.

– Ваша?..

– Исландских утбурдов.

Эти слова никогда не произносились на этом языке, в этой стране, ни в хлеву, ни в кровати, и они исчезли в земляной стене,

словно плач – в сугробе, и больше их никто никогда не слышал.

Глава 14
Заполонили берег

На следующий день новоиспеченные отец с сыном – Лауси и Гест – шли домой. Один из них больше не был выше другого на целую голову, по росту мальчик быстро догонял согбенного мужчину. Скоро ему тоже придется нагибаться, чтоб войти в землянку; в Исландии старых времен конфирмациябыла именно такова: когда дети становились взрослыми, они начинали пригибаться, и это было первым шагом к согнутости в три погибели в зрелом возрасте. Старая Грандвёр, когда сидела и когда стояла, была одного роста. Да и почти все жители фьорда были словно гнутые гвозди. Кроме пастора, торговца и врача – те ходили прямые как струна, словно человек, ступивший на борт парусника во Франции. Гест дал самому себе слово, что будет несгибаем.

Да только как его сдержать? Из этого фьорда дороги к просвещению не было.

Да там вообще дорог не было, только горные стежки и тропки для лошадей, протоптанные копытами, не проходимые для другого транспорта, кроме коня, и это объясняло, почему такое замечательное изобретение, как колесо, до сих пор не дошло до этой страны, – разве что в бадстовах пара штук крутилась на прялках, прявших шерсть. Исландия все еще была единственной в мире страной (кроме разве что каких-нибудь идиллических селений в джунглях), которой только предстояло научиться применять колеса на улице. А здесь навоз выносили на поле вручную, а по улицам Рейкьявика ковыляли водоносы, словно мифические «свезифы»; а когда эта страна праздновала тысячелетие своего заселения, ее жители даже не стали скидываться, чтоб купить себе повозку, поэтому когда это торжество почтил своим визитом наш датский король, то на Поля Тинга и к Гейсиру ему пришлось ехать «на открытом коне», словно деревенщине, и в итоге он промочил под дождем свое августейшее исподнее. Исландия была бездорожной страной, ее единственной проезжей дорогой было вечно волнуемое море. Правда, порой бывало, что какой-нибудь самородок из глухой долины изобретал колесо (совершенно с такой же радостью, как тот месопотамский изобретатель,

за 3 500 лет до Рождества Христова первым запатентовавший это изобретение) и сам по себе мастерил «колесное корыто» – слова «тачка» он никогда не слышал.

Одним из таких исландских гениев как раз и был наш Сигюрлаус с Нижнего Обвала, которому в юности удалось к западу от гор сколотить довольно-таки справную тележку для навоза; это знаменательное новшество он посвятил своим землякам и их тяжкому труду. А они стали смотреть на него косо – как почти на все другие шаги по пути прогресса (людям каменного века не очень-то по душе резкие вторжения века бронзового), и полбочки с осью и двумя колесами так и остались гнить между кочек, пока следующие жильцы не порубили их на дрова.

Они шли вниз по склону прочь от хижины, которая в течение трех недель была приютом одного из них, и видели, как пастор и его помощник плетутся в другую сторону, к реке, пешком, ведя лошадей в поводу, поддерживая ящик – довольно примитивный и длинный, который вез один из коней: посылку, отправляющуюся в лучший мир.

С утра Лауси, этот плотник железного века, сколотил своему приятелю гроб из тех деревяшек, которые Магнусу удалось выклянчить у богатеев из Лощины. «Тоже мне, нашли себе занятие! Голь перекатную в дерево заколачивать перед отправкой в адский огонь!» С такими словами Кристмюнд распростился со своими досками – той жалкой каплей материала, которую и принес пасторский помощник. На целый гроб его едва хватало, так что покойника повезли в открытой форме, словно какой-нибудь кусок хлеба.

Небо было высоко, и насколько хватало глаз простиралась ровная, как стол, сентябрьская гладь моря, а у банки – заштилевшая шхуна. В погоде ощущалась усталость, этот штиль был не чем иным, как упадком сил: до того над фьордом целых полсуток бесновался шторм, хлестал причал солеными бичами, а лодки загонял в Угол. А нынешнее затишье было как будто после разгрома, моховина была взъерошена и побита, на всех приливных полосах разбросаны водоросли. И все же великолепие этого утра портили чаичьи полчища, заполонившие воздух: похоже, сюда прибыли на слет чаек все птицы Северной Исландии, над всем берегом вокруг Затона раздавалось хлопанье крыльев. Фьорд превратился в место рыбьеслизистого пиршества.

Когда они шагнули вон из хижины, слегка подкрепившись (кашей из исландского мха), Лауси сказал что-то насчет того, что там, наверно, кита на берег выкинуло, – но большой туши нигде не было видно, и после этого плотник занялся сооружением гроба. Но едва они немного отошли от Хуторской хижины, Гест заметил, что на взморье что-то блестит, а с Затона, с одного из тресколовных судов Кристмюнда – открытого просмоленного барка, – донесся крик. Посередине судна стоял корабельщик с поднятым веслом. – Что они делают? – спросил мальчик.

– Похоже, чаек удят, – шутливо ответил Лауси, а потом пошутил еще основательнее: – А может, души уловляют.

Но когда они дошли до берега, где над приливной полосой проходила одна из тропок до Нижнего Обвала, то увидели, что все взморье под голосящими чайками было полно мелких рыбешек, посверкивавших как серебро в свете пасмурного утра: ночь выкинула рыбу на сушу полными горстями. А когда они прошли вдоль приливной полосы чуть подальше, туда, где она расширялась, а тучи чаек над ней были гуще, то их глазам представилось еще большее количество этого дара моря. Приливная полоса была одной сплошной блестобрюхой кучей рыбы, которая все завалила – яблоку негде упасть, – а чайки различных видов и порой какой-нибудь залетный ворон вились над этой кучей, скакали или шагали по ней, радостно поклевывая. Собачка Юнона ринулась вперед и принялась облаивать птиц в воздухе.

– Что это за рыба?

– Кажется, селедка, – ответил фермер, и они перешли на приливную полосу. Лауси – легконогий, овечьекожеобутый – поскакал по камням, выбирая самые сухие, склонился над этим месивом и поднял одну рыбешку. – Да, селедка. Дохлая. Она сама по себе сдохла. Такое бывает. Она иногда выбрасывается на сушу, как киты. Достаточно, чтоб в косяке завелся всего один мутильщик…

– Смотри-ка: они нас зовут. – Гест указал на Затон.

Теперь на корабле стояли уже трое, а остальные корабельщики сидели на скамьях для гребцов и кричали новоиспеченным отцу и сыну что-то неразборчивое. Больше всего это было похоже на брань и ругань. Но как им – береговым – помочь корабельщикам на воде? Те же, вроде, на помысел выехали? Но вскоре Гест и Лауси сообразили, в чем у тех трудность: корабль не мог проплыть из-за селедки. Селедка заполонила

весь фьорд. Что же случилось? Корабль увяз в селедке. Один из корабельщиков попробовал пользоваться веслом как лопаткой, на манер венецианских гондольеров, в надежде, что ему хоть так удастся протолкнуть судно вперед. Его товарищи последовали его примеру – но барк не продвигался ни на шаг, все море было одной сплошной кашей из наижирнейшей селедки.

– Они как будто во льдах застряли, – с любопытством проговорил мальчик из-под своих пухлых щек.

– Я такого раньше не видал, – ответил седобородый и почесал затылок, держа шапку в руках.

– А они не могут ее наловить вместо трески?

– Да что ты! Эту дрянь не ловят.

– А почему?

– Эта чертовня – не еда, одно мучение!

– От нее мучаются? Живот болит? Или она невкусная?

– Вот уж не знаю. Вроде, кто-то ее скотине крошил, но для людей это не еда.

Гест наблюдал, как собачка недалеко от них обнюхивает чешуйчатое месиво. Кажется, она не могла решить, еда это или нет. Но потом углядела на берегу бурую лисицу с селедкой в зубах и снова умчалась.

– А французы, они вот…

Гест не стал продолжать свой рассказ из уважения к этому своему отцу и его убеждениям. Ну конечно, он прав, ну конечно, это не еда, а отрава, ведь животных, которые сдохли сами по себе, не едят. А ведь эта селедка такая жирная и ладная на вид, прямо сказать – аппетитная, да, почти совсем как та, которой они обедали, пока плыли по морю. Поджаренная, с пылу с жару, иногда с чешуей. И Гест вспоминал эти красивые вечера с тоскливой неохотой – вечера, когда они бездельничали при полном штиле близ банки Дорна[67], и экипаж дремал за трубочкой табака, осоловев от еды, полулежа на свежевымытой палубе вокруг открытого огня посреди Атлантического океана. А еще кто-то зажигал и солнце, и оно плавало, наполовину в воде, у западного края моря, словно сияющий корабельный остов. А затем – безогненная темнота, и ничего не видно – только тлеющие угольки в трубках, попеременно то вспыхивающие, то потухающие в такт непонятным веселым историям на французском да бретонском.

Это были редкие часы на невольничьем корабле…

И тут он увидел, как Юнона последовала примеру лисицы и притащила жирную селедку с приливной полосы на берег, где начала уписывать голову и жабры. Добыча оказалась такой вкусной, что Юнона осталась на взморье, когда они поплелись по косогору в хижину с наклонным полом, где их ждали все женщины и малютка Бальдюр.

Глава 15
Мальчик-мореход под одеялом

Гест вновь оказался на начальной клетке – той же самой, на которую в настольной игре жизни угодил его отец, когда его мечта о строительстве железной дороги во Мерике внезпно обернулась старым долгом в три килограмма муки – той муки, которую сам Гест – двухлетний карапуз у коровьего соска – насыпал и в сугроб, и себе в рот.

Каково было у него на душе?

Он оказался вовсе не так недоволен, как предполагал заранее. У Стейнки и Эйнара в Хуторской хижине ему пришлось довольно туго, особенно в последние дни, после того как в дом постучалась смерть, – и все же это житье было лучше, чем заключительные недели на шхуне, со всеми этими зверскими бесчинствами – вещами, каких ни один мальчишка не мог бы себе помыслить. Все эти воспоминания он пошвырял в кучу и крепко увязал в узел. И все же порой к его внутреннему обонянию поднимался смрад. Тогда Стейнка приходилась очень кстати: она заглушала эту вонь своими ледяными колкостями. А сейчас он отправлялся в еще более тихую гавань. Наконец-то. У Геста все вышло как у заключенного, дважды удиравшего через тюремную ограду: сперва прочь из камеры, а потом обратно в нее же.

Он приближался к этому странному дому, почти сливавшемуся с горным склоном, так что видна была лишь тонкая, покосившаяся вперед переборка – фасад с тремя гребнями на крыше, одной дверью и двумя крошечными отверстиями, которые с большой натяжкой можно было назвать окнами. В этом и заключалась разница между Нижним Обвалом и Хуторской хижиной: первая из этих лачуг была похожа на нормальное человеческое жилье из-за упомянутого фасада. Его Лауси сколотил из остатков досок, перепадавших ему после различных плотницких работ. Однако с большого расстояния, если смотреть по диагонали из-под горы, эта хибара XIX века напоминала не что иное, как декорацию к малобюджетному историческому кино, сооруженную для двухдневных съемок: один фасад, за которым ничего нет. Это ощущение двухмерности возникало в основном из-за того, что передняя стена так сильно выдавалась вперед и вверх, отдаляясь от

самого дома, от дерновых скатов позади, которые были значительно ниже фасада. Та часть деревяной стены, которая закрывала мастерскую, когда-то была покрашена, и некоторые доски еще хранили кое-где следы белой краски, а все остальное было серым, как выкинутое морем бревно. И все же серый цвет осиял и озолотил Геста, когда он двенадцатилетним мальчуганом вошел в эту серую калитку, а над ним возвышалась гора – внизу травянисто-серая, а вверху отвесно-голубая. Ощущение, которое все это вызвало у нашего героя, было таково, будто он входит внутрь горы, продвигается в скалу шаг за шагом, и эти Лаусины пародии на доски были как будто дверным косяком при входе в то великое горное царство.

И Гест почувствовал – своим еще незамутненным, несмотря на всякую грязь и взвесь, чутьем, что здесь будет его укрывище, пока все не начнется. Ведь он знал, что в конце концов в его жизни что-то поднимется – не только в смысле «начнется», но и в смысле «вознесется вверх». И он не входил в гору – он заГОРАживался от невзгод.

Сразу за двухмерной декорацией, которую представлял собой фасад, начиналось царство реальности – темный сырой коридор, справа от которого открывалась столярная мастерская, а чуть подальше, слева, – гостевая горница, и у каждого из этих помещений было по окошку, выходящему на двор. Долговязый Эйлив раньше как раз спал в гостевой, кладя пятки на доски фасада с внутренней стороны. Дальше вглубь коридора, налево, была кладовая, а направо – кухня, а в самом конце – бадстова: в ней не было никаких коров, и тем более – никаких поперечных балок. Зато полным-полно женщин и один мальчишка. И здесь для Геста нашлось место, здесь его ждала роскошь: спать на матрасе, набитом сеном и пушицей, а не водорослями. А еще здесь крыша не протекала и покойником не пахло.

А вот радости и ликования после разлуки там ощутимо недоставало; когда паренек вновь шагнул на наклонные половицы Следующего Обвала и предстал перед вяжущими женщинами трех поколений – щеки пухлые, грудь широкая, – никто не поинтересовался, где же он был, кроме малышки Хельги, старшего ребенка Сньоульки:

– Ты где был?

– Плавал.

– Ты потерялся?

– Нет.

– Да потерялся ты.

– Если ты знаешь, где ты, то ты не потерялся.

– А где ты был?

– На шхуне работал.

Девчушка попеременно обвивалась вокруг то одного прикроватного столба, то другого, пока не пришло время ложиться спать, – и все таращила глаза на гостя-Геста: это был взгляд зрелой, серьезно влюбленной женщины.

А вечером произошло неслыханное событие: старая Грандвёр ненадолго положила вязальные спицы себе на колени и заглянула мальчику в глаза – в эти большие круглые Гестовы глаза, сверкавшие из-под густой жесткой шапки светло-русых волос. В начале лета эти волосы горизонтально подстригли в кубрике (в кубрике, в котором ни единой горизонтальной линии не было), но сейчас они вновь закрыли лоб до самых бровей и все еще хранили в себе легкую тень сумрака, царившего в той кухне с очагом, где его нашел пастор Ауртни.

– Никак ты офранцузился, – сказала старуха, после чего снова принялась вязать и пялиться в пространство – людям земляночной эпохи оно заменяло телевизор.

Лауси с удивлением поднял глаза от табака на свою тещу: он совсем позабыл, что старуха умеет разговаривать! Он вообще не слышал этого голоса с тех времен, которые были еще до того, как пришли льды? До того, как у Кристмюнда волосы побелели? Но старушенция, конечно, была права. Гест в чем-то изменился: каким-то хитромудрым образом стало понятно, что он уже переплыл целое бурное море – и даже два раза. На нем лежал какой-то налет чужестранности, какой-то флер дальнекрайности – этот мальчик успел поплавать. По его глазам было видно, что они видали совершенно невиданные вещи.

– Офранцузился? А это что? – спросила малышка Хельга.

– Бывают французы, бывают англичане, а бывают бискайцы. Это такие породы мужчин.

– Породы мужчин?

– Ломтемеры.

– Что?

– Ломм дю мер [68]. Это по-французски.

Гест не верил своим ушам. Эта старуха, от которой он никогда не слышал ни слова, которую он во время своего недолгого пребывания на этом хуторе весной считал кем-то вроде домашнего животного с вязанием – она сейчас говорила с ним на языке французов! Он узнал эти слова – хотя произношение у нее было ломовым.

– Ты знаешь франсэ?

– Ай, пютипю. Пютипю. В ту зиму, когда мне исполнилось двенадцать, у нас жили двое. И они иногда по вечерам учили нас – ребят. Мы мало что могли им дать, но более прилежных людей я не встречала.

– Двое французов?

– Да. И они каждое утро говорили: «бонжу», в любую погоду, даже когда оно вовсе не наставало.

– Кто?

– Да утро. А ты у них какие-нибудь слова выучил?

– Да: бискви, лё, пань…

– Лё… – вздохнула Грандвёр за вязанием – которое сейчас на мгновение замерло в ее руках. А на ее губах выступила улыбка – такая ласковая, что стало ясно: ее не одно десятилетие носило по волнам души (как пивной бочонок по океану) лишь для того, чтоб она показалась здесь: в тусклом свете жирника на хуторе Нижний Обвал.

Грандвёр полжизни прожила на утесе, на отвесной скале у холодного моря, на одной из самых северных оконечностей Исландии, в местности под названием На краю Крайних долин, а дом там стоял в крошечной ложбинке без туна возле обрыва, и тамошние жители целую зиму перебивались на одной лоханке сена да одной лодке рыбы, там ничего не открывалось взору, кроме океана, и там существовало только два направления – вверх и вниз, и люди были либо родные, либо чужеродные. Корабли, которые разбивало прибоем у Щепной горы под самым хутором, были французские, или английские, или же баскские – из Бискайского залива. Порой хутор превращался в самый настоящий, слегка рафинированный, приют для потерпевших крушение моряков с очагом и собачкой.

Гест все еще сидел и разглядывал старуху. В воздухе между ними протянулась лента в цветах французского флага: красно-бело-синяя, невидимая. Дочь семьи, Сньоулька, сидела напротив него с вязанием и глазела на него с гримасой на лице – только большие телячьи зубы

сверкают, – а Лауси тем временем рылся в своем сундуке с книгами, бормоча что-то о «добром госте». Наконец хозяйка Сайбьёрг отложила спицы и исчезла в дверях, сопровождаемая внуками, а вскоре вернулась с ужином: сушеной рыбой и гречневой кашей на молоке. На десерт была духовная пища от Лауси. По случаю такого дня тот вытащил свой томик Сигюрда Брейдфьорда[69] и открыл «Римы о королевиче Ликафроне и его богатырях»: «Гость премудрый говорит, / глядь, его спрошу я…».

Порции здесь были даже меньше, чем в Хуторской хижине, а талдычанье стихов не насытило Геста. Поэтому на покой он улегся полуголодный и вспомнил взморье, на котором лежали и портились десять тонн сельди, а чайки вовсю пировали. Разве все это не было ужасно неправильно? Если сельская местность не лежала голодная по постелям, она искала себе твердой пищи в горах и разваривала добытое в вонючую кашу – а тем временем фьорд ломился от жирного мяса, к которому никто не прикасался! Почему он не вернулся тайком на берег и не взял пару селедок, чтоб украдкой пожарить на французский манер? Сквозь гомон чаек, слышный в доме через дерн и камни, сквозь урчание собственного живота он услышал, как собачка под кроватью вздыхает до отвала сытым селедочным вздохом – и ощутил зависть.

Да, ведь в этом всем есть что-то ужасно неправильное? Моряки, которым дорогу на рыболовный промысел загородила рыба? А на нее-то они и не взглянули… Лауси еще добавил, что селедка не просто – не для людей, ее также строжайше возбраняется использовать как наживку на акулу и треску. Пару лет назад каких-то недотеп с юга угораздило наживить селедку. На рыболовных банках из-за этого поднялся переполох, у одного корабля тихих неводильщиков весь промысел скомкался, и они тотчас принялись возражать подобным действиям. Ведь: «от этого все море взбаламучивается, а это сильно портит стабильность промысла». В конце концов Альтинг принял закон, карающий тех, кто использует сельдь для наживки. И этот запрет распространялся на промысел всех видов рыб.

– А разве норвежцы селедку не промышляют?

– Норвежцы – это норвежцы. Дело не в этом, – отвечал Лауси.

Может быть, как раз в этом пренебрежении исландцев и заключалась причина того, что сейчас селедка сама вышла на берег и

буквально стучалась в двери, умоляя людей пустить ее на наживку, положить в маринад, слопать, полюбить.

– Нет, мальчик мой. Эта рыба дрянь.

Гест никогда не слышал, чтоб хуторянин с таким жаром высказывался против чего-нибудь иного, кроме разве что бога и всего его обзаведения. И вот он снова и снова перебирал в памяти невероятные события этого дня – все это изобилие белого серебра на всех взморьях! – уставившись в неспящий мрак, или же закрывал глаза и слушал, как крики чаек мало-помалу смолкают; он так и видел их – напировавшихся, набитозобых, устроившихся на всех горных склонах, чтоб переварить еду. В какой-то кровати кто-то мощно пукнул. И вдруг он почувствовал, как щеки касается что-то холодное и влажное. Он вздрогнул, но тут же понял: это подовый хлеб, кто-то протягивал ему кусок подового хлеба. Он взял его, тотчас почувствовал маленькие пальцы, которые протягивали его, без слов, и резко вскочил, озираясь: куда она ушла? Но не увидел ничего, кроме четвертого часа ночи, заполонившей бадстову, а также и фьорд. Он отправил кусок в рот целиком: что может быть лучше подового хлеба! И где она только нашла такой кусок? И когда он ощутил сытость, почувствовал, как мягкое тесто покрывает его изнутри, к нему закралась мысль, которая, однако, была от него так далека, что он едва разглядел ее на горизонте: это был взрослый мираж в пустыне детства, и он содержал избражение его самого, который склоняется к красивому зрелому лицу дочери этого хутора, Хельги Йоунасдоттир, и целует ее губообвивательным, толстоязыковым поцелуем в эти губы-неги, губы-розы над ее слезовышибательной, как говорили в каютах акулопромышленных судов, грудью. Но ребенок, все еще верховодивший в его душе, быстро пресек эти видения из дальнего далека взрослых годов, и от них остался лишь один небольшой вопрос, не опьяненный страстью к подовым хлебам: как могла такая красавица взрасти в такой лачуге? Как она могла быть дочерью такого искаженного создания, как Сньоулька?

Где-то в этой темноте она стояла или лежала – эта восьмилетняя богиня – и, вероятно, издавала довольные вздохи по поводу того, как хорошо ей удалось покормить его ночью. Она узнала, что кусок хлеба возымел нужное действие? Наша история гласит: нам это неизвестно, потому что ее хозяин (так называемый рассказчик) предпочел пока что не сосредоточивать внимания на девочке.

Гест еще немного полежал без сна, с причмокиванием выковыривая языком комки теста из зубов и одновременно слушая, как сентябрьские небеса начинают размеренно бить в барабан из кожи, натянутый над этой маленькой спальней. Этими ударами и завершился тот день, так он был переплетен и помещен в великий Архив времен, расположенный на Главной площади в городе Вечности – великущее зловещее здание, окруженное вековыми строительными лесами.

Наконец Гест заснул, а история осталась в бадстове одна. Она перемещалась тихо. Всевидящими очами она следила за своими дорогими героями в кроватях, видела, как храпит Лауси, выпуская воздух сквозь бороду, как мальчик видит сон о корабле из Лощины, идущем на лов трески, который застрял посреди Затона в косяке сельди. Корабельщики запели. Но не успели они и глазом моргнуть, как у селедок выросли крылья, и они взлетели, весь фьорд заполонила стая сельдептиц, и корабль скрылся в чешуйчатом облаке.

Глава 16
Экономка

На другом берегу фьорда пастор, преподобный Ауртни, проснулся в холодном деревянном доме и помочился в ночной горшок. Затем он, в черной жилетке, сошел по скрипучей лестнице и пожелал своим мадамам доброго утра. Выглянул в сероватое окошко – там разбойничал резкий северный ветер, – а потом принял тарелку каши из рук экономки Халльдоуры.

Старая экономка Раннвейг отправилась в места не столь окрыленные, а ее помощница, Сигрид по прозвищу Краснушка, исчезла сразу после знаменитой «большой маёвки», когда все ее женихи в течение одной недели обрели могилу на дне моря.

Новая экономка, Халльдоура, была ширококостной прекраснодушной женщиной; она происходила из вулканической части страны. Пылающая лава согнала ее семью с насиженного места, и с тех пор ее родня курсировала по эллиптической орбите вокруг Исландии. Халльдоура родилась в Дьюпивоге, выросла на Болотах, какое-то время жила в услужении в Дирафьорде, а сейчас зарабатывала себе на жизнь в пасторской усадьбе в Сегюльфьорде. Здесь ее высадили на берег, когда врачу было нужно плыть в Фагюрэйри, а на корабле не нашлось другого места, кроме того, на котором она ехала на восток Фьордов устраиваться в услужение. С тех пор минуло три года.

Она была исландской ледниковой красавицей, крепкого сложения, с суровым лицом, но обладающая прекрасно-белой снежномягкой кожей. Рот у нее маленький, и губы тонки, а щеки широки, как две высокогорные пустоши, скулы высоки, мощны, как коленки. Стоя у плиты, она любила напевать неразборчивый мотивчик, звуки были заперты глубоко внутри нее, они пелись в просторном зале – ее груди. Также она порой стояла у северного окна и, раскрасневшись, считала волны, и перебирала в уме те ценности, которые у нее были. Датчанина-картографа, который любил ее две белые ночи в палатке, а потом исчез, обещав нанести ее на все свои карты. Зимой он послал ей письмо: *“Dora Jonsd., Dyrefjord, Island”* [70], и на его основании она отвергла почтенного человека из того фьорда, но с тех пор к ней не

пришли ни другое письмо, ни другой жених. Исландская батрачка – датский аристократ: игра была неравной с какой угодно точки зрения.

Преподобный Ауртни испытывал к этой женщине любопытство. Когда они встречались взглядами на лестничной площадке или в дверях кухни, он видел свою собственную судьбу – ведь и он потерял любовь. Между ними было духовное родство, он видел это в ее душе, и к тому же и он, и она были одиноки, все другие в этом фьорде состояли в браке, вдовстве, батрачестве, мотовстве, шутовстве. Ко всему этому, Халльдоура была единственной женщиной в этом новом для него мире, на которую ему хотелось положить глаз. Телесные формы этой экономки – которые, впрочем, на его вкус были слишком (по его собственным словам) «практичными» – часто являлись ему в видениях, когда его душа, изнывающая от отсутствия женщины, рыдала в подушку по вечерам. Тогда дебелая Халльдоура заглядывала к нему с чашкой горячего пунша среди ночи, невзначай забыв одеться… ах, эти груди, это тело, эта женственность, эта притягательная мягкость…

А на следующий день пастор обычно видел как есть: что эта женщина ему вовсе не ровня. Ему были отвратительны нечистые желания, прилепившиеся к этому… этому похабному корыту! (При этих утренних угрызениях совести он, пожалуй, сильнее всего приближался к вере и с глубокой искренностью молил Бога оборонить себя от другого падения.) Несколько раз он пытался проникнуть в мысли этой молчаливой экономки, понять, откуда она, услышать что-нибудь о ее жизни, но из этого никогда ничего не выходило. Она держала дистанцию; с хозяином экономка не болтала, да и с мадамами тоже. Здесь она попала на самое приличное в своей жизни место и не хотела рисковать: ей совершенно неожиданно досталась работа в мире деревянных домов, и обратно в земляночный мир ей не хотелось. Однако всем, кто ни бросал взгляд на эту женщину, казалось, что она здесь только временно: об этом говорили ее манеры и повадка. Кто не нашел надежного причала, держат якорь на борту.

«Разве моя участь не была такой же?» – думал преподобный Ауртни, сидя над пустой тарелкой из-под каши и глядя, как Халльдоура разливает старым мадамам – Гвюдлёйг и Сигюрлёйг – кофе, а потом огибает угол стола и подходит к нему, чтоб забрать его тарелку и ложку. Она тщательно избегала встречаться взглядом с его глазами и привычным жестом тянулась за тарелкой. Несмотря на мощное

сложение и крепкие руки, ее движения всегда были изящны и тонки. И снова и снова пастор, всего несколько минут назад проклинавший эти «корыта», не мог оторвать взгляда от больших грудей, заполнявших простой черный свитер, он составлял о них представление как раз в тот момент, когда экономка склонялась над столом и тянулась за тарелкой, так что ее бюст почти касался скатерти на столе. Он сохранял эту картинку в своем сознании до вечера и тогда уделял долгое время ее отшлифовыванию, словно создатель порнофильмов в более позднюю эпоху, то раздевал ее, то одевал, снова раздевал, давал ее грудям миг покачаться над столом на расстоянии вытянутой руки от его лона – ах, как роскошно!

Затем он поднимал глаза и произносил: «Халльдоура, дорогая, спасибо», как мужчина-хозяин во все века, и тогда экономка исчезала из гостиной. На ее губах обозначалась еле заметная крохотная усмешка – очевидно, это был способ ее души смириться с мыслезавоеванием, которому подвергалось ее тело, ведь экономка, судя по всему, отлично понимала, как ее плоть будоражит пастора. Впрочем, она считала, что мужского помешательства в этом доме опасаться нечего: здесь на нее не нападут, преподобный Ауртни – не такой человек, а силача Магнуса Пустолодочного она в свое время сразила взглядом на пороге. Может, в этом и заключалась главная разница между миром деревянных домов и миром землянок?

Вскоре она стояла у окна кухни и выжимала тряпку в ведро с водой, но машинально отложила ее, увидев, кто шурует через неогороженный тун Мадамина дома. Это была Метта из Мучной хижины, отощавшая, с лицом, будто обтесанным – словно сам призрак голода в праздничном наряде, потому что на ней, как и раньше, была все та же серая головная повязка и все то же шикарное черное пальто до пят, мужественно добытое ее сыном Бальдвином у британского экипажа после восемнадцатого стакана. Халльдоура поспешила получше спрятаться, потому что сомнений не было: если уж Метта увидит ее за стеклом, она немедленно прибежит под окошко спросить, нет ли у них «остатков из Мадамина котелка, нам, беднякам убогим, пожевать? Мой-то Бальди ужасно голоден».

Экономке было неприятно отказывать ей в куске, но неприятны были и мысли, которые следовали за этим: эта женщина в пальто – на самом деле не кто иной, как нетрудоспособный член сельской общины,

хотя и называется самостоятельной главой семьи, и у нее двое детей в лачуге размером не больше здешней гостиной, и она вообще-то сама виновата, что имела несчастье обзавестись ребенком, к тому же дважды, не прибегнув при этом к соответствующим средствам, какие в ходу у женщин. А со временем ее сын стал вечно голодным захребетником и только жирел, в то время как нищета обгладывала его мать и сестру. Халльдоура заглянула за оконную раму и увидела, что привидение в пальто прокосолапило через тун на запад, держа курс к северу от церкви, а под концами повязки, трепетавшими у нее позади при студеном осеннем ветре, у нее обозначался горб. И вдруг экономка ощутила жалость к этому докучливому созданию, ей захотелось распахнуть окно и помахать ей плохо обглоданной костью, однако она этого не сделала, а удовлетворилась тем, что стала лелеять про себя слова, всплывшие в ее сознании: «Конечно же, сейчас не самые лучшие годы, чтоб быть женщиной в Исландии».

Глава 17
Новости на двух этажах

Мадамы допили кофе и сели в гостиной за рукоделие – вышивку и вязание крючком. Пастор остался один за столом в столовой и какое-то время смотрел в окно на фьорд. «Мона» – железнобокий пароход, плавающий вдоль побережья, – бросила якорь посреди Затона. Эта плюющая белым махина была слишком велика, чтоб пристать к новому причалу во время отлива: нововведение устарело в одночасье.

Он увидел, как хреппоправитель и причалоначальник Хавстейнн спустился в свою разъездную лодку, проворный в движениях, при фуражке: действовать надо было расторопно, потому что капитаны кораблей, курсирующих вдоль побережья, всегда так нетерпеливы. «Мона» шла с Западных фьордов – и, конечно же, писем у нее на борту, как всегда, не было. Сейчас снова почти настала зима – прошел без малого год с тех пор, как он послал ей последнее письмо. Какой прискорбный конец многообещающего сватовства!

Вошла экономка с дымящейся чашкой кофе и поставила ее перед пастором, а он даже не заметил ее. А сделав три глотка, поднялся к себе наверх, сел за письменный стол и стал пытаться вести себя по-пасторски. Он вынул книгу с записями домашних визитов, которую хранил у себя дома, и переписал в нее из своей побитой непогодой записной книжки вчерашние имена, общественное положение и характеристику.

«Гест Эйливссон, воспитанник, 12 лет, хорошо грамотный, очень способный паренек».

На последней странице он обнаружил ноты – мелодию, которую записал от Рёгнвальда Летнего Солнышка у стены, поросшей желтой травой, с утра, пока Лауси сколачивал гроб бесскотинному хуторянину Эйнару. «*Матушка в хлеву, в хлеву. Не тужи, не тужи*». Ему было бы нелишне снова встретиться с этим мужиком и порасспрашивать его получше – наверняка он был просто кладезем рассказов и песен. Но солнечный герой отправился в дорогу, как только закончил петь, он направлялся в Оудальсфьорд – отчего он так спешил?

«А вы видели, чтоб солнце на месте сидело? К тому же мои друзья с самой Пасхи солнца не видали, они его ждут с акульим пюре на очаге.

Привет честной компании!»

Преподобный Ауртни гладил свои пышные усы, стоял прямо и смотрел, как этот согбенный хрольв-пешеход уходит вверх по горе с пожитками на спине, высокой палкой в руке и подпрыгивающей кисточкой на шапке. И этот нищий был так прекрасен, так исполнен внутренней чистоты и несметных сокровищ, что у пастора в душе осталось чувство, будто, записав от этого бродяги народную песню, он принял от него драгоценность. Подумать только: этот жизнерадостный человек в детстве был вынесен на пустошь…

Вынесение детей на пустошь в старые времена было вместо абортов: выносили новорожденных, которым в этом мире были не рады, их отдавали на волю Бога и мороза или сбрасывали в водопады и ущелья. Ни у кого бы не поднялась рука на младенца, специальных детских палачей в этой стране не держали, так что совершить это дело выпадало не кому иному, как самим матерям, и немногие из них сохраняли рассудок, сотворив такое – сбросив собственного ребенка с утеса. Но именно этого от них ожидали, и это детоубийство чаще всего происходило из-за причин, связанных с нравственностью: если тот ребенок был незаконнорожденным, плодом связи хозяина с батрачкой, изнасилования на сеновале или кратковременного умопомрачения по-солнечному светлой ночью, а порой причины были и экономические: бедность была такой, что лишний рот приходился в тягость.

Да, подумать только: одним из этих детей был Рёгнвальд Летнее Солнышко! Его, по его собственным рассказам, вынесли на пустошь. Но он каким-то образом спасся (как?!) и с тех пор так и оставался под открытым небом, кружил по горам и долинам, словно воплощение и выборный делегат этой невидимой группы, этого окруженного молчанием преступления народа, возможно – единственный выживший из тех тысяч детей, которые кричали в ущельях и расщелинах Исландии, этой особенной страны, настолько суровой к собственному населению, что она даже требовала с него десятину: брала в уплату каждого десятого рождавшегося ребенка.

Из чердачного окна пастор смотрел, как хреппоправитель Хавстейнн сам-друг подгребает к борту парохода, затем встает в легкой лодке, протягивает руки и ловит симпатичный сверток, который сбрасывает ему с борта матрос. Больше сегодня ничего не было: пассажиров не набралось, раздался свист пароходной сирены, и из

трубы повалил пар. Хреппоправитель едва успел оттолкнуть причальную лодку от парохода, когда высокий борт тронулся с места.

Теперь Ауртни-музыкант достал нотную бумагу и переписал на нее народную песню «Матушка в хлеву, в хлеву». Его перо слегка подрагивало от барабанного боя в сердце, потому что пастор осознавал, что сейчас исторический момент. Разве это отличалось от того момента, когда первый в истории писец из века саг вынул самый первый лист пергамента и начертал на нем первую строфу «Прорицания Вёльвы»: «Внимайте мне все…»[71], тем самым увековечив в книге драгоценность, веками передававшуюся у северных предков из уст в уста.

После первой строки он сделал небольшой перерыв, заметил, что хвостики у нот вышли не такие прямые, как он сам от себя требовал (как-никак он был лучшим писцом в конторе ландфогта), глубоко вздохнул, пытаясь лучше совладать со своим почерком, а потом продолжил. Закончив, он некоторое время сидел и разглядывал сделанное.

Просто диву даешься: он был записывателем музыки, спасителем культуры, да, совсем как тот датчанин-фотограф, который приезжал сюда летом и запечатлел на пленке однообразие этого фьорда, закинул эти унылые дни в будущее, а вместе с ними и лицо самого пастора, его усы и брови и зоркий взгляд, прозревающий грядущее. Да, и именно сейчас он увидел, как длинная, украшенная фонарями улица протянулась вдоль всей косы – до самого двадцать первого века, в котором на сверкающей сцене стоит певец и передает будущему ту самую песню, которую он извлек из земляночного коридора прошлого – коридора длиной в тысячу лет. Тогда летнее солнышко наверняка присядет в море у горизонта довольное, раскрасневшееся от радости.

Эти мысли потревожил стук в дверь, и Халльдоура просунула в каморку свое большое скуластое лицо и обратилась к нему, немного нерешительно, ведь она не привыкла разговаривать:

– Та… там вам письмо.

Ее голос был звучным и немного странно было слышать его из этого маленького рта, – словно сквозь замочную скважину просовывали толстенную струну.

Преподобный Ауртни повернулся на скрипучем стуле, ожидая, что сейчас ему дадут письмо, но у экономки его с собой не было.

– Ма… мадамы желают, чтоб вы сами за ним спустились.

– Да? Вот оно как?

Экономка, радуясь, что разделалась с поручением, собралась снова исчезнуть на нижний этаж, но пастору удалось задержать ее на пороге вопросом:

– Скажите мне, Халльдоура, знакома ли вам песня «Матушка в хлеву, в хлеву»?

На лице, растянувшемся между двумя высокими крупными скулами, словно белоснежный сугроб между двумя утесами, обозначилось небольшое замешательство. А потом последовал ответ:

– Да.

– Да? А где… Где же вы ее слышали?

– Я… однажды в лугах. А еще на вечеринах.

– Где?

– Ну, вообще… в бадстовах.

– Ага. А в какой части страны?

– У нас дома… и на Болотах, и в Дирафьорде, да. И еще однажды на корабле.

– Значит, вы ее хорошо знаете?

– Нет, я просто слышала, как ее поют, ну так…

– А вы помните, кто пел?

Да что же это за допрос такой? Было нетрудно заметить, что экономке очень неудобно стоять вот так и разговаривать с хозяином. Она старалась завершать каждый свой ответ так, словно он был окончательным, но пастору всегда удавалось подкидывать ей новый вопрос, который удерживал ее на пороге, как в плену.

– Это были батрачки дома и, насколько я помню, бродяги.

– И напев всегда был один и тот же? И слова?

– По-моему, да.

– А сами вы ее пели?

– Не-ет, – ответила экономка, полуусмехнувшись, и вдруг покраснела так густо, что белая краска на двери возле ее щеки сменила оттенок. – Разве что про себя.

После этого она быстро шмыгнула носом и увидела, что пастор замешкался, очевидно, захваченный своими мыслями, и улучила момент убежать с порога, не попрощавшись, и пастор услышал, как она быстро топочет вниз по лестнице. Он какое-то время не сводил глаз с

полуоткрытой двери: ничего себе, он искал рукавицы – а они были за поясом, кладезь исландской музыки все это время находился в Мадамином доме, внизу, на кухне, у кастрюль, и ведь пастор так часто слышал, как пышногрудая экономка напевала то одно, то другое, стоя над кашей или картошкой. Душа народа здесь витала везде, простонародье было глубоким океаном, бурлящим под ним, а он, одетый в костюм высшего сословия, вечно пялился на сушу вместо того, чтоб забросить свой крючок в пучину! Ведь она сама, «Матушка в хлеву», подавала ему кофе по утрам! Ему следовало бы не терять бдительности, держать ушки на макушке, больше слушать, открыть глаза, отринуть предрассудки и рассчитывать найти золото в каждом углу, и вдали, и вблизи.

Сегюльфьордский пастор развернулся на своем сиденье, убрал перо и непросохший листок с нотами, а потом встал и направился вниз по лестнице, держался почтенно, но внутри у него царила буря, смятение. И вот в это бурное море вплыл пароход в клубах белого пара и встретил там слово «письмо». И пока он спускался по ступенькам, словно сходя в теплый бассейн, от его ног вверх мало-помалу просачивалась догадка, что и ступеньки эти – исторические, как и нотная запись, и что сейчас он шагает в иную жизнь, и на нижнем этаже его поджидают новые времена.

Эти новые времена сидели рядышком в облике двух пасторских вдов почтенного возраста, Сигюрлёйг и Гвюдлёйг, в «хорошей» гостиной внизу, дневной гостиной, одна в качалке, другая в кресле, одна за вязанием, другая за вышиванием на круглых пяльцах, а между ними низенький столик, и на нем – толстый белый конверт. Они подняли глаза от своей работы, а их руки на мгновение остановились, когда пастор вошел к ним, и – разве их лица не приняли какое-то особенное выражение, в них был какой-то огонек, какое-то предвкушение – они что-то знали? А может, ничего и не знали, а может, знали всё, как и большинство старух, может, они так оживились, потому что им наконец привелось увидеть тот светлый миг, который в прошлом освещал их собственные письма мужьям, и сейчас старухи выступали в роли зрителей сцены из собственной биографии.

Преподобный Ауртни медленно приблизился к письму, словно человек, узнающий свою судьбу в храме времени под взорами двух жриц – Испытания и Боли. Наконец он склонил голову над конвертом,

надпись на котором была начертана с почтением и искренностью. Пастор увидел свое имя, выведенное рукой, которая будет принадлежать ему. Мадамы пересмеивались между собой.

Глава 18
Первый носок

Забой скота подошел к концу, настали месяцы вязания. Все бадстовы во фьорде превратились в автономные вязальные фабрики, где все руки по четырнадцать часов в день тикали спицами, пока на кровлях завывала зима. Лишь доярка и скотник бывали освобождены от этого рабства пальцев на время дойки и ухода за ягнятами, – а так все мужики, все бабы и все ребята были заняты только им. Особенно у мелких хозяйств доходы зиждились на изготовлении моряцких рукавиц и «продажных носков» – так назывались высокие – до бедра – белые чулки, любимые моряками; эти чулки приносили в лавку к торговцу: белоснежные, гладкие, словно шелковые ленты, после того как на них семь ночей спали хозяйские дочери. За вязаные вещи хуторяне могли брать в лавке все необходимое. Таков был товарообмен. Люди вязали с целью заработать на пропитание, чтоб снова быть в состоянии вязать. Колесо прогресса крутилось на месте и никого никуда не везло.

В Нижнем Обвале вязали, вообще говоря, весь год, но между временем забоя скота и Рождеством – больше всего. Тогда сам хозяин усаживался за вязание вместе с женщинами, хотя он не знал ничего скучнее, чем мастерить носки, и всегда бывал рад, если ему подворачивался заказ: гроб, корыто или рундук: тогда он мог удалиться в столярную мастерскую – так называлась студия этого художника.

Гест вошел на эту фабрику рукавиц с неохотой, было видно, что вязальщика из него никак не получится, в нем все еще крепко сидела французская шхуна, он всюду волочил за собой свой кошмар и становился все более и более немногословным. Радость, которую он ощутил, входя в серую калитку, через несколько дней испарилась, и ее место заняла горечь невзгод. Мальчик напоминал солдата, который вернулся с фронта домой, не потеряв ни руки, ни ноги, и сперва радуется миру, а потом его душа начинает ощущать все те удары, которых удалось избежать телу. Ему довелось пожить в том мире, какого никто в этом фьорде не знал и не мог понять, а значит, он никому не мог поведать, что выпало на его долю. А потом к пережитому добавились еще и всякие Хуторские хижины…

Он сидел на краешке кровати, напрягая глаза, и пытался заниматься этим прихотливым ремеслом, но никак не мог заставить свои пальцы слушаться, а они тем временем пытались выкрутиться с помощью собственного крошечного умишки. Его посадили рядом со Сньоулёйг, женщиной с телячьими зубами, и она совсем замучилась, уча его: «Так делай! Не-эт! Во так!» – и в итоге его пересадили к Грандвёр.

Но старуха была еще менее способной учительницей, она даже не была в состоянии на несколько секунд отложить свои спицы, чтоб показать ему движения. И все же сидеть рядом с ней было удивительно приятно. Эта круглая мягкобрюхая старушка была словно машина, производящая не только носки, шарфы, шапки и рукавицы, но также и уют. А еще от нее исходил такой удивительно приятный запах – который, впрочем, был причудливой смесью старой мочи, которой отбеливают шерсть, и свежего сена. И движения ее рук мало-помалу загипнотизировали его, и мало-помалу он начал понимать их, словно человек, который сам собой начинает понимать правила стихосложения, слушая римнопевца, и через день он начал вязать не хуже любой хуторской бабушки. Едва минула неделя, а мальчик уже связал свой первый «носок на продажу» всего за десять часов, несмотря на то, что малышка Хельга – восьмилетняя влюбленная – липла к нему и докучала бесконечными вопросами.

– А у тебя и мама, и папа умерли?

– Ну Хельга, ну родная, не доставай его!

– А почему тебя зовут Гест?

Но когда старуха увидела, что ее ученик связал носок, она наконец положила спицы себе на колени, промекала «боже» и «хосподи», а затем развернулась сидя и заползла на кровать (для такой старой женщины это была довольно странная поза), где долго шарила под матрасом в углу изголовья, и наконец извлекла оттуда крошечный обтруханный томик в переплете, который когда-то был кожаный, а теперь выглядел как створоженный.

– Воть, это тебе за твой первый носок. Это в свое время считалась весьма остудная поэзия.

На лице старухи отразилась какого-то рода любовь, когда она сверкнула своими морецветными глазами на густоволосую мальчишескую голову: казалось, тот факт, что они оба как-то связаны с

французами, растопил в ее душе давно не работавшую печь. Ее дочь и внучка с недоумением смотрели на свою мать и бабушку: с чего это она дает новому мальчишке подарки? Она же в жизни никому ничего не дарила, даже собственным внукам или правнукам. Последние тотчас примчались к ней по наклонному полу. – Можно посмотреть? – выпалила Хельга, а ее братишка Бальдюр повторил за ней, а с его красной губы свисала льдисто-голубая вожжа слюны.

Гест взял из ее рук книгу: она была маленького формата, и ее было удобно держать на ладони, даже если эта ладонь принадлежала двенадцатилетнему. На титульном листе он прочел: «*Холодномысские римы от Глота, составил Глот Холодсон Студёный, отпечатано в центральной Типографии за счет средств г-на Сиг. Крёйера, anno 1847*». Что же это за книга?

– Такие стихи только на Побережье сочиняют. Эту книжку мы нашли на скале, ее уже прибой успел почитать.

Спицы застыли в руках Лауси: значит, проклятая баба в его собственном доме скрывала от всех бесценные поэтические сокровища?!

Он в бессилии уставился на Грандвёр и Геста, а больше всего на томик в руках последнего. Холодномысские римы! Этот венец отечественной насмешнической поэзии! Совершенно чумовые североглухоманьские вирши! Начало бобыльской поэтической школы! Холодномысские римы Глота! О, черт раздери! Он однажды слышал, как их исполняли на вечеринке акулоловов на Затоне, а пел их знаменитый выходец с Побережья, Стирйоульв Стейнгримссон – и его пение было искусством высочайшей пробы. А вылилось это в самую мировецкую попойку, на которой ему доводилось бывать; вроде бы, туда и Эйлив приходил. Никогда они так не смеялись! Через несколько лет он узнал, что эти римы существуют в печатном виде, когда ему дали подержать в руках один экземпляр, принадлежащий пассажиру корабля, курсирующего вдоль побережья, с которым он разговорился в лавке Сугробнокосского торговца. Считалось, что по всей Исландии ходит всего 40 экземпляров. Глот Холодсон был настоящим исландским андеграундным поэтом: никто не знал, кто скрывается за этим именем, выдвигались различные версии. И эта книжка просто лежала на его собственном хуторе под матрасом! Лауси лишился дара речи.

Зверь чудесный без зубов
в челюсти стучится,
а еще в дыру с задов
бел-медведь ломится.

Ни один еще герой
так не развлекался.
По кишочкам потекло —
так мой стих зачался.

Это точно подходит для таких юных душ? Влажные, как море, мечты отшельника о содомском беломедвежьем совокуплении, в последней надежде на тело и тепло на четвертую подряд зиму, когда на море встали льды… Холодомысские римы – наверно, самые отмороженные стихи, которые вообще выходили из печати в этой стране! Но вовсе не это было причиной, по которой хозяйка велела Гесту не открывать книгу до Рождества.

– Не понимаю, с чего ты именно сейчас даришь ему эту ерунду. Пока мы все вяжем – никаких книжек! – отрезала Сайбьёрг, а ее муж все еще сидел, уставившись на тещу, и ругался, что она от старости совсем из ума выжила, и лелеял мысль по осени зарезать ее как овцу.

Гест положил книжку под подушку и начал ждать Рождества. Читать он научился в сухом деревянном раю у Коппа, но книжным червем не стал, читал только воскресные газеты да датскую грамматику. Он раскрыл томик наугад. Что она сказала: «студеные» стихи или «стыдные»?

Мерзнут мышцы в животе,
пальцы и ботинки.
Я в студеной скользоте
извергаю льдинки.

Глава 19
Грандвёр

Как уже было сказано, Грандвёр, мать Сайбьёрг и теща Сигюрлауса, была родом из мест На краю Крайних долин и жила там весь век до тех пор, пока этому житью не положила конец снежная лавина. Все, кто был так или иначе способен к суждению, считали условия в Крайних долинах самыми суровыми во всей стране. Несмотря на то что название было во множественном числе, речь шла о всего лишь одной долинке – впадине в горе между Хейдинсфьордом и Оудальсфьордом, но до берега эта впадина не доходила, а обрывалась на отвесном утесе над морем. Если Сегюльфьорд был шкафом, то Крайние долины – крошечной полкой, полностью открытой ледяному океану и его вечному полярному реву.

Если встать возле дома на тамошнем хуторе и крикнуть в сторону северного магнитного полюса, этот крик быстрее всего услышали бы у побережья Якутии. На излете гололедных зим никто не выходил из дому, не привязавшись веревкой; нужду справляли, свисая на канате с крутого уклона под самым хутором, подобно добытчикам птичьих яиц в горах, а дерьмо падало на край обрыва. Чистка скального уступа входила в круг весенних хозяйственных работ. Канат подлиннее свисал от входной двери до самого моря внизу и прозывался «тропинкой к дому».

Для жителей селений, расположенных дальше вглубь острова, хутор в таком месте был бельмом в глазу: их возмущало, что на таком краю света вообще кто-то жил, и власти много раз пытались выкурить людей оттуда посулами земли, разнообразными вызовами и оглашениями. Тогда в жизни страны самую главную роль играло сено с туна: у кого самый большой сенокос, тот и богач, – как будто все население там было какими-то травоядными веганами. И даже в Крайних долинах, где туна вообще не было, все-таки можно было сорвать пару травинок, чтоб обеспечить прокорм небольшой семье: этого хватало одной корове и паре-тройке баранешек.

Грандвёр во всех селениях была живой легендой, правда, большинство считали, что ее уже давным-давно нет в живых, потому что в молодости она прославилась на весь север Исландии геройским

подвигом, на который, казалось, не могла решиться ни одна женщина и который ни одна женщина не повторит.

В середине зимоосени ее муж и два брата отправились ловить треску в дивную погоду. Батрачек в Крайних долинах не было, а хозяйка оставалась дома одна с четырьмя детьми, из них одним новорожденным, и к тому же должна была вскоре родить пятого.

На краю Крайних долин огонь в очаге горел с самой эпохи первопоселенцев, вот уже более девяти сотен лет – все тот же огонь в том же очаге, и так же было на каждом хуторе по всей стране, ибо в ледяном краю огонь потребен весьма. В каждой долине пылали эти олимпийские огни исландского простонародья, и их никогда нельзя было гасить. По вечерам огонь «клали спать», а поутру снова «поднимали». Это было великое женское искусство, передававшееся из поколения в поколение и только живым примером, потому что ни одна из праматерей не могла объяснить словами, как укрывать на ночь огонь. Однако порой случалось, что огонь в очаге умирал, – и тогда дело принимало скверный оборот, ведь автоматические бензиновые зажигалки пока что томились в приемной у Истории, коротая время ожидания за старыми журналами про горючие материалы.

И вот в самый разгар хлопот о детях хозяйка разлила воду из кастрюли в очаг – и от этого огонь полностью погас. Положение было безнадежным, ведь лодка с утра ушла на лов. До Оудальсфьорда из Крайних долин дойти пешком было нельзя: там по всему побережью отвесные скалы обрывались прямо в море. А до ближайшего хутора в Хейдинсфьорде, Дома-в-Заливе, было восемь часов ходу по бездорожью, а пройти можно было только по приливной полосе, да и то в тихую погоду, потому что многие участки этого пути в часы прилива непроходимы. На улице бушевала полярная непогода: метель и буря. Грандвёр заприметила положение луны на небе и принялась высчитывать время: она родилась и выросла в этих краях и часто ходила до Дома-в-Заливе. Она переждала вечер и ночь в кромешной тьме без огня в лачуге на самом краю земли, а с утра снарядилась в путь-дорогу. Погода к тому времени стала чуть более сносной, хотя с северо-запада хлестала метель с градом. Она утеплилась со всех сторон и привязала к себе младшего ребенка, устроив его в объятьях на своем беременном животе: она была на шестом месяце, – а троих старших оставила дома, дав им строгий наказ.

И шагнула в белую мглу.

На улице было, можно сказать, светло. Во всяком случае, сквозь косую пургу можно было увидеть, где кончается земля и начинается море. Она ощупью спустилась со скалы (макушка ребенка глядела вверх) и направилась на запад, так что морской прибой был у нее по правую руку. Она срезала угол по склону в сторону моря, ведь скоро ей предстояло идти по приливной полосе. К тому времени метель как раз улеглась, но волнение на море, как ей показалось, стало сильнее. Накануне вечером в темноте юная Грандвёр рассчитала, что до Бедовых банок, главного препятствия на ее пути, она должна дойти до того, как море заприливится. Но из-за сильного волнения возле тех трех высоких узких скал было не сухо. Но отступать нельзя, ведь дома, в лачуге без огня, ждали трое детей. И она привязала ребенка к своей голове и шагнула в эту влажную кутерьму. Прибой бился ей в грудь, но камни на приливной полосе были достаточно ровными. И сейчас она полушла-полуплыла в такт волнам вдоль подводных скал, уже миновала две из них, ей осталась только одна – и тут прибой разъярился: море подняло женщину в воздух и сначала как будто намеревалось швырнуть о скалу, но вместо этого потащило прочь от земли вместе с двумя детьми – рожденным и нерожденным. Первый спал у нее на затылке так называемым исландским сном: так называют дрему, которая одолевает младенцев, пока их родители борются со смертельной опасностью, и считается лучшим на свете видом сна.

Тело человека на море легковесно, даже если эта единица насчитывает три души. И соленые объятья смерти утянули женщину, онемевшую от ледовитоокеанского холода, прочь от земли. Но она все же удержала обе головы над водой до следующего шквала. Он обрушился на нее и ребенка, а потом швырнул их к скале. Грандвёр была наполовину не в этом мире, наполовину во власти того ледяного соленого раствора, который способен отделить душу от тела ровно за три минуты, но все же подала признаки жизни, позагребав руками. Тело как будто услышало призыв смертебога из приливно-серой дали, вопрошавшего, хочет ли оно жить, и оно подало ответ непроизвольным воздеванием рук:

– ДА! ХОЧУ ЖИТЬ!

Женщину с двумя детьми по-прежнему выпердывало прочь из этого мира в ледяную мглу вечности, – но вдруг небо прояснилось, и

в ее сознании воскресла искра надежды, волна подкинула ее вверх, и ее голова показалась над поверхностью воды. Но надежды тотчас погасли, когда женщина заметила, что прибой хочет отправить ее прямиком на черный утес на чудовищной скорости, путь Грандвёр и ее детей уже был намечен, она была словно какой-нибудь кусок морской травы, который не решает сам, куда ему плыть, а несется вдаль, подчиняясь законам силы и тяжести, – а ее несло на стену, которая должна была поставить точку в ее судьбе. Единственное, что она могла, – заслониться левой рукой, а другой обнять ребенка – ой, а где же ребенок? В тот миг показалось, что он отвязался от ее головы, – но она, вроде бы, успела ухватиться за ткань, которой он был привязан. Едва ей в голову пришла эта мысль, она ощутила мощный толчок в бок, сбивший ее с намеченной колеи таким образом, что, когда волна прибоя разбилась об утесную крепость, беременную женщину нанесло на ее передний угол, так что в вытянутой руке кости затрещали. Затем с угла утеса ее выплеснуло в крошечную бухту за скалой, она почувствовала под ногами берег и тотчас ощутила, что ребенка при ней нет: та боковая волна вырвала его и унесла. Она кое-как доковыляла до защищенного от волнобоя места, несмотря на тяжесть трех вымокших юбок, извергла из легких воду и наполнила их воздухом. Затем, со сломанной рукой, побрела назад к морю искать ребенка, но поиски продолжались недолго: он подплыл к ее ногам по поверхности воды, словно сам Моисей в тростниках, с блаженной улыбкой – а что же его душа? Отлетела?

Не отлетела, а только озябла. И с тех пор так и оставалась холодной.

Малютка Сайбьёрг [72] со временем стала пригожей девочкой, а потом – красивой девушкой на выданье, но ее душа все же была студеной, как море, так что никто не хотел связывать себя браком с этой ледовитихой, и она целых семнадцать лет прокуковала в девках на полке Крайних долин, словно товар, который никто не хочет покупать, пока преподобный Гвюдйоун, пастор, царствовавший в то время в Сугробной косе, смекалистый устроитель отношений, не взял ее с собой при объезде хуторов и не свел со своим чудаковатым плотником Лауси, которого больше интересовали страницы, чем девицы, жилья собственного у него не было, а хутор Нижний Обвал как раз недавно освободился. Так и создалась семья – из-за идеи, возникшей в

преподобной голове. Той осенью пастор Гвюдйоун помер, а на его место пришел громила Йоун, великан, на каждых похоронах напивавшийся, пока алкоголь и неизвестная рука не собрались и вместе не столкнули его в открытую могилу, от чего возникло слово «сблаженился».

Беременная женщина, юная Грандвёр, с ребенком, животом и сломанной рукой пошла к Дому-в-Заливе, докуда было пять часов ходу, волновымокшая и вьюгопродутая. Это тотчас посчитали величайшим подвигом века, и тут и там начали писать статьи о героическом походе домохозяйки из Крайних долин, хотя нигде не печатали ее глянцевых фотографий или не брали у нее телеинтервью. Но все-таки ей пришло по почте одно письмо от поклонников – от дальней родственницы, проживавшей в Канаде, в штате Альберта.

На следующий день Грандвёр перевезли на лодке домой, с огнем в мешке и бараньей костью, примотанной к левой руке. Двое человек подняли ее по «тропинке к дому» на хутор-полку, где трое цветов жизни пребывали в земляночной темноте в целости и сохранности.

И все ее дети выжили, включая нерожденного, и со временем разъехались по всей стране, все, кроме Сайбьёрг, которая сидела смирно, покуда пастору не пришло в голову перевенчать ее ледовитую душу с Лауси. На следующую зиму весь крайнедолинский хутор – постройки, хозяина, работников и всю скотину – смело с утеса в море короткой лавиной, – всех, кроме Грандвёр, которая в это время справляла нужду.

Состарившись, женщина боялась не удержаться на туалетном канате, если на краю обрыва был скользкий лед. Вместо того она ходила к востоку от хутора под стену загона для овец, откуда до дома было неблизко. Утро было ясное. С наметенными ветром облаками, тянувшимися от Крайнедолинской вершины, словно козырек от кепки, и море со своими смертоносными волнами было почти красиво. Едва Грандвёр присела на корточки, как у горы начались родовые схватки, сопровождаемые снежным громом, и через миг все, что она имела, было уничтожено.

Осталась лишь она – женщина в глухой долине, одна, у открытого моря, и у нее не было ничего, кроме дневного света. Им-то она и воспользовалась, чтобы проделать тот же путь, каким она прошла тремя десятилетиями ранее с ребенком на закорках и другим в животе. А на

следующее лето она переехала в Сегюльфьорд, и дочь с мужем взяли ее жить к себе на хутор, который остряки прозвали «До следующего обвала».

С тех самых пор Грандвёр не произнесла почти ни слова, пока в доме не поселился офранцузившийся паренек, а дни напролет сидела у себя на кровати и сочиняла вязальные поэмы для нитки с клубком. Пышнотелая, тяжкогрудая, она сидела, словно широкобрюхий конус с седеющими волосами, забранными в крендель, и шевелила спицами, но раз в полмесяца делала паузу, клала спицы на колени и некоторое время сидела, уставившись в гущу собственного молчания. Ее морецветные глаза были вечно мокрыми от соленой воды, голубо-мокрыми от дневного света, смотреть в них было все равно что смотреть в нутро живого моря. Она выросла у светлых просторов ледяного океана, и поперек ее зрачков, если хорошенько присмотреться, можно было разглядеть туманную полоску: эта женщина так долго жила так близко к морю на самом севере, что морской горизонт оставил бледный отпечаток на ее глазах, пристав к ним, словно суп к стенке кастрюли, в которой он стоял слишком долго.

Глава 20
Стихомания

В первый снежный день зимы Лауси извлек из своей мастерской ту самую рыжую веревку и стал перед сном привязывать домочадцев. Гест с недоумением посмотрел на эти процедуры и наотрез отказался. Почему? Не хотел привязываться к этой семье? Или это казалось ему такой же нелепостью, как когда-то – его отцу? А ведь тогда он, Гест, требовал, чтоб отец принял веревку, как и все остальные: «Папкя, и ты пйивязись!» Но он, конечно же, уже позабыл это. – Зачем? – упрямился он.

– Здесь бывает по три лавины в год. Две уже прошли.

– Можно подумать, это от них защитит.

– Бывает, что человек их переживет, а через три дня умрет под завалом. А так его можно вытянуть за веревочку.

– А почему тогда ты тут живешь, раз тут постоянно лавины?

– Каждый должен жить там, где живет, мальчик мой.

– А почему?

– Так уж повелось, такая уж в нашей стране жизнь. Никто не может быть в другом месте, чем там, где он есть. Во фьорде есть место не более чем для двенадцати хуторов. Точнее, уже одиннадцати, Перстовой хижины-то больше нет. А в другие фьорды я не хочу. К тому же там все земли уже запроданы.

– А почему ты не переселишься на Косу? Как этот… Йоуханнакулятник?

Вышеупомянутый Йоуханн недавно поставил себе бескоровный хутор на краю Косы, как некоторые другие одиночки, и куковал там с тремя овцами и трехногой собакой, сам большую часть времени проводил на промысле, а задавать овцам сено предоставлял собаке. – Чтобы прокормить целую семью, нужна скотина и сено, сенокосы.

– На Косе тунов много.

– Да, но это все пасторские земли.

– Ты можешь прокормиться, плотничая, – после некоторого раздумья ответил Гест. По части экономики голова у парня хорошо работала. Перспектива жить на хуторе, вечно ждущем снежной лавины, была не особо привлекательной. Как только могли его женщины

примириться с таким существованием? А может, они никогда не задумывались об этом, уповая, как на спасение, на эту нелепую шершавую веревочку ржавого цвета?

– Да-а. Значит, вот как. Но чтоб мне прокормиться сколачиванием гробов, каждый должен умирать больше одного раза. Нет уж. Для исландца, не рукоположенного в пасторы, есть только три способа влачить существование. Или ты сам – хозяин хутора, или ходишь в батраках у хозяина, а значит, привязан к нему на суше и на море, или ты бродишь по земле как одичавшая овца и поешь солнечные песенки в честь самого себя.

Сейчас в темных глазах мальчика зажегся небольшой огонек, хотя его тон был по-прежнему сухим.

– Ты мог бы стать бродягой. И стихи по хуторам читать.

– При том, что на мне все эти женщины? Э-э… Но если уж ты заговорил о стихах… – сказал Лауси, понизив голос, и стрельнул глазами вглубь рыбьежирно-желтой бадстовы, туда, где стояла Грандвёр и снимала с себя юбки. – Могу я полистать томик, который тебе подарила старуха? А я за это не буду тебя заставлять на ночь привязываться.

Его голос дрожал от страсти: настолько велика была его стихомания. Гесту такой уговор понравился, и он достал томик в кожаном-створоженном переплете и протянул хозяину. Томик был величиной со смартфон. И вновь мальчик ощутил исходящую от него силу: он украдкой листал его накануне, хотя до Рождества было еще далеко. Хельга застукала его за этим занятием в гостевой и пригрозила обо всем рассказать, если он и ей не даст почитать. Так и вышло, что двое ребятишек – двенадцати и восьми лет, присосались к самым похабным стихам, какие вообще издавались в Исландии. «Тихо уд мой пожрала / скважина нерпячья…» – Они ни одной строфы не поняли, как ни бились, зато почувствовали, что это что-то неистовое, душецарапательное, умопотрясательное, они ощутили мощь самой поэзии. «И во влаге поплыла, / трепет свой не пряча». Гест сидел как завороженный и внимал девчушке, читавшей вслух. По окончании чтения оба некоторое время сидели, молчали вместе и смотрели друг другу в глаза, а томик в это время дрожал у нее в руках. Несмотря на свою мокрочреслую мерзость, эти стихи подарили им обоим сладостный миг. Да! Эта непонятная исландская глухоманьская библия

подарила мальчишке, поплававшему по половым волнам, искру веры: может, любовь, несмотря ни на что, тоже бывает прекрасна.

Так один маленький томик, выкопанный из-под матраса старухи, оказался способен взбаламутить жизнь целой семьи. Геста даже посещали сомнения: а не лучше ли отдать его Лауси: он видел маниакальный блеск в глазах хуторянина, когда тот украдкой спрятал книжку за пазуху, а затем продолжил привязывать свою семью перед сном.

В следующие дни мужика словно подменили. Он подолгу сидел один в мастерской и вел себя непривычно шумно, порой входил в бадстову, издавая стон, словно поглотил полкило серы, весь дрожал и трясся.

– Что на тебя нашло? У тебя корь? – спрашивала хозяйка.

– Нет. По-моему, у меня стихорь.

– Стихорь? А это что?

– Ай ну, это когда дух так расширяется, что тело начинает давать сбои.

– Дух?

– Да, это когда…

Но как же ему объяснить свою духовную жизнь жене, этой холодноморской душе, с которой он прожил четверть века? К счастью, из кухни ее позвала их дочь Сньоулька, и мать выскочила в коридор. – Не забывай: это Гестов том! – раздался голос Грандвёр.

Лауси долго стоял, уставившись на ее вязальные спицы. И наконец произнес:

– Ты в моем доме держишь у себя Холодномысские римы и ни с кем не делишься, причем десятилетиями!

– Это чтиво не для тех, кто в законном браке.

– Правда, что ли? Но ты даешь его неокрепшему юнцу?

– Ага. Для молодой крови это полезно, да и для старой тоже, а всем остальным – плоть.

Больше они об этом не говорили, но ночью Лауси, как и минувшими ночами, снял с себя антилавинную петлю и уселся в холодной мастерской с сальной свечой, горячей чашкой и студеными римами. Другой такой золотой жилы он на своем веку не встречал. Кто же был этот Глот Студеный? Кто-то утверждал, что молодой Грим Томсен[73], кто-то – что свихнувшийся от старости Свейнбьёртн

Эйильссон[74], а сам Лауси полагал, что неизвестный поэт из народа – «*один из нас*». Это было слишком кондовым, чтоб снизойти с вершин исландской высококультурности – и в то же время это было несравненным. Такие стихи, вероятно, слагают только в бреду, после четырнадцати недель на айсберге, когда мороз уже захватил власть над внешними отделами мозга, и лишь его сердцевина еще бурлит, словно влажно-мягкая мышца стеклянно-твердого моллюска, свободная, избавленная от докучных ежедневных хлопот.

Орел с медведем за него
дрались на снеге белом.
У поэта голова
разлучилась с телом.

И несет орел в когтях
голову в полет;
из-под крыльев ум в грустях,
приветы сердцу шлет.

Читатель Лауси трепетал на своем сиденье на гостевой кровати в мастерской. Каков финал гениального произведения! Орел и медведь (представители небес и земли! Ну или, может, Дьявол и Бог?) дрались за право обладания поэтом и в итоге разорвали его пополам, и птице досталась голова (тем самым его дух обрел крылья, да еще какие!), а наземному зверю – тело, и здесь сочинитель писал о собственной смерти, свидетелем которой был сам, и окликал ее с воздуха! Лауси прочитал заключительную строфу, и его сердце забилось сильнее:

Орлик голову забрал
прямо к небосводу.
С этих пор поэт сиял
прибрежному народу.

Он отложил книгу, подошел к тому, что можно было с натяжкой назвать окном в фасаде, выглянул и не удивился, увидев, что его хутор парит высоко в озаренном луной небе; а глубоко внизу едва виднелась

посверкивающая гладь моря перед гористым, изрезанным бухтами берегом.

Глава 21
Зимний гест

Так продолжалось до Рождественского поста[75]. Гест не хотел привязываться веревкой, и Лауси ночи напролет читал в мастерской. Он уже в третий раз перечитывал эти римы. И всегда читал в одиночестве: среди раскачивающихся туда-сюда людей, занятых вязанием, он читать не мог. Тем более что Холодномысские римы были отнюдь не для семейного чтения. Хозяйка Сайбьёрг каждое утро первым делом начинала бухтеть про светильное масло, про небережливость и вообще безответственность своего мужа, который вечно являлся в бадстову в третьем часу ночи, умалишенный и растелешенный, оцепенелый от гениальных стихов, изможденный от вожделения и любви к миру. В ее словах слышался тот же тон, что в упреках жены мужу, который каждый вечер пропивает свой рассудок: «Отсидев четырнадцать часов за вязанием, так долго не ложиться спать нельзя! Ты себе своим чтением глаза посадишь!»

А пока Лауси с покрасневшими глазами втягивал в себя это пьянящее вдохновение, Гест лежал без сна в кровати, которую делил с четырехлетним Бальдюром[76], цепенея из-за наполовину канувших во мрак цепочек, которые выстроил его разум. Дважды за это лето он засыпал связанным на лавке в каюте после подводного неистовства, какого ни один человек в мире не заслуживал. Которого никто пока не заслужил. Ему удалось оттолкнуть это воспоминание, удержать его под волнами, где ему и было место (хотя такой погани места нигде не было), и стоило Лауси достать рыжую антилавинную веревку, как оно снова вырывалось на поверхность, брало верх. Грубые путы вокруг запястий и лодыжек. Всем дальнейшим связываниям и привязываниям его тело сопротивлялось. И сейчас Гест не мог вспомнить из своего пребывания в Хуторской хижине ни одного утречка, оно все вдруг оказалось покрыто тем же очажным мраком, как тот, в котором он прятался.

Мальчик переживал нервное потрясение.

Отчего его жизнь была такой неровной? Если верить Лауси, он родился в этом фьорде, но время, проведенное здесь с отцом, Эйливом, для мальчика не существовало, подобно времени, проведенному в чреве

матери. Он впервые помнил себя на дощатом полу в доме Коппа, перед дырявыми шерстяными чулками экономки Маллы-мамы – это был его мир, его семья, она была его матерью, ее серым рваным обуткам он был более родной, чем кому бы то ни было на этом треклятом хуторе в этом пропащем фьорде, где одни лишь пасторы да покойники могли позволить себе пройтись по хорошим доскам.

И снова, и снова вспоминал он папу Коппа, или Купакапу, как он привык называть торговца. Он не мог ни понять, ни простить того, что этот большой человек вдруг услал его от себя, хотя в час расставания этот опрятный толстяк едва не проплакал себе всю бороду. Почему Купакапа отрекся от него? Гест никак не мог найти ответа на этот вопрос, потому что в глубине души знал, что торговец любит его больше, чем жену – костлявое привидение с верхнего этажа. Но после того, как однажды она сбежала вниз и попыталась облить приемного сына, Геста, кипятком из кастрюли для требухи, все изменилось. Что он сделал ей? За что она его так ненавидела? Она на самом деле считала, что Малла-мама – его мать? Лишь однажды фру Ундина обратилась к нему: когда схватила его на лестнице и уставилась ему прямо в глаза, бормоча что-то неразборчивое, а потом громко и четко произнесла: «Как ты смеешь докучать мне своим существованием?!» – а затем отпустила его и взмыла вверх по лестнице, и после этого из ее глаз покатились слезы.

А через десять дней после эпизода с кастрюлей для требухи он уже взошел на борт акулопромышленного корабля, державшего курс в Сегюльфьорд, где его ждал на взморье старый костлявик, у которого волосы постоянно вращались вокруг головы, а глаза вечно подмигивали этим чертовым подмигиванием, которое должно было сообщить ему, что они – друзья, приятели, может, даже отец и сын. А затем посыпались истории, столь же многочисленные, как табачинки из бараньей табакерки, с которой он не расставался.

«Эх, парень, как ты на купеческих харчах-то отъелся. Да уж, видел бы тебя твой отец – какой у него красавец получился. А этот человек по части выносливости в наших краях всех за пояс заткнул, однажды даже свою собаку, Пузырку-то, она устала идти и домой повернула, а он пошел дальше. Это был такой человек – по метели мог пройти как Христос по воде! Но добро пожаловать, дружище, я рад, что ты будешь

жить у нас на хуторе, такой светлоголовик, а то у меня тут на всех кроватях одни пустые бочки. Пустые и рыгучие, на том стою».

Так сказал этот долговязый мужик, а затем протянул ему свою мошонку. Так в те времена здоровались исландцы: не руку подавали, а мошну.

В годы, проведенные дома в Фагюрэйри, Гест видел мужиков-земляночников, которые нюхали табак, день-деньской околачиваясь в лавке в надежде, что им поднесут рюмашку, – и вежливо отказался. Стало быть, сейчас он повстречался с одним из таких горемык, который, к тому же, имел глупость предложить табака ему, ребенку. Он не понял почти ни слова из того, что сказал этот сутулый хуторянин: что-то насчет того, что у него на хуторе много бочек и что они на всех кроватях… а еще он назвал его «светлоголовиком». Что это означало? Гест пошел за мужиком вверх по склону горы (а в горле у него застыл комок), а затем вошел в дом, еле сдерживая тошноту: запах там был невыносим. (Это было весной, когда Гест впервые прибыл в Нижний Обвал: то есть после Коппа и до французского судна.)«Прощайте, дощатые полы и письменные столы, столовое серебро и банты!» – надрывалась в плаче его душа.

Гест пытался сбежать, но потом ему пришлось бежать уже из этого побега. И вот сейчас он лежит здесь, на матрасе, набитом сеном, и он чуть-чуть примирился со своей судьбой, но на душе у него стало еще мрачнее.

Ноябрьская луна посылала свой луч сквозь окошко в крыше, он косо падал на столбик кровати, от этого белевший, словно тесовая колонна, на которую плеснули жидкого серебра, и от него брызги дивного лунного света проискривались над постелью мальчиков: щекастый коротконосый Бальдюр лучился перед глазами Геста, лежа у стенки на одеяле под жестким от грязи пледом, и крепко спал блаженным сном, нежно посапывая, глубоко погрузившись в жизнь, которая ужасна настолько, что на осознание одного этого факта уходит полвека. Из мастерской доносился спотыкающийся смешок Лауси – тихое ржание души, приглушенное земляными стенами коридора, – как могла такая крошечная книжка дать такую огромную радость? В кровати в глубине комнаты ворочалась женщина, а по ту сторону прохода спала Хельга – девочка, которая ночью угостила его подовым хлебом, а потом так красиво читала ему Холодномысские римы. Да, это

все были неплохие люди, и старуха – лучше всех. И все же в этот прекрасно-лунный миг в бадстове хутора Следующий Обвал мальчик по-прежнему был тверд в своем решении не связывать себя семейными узами с этими людьми. Здесь он – всего лишь зимний гость. По весне он отправится домой. Он был и всегда будет Коппом.

Глава 22
Ягнята и айсберги

Пока дети из более хороших семей в этой стране сидели за партами, Гест по-прежнему сидел на кровати и вязал носки на продажу. И постепенно он отдалился от того, что мучало его, словно эта бадстова была лодкой, а спицы – веслами.

Повседневность – лучшее лекарство; дни один за другим маршировали вверх по заснеженному склону, словно малорослые, но крепкие солдаты. С винтовкой наперевес и голодным блеском в глазах они набрасывались на черную думу, простершуюся над нашим героем, и отъедали от нее по кусочку, и со временем запас черноты стал иссякать, а сами дни со временем вытянулись – солдаты стали выше ростом и каждый раз отъедали от черной буханки все более крупные куски.

Так прошла зима с варежками, морозами и апрельскими селями.

Правда, в середине мая произошло такое событие: в середине месяца го́уа[77] батрак с Сугробной речки увидел, как мимо проплывает двадцатый век: при мелкой мороси, на расстоянии доброй морской мили от безмаячного Сегюльнеса. Многие надеялись, что он по пути на запад страны причалит здесь, но этого не произошло, очевидно, из-за того, что в начале года его задержали в пути здешние льды на море.

Зато весна пришла в обычное время и выгрузила на берег шестьдесят пар плавунчиков, двести ржанок, тысячу крачек[78], а также без счета травяной зелени и белых ночей для всеобщего пользования.

Четырнадцать Лаусиных овчушек были выпущены из своей темницы; на ярком весеннем солнце они производили немного комичное впечатление: такие отощавшие – а животы при этом набитые, – а вот корову Хюппу не выпустили даже условно, и она продолжила отбывать свое пожизненное заключение в хлеву, который лепился к дому и склону горы, словно поросшая травой навозная куча.

Гест принял участие в своем первом окоте (в первую весну он почти не выглядывал за пределы коридора в доме), и его разум возрадовался, когда он увидел, что поголовье скота выросло с пятнадцати до тридцати семи за полмесяца, и это даже при том, что одна овца и два ягненка выбыли. Как приятно дивиться чуду жизни! А

за овчарней его ждала девица Хельга, которой недавно исполнилось девять лет, и держала букет цветов, собранный для него одного. Становилось все понятнее, что эта симпатичная девчушка, глазастая, мокрогубая, это предвестие женской красоты, решила, что ладная грудь густоволосого прямоволосого паренька станет тем воздушным кораблем, который понесет ее навстречу лучшей жизни. Эти цветы, растущие здесь среди сора, сами собой собрались и вручились ему.

Кто откажется от букета цветов?

– Спасибо, – сказал он, хотел сказать еще что-то, но не знал, что именно, а она к тому времени уже убежала в дом, чирикающая темноволосая голубка.

За букетом последовал ягненок: вскоре Гест стал и помолвленным, и владельцем ягненка. Лауси подарил ему красивую новорожденную овечку, после того как они целую ночь просидели без сна у овчарни – ведь во время окота надо сутками дежурить, потому что свежую добычу подстерегают ворон и лисица. Последняя занималась даже родовспоможением: утаскивала свою жертву прямо из места ее возникновения в чистилище – этот способ назывался «из живота в живот». Да, отец тьмы превращался даже в «хвостатую повитуху», как было сказано у поэта Глота Студеного.

Гест, которому 13 апреля исполнилось тринадцать лет, был весь захвачен этим жизнеподанием, и хозяин хутора впервые услышал в голосе этого своего юного помощника искренний интерес: «По-моему, Гевьюн к вечеру окотится! У нее двойня будет?» А когда мальчику подарили ягненка, он едва не упал в обморок от счастья. Он, у которого ничего и никого не было: ни отца, ни матери, ни жизни, ничего! И тут у него появилось что-то живое! Весь тот день и следующие дни он, словно страж, охранял свою овечку и ее мать, а потом во всеуслышанье объявил, что назовет ее Айсина. Это диковинное имя было составлено из слов «осина обручий» – кеннинга[79] женщины, которому его недавно научил Лауси, и слова «айсберг»: в то утро, когда белая овечка наконец вошла в этот мир, в устье фьорда появился белый, как шерсть, огромный айсберг. Это тоже не вполне соответствовало правилам хозяина Обвала: Лауси всем своим овцам давал имена в честь древних языческих богинь.

В начале мая горизонт у моря стал непривычно белым, к ужасу хуторян и моряков, и потом ледяная кайма начала медленно

приближаться, словно плесень, затягивающая этот кусок бытия. К середине месяца она, ко всеобщему облегчению, отступила, но при этом послала земле несколько белых приветствий: во фьорд приплыли три айсберга. Самый крупный из них сел на мель посреди фьорда к северу от Сугробной косы и торчал там все лето. Его вершина была больше нового склада, который построило на своем участке этой весной товарищество «Крона». По вечерам трое пророков выходили погулять на взморье в своих кальсонах до щиколотки, стояли, уставившись на белую громаду, и вычитывали из морской голубизны ее склонов три разных сообщения.

Йоунас: «В новом веке льдов не будет».

Йеремиас: «В новом веке будет оледенение».

Сакариас: «Не, гля-ка, этот айсберг нам ничего не скажет, ведь это кусок льда времен Великого оледенения, который откололся от самой старой части Гренландского ледника, и он для пророчеств не годится…»

Пророк номер три стал читать такую лекцию, стоя у выхода из бадстовы Старого хутора навытяжку, словно депутат на трибуне, пока парламент готовился ко сну. Двое пасторских батраков, ложась в постель, что-то бормотали друг другу о понятии «психиатрическая больница», которое один из них вычитал в столичных газетах. – Не годится, говорю, для пророчеств. Ведь, как известно, ледники теряют рассудок по истечении десяти тысяч лет…

– А люди по истечении восьмидесяти лет! – крикнул на пророка один из батраков, и наградой за это ему стал рокот смеха по всей вытянутой спальной землянке.

Кроме Айсины Гест привязался к овце по имени Фрейя – фрёкен с четырьмя красивыми рогами[80], но чудовищно тощей. Фрейя родила мертвого ягненка, которого Гест, освежевав, вынес на каменистый склон, подобно древнему хуторянину, который приносит своего сына в жертву лисьему богу, потому что мясо мертворожденного никто в рот не брал. Чтобы Фрейя не перестала давать молоко, от Гевьюн, окотившейся двумя, взяли одного ягненка и приучили сосать Фрейю. Это был черно-пятнистый барашек, на которого надели белую шкуру мертвого ягненка, и насмешливый хуторянин-стихоплет поэтому быстро прозвал его Волком. Также у мертвого ягненка – прежде чем Гест отнес его на камни, – вынули сердце и провели им по голове

Волка, словно мыльной губкой, чтоб овца Фрейя почуяла запах своего сердца.

Гест стоял в отдалении и следил за этими процедурами. Отец и дочь – Лауси и Сньоулька – без трепета приступили к делу, словно самые сноровистые в мире акушер и неонатолог, и последняя гримасничала, так что ее телячьи зубы посверкивали. Гены мальчика, залегавшие глубже всего, не избежали догадки, что такая же процедура не помешала бы и ему самому, чтоб Ундина, супруга торговца, взяла его под свое материнское крыло ровно за две минуты – как овца Фрейя черного Волка в белой шкуре. Вначале она морщилась при виде этой черной головы с чем-то красным, но узнав запах, сама подставила вымя.

Кровь – это кровь.

Но эти мысли генов так и не проникли в мозг мальчика, туда могло проникнуть только одно.

Копп – это Копп.

По окончании окота скотину отвели в загон. Ночью овец держали в ограде, а ягнят в специально отгороженном углу, чтоб обозначить, что их ожидает разлука. Постепенно маток начали доить, так что для ягнят в вымени оставалось мало, и вот настал тот день, когда ягнят выпустили из ограды – а загон опустел: их матери исчезли! Тут началось громкое блеянье-рыдание, и тогда женщины и дети на стене загона заплакали из чувства солидарности с четвероногими малышами. Овец отогнали подальше вдоль фьорда, к самым Мертвяцким обвалам (там среди валунов и сугробов была кое-какая чахлая травка для выпаса), чтоб они не слышали жалобного блеяния. За овцами шли Гест и Юнона: ведь сейчас наш герой так высоко забрался и по горному склону, и по жизни, что мог с полным правом титуловать себя пастухом.

А ягнят погнали в другую сторону, к самому фьорду, а оттуда вверх по склону в загородку, где им было предоставлено жиреть до самой осени, чтоб на Рождество у людей был бараний жир.

Глава 23
Подруги с западных фьордов

Эта первая весна в новом веке мало отличалась от тех жалких веснешек, которые раньше видели эти края. Кроме относительной бесснежности и покрытых слизью ягнячьих голов, высовывающихся из тощих овец, здесь не было никаких земных признаков того, что обычно связывают с понятием «весна».

Трава была еще жухлой, кочки поморожены, а сугробы доходили до середины горных склонов. Деревьев в этом фьорде до сих пор не росло, но тринадцать ярко-желтых нарциссов, как обычно, вылезли из земли возле Мадамина дома, словно мимолетная радость из светобрызгалки творца, и сейчас, как и раньше, парни-земляночники быстро растащили их себе на украшение или чтоб поднести девушкам за поцелуй и все сопутствующее.

Единственные настоящие приметы весны были в небесах. В середине мая прилетели крачки – с юга через весь земной шар, недовольно голося по поводу такой мороки – менять один полюс на другой, – а все ночи стали светлыми, будто день. Свет стекал с горных склонов, истребляя каждую тень, и даже в самых темных земляночных кухнях у котлов появлялся легкий ореол блаженства. По этим причинам североисландская весна выглядела еще более скудно: здесь безвёсное состояние еще больше бросалось в глаза при круглосуточном ярком освещении. Эта весна всего лишь подчеркивала тот факт, что здесь никакой весны ни черта нет.

Вот на эту ярко освещенную сцену тихонько вплыл курсирующий вдоль побережья пароход, который на тот раз назывался «Моуна», со своей паровой медлительностью. Косой стальной борт влился во фьорд вдоль приморских скал. А среди его пассажиров были две юные дамы – две подруги с Западных фьордов, две прямые как стрела богини из мира деревянных домов – Сусанна и Вигдис.

Вигдис Торгильсен, дочь торговца из Бильдюдаля, была двадцати семи лет от роду, в юбке до самых башмаков и черном пальто с еще более черным меховым воротником – пальто, таком же утонченном, как ее воспитание и характер. Ее точеное лицо ослепляло искусно прочерченными ясными линиями, она была, как говорилось, «обликом

чиста и пригожа». Ее глаза сидели глубоко под выступающим лбом, от которого вниз по прямой опускался нос, словно наносник шлема, так что ее профиль давал понятие о решительности, твердости, выдержанности. Но пухлые губы придавали этой суровости мягкость и ласковость. Волосы у нее были черные, малообильные, как часто бывает в краю малой растительности и долгой темноты, а кожа белая, чистая. Под глубокозадумчивыми глазами девушки располагалось несколько весьма бледных веснушек, больше всего напоминавших бледные крупицы золота, так как их цвет, судя по всему, менялся в зависимости от освещения. Ее тело было неведомым миром, скрытым под пальто. Она была среднего роста и средней худощавости, но если мужчины не были сражены красотой и обликом этой юной дамы, они сразу падали, стоило ей открыть рот – что она и сделала сейчас, стоя у темносверкающего релинга и глядя на берега фьорда:

– Да, а вот и церковь!

Как описать голос словами? Он был – как чистейший тон кларнета в миноре и заворачивал каждое слово в шелк с заботливостью и тщанием, а потом обвязывал бантом. Поскольку голос был таким изысканным, то все, что вылетало изо рта этой юной дамы, становилось важным – даже простые фразы, как эта. Фраза была адресована ее подруге и спутнице, полудатчанке Сусанне, состоявшей в свите Торгильсенов вот уже больше десятка лет, которую торговец сейчас отправил со своей дочерью, словно какое-нибудь приданое. Они вместе стояли у борта, и, честно признаться, эта студеная челюсть земли им вовсе не понравилась. Поселка здесь не было, и вообще почти ничего не было, только айсберг посреди фьорда, огромный, как гора! Эта громадина была даже выше церковной колокольни и настолько затеняла дом Божий, что подруги, наверно, решили, будто попали не в тот фьорд. Но потом она высветилась из-за айсберга, когда корабль приблизился к Косе: покрашенная в черный цвет, с белыми наличниками, как две капли воды похожая на церковь в их родном краю.

– Ага. Значит, тут есть пастор, – усмехнулась Сусанна. Она была на целый год младше и на целый лоб выше Вигдис, длинношеяя, длинноногая, длиннорукая, с длинными светлыми локонами, глубокими датскими ямочками на щеках – красота другого рода.

– Сегюльфьорд, поведай мне, где лучше жить у нас в стране? – в тон ей весело продекламировала Вигдис.

– В любом месте, кроме этого! Почему он не мог быть пастором в Рейкьявике? Мне так хочется вернуться в Рейкьявик. Ну или в Фагюрэйри!

– Надо же им всем с чего-то начинать.

– Тогда дай-то бог. Если он и впрямь такой веселый, как ты говоришь.

– А разве на свадьбе он не показался тебе веселым?

– Тогда он был таким серьезным.

– Да. Но ведь он был болен.

– У него музыка очень красивая.

– Это не его музыка, а народная, он ее…

– Да, да, конечно, я знаю, просто так выразилась. Я забыла тебе сказать, но Магга говорила, что старая Свейнсина приходила и целое утро ждала в прихожей, чтобы спеть ему, после того как он проснулся, это было, по-моему, в день после свадьбы. А потом услышала вас, вся задрожала и ушла до того, как вы спустились.

– Правда? Свейнсина?

– Ну, это бабушка Сигрун.

– Да, Свейнсина из Горной хижины. Да, она точно знает много народных песен, надо бы мне рассказать ему о ней. Подумать только: у нас есть все эти песни, вся эта великая культура, и никто не додумался ее спасать, кроме него!

Вигдис отвернулась от подруги и наполнила взор горами, крутыми склонами, пятнистыми от сугробов, и зажмурила глаза. Последнее слово она произнесла со всей весомостью любви.

– Ах, Диса, тебе так повезло! А мне всегда достаются какие-то рыцари удачи.

– Мы подыщем тебе здесь какого-нибудь мужа, какого-нибудь…

– Какого-нибудь сегюльфьордыша? Фи!

– Правильно говорить: сегюльфьордца.

– О-о.

– Да, какого-нибудь старого табачника или бедного земляночника, у которого борода вымыта мочой!

– Да уж, конечно!

– Ой, смотри – дом!

Корабль заходил вглубь взволнованного фьорда, и сейчас Мадамин дом выплыл из-за церкви, как сама церковь раньше – из-за айсберга, он

скользил в сторону конца Косы, выкрашенный желтой краской, словно красивобортное лоцманское судно.

– Я-то думала, тут будет поселок или городок, как у нас в Бильдюдале. А тут всего два, нет, три дома! – почти закричала Сусанна, рассмеивая по ветру свое разочарование.

– Четыре, пять. Смотри!

– Здесь наверняка делать нечего, разве что крючком вязать.

– Почему же? Ну, например, наверняка очень весело смотреть, как будет таять этот айсберг.

Они вновь рассмеялись вместе, а потом Вигдис оперлась обеими руками на релинг, выпятив живот, ощутила в области пупа чернолакированное дерево и зажмурила глаза, вдохнула майски-холодный утренний воздух и подумала о том человеке, и том доме, и детях, которыми они непременно обзаведутся. Ей было двадцать семь. Она была в самом расцвете женской красоты, когда жизнь прошлась по чертам лица дважды, и то, чему надлежит проявиться, уже проявлено так хорошо, что лучше некуда. Затем она вновь открыла глаза и увидела лишь сугробы, бесконечные сугробы на этих крутых горах – горах, которые были еще выше, чем до́ма, больше изрезаны ущельями и разнообразнее, островершиннее. У гор в самой глубине фьорда верхняя половина была совсем белой, лишь пояса утесов кое-где образовывали в этой белизне черные «сугробы». Подруги явно заплыли на самый север.

Сусанна перешла через палубу к левому борту, а Вигдис – за ней. – Ух ты – пастух!

– Где? Ага!

И бодрячка-полудатчанка помахала светловолосому мальчику, который вместе с бурой собакой гнал перед собой тринадцать хиловатых овчушек вдоль каменистого склона в сторону, противоположную той, куда плыл корабль «Моуна». Он остановился, пока они проплывали мимо, но не помахал им в ответ, лишь удивился и совсем не понял таких проявлений дружелюбия на море.

А потом подруги увидели загон для овец, откуда доярка с двумя тяжелыми ведрами ковыляла к своему дому.

– Видишь, там на склоне хутор?

– Да.

– Это прямо как у нас, в Малом-Длинноречном, где от дома отвалился фасад.

– Да, верно, – ответила Вигдис и улыбнулась, словно двадцатый век – девятнадцатому: торжествующий победу и радующийся, что оставил его позади.

Глава 24
«Это же Вигдис!»

Пастор Ауртни и сам недоумевал, как ему удалось отхватить себе такую невесту. Ему, выползшему на свет в лачуге на южном побережье Исландии, такой убогой, что в своем сознании он уже давно сровнял ее с землей, – досталась настоящая дочь хёвдинга. И это удалось ему благодаря силе его очарования, красоте почерка, рекомендациям фогта, умению играть на фортепиано и, наконец, пасторской рясе и доходу с прихода. Хотя Исландия и не была страной больших возможностей, нескольким молодым мужчинам из каждого поколения все же удавалось таким образом подняться из земляночного мира в мир деревянных домов, если они были достаточно симпатичны и умны. Но то, что ему все эти годы удавалось удерживать ее в состоянии затянутой, тайной и нервонапрягающей обрученности, несмотря на его пьяные падения то там, то тут, – было гораздо более удивительно.

Они познакомились в столице, когда бильдюдальский ярл Торгильсен в одну зиму жил там с семьей по причине торговых дел. Взгляд Вигдис – обжигающе-горячий под холодным лбом – оказался выжжен в душе Ауртни, как только она пришла к нему на первый урок пения и пробудила его к новой жизни. Музыка свела их вместе, и лишь миллиметры отделяли их губы друг от друга.

Оба знали, что для того, чтоб влюбленным быть вместе, Ауртни сначала необходимо выучиться на пастора, ведь торговец ни за что не отдаст свою дочь за человека без гроша в кармане, если он только не будет рукоположен. Так что осенью Ауртни начал подготовку к законному браку в Пасторской школе. Ради этой сладкоголосой девушки он был готов на что угодно – даже на то, чтоб прослушать курс богословия.

Судя по всему, Вигдис ничего не узнала о его порочной ночи в Кеплавике. Об этом свидетельствовало ее письмо – письмо, которое наконец дошло, которое ни в чем не сомневалось, но удивлялось и вопрошало: неужели он перестал писать ей, неужели у его обручения обруч лопнул? Его прошлогоднее осеннее письмо затерялось на почте из-за чьей-то банальной косорукости, может быть, вывалилось из мешка, или его сдуло ветром за борт, как знать. Но это легкое как

перышко мгновение-дуновение превратилось в девять тяжелых как свинец месяцев в жизни обоих. Тревога, неизвестность, печаль. Черная хандра, тяжкий удар.

И какая радость, какое облегчение, какая любовь, – когда выяснилась правда!

К тому же в своем ответном письме он послал ей нотную запись «Матушки в хлеву», и Вигдис так воодушевилась, что ее сердце тотчас ринулось вниз по лестнице в контору отца – требовать свадьбы. Немедленно. Как можно скорее. Этой же зимой. Долго они ждали – и вот наконец у него появился и приход, и напев. На следующей неделе она пела эту народную песенку домашним, опьяненная любовью, вместе с двумя другими «свежими народными песнями», которые преподобный Ауртни откопал у старой бабы с Сугробной речки. Вигдис эти открытия жениха воодушевили даже больше, чем его самого. И никто во всей Исландии не понимал лучше нее, насколько бесценны эти песенные сокровища. Сама она пела с отточенной естественностью, ее голос был красив, но никак не решался переступить классического порога, не доходил до полной оперной мощи, хотя образованный слушатель, сидящий в кресле будущих эпох, все время на это надеялся. Как певица Вигдис Торгильсен всегда стояла перед первой ступенью вокальной школы. Но она так и не шагнула на нее, поскольку тогда в Исландии подобной школы не было.

Затем пастор Ауртни отправился на корабле на запад, за Рог, как только у него наметилось «окошко» в праздничных богослужениях, и в конце рождественских праздников, шестого января, женился под бдительным взором артнарфьордской орлицы – матери невесты (фру Артнфрид[81] Торгильсен), а хлопоты по устройству свадьбы на себя взял сам годи[82] Западных фьордов, ее супруг, господин Биргир Нивальд Торгильсен.

Пиршество было с размахом, как заведено у крупных торговцев, и преподобный Ауртни очень расстроился, что прибыл на него в таком виде. Поездки по морю в январе не славятся тихой погодой, да и пастор-музыкант отнюдь не был морским волком. Чтобы облегчить себе плавание, Ауртни раздобыл бутылку норвежского аквавита у норвежца Эгертбрандсена: на море он трезвым никогда не отправлялся. И чем сильнее становился шторм и выше волны близ побережья Хортнстрандир, тем крепче он пил, и стал пьянее самого Эгира[83],

когда они добрались до мыса Стрёймнес – этого великого западнофьордского водокрута. В итоге он начал блевать – неясно, то ли с перепою, то ли из-за морской болезни, и когда в очередной раз спускался в каюту, корабль так резко наклонился носом на волне, что пастор отлетел с трапа прямо в стену, ударился головой и потерял сознание.

Очнулся он лишь в порту в Исафьорде, где корабль задержался дольше запланированного по причине большого бурана. Так что ему ничего не оставалось, как пить дальше, один из пассажиров раздобыл на берегу три отличные бутылки, и несмотря на то, что пастору на следующий день предстояло жениться, ему лишь в два первых захода удалось удержаться от соблазна пропустить рюмашку.

Так что в церковь жених явился бледным, молчаливым, плохо стоящим на ногах, поздоровался с пастором, не видя его и чувствуя, что этот корабль сильно качает; он увидел, как его невеста подходит к нему вместе со своим отцом – малорослым, лысым, конусообразным, и при этом одетым во фрак, по полу, который поднимается и опускается у него перед глазами. На его влажный от пота палец скользнуло кольцо, а другое он едва смог надеть на ее средний палец: так у него тряслись руки. Долгожданный поцелуй, скрепляющий союз, имел солоноватый привкус, потому что его усы вобрали в себя пот, катившийся со лба и стекавший вниз по носу. Во время застолья он дважды выходил поблевать, а потом позорным образом опьянел, осушив всего пять рюмок бреннивина: по одной в конце каждой из речей.

Когда он выходил блевать во второй раз, то, возвращаясь обратно, встретил своего коллегу-пастора в январском мраке перед постройкой, в которой проходило застолье, и тут он его наконец разглядел – человека, который обвенчал его: этот чернобровый мужчина одарил его таким строгим взглядом, что с него почти слетел хмель. Бильдюдальский пастор, преподобный Стефаун Стефаунссон, был чуть постарше преподобного Ауртни, красивобородый человек, судя по всему, не привыкший давать волю гневу, – но сейчас он произнес, стараясь как можно меньше шевелить губами:

– Вам придется держать себя в строгости. Это же Вигдис!

Тон у пастора был таким суровым, взгляд таким тяжелым и ослепительно-трезвым, что второй пастор – жених – даже в пьяном угаре не мог не уловить ненависти, стоящей за ними. Стало ясно: тот,

кто обвенчал их, сделал это не с радостью, он скрепил их любовь своей собственной – неистовой – любовью.

«Это же Вигдис!»

Пастор Ауртни не забыл этих слов. И ему стало так тоскливо, что, вернувшись за стол, он немедленно опрокинул в себя две рюмки шнапса и закончил собственную свадьбу на бровях. Что спасло этот важнейший день в его жизни – так это смех невесты, она почти весь вечер просмеялась, хотя ее женишок сидел рядом полусонный и благоухающий блевотиной. Она была настолько уверена в своем намерении, что ее ничто не заставило бы усомниться. Это был ее вечер, ее муж, ее жизнь, которая только начиналась, и не важно, каким он был сегодня – главное, каким он был бы в дальнейшем. Лишь на единственный миг она резко замолкла посреди раската смеха – когда ее глаза встретили тяжелый взгляд преподобного Стефауна: она сидела на почетном месте подле своего отключившегося супруга, а пастор стоял среди зала, собираясь выйти вон и идти домой. Это было все равно что заглянуть на миг в ад маленького городка, где место есть всего лишь для одной любви, для одного пастора.

Наверно, это чересчур для одного человека, думала невеста, – в день свадьбы впервые встретиться со всем, чем она жила; наверно, преподобный Стефаун выбил пастора из колеи, – а ведь он обещал сдерживаться и до кончиков пальцев воплощать собой лишь свою профессию. Братья помогли ей перенести жениха наверх, в комнату, и, поднимаясь по лестнице, она все смеялась и смеялась, ей сейчас только это и оставалось, она этого человека знала и насквозь видела его состояние, ибо за всей этой дребеденью стоял настоящий человек, великий человек, человек, с которым она переписывалась, перепевалась, который дал ей крылья, извлекал под ее голос трели из клавиатуры. Она закрыла дверь за братьями и сидела над ним на брачной постели, гладила его лоб и ласково улыбалась, он был – ее, и, наверно, в глубине души она была рада, что он не в состоянии исполнить тот долг, которого требовала эта ночь, потому что даже не стала снимать с него рубашку. Итак, свое супружество он начал с того, что напился мертвецки. И все же в этом мертвецком состоянии он был убежден, что этой женщине он отдаст всю свою жизнь.

На следующий день преподобный Ауртни принес клятву, что та рюмка была в его жизни последней. «Это же Вигдис!»

Да, пасторам пить нельзя, они все как один к хмелю нестойки, думал его новоиспеченный тесть, умудренный опытом, – кроме, пожалуй, нашего преподобного Стефауна, ему-то лишняя рюмка не повредит. Гляньте-ка: вот он сидит словно лучший друг Христа и смотрит, как этот счастливчик, жаждущий проблеваться, на неверных ногах вышатывается из зала…

Так думал торговец Торгильсен, откинувшись на своем почетном сиденье, выпуская сигарный дым в зал, – который вообще-то был складским помещением его лавки, – а сквозь это облако дыма было видно почти всех жителей поселка, при шляпах и галстуках, потому что этот малорослый торговец принадлежал к сорту grand и был любим своими земляками. Он следовал тому само собой разумеющемуся правилу экономики, что чем больше отдашь обществу, тем лучше у тебя пойдут дела. Они так и шли – но только за счет махрового бесстыдства в договорах, заключаемых за пределами городка.

Ну да, а еще этим пасторишкам на море не место, – продолжал размышлять торговец, – но этот – без сомнения, красавец, а еще у него хорошие рекомендации от высокопоставленных персон в Рейкьявике. Он отлично подходит такой домашней девочке, как Вигдис. А еще их объединяет музыка.

Глава 25
Полное ведро слез

Она заметит по мне, что я ночью пил? Учует запах? Клятва, которую он дал сам себе в первое брачное утро, после свадьбы, при поездке домой тотчас обратилась в ничто. Он не утерпел и всю дорогу был пьян. И после этого иногда выпивал дома, на Сугробной косе, но только не в Мадамином доме, из уважения к двум пасторским вдовам. Вечером накануне долгожданного приезда Вигдис пастор Ауртни вместе с хреппоправителем пошли в Норвежский дом к Эгертбрандсену, приставленному сторожить китов, – обсудить планы на лето, так как норвежцы намеревались хранить часть добытых китов в море возле своего склада. Они заседали там до третьего часа утра.

И теперь, когда было уже шесть, он ждал на пристани, грыз леденцы и глотал ветер, усы у него были свежепричесанные, а в остальном был насквозь продушен дорогим немецким одеколоном. Глаза у него были остекленевшие, кожа прозрачная, да и сам он чувствовал себя неуверенно: как благородная барышня воспримет эту северную глухомань, этот поселок из семи домов?.. Удалось ли ему своими описаниями этих мест в достаточной степени убедить ее, чтоб она не питала на их счет слишком больших чаяний? Но, во всяком случае, ему удалось добиться, чтоб церковь заново покрасили.

«Это же Вигдис!» – в сотый раз слышал он голос своего бильдюдальского коллеги, пока крачка голосила над его головой, а грязная чайка присаживалась в лужицу на причале… Вот она вместе со спутницей сидит в шлюпке и плывет навстречу своей новой жизни.

Она со смехом поднялась на причал, со смехом бросилась к нему в объятия, она была его женой. Но она как-то слишком долго смотрела ему в глаза – стаканы считала? А он взамен стал считать золотистые веснушки у нее под глазами. Но она ничем себя не выдала, ее радость, судя по всему, была совершенно искренней – или как? Он не был уверен. Ему пришлось искать правду на лице подруги. Вигдис представила их друг другу, в той же манере, как и в день свадьбы, а он попытался припомнить ее и сердечно поприветствовать, затем снова улыбнулся своей жене, но при этом тотчас молниеносно бросил перед собой испытующий взгляд на Сусанну – и тут увидел, как улыбка

сошла с ее губ, едва она окинула взглядом поселок. Он наблюдал, как она перебегает глазами от одного дома к другому, и по этим движениям глаз понял, какое же это на самом деле убогое место. И именно в этот миг, когда на нее больше не смотрели похмельные мужнины глаза, Вигдис улучила момент посмотреть в сторону, а затем вдаль: на конец Косы, Норвежский дом и склады, на лачуги Йоуи-акулятника и других мужиков. Какой ветхий мир! После этого со дна ее души поднялось слово «ссылка». И все же – на что только человек не пойдет ради любви и брака! «Я добьюсь, чтоб он попросил о переводе в другой приход при первой же возможности, здесь я больше года пробыть не смогу». А ее подруга поддакнула ей, когда их взгляды встретились как раз над разделявшими их усами мужа.

Он проводил их до Мадамина дома, и они проплыли вверх по лестнице – две длинноподольные невероятные богини, – а затем молодую пасторскую жену подвели к двум вдовам. Они приняли ее с радостью и сердечностью (мол, наконец она приехала, чтобы сменить нас!), – которые им, впрочем, плохо удалось продемонстрировать ей. Пастор Ауртни попытался завязать между этими четырьмя женщинами разговор, но получилось плохо. Старые мадамы слишком долго молчали, а западнофьордские подруги почти лишились дара речи при виде того, как здесь все чудно́, как по-жалкому глухо и пустозвонно бьют стенные часы в гостиной, как старые вдовы похожи на призраков. Вигдис не могла отделаться от мысли, что, возможно, и сама она кончит, как они. Этот маленький замкнутый мирок переделает ее так медленно и тихо, что сама она заметит это лишь тогда, когда уже будет поздно. Подруги стояли здесь перед портретами самих себя в старости. Здесь жили люди с мертвой душой. Здесь люди жили на задворках мира, где все было в стороне, все было безрадостным, где солнце едва светило, а единственным культурным развлечением были крики крачек.

Вигдис посмотрела на мужа глубоким взглядом и послала ему мысль: «Твоя голова здесь единственная, сам знаешь». А затем она извинилась и спросила, есть ли тут комната, где можно помыть руки? Увы, таковой не оказалось, но если ей нужно умыться, то на кухне есть ведро воды. Но воды в царстве экономки Халльдоуры оказалось мало, и она повела новую хозяйку дома вниз по лестнице в прачечную: там стояло полное ведро с водой. Вигдис зашла в холодно-сырую подвальную комнату с земляным полом, твердым как камень, и

каменными стенами, склонилась над полным ведром воды, возвышающимся на низенькой табуретке, и тут больше не смогла сдержать слез – и добавила несколько таковых в ведро, беззвучно. Однако, когда она увидела, как они падают в неподвижную холодную воду, ей показалось, что это она наплакала полное ведро.

Это было гораздо труднее, чем она ожидала! Несмотря на свой ум и взгляд на мир, более-менее свободный от заблуждений, она все же создала себе иллюзию, нарисовала для себя картинку в розовом цвете. Дочь торговца, прожившая в родительском доме двадцать семь лет, представляла себе этот пасторский мир по-иному. Как можно было называть это приходом, если здесь больше подходило слово «привал»? Словно здесь кто-то сделал привал на одну ночь, наскоро сколотив один причал и одну церковь. Может, здесь и нельзя жить без выпивки?

Молодожены встретились на верхней ступеньке лестницы, ведущей из подвала: у него глаза в кучу от пьянства, у нее – на мокром месте от слез. Они какое-то время молча смотрели друг на друга, и наконец пастор согнулся и сказал:

– Я больше не буду. Обещаю.

Глава 26
Подбородочница и борода

Пастух. Это слово таит в себе волшебство. Пастух всегда один, он свободен и поднимается в горы, он вседа молод, всегда способен, он всегда паренек. Гест был словно создан для этой роли, проворный на ногу и спорый в движениях.

Больше всего он любит ответственность. И сейчас он отвечал за тринадцать овец. В его обязанности входило вставать раньше всех, приводить стадо, обычно державшееся возле хутора, и загонять в загородку для дойки, а после нее брести со скотиной вдоль фьорда и проводить там день в безмятежном (знай себе, посвистывай) надзоре за пастьбой, а затем в нужное время приводить рогатых подруг на вечернюю дойку. Помимо тумана и дождя главной проблемой здесь было отсутствие часов: наручных часов на этом хуторе, как, впрочем, и в других лачугах страны, не было, а солнце в Исландии было таким беспутным, что сегодня ходило по небу одним образом, а завтра – другим. На некоторых хуторах было заведено расстилать на кровле белую простыню, чтоб подать знак, что сейчас пастуху со стадом время идти домой. Но в Следующем Обвале таких роскошных предметов не водилось, а вот на Сугробной речке, хуторе, видневшемся на другом берегу фьорда, чуть поодаль от Косы, этого обычая придерживались, и Гест в первые дни ориентировался на этот белый знак. Но потом началась морось, и Сугробной речки стало не видно. И тут пастух обнаружил, что у собачки Юноны на шее есть невидимые часы – механизм, возникший у собак, которые из поколения в поколение, от Шумерии до Сегюльфьорда, ходили за овцами, – так что наши друзья всегда пригоняли стадо на вечернюю дойку вовремя.

Было совсем неплохо уйти с хутора и сидеть высоко на склоне горы, наедине со своими мыслями, на тронном камне с посохом-скипетром, словно какой-нибудь принц этого фьорда, и обозревать свое королевство, от быстро тающего айсберга близ Сугробной косы до курящегося дымом туна у бедняцких землянок на Косе, где кто-то топил акулий жир, а жители Старого хутора трудились неподалеку на сенокосе, а оттуда – до датского флага, лениво развевающегося у Хреппоправительского дома. На воде неподалеку два кораблика

выплывали из фьорда, а еще один вплывал: он был под норвежским флагом. А вот и новый причал, которому вчера исполнился ровно год, ставший как бы трамплином в новый век. А за ним он насчитал девятнадцать китов, болтающихся на поверхности Затона. Солнце блестело на их светлых брюхах – той малой их части, что виднелась над поверхностью воды, а при таком освещении можно было разглядеть и их огромные туловища под водой: в основном гренландские киты, но среди них затесалась и парочка кашалотов.

Норвежские китобои взяли манеру отвозить свою добычу в Сегюльфьорд и ставить там на якорь: фьорд стал гигантским холодильником. В конце августа в Затоне покачивалось 40–50 китовых туш, так что по нему было невозможно пройти судну. Да, этот Сегюльфьорд – удивительный фьорд! Если он не был битком набит крошечными стайными рыбешками, то был переполнен крупнейшими на земле созданиями. В конце лета пришли большие норвежские пароходы и оттащили эти громады на Западные фьорды, чтоб разделать на тамошних китобойных базах. Такие методы работы норвежцев нравились не всем, и беловласый Кристмюнд ходил представительствовать за тех, кто требовал платы за пользование фьордом как холодильником: мол, здесь к причалу протиснуться стало ужасно трудно, и к Лощине ни одно приличное судно больше не может подойти из-за этого чертова косяка китов.

А преподобный Ауртни решил в этом деле держать сторону хреппоправителя Хавстейнна. Остроглазый испытывал острую тоску по будущему. К тому же нутро говорило ему, что сейчас, когда жизнь вступила в его дом, ему следует радоваться всякому оживлению в обстановке, даже если речь идет о мертвых тушах.

Внешне Хавстейнн был квадратный, небольшой и широкий, с бородой по грудь, а силы у него хватило бы на троих. А нрав у него, напротив, напоминал огонь: доброта и сердечие пылали вперемешку с пламенной мечтой о росте и процветании Сегюльфьорда – мечтой, которая, впрочем, также обладала гибкостью пламени. Хавстейнн не хотел портить отношений с норвежцами, внутренний голос шептал ему, что они со временем окупятся. На самом деле он был в восторге (по мнению некоторых, даже чересчур большом) от норвежцев, ценил их аквавит «Лёйтен» и сопровождавший возлияния скупой легкий юморок.

“Jo, hann er staerk den, staerk som Grettir den staerke! Ho ho” [84]. Этот особый извод исландского, на котором они говорили, по его мнению, был достоин большого удивления: когда-то же они должны были разговаривать на том священном языке Греттира, ведь в сагах ничего не написано о языковых трудностях. Когда Эгиль и Греттир возвратились на свою прародину и предстали перед королем Норвегии, никакого фарерского языка еще не было[85]. Но как же, как эти в целом такие замечательные норвеги растеряли то словесное золото, упустили его в этот свой спрок [86], это полупение, эту кудреварщину всего за несколько веков? Наверно, тут всему виной аквавит. Для ушей хреппоправителя Хавстейнна норвежский звучал как сильно пьяный исландский. Словно кто-то не находил нужных слов, чтоб называть вещи, и моментально выдумывал собственные, и из-за этого все становилось немного ребяческим. Рыболовство у них было – «фискери»! Пьянка – «фюллери»! Глупость – «туллери»! А еще норвежцы всегда разговаривали громко и звучно, но ужасно неразборчиво, завершая свои высказывания звонким певучим тоном, так что каждая фраза звучала как требование новых стаканов на стол!

Но мало-помалу он начал понимать всех их капитанов, и да – как раз после того, как стаканов на длинном столе под темной китобойной палубой становилось все больше, и, когда он достиг нужной степени опьянения, все двери разом распахнулись, лингвистический туман рассеялся и воссияло алкогольное солнце, каждое слово, вываливающееся у них из пасти, вдруг стало солнечно-ясным и понятным. Более того: он вдруг услышал, что и сам разговаривает на чистейшем западнофьордско-норвежском – вот какие чудеса творит аквавит «Лёйтен»!

Бреннивин всех людей делает братьями, все наречия – сестрами.

Но хуже всего: эти застолья были такими длинными и частыми. Сам по себе хреппоправитель не был выпивохой, он просто был по натуре милым человеком, хотел всем сделать приятное и считал естественным проявлением деликатности принять то, что ему предлагают, невзирая на лица и на суда. Поэтому в то китобойское время в середине лета он считал обязанностью хреппоправителя каждый вечер являться домой пьяным в стельку.

«Воть так…» – говорил он своей Мильде, пока она помогала ему подняться на причал, – «да, воть так!» – а забравшись туда, он начинал

плакаться на то, какой у него неимоверно длинный рабочий день. «Уж как я пахал, Мильда, родная, просто вкалывал!» Супруга хреппоправителя, хилая, но сталекостная женщина, малорослая, но длинноподбородая, взяла обычай дожидаться своего благоверного в ночной светлоте на пристани и доводить до дома, чтоб по дороге он не вздумал заснуть в бочке с акульим жиром. «Если б ты только знала, Мильдочка… если б знала, как у меня много хлопот!»

Ее звали Мильдирид Бергсдоттир, она происходила из низкокровельного хутора на просторах Хунатинга[87]. Хреппоправитель Хавстейнн познакомился с ней в молодом возрасте, когда она батрачила на одном хуторе в Хрутафьорде, где он остановился на ночлег на пути на север и на целую неделю застрял из-за погоды. «Любовь вспыхивает в непогоду», – был девиз наших супругов, и они долго лежали в своей постели с ласково-мечтательным выражением на лицах и держались за руки, пока все крыши пели.

Мильдирид была крепка, тверда и непреклонна, но свое уменьшительное имя носила с честью [88]: Мильда на весь фьорд славилась своими добрыми делами, она была одновременно и родопринимательницей, и пищеподательницей, и утешительницей больных, и самой лучшей помощницей бедным, – своего рода хреппоправительницей по внутренним делам. Ее часто видели бредущей на конец Косы или вглубь фьорда с мешком свежеиспеченного подового хлеба или бидоном молока, и людям казалось, это идет самый настоящий вечный двигатель: куда бы она ни совала свой подбородок или ни брала дела в свои костлявые руки, всегда возникало ощущение, что эта женщина никогда не умрет, ведь у нее кости стальные, кожа – крепчайшая парусина, подбородок – литое железо. Те, кого она облагодетельствовала, предпочитали называть ее фру Мильдой – супругой хреппоправителя, а те, кто платит за добро насмешкой, не звали ее иначе чем Подбородочница.

А сейчас она вела мужа домой, поддерживая его.

– Воть так! Он говорил, этот Китфред… Нет, его не Китфред звали… А как же его зовут? Воть так! На что вы уставились, мадые люди?

На углу склада товарищества «Крона» стояли несколько мальчишек-подростков, они смеялись неповторимой походке этого мужика и тому, как жена, будто лоцман, направляла его домой.

– Мы созерцаем союз Подбородочницы и Бороды! – крикнул один из них вслед чете хреппоправителей, а его друзья расхохотались. То был Бальдвин, пухлый сынок Метты из Мучной хижины, известный своими язвительными замечаниями.

– Воть так! – раздался голос пьяного Хавстейнна, сопровождаемый насмешкой, которая его – как, впрочем, и что-либо другое – не обидела. Зато Мильде было невесело, она не далее как вчера навестила Метту и подкинула ей мешочек муки, и заглянула в глаза этому Бальдвину, который лежал в кровати, смотря ленивым взглядом.

Глава 27
«Норвеголи́з»

Итак, хреппоправитель каждую ночь засыпал, под завязку залившись норвежскими словами и выражениями, и постепенно некоторые из них закрепились в его душе настолько, что он уже не мог обойтись без них в исландском языке. Любимым словечком управителя было прилагательное “storartig” («невероятно»), и ему удавалось запихивать его почти в каждое свое высказывание.

– Это просто стурартово, какие нордмены флинкие [89] по части фискери за китами! – сказал он однажды во время жарких дебатов на складе товарищества «Крона» в начале августа, а Кристмюнд из Лощины в ответ пробурчал:

– Хавстейнн, давай-ка мы с тобой будем говорить по-исландски. Если мы будем пользоваться их словами, это все равно не уравновесит того, что они пользуются нашим фьордом. А я говорю: этот фьорд наш! Сегюльфьорд есть и всегда будет для сегюльфьордцев! А не хранилищем добра для норвежских пиратов!

Преподобный Ауртни возвышался рядом, словно длинношеий светский человек среди этих малорослых, но толстошеих деревенщин: единственное благородное и черное длинное пальто, следившее за всеми этими побитыми непогодой людьми грубошерстного сукна. В складе сошлись примерно тридцать жителей фьорда и сидели там на бочках, мешках с мукой и на каютной скамье с когда-то вынесенного на берег разбитого корабля.

Хреппоправитель Хавстейнн стоял за великолепной бочкой, полной драгоценным акульим жиром, которую пожертвовал товариществу «Крона» Кристмюнд из Лощины и которая выполняла функцию трибуны.

– А я вот что на это скажу: сейчас мы не в таком положении, чтоб позволить себе быть разборчивыми в друзьях. «Придите ко мне все…» – сказал Христос, и хреппоправитель будет руководствоваться этими словами. Досюда веками ни одна лодчонка не доплывала, на наш замечательный фьорд никто вообще не обращал внимания, даже торговцы-датчане, что уже о многом говорит, а уж эти столичные бараны (тут он подмигнул пастору) и подавно! Ну и вот, когда наконец-

то сюда заглянули люди, у которых есть дрифт, самый настоящий йевельс-стурартовый дрифт [90], то их просто с руганью выставляют вон! Поэтому я еще раз говорю: придите сюда все, кто хочет! Человек человеку в радость![91] Или, если выразиться под стать нашим нехристианским временам: человек человеку – выгода!

– Ну и где же эта выгода? Они же не платят! – прогремел Кристмюнд, а из задних рядов донеслось: «Норвеголюб!»

– Ну, они платят портовый сбор и за аренду склада, и всегда аккуратно…

– А за китов? Нет! А ведь этот промысел приносит им большую выгоду. Огроменную! Да еще в исландских территориальных водах! – Ну, согласно определению, кит считается уловом судна, и этот улов здесь на сушу не выгружают, так что мы не можем взыскивать за него никакой платы. В законах нет таких крючков, которыми мы здесь могли бы воспользоваться.

– А как же тот, что у тебя на трости? – раздался из заднего ряда тот же мощный моряцкий голос, что и в прошлый раз, и все собрание расхохоталось, и даже сам хреппоправитель усмехнулся. А птичий профиль пастора так и остался непоколебленным; он наблюдал за собравшимися, словно усатый орел. Преподобный Ауртни никогда не был поклонником простонародного юмора.

– Мой разум подсказывает мне, что это общение с норвежцами окажется для нас полезным, тем более в будущем. Человеческий разум обладает такой же стурартовой величиной, как и весь универсум, как сказал поэт, но из всей этой огромной планеты мы пользуемся, для того, чтобы думать, лишь той пядью земли, на которой живем сами…

– Ну все, пошел хилософствовать!

– Нелепоуправитель! – раздались голоса.

– Норвежцы уже научили нас, исландцев, многому, даже такому, чему мы учиться не хотели, например, ловить селедку…

– Да ну, к черту, не надо тут об этой селедке псалом запевать!

– Она им нравится. От нее выгода есть.

– Фу! – фыркнул Кристмюнд, и вокруг него начали раздаваться возгласы презрения: Магнуса с Обвала, Торвальда с Холма, Сигюрйоуна с Пастбищного и Стейнгрима с Перста. Они в этих краях стояли ближе всего к статусу крупных землевладельцев, и все имели свою долю в каком-нибудь акулоловном судне, а то и собственное такое

судно. Лауси сидел с краю и писал воображаемые посты для своей странички в социальной сети, потому что здесь забавные реплики катились одна за другой. Кристмюнд продолжал:

– С таким же успехом мы могли бы колюшек промышлять в Болванском ручье! По-моему, сгребать эту рыбью мелюзгу – это не промысел, а просто какой-то сенокос на море. В прошлом году мы набрели на них возле Оудальсфьорда, и огромная плавная сеть была битком набита шевелящейся селедкой. Вот я спрашиваю: кому охота возиться с этой массой? Вы меня простите, но сам я ни за что не стану снаряжать корабли, чтоб нагрести корма для скотины. Его я и на суше могу набрать.

Эта реплика была встречена добродушным смехом и даже аплодисментами. Сейчас беловолосый заткнул за пояс того, с тростью.

На штабеле мешков с мукой лежал наш Гест Эйливссон и слушал, как спорят участники собрания. Он не знал, с какой из сторон ему согласиться, так как ему были понятны обе точки зрения, но ему было ужасно интересно наблюдать, как кипятятся взрослые, как ругаются и осыпают хреппоправителя бранью. Наконец-то в Сегюльфьорде началась настоящая жизнь! А также он восхищался позицией этого доброго человека, которому, казалось, не были страшны ни брань, ни насмешки. «Норвеголиз он – и все тут!» Большие серо-голубые глаза мальчика впитывали в себя все эти сцены, скрываясь в тени густой светлой шевелюры, которой хуторская стрижка придавала сходство с военной каской. Больше всего Гест соглашался с Кристмюндом, когда тот говорил о том, что норвежцы извлекают из промысла в исландских территориальных водах огромную выгоду. Разве он не был абсолютно прав? «Территориальные воды» – слово-то какое, он такого раньше никогда не слышал!

Если бы этот вопрос вынесли на голосование согласно существовавшему тогда законодательству, то хреппоправителю пришлось бы запретить норвежцам доступ во фьорд, так как из двенадцати фермеров хреппа большинство были патриотами родного фьорда, лишь трое с Сегюльнеса воздерживались, в основном в силу общего нелюбопытства и терпеливости, присущих жителям далеких северных окраин («Что-что? Они своих китов во фьорде держат?»), – и тут Лауси прикрылся тем, что сам называл «плотницкой объективностью». Сам он как-то раз сказал: «Мои взгляды измеряются

в сантиметрах». Но разве человека, живущего в мире поэзии, будет интересовать суета в реальном мире? Лауси с Обвала горячился только в вопросах, касающихся вечности.

А если бы голосование проводилось по законам более поздних времен, то «норвеголиз» получил бы поддержку подавляющего большинства. Кроме пастора и хреппоправителя, составлявших большинство в совете хреппа, значительная часть батраков, бедных и безземельных хуторян, моряков и бродяг считали, что присутствие норвежцев и всех их китов – это благо. И даже домохозяйки «больших шишек» наверняка тайком проголосовали бы за другое, нежели они сами. Люди ощутили, что сейчас здесь столкнулись две разные эпохи.

– В этом году мы выберем новый совет хреппа! – прогремел Кристмюнд в конце собрания.

Глава 28
Сын торговца

На следующий день Гест снова вспомнил от начала до конца всю эту шумиху, пока сидел высоко на горном склоне со своим стадом, не переставая ругать скудный паек, который ему дали с собой. Визит в лавку и склад на Косе вновь пробудили в нем купеческого сынка. Вот где был его дом; вот как его воспитали – среди мясных и скобяных товаров, тканей и вин. К тому же он набрел на осколок зеркала, висевший в одном углу склада, и, когда взглянул на свое отражение, ему стало не по себе. После одной зимы у бедняков с него сошла холеность, а в лице проступило что-то лачужное. Но глаза по-прежнему пылали уязвленной гордостью, а пищей этому огню были воспоминания о Рождестве в комнатах с гладким дощатым полом, дымящемся горячем шоколаде в фарфоровой чашке и прогулках с папой в лавку, где его всегда ждал леденец из рук приказчика Эгмюнда.

От этих мыслей у него увлажнились глаза. Чем сейчас занимается папа Копп? Этой зимой он ничего не прислал ему: ни на Рождество, ни на день рождения, а ведь он обещал! (В Фагюрэйри всегда отмечали его день рождения, а в хижине такое баловство было не к месту, вязание было гораздо важнее.) А парни с «Бесси», новой акулопромышленной шхуны Коппа, только посмеялись, когда пастушок стал расспрашивать их о ее владельце. После этого он задумал спрятаться на борту, но, когда дошло до дела, ему не хватило мужества: первый побег все еще был свеж у него в памяти.

Он крепко зажмурил глаза и попытался высушить их под прохладным ветерком с моря. Сегодня он необычно далеко забрел со стадом, дошел уже до самого Сегюльнеса, словно хотел уйти со своими овцами прочь из этого узкого мирка. Когда его глаза высохли, он заметил в море что-то необычное, плавающее у мыса. Довольно большой участок почти ровной морской глади покрылся рябью, словно там копошился клубок червей. Морские черви? Но чем дольше он всматривался, тем больше ему казалось, что это море закипело – но как так вышло? Это сам дьявол восходит на сушу? Грядет визит царя преисподней?

А может быть, это предвестие извержения? Лауси как-то рассказал ему, как их страна, то есть остров Исландия, возникла буквально из ничего, поднялась из косматого океана, и начиналось это именно так: с медленного кипения. Мальчика-пастуха охватил испуг, и он переадресовал свой вопрос собаке: животные всегда лучше чувствуют явления природы, насколько он мог убедиться, пожив в Нижнем Обвале. Но собака просто смотрела на море, навострив уши, с абсолютно ученым выражением на морде.

Странное кипящее пятно медленно приближалось к берегу и там постепенно темнело с мелким плеском, но тут дальше от берега закипел другой, более крупный участок моря…

Что же это могло быть?

У Геста ответов не было, но когда он увидел, как возник третий кипящий участок, то почувствовал, что если сначала это явление было пугающим, то сейчас стало просто интересным, и что-то подсказывало ему, что это закипание моря повлияет на всю его жизнь, что сейчас Творец показывает ему свои сокровища, подобно сказочному восточному купцу, на миг приподнимающему покров на бочонке с серебром.

Мальчик и собака долго наблюдали за кипящими участками, а потом собака пролаяла, что пора бы и домой, ведь уже вечереет, а обратный путь и долог, и каменист. Они пошли по косогору над мысом и увидели, как над хуторами поднимаются дымки на солнце. Гест насчитал девять крыш, а у берега с внутренней стороны стояли три красивые акулопромышленные барки. Сезон только что окончился. Неподалеку от судов группа людей раскапывала каменистое взморье, чтобы зарыть акулу. Сегюльнесская акулятина славилась своим вкусом на всю страну, и ее было необходимо возделывать, словно съедобное растение. Акулье мясо по осени закапывали на приливной полосе, а через три года вынимали, и тогда оно сквашивалось настолько, что по цвету было почти неотличимо от овоща. «Ничто не сравнится с тем, что уже переварила земля», – говорили старики и брали себе кусочек особым образом: чтоб зубы попробовали его первыми, а вкусовые сосочки последними, потому что эта акулятина источала такой крепко выдержанный запах, что едоку было необходимо взять хороший разбег.

По дороге к Мертвяцким обвалам он снова встретил «Бесси», на этот раз выплывающий из фьорда, явно держащий курс в Фагюрэйри.

Они дождались, пока ветер перестанет дуть с моря. Наверно, надо было бы передать с ними письмо, подумал Гест, и адресовать его Малле – милой, доброй Малле. Попробую-ка я выклянчить у Лауси бумагу… – хотя нет: неразумно давать ему знать, что я веду переписку с моей старой семьей.

Придя домой, он тайком прокрался в кладовую и решил оторвать клочок бумаги от кулька сахара или муки: случалось, что их присылали во фьорд в такой красивой упаковке. Но в кладовой ничего такого не нашлось, и мальчик вспомнил, что хозяин хутора с самого месяца торри велел отдавать ему всю бумагу: сейчас старик допоздна засиживался в мастерской и переписывал Холодномысские римы на все перепадавшие ему бумажки. За этим занятием он иногда пускал слюну и называл ее «стихотворным соком».

Но Гест был смекалистым. В овчарне он нашел старый гнилой кусочек кожи и попытался писать на ней, подобно тому, как в эпоху саг писали на пергаменте: пером и исландскими чернилами, – правда, последние в данном случае были изготовлены из смеси коровьей мочи с коровьим навозом. Но эти попытки не увенчались успехом, и Гест стал подумывать о том, чтоб залезть в Лаусин сундук и оторвать от книг пару форзацев. Но сундук с книгами все дни стоял запертым.

Лето уже было в разгаре – и вот наконец он придумал выход. В мастерской у Лауси он нашел тоненькую досочку и старый ножик и взял их с собой, когда пошел пасти стадо; целый день потратил на то, чтоб вырезать по дереву буквы М, И, Л, А и Я. На следующий день к ним прибавились М, А, Л, Л, А и М. А на следующий – А, М и А. По вечерам он прятал свое письмо под камнем у загона для овец. Только вот буквы у него вышли довольно большими: на доске места хватило всего на одну фразу: «Я по тебе скучаю».

Сухим и холодным туманным утром он сидел высоко на склоне горы и перечитывал свое письмо. На серой древесине появились две темные капли. Он тотчас посмотрел на небо, но вскоре сообразил: это его собственные слезы. После этого он уронил третью слезинку и посмотрел, как она впитывается в дерево, в ножку одной из «А», это шершавое русло, и там исчезает, словно надежда на то, что он когда-нибудь еще свидится со своей матерью-шерстяночулочницей. Но как послать такой кусок доски по почте? Это ведь вздор полнейший! Он

отшвырнул доску, закрыл глаза руками и некоторое время плакал – одинокий пастушок в тумане.

Иссиня-черная адская палка просвистела в его сознании.

Глава 29
Halespisere![92]

В течение лета норвежцы прибавляли к своему складу все новые и новые китовые туши, и все стали лучше понимать, насколько это нездоровая ситуация: что этот фьорд битком набит мясом, а людям вокруг него вечно нечего есть. Ведь не за горами зима – холодная, голодная, – а тут в Затоне под самым носом болтается бифштекс в 50 тонн весом. Так что это был только вопрос времени – когда каким-нибудь парням придет в голову отрезать у одного из китов хвост, принести домой и запихать в бочку с кислой сывороткой[93].

Ведь норвежец Эгертбрандсен, приставленный сторожить китов – остроглазый китобой, отошедший от дел, – каждое утро просыпался с жестокого похмелья и втаскивал свое брюхо на склон горы, чтоб пересчитать туши. Но когда местные занялись отрезанием хвостов, он смотрел на это в своем счете сквозь пальцы и довольствовался тем, что кричал на всю Косу: «Хвостоеды проклятые!», стоя на крыльце Норвежского дома, когда в полночь выходил, в доску пьяный, помочиться.

Вскоре все китовые туши во фьорде лишились хвостов, а многие и плавников. И когда показывался очередной китобойный корабль, тянущий добычу во фьорд, среди всех местных судов начиналась ужасная гонка. Даже от Лощины отчаливала барка (раз уж это безобразие никуда не исчезло, надо хотя бы извлечь из него пользу!), и все гребцы надрывали силы, чтоб первыми успеть к кораблю и киту. Самые отчаянные принимались за работу еще до того, как тушу отцепляли от китобойного судна.

Ошеломленные норвежские моряки стояли на палубе и дивились на этот народ, который ничего не умеет и никуда не годится, из акулы вырезает только печень, а остальное выбрасывает и даже не научился промышлять китов, а уж селедку и подавно, хотя тысячу лет прожил возле этого моря, и лишь довольствуется тем, что ждет на берегу и надеется, что на сушу выкинет хоть одного-единственного кита. И вокруг этого выкинутого кита возникали ужасно мудреные правила насчет того, кому достанется какая часть. То есть они создали законы о

большом куше, а сами с голодным спокойствием ждали, что он приплывет к ним, вместо того чтоб выйти в море и добыть его! Норвежцы уже заметили, что жители ледяной страны отличались полным отсутствием богобоязненности: они не только не блюли день субботний, но и частенько являлись на богослужение пьяными – даже сам пастор. Может, это все было взаимосвязано? Исландцы скорее поджидали Бога, а не почитали.

Все это, а также множество других гораздо более неприятных вещей, думали они – Эспен и Хельге, матросы норвежского китобойного судна, вплывавшего во фьорд, – стоя у релинга с сальными волосами и двухнедельной щетиной и следя за действиями первобытных исландцев. Какое прискорбное зрелище: наблюдать, как эти лачужники наперегонки подплывают на своих лодках к туше с разделочными ножами – этими до блеска отточенными мечами голодных, которые порой сталкивались с таким громким звоном, когда из двух лодок поражали цель одновременно. Чувства собственного достоинства здесь не было и следа – одна жадность.

– Но у них же нет кораблей для китобойного промысла, ты же видишь: в этой стране деревья не растут, – говорил Эспен.

– А в Гренландии ты деревья видел? Вот и я не видел, зато видел, как гренландцы гарпунят и моржа, и кита, и тюленя, – отвечал Хельге.

Нет, Эгертбрандсен правильно сказал: эти люди – просто-напросто некультурные и недостойные *halespisere*.

Глава 30
Августовский вечер на китовом кладбище

Как это часто бывает, молодое поколение продвинулось на шаг дальше. Тихим августовским вечером, когда темно-зеленый фьорд стал пейзажем, который опрокинулся вверх ногами, а сторож, приставленный следить за китами, тоже опрокинулся вверх ногами, только по причине пьянства, – отчаянные парни раздобыли где-то лодчонку и выгребли на ней между тушами, вооружившись ломом, ножами и акульей поколюкой, вонзили последнюю в спину кита и попросту отрезали себе ломоть мяса. Весть об этом быстро разнеслась, и в мгновение ока на воду были спущены еще пять лодок с парнями с прибрежных хуторов. «Эгертбрандсен в доме – пьян мертвецки!» Гест видел, что даже крепкая щекастая Сюнна, дочь Сигюрйоуна с хутора Пастбищного, стояла на корме, опираясь на фленшерный нож, словно возродившаяся викингская женка. Эти туши во фьорде так сильно ругали во всех домах, что молодежь сочла себя вправе взять кусок китовины. Честная плата за пользование фьордом! Гест, сам не свой, побежал на Верхний Обвал и залучил с собой хозяйского сына Магнуса Магнуссона, своего ровесника. Он был чуть выше Геста, долговязый мальчишка с глазами навыкате и сдавленным голосом – не самый лучший спутник, но на восточном берегу фьорда другого было не раздобыть. Он был настолько близорук, что едва мог разглядеть что-то перед кормой. В его мире всегда стоял густой туман. Его очки все еще находились в самом дальнем углу приемной Истории.

Они оттолкнули Лаусину лодку от берега, спустив ее в горизонтальный мир, в зеркальную гладь вечера на китовом кладбище, где у каждой могилы копошились кладбищенские воры. Ребята с Пастбищного застолбили себе близ Хуторской хижины тушу гладкого кита, судя по форме и цвету того участка брюха, который торчал из воды. Гест видел, что дети Стейнки, маленькие братец и сестренка из Хуторской хижины, стоят на взморье и наблюдают.

Они с Магнусом вскоре подплыли к громадине, которая покачивалась в воде прямо напротив Обвала. В отличие от других туш, которые все были повернуты кверху брюхом (как это свойственно мертвецам: всем хочется вверх, а не вниз), этот лежал вверх спиной;

судя по всему, это был кашалот. Иссиня-черная блестящая спина слегка выступала из воды, словно продолговатый островок, горб – словно гора на его южной оконечности, а на севере был мыс, ровный и отвесно обрывающийся в море.

Они подплыли к южной оконечности и увидели, что хвост уже кто-то отрезал. В темной глубине просвечивали светлые волокна мяса. Затем они поплыли вдоль этой громадины по направлению к горбу. Но подступиться к этой туше было непросто. Сначала они уперлись килем лодки в покатый бок кита, но, если б они причалили на его тушу как на отмель, к его спине им было бы не подобраться. Может, с тушами гладких китов дело пойдет проще? Гест велел Магнусу сидеть, а сам перегнулся через борт, вооружившись Лаусиным лезвием косы, и попытался ткнуть им в спину кита. У него не получилось: этот инструмент был недостаточно мощным для такой толстенной кожи. Затем он схватил весьма старинную акулью поколюку, которую они прихватили из сарая у фермера Магнуса, и опустился на колени у борта. Лодка накренилась, но все же Гест почувствовал туловище кита под водой и изо всех сил попытался вонзить поколюку в его выгнутую спину, но охотником он был весьма неопытным, а кит им попался на удивление толстокожий. А еще в глубине души он жутко боялся этого великана. А вдруг кит не совсем мертвый? Может, он именно поэтому и плавает не кверху брюхом, как все? Кому приятно, когда в него, спящего, глубоко вонзают булавку! Хотя нет, он мертвый: хвост-то отрезали!

Наконец он признал себя побежденным и передал копье Магнусу. Близорукому долговязику удалось вогнать его в толстую кожу с третьей попытки, и вода вокруг лодки окрасилась кровью. Этот красный цвет слегка испугал их, и Магнус сел на скамью, однако не выпуская своего орудия. Так они сидели некоторое время и глядели в воду. Чуть западнее по Затону раздавались крики других ребят, один парнишка с Косы стоял в своей лодке и потрясал над головой внушительным куском мяса, словно спортсмен – кубком.

Здесь тоже надо было поторапливаться, потому что Эгертбрандсен мог в любой момент очнуться от своего пьяного сна и выскочить на улицу – а у него дробовик…

Гест заглянул за борт со своей стороны и стал смотреть, как кровь растворяется в зеленой пучине. Затем он увидел очертания громадной

туши, телепавшейся под ними, словно перевернутая гигантская шхуна. И вдруг он понял, что под поверхностью воды другой мир, по отношению к нашему перевернутый: что для нас вниз, то для них вверх, что для нас подводное, для них надводное. Да, а еще на борту той шхуны, от которой ему виден лишь киль, протекала красивая и веселая жизнь в светлом мире. Все прискорбное и другое там побросали за борт – в тот надводный мир, в котором находился он и не мог оттуда уйти.

Магнус снова поднялся и попытался вырвать поколюку из кожи громадной зверюги. Но несмотря на непрерывные попытки, только раскачивавшие лодку, ему это не удалось. Наконец он сдался, и его сменил Гест. Но не успел он взяться за древко, как туша странным образом начала вращаться, и Геста, обеими руками держащегося за акулье копье, утащило за борт. Хотя его сердце сжималось, выплескивая в глаза черноту – разве кит жив?! – его реакция была такова: держаться, обеими руками изо всех сил держаться за древко. И это было как нельзя лучше, потому что вращение оказалось небольшим: копье они воткнули киту в бок, а сейчас этот бок поднялся над водой, а с ним и поколюка, и повисший на ней мальчик. Через миг Гест стоял среди моря, словно альпинист на китовой вершине, опираясь на посох…

Однако этот великий покоритель вершин был мокр до нитки.

Но он лишь улыбался этому. Пока не увидел, что Магнуса от него относит. Тут он начал кричать, но тотчас заметил, что сейчас скрылся в подслеповатом тумане, окружавшем паренька с Обвала, который сидел в лодке спиной, повернувшись к нему недоумевающим прищуренным профилем, и, очевидно, был ошарашен тем, что воскресил из мертвых самое большое существо на земле, а оно взяло и заграбастало его товарища – мальчика с Нижнего Обвала. Магнус представлял его себе в сорокасаженной китовой пасти, отчаянно зовущего на помощь.

Ну, как бы то ни было, я – первый человек, который встал посреди Сегюльфьорда, – мог бы подумать сейчас Гест, но он подумал так лишь через много лет. Потому что сейчас в его мысли мог пробиться только испуг и ужас. Услышав его крики, Магнус налег на весла, но в своем подслеповатом тумане он совсем потерял направление, да и к тому же крики раздавались у него со всех сторон: в трех других лодках стояли мальчишки и показывали ему на Геста на китовой спине. Но так как

лодка Магнуса шла на север, к голове кашалота, и так как Гесту хотелось поскорее покончить с этим затруднением, и лучше всего до того, как кит вздумает перевернуться еще раз, он собрал всю свою недюжинную силу и вырвал из китового бока окровавленную поколюку, затем помчался по киту от спины к голове, двигаясь быстро, словно ловкий и умелый бегун по льду, который очертя голову пускается даже по самым скользким местам, потому что помедлить – значит упасть и расшибиться.

И он хорошо подгадал: когда он пробежал по морю метров десять, потрясая копьем, словно заправский эскимос-охотник, лодка подошла к голове кашалота, и Гест успел плюхнуться внутрь с шумом и плеском, чуть не заставившими гребца вывалиться за борт.

– Что произошло? – спросил Магнус.

– Да так, немножко по спине пробежался.

Эта пробежка по морю прославила Геста во всех бадстовах. Работник из Лощины, пока лежал и болел, сочинил такие стихи:

Говорят, Исус – мастак
бегать по водице.
Коль Коппов сын умеет так,
пусть даст мне исцелиться!

Глава 31
Морекамень

Лето у северного побережья всегда коротко, а иногда оно и вовсе не приходит, когда море становится лохматым, а небо неделями разражается сквозняками с севера и холодом, так что никому не слышно песен солнца, ведь тогда оно поет их в одиночестве, погрузившись в черноту. Но сейчас годы морских льдов были позади и ожидались лучшие времена. Уже давно земля не белела в самый разгар сенокоса. Сегюльфьордцы уже целых восемь лет не «косили в снегопад». А это первое лето нового века выдалось даже лучше, чем любое из тех, что дарил им минувший век. Так что тот айсберг оказался предвестником того, что в какие-нибудь несколько недель уничтожило его самого: за неделю до Иванова дня он полностью исчез.

Значит, один из пророков оказался прав, хотя нахваливали себя за это, как обычно, все трое. Ведь система у них, если разобраться, была совсем недурна: если выдвинуть о чем-нибудь три различных прогноза, есть вероятность, что хоть один из них подтвердится.

Зато осень пришла, как обычно, сердитая, словно капитан, который врывается в кубрик во время обеда, когда матросы сидят за десертом, и приказывает: «Все наверх!» Уже более десятка лет боги погоды брали себе за правило устраивать сильную бурю 6 сентября, так что большинству мореходов это было хорошо известно. Норвежцы обычно старались не выходить в море на своих китобойных и сельделовных судах с первого дня сентября, после того как их пароходы утаскивали прочь китовые туши. Тогда поднимались превеликий шум и суета: в Затоне хлопотали одновременно до четырех пароходов, и их белые дымы часто сливались, докучая многим, а больше всего – противникам «второго заселения Исландии норвежцами», как его называл хреппоправитель Хавстейнн. Они были убеждены, что с тех пор, как эти стервятники наполнили весь фьорд треклятым туманом из своих труб, снегопадных дней стало больше.

В последний вечер августа месяца хреппоправитель сидел за своей конторкой и писал квадратным почерком письма, адресованные: а) Королевскому датскому комитету картографии, б) высочайшему Альтингу, в) сислюманну Эйрарфьордской сислы, – где он просил

вымарать из документов и карт название «Сугробная коса» и присвоить зарождающемуся новому торговому городку имя Сегюльфьорд. «Постольку-поскольку подобное изменение будет способствовать немалому упрощению и окажет стурартовое подспорье морякам, особенно зарубежным». Это соответствовало и привычке, закрепившейся в языке с усилением движения. К тому же сейчас не говорили, что такой-то хутор, пастор или судно находятся «в Сегюльфьорде», но «на Сегюльфьорде»: разница была примерно такая же, как между «в море» и «на море». Такая перемена ярко свидетельствовала о том, что поселок пошел в гору.

В окно постучали; на крыльце стояла расплывавшаяся в улыбках делегация с норвежского китобойного судна «Браттели» («Крутогор») из Хёугесунна: капитан, штурман и стюард в парадных костюмах, а внизу на площадке стоял раскрасневшийся берсерк, могучий, как тролль, и редкозубый; он положил на землю камень: огромный, широкий, на удивление светлого, желтоватого оттенка. За его спиной стояли несколько рядовых матросов, и все совершенно не по-исландски улыбались до ушей. Форма камня тотчас напомнила Хавстейнну надутого палтуса, но его можно было сравнить и с увеличенным мебельным гвоздиком. Он был отшлифован волнами, как морская галька, но не был похож на нее, потому что был идеальной продолговатой формы. А поверхность у него как из сновидения, так что Хавстейнну пришли на ум слова «драгоценность», «смарагд», «победный камень».

– Ах, как стурарташно!

– «Мы вручаем Вам этот красивый камень в знак уважения и благодарности за то благоволение, которое Вы, в силу своего положения, как ленсманн [94] этого красивого фьорда, проявили к нам – издалека прибывшим родичам, нередко нуждающимся, порой просящим убежища, но всегда приходящим с добром. И пусть этот замечательный камень станет хотя бы символическим краеугольным камнем того нового поселения, которое поднимается здесь сейчас! Да здравствует наш друг Морекамень [95]! Да здравствует магнетический Сегюльфьорд!»

Герр Эрвик, капитан, прочел этот текст с листа по-норвежски, торжественно и восторженно, после чего в честь ленсманна прокричали четырехкратное «ура». Затем хреппоправитель Хавстейнн пригласил

экипаж в гостиную и потребовал себе все стаканы и чашки в доме, потому что сейчас на берег выгрузились все славные бутылки. И в этой связи послал своей Мильде взгляд, говоривший: «Вот сейчас ты сама увидишь, как мне приходится высиживать на кораблях по несколько раз в неделю, чокаться с этими неутомимыми любителями повеселиться и выслушивать их бесконечные рассказы, чаще всего непонятные». Но здесь в экипаже был один рассказчик исландского происхождения, который разговаривал по-норвежски так, что супругам было легко понять его – и с каждой рюмкой он болтал все больше. Это был штурман «Браттели», книголюб-весельчак по имени Оскарссон, круглолицый, с прищуренными глазами, с роскошной бородой воротником белого цвета и таким же воротничком на голове, вокруг докрасна просоленной лысины. Поговаривали, что его корни – в Эйрарфьорде, и к тому же он говорил на исландском языке золотого века, как это обычно бывает у уехавших соотечественников, правда, с небольшим акцентом.

– Бог и хреппоправитель в помощь! Ха-ха!

Норвежцы явно отводили своему исландцу почетную роль и предоставляли ему заведовать всеми развлечениями в своем кругу.

Они подняли бокалы с драгоценным сиянием «Лёйтена», и хозяйка Мильда велела своей дочери Хейде вынести гостям весь запас клейн в доме, а Хавстейнну тем временем удалось, после долгих увещеваний, уговорить жену сесть рядом с ним и даже поднять бокалы вместе с гостями. Она согласилась с тем условием, чтоб в ее бокал ничего не наливали, – и это вызвало смех среди мужчин. Когда собравшиеся захмелели и к ним примкнули работники хреппоправителя и Магнус Пустолодочный из Мадамина дома, экипаж пожелал, чтоб славный штурман рассказал супругам историю камня: расставаться с ним без всяких объяснений норвежцам не хотелось. *“Hver eneste ting har en historie! Og denne sjöstenen har en veldig god historie!”* [96] Однако исландцы сомневались, стоит ли принимать на веру рассказ, который последовал за этим, потому что Оскарссон сейчас был весьма навеселе и, естественно, начал заливать, к тому же историю камня он решил рассказать на языке страны льдов. Но как бы хорошо он ни владел этим старинным наречием, исландцам всегда было трудно всерьез воспринимать тех, кто разговаривает на их языке с иностранным

акцентом. Такими малочисленными и к родине привязанными были они в те времена.

Если верить штурману, красивый камень много-много лет использовался на «Браттели» вместо кнехтов, к которым крепился такелаж, и, по его словам, был самым драгоценным сокровищем норвежского китобойного флота.

– Потому что раньше он по меньшей мере семь раз прокатывался вокруг всего земного шарика! И это самое наименьшее! *Tenk på det!* [97] Ведь к нам в Хёугесунн этот камень прибыл на датском фрегате – старом колониальном фрахтере, прошедшем семь раз семь морей. Ха-ха! И на этой датской палубе этот камень занимал почетное место, это у них был своеобразный *lykkesten* – счастливый камень! *Tenk på det.* Он объездил весь свет, впитал в себя солнце на всех морях, от острова Утаите в Тихом океане до острова Мордозагар у восточного побережья Африки!

Оскарссону определенно нравилось произносить географические названия в такой манере, потому что он повторял их дважды для своих земляков, которым, впрочем, казалось, что в них все правильно.

– И вот, как говорят наши исландские земляки, «масло вперёд [98]!» *Fortsett med smøret!* Ха-ха! А на датскую палубу этот камень попал в индийском портовом городке Тарангабаде, или, как я предпочитаю называть его по-нашему, Тараньку-бате. Этот городок назывался *en dansk koloni* [99], а на самом деле в нем всего-то было – один флагшток да полпушки. И вот, там наш камень, который теперь у вас станет краеугольным, *en hjørnestein i den nye Segelfjord* [100], он там стоял возле местного питейного дома, сколько помнят старики, и, очевидно, приобрел свой золотистый оттенок… оттого, что на него ежедневно опорожняли содержимое горшков, как считают некоторые, или, как говорю я, от хорошей порции мочиндии!

Тут штурман принялся смеяться громко и долго: «Ха-ха, мочиндии!» Норвеги тотчас потребовали перевода этой остроты, подыскать который оказалось непросто.

– На самом деле там было две версии, потому что другие говорили, что эта золотистость на поверхности камня происходит от… ну вот, забыл слово – да, от китовой желчи: *hval-urin* [101]!

Этот камень на самом деле изначально нашли в желудке кита, выловленного в Индийском океане близ острова, который британцы

называют остров Морского Льва. Сияющий желудочной золотистостью, он выкатился из этого сказочного мира, словно блюдо с ибисом из лампы Аладдина, и с ним было связано мощное древнее заклятие. И сейчас Оскарссон наклонился вперед и понизил голос, так что сидящие вокруг него навострили уши: Мильда, Хавстейнн, Хейда и другие их дети, Магнус Пустолодочный, работники, капитан, и стюард, и все другие норвежцы, включая беззубого силача, а также дети и матросы, которые все еще стояли в дверях гостиной, потому что сейчас рассказчик вновь перешел на их язык. – На этом славном камне лежит такое заклятие, что там, где он стоит, все процветает, – произнес штурман и так сощурил глаза, что идущие от них морщины углубились, а толстая солено-красная моряцкая кожа между ними выгнулась красивыми складками. – Вы только подумайте: ведь как только датчане забрали камень из своей индийской колонии, они ее потеряли! И, как гласит история, тот датский фрегат затонул совсем рядом с портом в Хёугесунне после того, как местные шалопаи украли с него тот славный камень!

Тут все общество громко расхохоталось, словно хотело сказать: «Вот выдумают же глупости!» Но среди этого хохота Хавстейнн уловил в глазах капитана Эрвика взгляд – мимолетный взгляд, выражавший страх: а вдруг все это на самом деле правда? Но затем это сомнение скрылось во взрывах хохота, словно голова пловца в волнах прибоя.

– Ленсманн не очень этому верит, – произнес затем добродушно капитан Эрвик и посмотрел Хавстейнну в глаза. – Прежде всего, это очень красивый и особенный камень, и мы дарим его от чистого сердца.

– Да это же стурартово! – сказал хреппоправитель, широко улыбнулся и поднял свою рюмку.

Капитан в ответ тоже поднял рюмку, и его голос заполнил собой всю маленькую гостиную Хреппоправительского дома:

– Выпьем же за хороший контакт хороших людей с норвежцами!

– Выпьем! – подхватили все остальные хором, и, когда они осушили свои стаканы, Оскарссон тотчас прибавил, поглаживая свою белую бороду-воротник:

– Да. Камню, который семь раз огибал земной шар и не потерялся, должна сопутствовать семикратная удача. Предлагаю выпить семь раз!

Так и было сделано. Длиннолицая и худощавая Мильдирид следила за этими действиями, словно птица в компании лошадей. В

рюмкопредвкушающем подхихикивании на двух языках, которое последовало за этим, камень получил имя Морекамень, таким образом избавив от этого прозвища самого хреппоправителя, который носил его в то лето.

Затем все вышли, чтоб лучше рассмотреть это сокровище. Также туда принесло нескольких земляночников. Под стремительно синеющим августовским небом продолговатый сияющий камень посвечивал в траве возле Хреппоправительского дома, а собравшиеся обступили его полукругом и смотрели на него, словно на только что приземлившийся неопознанный объект. Капитан Эрвик предложил нескольким суконноодежным парням со Старого хутора испытать на нем свою силу. Но ни одному из них не удалось поднять эту штуку над землей. Дело было не в весе: камень был не тяжелее обычного мешка с мукой; всему виной была его широкая форма. Лишь обладателям самых широких объятий удалось поднять этот валун, – таким, как беззубый силач норвежец, который принес его сюда с корабля и с причала. Тогда Хавстейнн предложил Магнусу Пустолодочному испытать на камне свою силу, но у парня хватило ума отказаться. Хотя он был силен как вол, для такой объемной ноши руки у него были коротковаты.

Что сопутствует такому камню? Удача или незадача? Во всяком случае, что-то священное, какая-то скрытая сила. Уже намного позже того, как экипаж «Браттели» одарил всех на прощанье пышнобородыми лобызаниями и громогласностью и скрылся в темноте на Косе, хреппоправитель все стоял и смотрел на этот драгоценный камень-переросток, светло-песочный, мелкозвездчатый (он светился в темной траве словно кусочек луны), и раздумывал, куда бы его поставить – этот краеугольный камень нового Сегюльфьорда.

А потом пришла осень со своими хлопотами, забоем овец, тресковой путиной, и под Рождество камень так и стоял у дома там, где его положили норвежцы, окруженный льдом и потускневший от снега. Многие мальчишки с Косы, из Лощины и других мест, особенно те, кто происходил из антинорвежских семей, успели помочиться на него – и тогда пополз слух, что после этого у них отвалились письки, – так что перспектива прироста населения нового городка оказалась под вопросом. Один из них вернулся назад с кувалдой и попытался отомстить за потерю органа мочеиспускания, – но сам схлопотал

сильный удар по коленке, когда кувалда отскочила на нее с этого чуда природы, как когда-то в древности топор Греттира – с узловатого корня.

– Все вы со своим норвеголюбием никак не натешитесь! А мальчик после встречи с их камнем охромел – еле ноги волочит! – крикнул рассерженный отец на крыльцо, где хреппоправитель стоял и дымил своей трубкой в лицо миру.

– Ах, он поправится. Но какой он все же стурартовый – этот Морекамень! И это научит их, как обращаться со священными предметами.

– И вы верите в эти треклятые суеверия? – гремел отец, сняв шапку – так жарко ему сейчас стало, – и угрожая ею хреппоправителю, словно это было острейшее холодное оружие, а не влажная от пота кепка.

– А если все верят – почему я не должен?

– Чо… что это вообще за камень? Какой-нибудь окаянный черный Петер? Какая-нибудь чертова отрава?

– Не-е, – ответил квадратный человек с бородой на груди, вынул изо рта трубку, повернулся к рассерженному отцу и понизил голос: – Сейчас к нам в город пришла сказка.

В город пришла сказка, хотя в этом месте пока еще не было города, только один причал, четыре деревянных дома и несколько сараев. Да, и конечно, церковь, лавка, три хутора в землянках и столько же безземельных бедняцких хижин. И все эти жилища соединялись овечьими тропами разной степени грязности и стежками, пролегавшими вдоль тунов, пастбищ и жиротопных полян; здесь все жили вместе в зеленом покое: женщины, кошки и мужчины. Собаки, коровы и овцы. Крачки, чайки, дрозды и мыши. А недавно один мальчик видел на взморье возле Угла крысу; говорят, она держала маленький норвежский флажок.

По весне все заметили, что вокруг Морекамня трава выросла более сочная и зеленая, и перед домом хреппоправителя всегда толпилась скотина: его собственные и чужие коровы, ягнята, которых держали дома, а не в стаде, бараны, а еще коза Йоуи-акулятника. И это создавало неудобства. В конце концов Хавстейнн велел перенести валун на древнюю каменную кладку у ручья недалеко от дома, и эта махина расположилась на ней удачно и больше всего напоминала то, что потом назовут «ландшафтная скульптура». Для переноски понадобилось двое человек. Халльбьёртн, сын Кристмюнда из Лощины, вероятно, смог бы

поднять его и в одиночку, но никому не хотелось просить его дотрагиваться до предмета настолько норвежского. Когда на мокрый от дождя звездный камень светило солнце, на него было небезопасно смотреть – так ярко он сиял.

А ведь это был всего-навсего старый кнехт с норвежского китобойного судна!

Глава 32
Чужой шторм

Во время адвента пришли недобрые вести, что красивая шхуна «Браттели» шесть недель назад разбилась о скалу в норвежской гряде островов возле Лофотена во время шторма, редкого в тех краях, и весь экипаж погиб. «Подумать только! – говорил Хавстейнн жене. – А ведь другие шесть недель назад они стояли в нашей гостиной живехонькие!»

Как вообще могли такие люди погибнуть – причем все разом? Как ни старался хреппоправитель, ему не удавалось стереть их лица из своего сознания – знания о мире как он есть: они просто непременно должны все еще где-то быть! Наконец он подошел к окну и посмотрел на Морекамень: тот был покрыт снегом, как и все остальное на Косе. Все-таки Хавстейнну казалось труднее всего представить себе, как это огромное судно, эта исполинская море-арфа из дерева, где каждая рея, каждый столбик были сработаны так искусно – воистину победительно! – как все это могло в одночасье разбиться – подобная дьявольщина означала просто какую-то бесовскую разновидность светопреставления. Здесь, до́ма, открытые лодчонки могли тонуть в море – это понятно. Но чтоб шхуна вроде «Браттели», целый дивный мир парусов, штагов, вантов и нагелей, просто так взяла и исчезла – это не укладывалось у него в голове. Может быть, в глубине души он был уверен, что такие шторма – чисто исландское явление.

В церкви на Сугробной косе прошла поминальная церемония, во время которой преподобный Ауртни и хреппоправитель Хавстейнн оба говорили речи и скорбели о судьбе своих друзей. Вигдис спела норвежский псалом *Jeg er i Herrens hender / når dagen gryr i vest* [102]… Две девушки в слезах сидели у восточного окна: батрачка с Сугробной речки и другая – со Старого хутора, и украдкой бросали взгляды на Норвежский дом и китобойный склад, где они когда-то красивым летним вечером танцевали со светловолосым гарпунщиком, а кок растягивал меха гармони. А потом они, может, побрели на крутогор с непонятно говорящим парнем. И там он целовал одну из них, и взгляд у нее застывал, чтоб снова в тот год оттаять. Пастор с супругой посмотрели на двух девушек, – каждый из супругов по отдельности, потому что они стояли в разных концах церкви: он у алтаря, а она у

органа, а затем две пары глаз встретились посередине церкви и произнесли две пары строк:

Тем, кто предан всей душой,
море – не преграда.
Нам «Любовь» писать с тобой
с заглавной буквы надо.

Эту вису они вставляли в свои письма, без устали цитируя снова и снова: в юности пастор слышал, как ее пели на юге страны. А в последние недели Вигдис размышляла над этими словами. Может, зима, в которую она ждала, обрученная, – это и есть ключ к их браку? Смогла бы она выдержать первый год здесь, если б ей не пришлось так долго ожидать его?

Вечером хреппоправитель долго стоял у себя на крыльце с трубкой во рту и большими пальцами за поясом брюк, в тех местах, где к нему крепились подтяжки, и глазел попеременно то на звенящий звездный свод, то на звездный камень, с которого он все-таки счистил снег, и выпускал трубочный дым, чтоб тот играл у него перед глазами в озаренном луной морозном безветрии. Можно ли что-нибудь вычитать из дымных завитков? Может, бытие полно сигналов, недоступных нашим непонятливым обонянию и зрению? И Творец все время что-нибудь говорит нам знамениями, предвестиями или даже непоправимыми событиями? Почему экипаж китобойного судна подарил ему и Сегюльфьорду этот странный и красивый камень? И из-за этого ли они погибли? Стоило им только вынести звездный камень со своего корабля! Он вспоминал тот невероятный рассказ, которым исландец Оскарссон сопроводил этот подарок, – надо же, и его, с его кладезем историй, поглотила пучина! – и вновь слышал смех, сопровождавший его – этот зловещий человеческий прибой, захлестнувший все подозрения насчет судьбы и поверий.

Он вынул трубку изо рта и подул на волокна дыма, которые плавали перед ним в воздухе, словно хотел сказать: фу, прочь, долой такие мысли, долой все подобные суеверия! Нельзя же мне так: стою на этом крыльце из самого дорогого дерева, а сам погряз в старинных земляночных предрассудках. Хреппоправитель я, черт возьми, или как?!

– Может, ты войдешь в дом, дружочек, пока тебя не застигла ночь? – донесся на крыльцо голос Мильды, которая все еще была при полном параде.

Она только что вернулась и сегодня, по своему обыкновению, обходила фьорд дозором – следила за убогими, приносила им одежду и еду. А сейчас она вошла в дом с черного хода (в подвале с западной стороны), как было заведено в деревянных домах в этой стране: большинство исландцев выросли в землянках и неуютно чувствовали себя в просторных прихожих, на высоких крыльцах и в пышных дверных проемах – люди привыкли влезать в свое жилище через дыру, полусогнувшись. Эта фобия дверей у нашего народа носила столь серьезный характер, что даже в двадцатом веке он еще долго входил в свои дома через подвал-прачечную, а не через специально для этого устроенную прихожую – она была только для гостей.

Закончив фразу, Мильдирид снова вбежала в дом, в котором эта длиннолицая, красивоморщинная и вечно резвая женщина с утра до вечера беспрестанно топотала по лестницам, ведь от ее недреманого ока не укрывалось ни одно движение ни в кладовой, ни в конторе, ни в детских. В ее голове хранились сведения обо всех запасах в доме (мука пшеничная – 7,4 кг, носки – 27 пар, ершики для трубки: норвежские – 4 шт., самодельные – 2 шт. (из последних вчера один пропал, надо получше поискать в кухне). Мильда была матерью и для дома, и для хреппа. И женой для мужа: львиная доля ее беспрестанной деятельности заключалась в том, чтоб ограждать и защищать своего супруга от коварных нападений конунга Бахуса. А они могли произойти в любую минуту, даже здесь – на крыльце в воскресный вечер, пока милый добрый муж курит свою мирную трубку. Ведь с покрытой колчами овечьей тропы мог вдруг появиться бродяга, капитан, повеса из фьорда с половиной фляжки, или его могли взять и пригласить на корабль, или могло возникнуть какое-нибудь дело, которое срочно надо обсудить до утра.

– Может, ты войдешь в дом, дружочек, пока тебя не застигла ночь?

Но она не стала заходить дальше в своем контроле за пьянством, а удовольствовалась этой фразой, после чего легла в постель, где обычно читала перед сном мысли мужа: она тревожилась только по поводу его тревог. Нынешним вечером эти тревоги связаны в основном с тем, что хреппоправителя гложет совесть из-за славного экипажа: неужели те

люди отдали свою жизнь только за то, чтоб вручить ему тот продолговатый подарок? Неужели они отдали ему собственную удачу? Затем эти мысли растворились в обычном удивлении исландцев по поводу того, что в других странах бывают шторма, а у такого мирного берега – кораблекрушения. Это удивление состояло в тесном родстве с той потаенной уверенностью наших земляков, что у всех иностранцев жизнь вообще легче, проще, веселее. Быть исландцем – тяжкий труд, быть кем-нибудь другим – сплошная забава. Хавстейнн в юности плавал в Берген и видел своими глазами, что в стране норвегов за три тысячи лет ни веточки не сломали: все было чинно, благородно и спокойно. И тогда он понял, отчего те, кто по натуре был неистов, чувствовали необходимость оставить эту стоическую красоту. Но вот как такой надежный корабль мог разбиться в щепки на этих живописных скалах, он не мог взять в толк.

– По-моему, море всегда ведет себя одинаково безобразно, что здесь, что там, – сказала Мильда, лежа головой на подушке.

– Я просто переживаю из-за этого камня. Вдруг это какой-нибудь судьбоносец?

– В нем заключалась их удача, а они подарили его нам. Как говорят старики, до даров не докапываются[103]. Давай просто будем думать об этом камне хорошее. В нем заключена память о них.

И снова хреппоправитель подумал о том, какая удачная жена ему досталась, и почувствовал желание перекатиться к супруге и поцеловать ее, но решил не давать такого поцелуя, который потребовал бы от него еще и дальнейших действий.

Глава 33
Ураганные истории

Несмотря на то что наш фьорд был окружен высокими горами, в нем могли разыгрываться нешуточные бури, даже когда ветер дул с земли. Когда порывы ветра бросаются с горного хребта, крутизна увеличивает их скорость; они с утроенной силой обрушиваются на долину, а оттуда их вновь отбрасывает вверх, так что крутогорный фьорд превращается как бы в присоску наоборот: содержимое с большой силой высасывается из нее прочь. Когда в этих фьордах разыгрывалась буря, ветер мог унести в небеса что угодно: лодки, сараи и скотину.

Рассказывали, что одна баба-побродяжка вышла во время сильного урагана с хутора Дно Долины, который находится в самой глубине Сегюльфьорда, стала справлять нужду неподалеку от этого хутора, а когда собралась подняться с камней, нечаянно отпустила юбку, но успела ухватиться за подол, так что ветер забрался под юбку, и она в мгновение ока превратилась в воздушный шар. Баба тотчас поднялась на воздух, а приземлилась только в Лощине, через полминуты – а дотуда ходу три часа. Она сидела среди всего этого небесного грома словно пассажир самолета в более позднюю эпоху и держалась с достоинством, хотя и пролетела над всеми хуторами в долине с голым задом, а затем сильно поломала ребра, приземлившись на кровлю дома Кристмюнда.

Виновником этой посылки с небес посчитали одного из батраков Кристмюнда, потому что вечером накануне он очень усердно молил Бога послать ему женщину.

В эту осень во время сильного урагана легкая лодка Кристмюнда поднялась на воздух и приземлилась на другом берегу фьорда чуть выше дома на хуторе Следующий Обвал и так и стояла там почти не поломанная, когда к ней подошел Лауси со своим Гестом и начал нагружать ее булыжниками, скатившимися с горы во время камнепада. Это было величественное зрелище: шлюпка, плывущая по воздушным путям, смольно-черная на вечерне-голубом небосклоне, так что у присутствующих возникало ощущение, будто они сами живут на дне морском.

– Хороши дары Господни. Но раз уж он, родимый, занялся такими делами, то я бы предпочел новую лодку Кристмюнда, – прокомментировал Лауси, когда ветер ослабел, а они с Гестом положили в лодку несколько камней.

Гест все еще, по прошествии года, продолжал изучать этого своего нового отца и порой не мог понять, что тот говорит. У четы торговцев он рос при хорошем обращении, и там не было сомнений, что у вещей есть свое место, свое предназначение, своя цена. Каша – это каша, корабль – это корабль, Бог – это Бог, все эти вещи нельзя сваливать в одну и ту же бочку или один и тот же мешок – не валят же в одну кучу разные виды товаров. Таков был мир торговцев. Простой и понятный. Два килограмма сахара, три килограмма муки…

– Ты попросил у Бога, чтоб он подарил тебе лодку Кристмюнда?

– Нет, это я просто так выразился.

– А почему?

– Ну, потому что без этого жизнь будет совсем убогой. А у нас тут и так одна сплошная нищета.

– А лодка теперь твоя?

– Ох, нет, разве… но она здесь, у нас.

– А почему мы тогда наполняем ее камнями? Чтоб она обратно в Лощину не улетела?

– Ну, чтоб она дальше не портилась.

– Но ведь она не тебе принадлежит?

– Эх, но ведь мы – жители фьорда – поддерживаем друг друга.

– Не всегда: на собрании этим летом – не поддерживали.

– Нет-нет; но смотри: «поддерживать друг друга» может значить много всего. А в трудную минуту мы проявляем единодушие в делах.

– А это что?

– Это такая система натурального обмена; считается, что она пошла от Христа, и это, вероятно, самое хорошее, что от него вообще пошло. Почини лодку ближнего своего, если хочешь, чтоб он починил твою.

– Но почему у Кристмюнда три акулоловные лодки, а у тебя ни одной?

– Потому что Кристмюнд, он…

Старик зашел в тупик: Гест выбил из него все чувство юмора, и вдруг хуторянин заностальгировал по времени, когда мальчик неделями

молчал. Но паренек явно пошел в Коппа и его семью: разумеется, потребовалось бы провести с ним в этой хижине тринадцать зим, чтоб выбить из него всю эту рафинею разносольскую. – А почему тогда ему дали имя в честь Христа?

О, ну, стало быть, он вроде бы не совсем без чувства юмора – или как? Нет, кажется, он этот вопрос всерьез задал.

– О нет, почему же, хо-хо.

– Но почему? Почему у него таких лодки три, а у тебя ни одной?

– Потому что… потому что для одних жизнь – в верхах, а для других – в стихах.

– Но стихи ведь вполне можно продавать, – отозвался Гест, следящий строгим взглядом за тем, как его приемный отец кладет в лодку богатого хуторянина булыжник. На последнем слове его голос надломился.

– Эх, не думаю.

– Но вот большой поэт из Фагюрэйри – он поместил кучу стихов в книгу и продал ее. Папа сказал, что он за нее выручил девяносто девять форелей.

Тут Лауси стало нехорошо.

– Папа?

– Да, папа Копп, Купакапа.

– А-а… ты его до сих пор зовешь папой.

– Да.

– Ну конечно. Это вполне естественно.

– Да.

– А как ты сказал – девяносто девять форелей?

– Да, если что-то стоит дорого, он всегда говорит: «Это стоит девяносто девять форелей». По-моему, ему забавно так говорить.

Эх, ну вот, вздохнул про себя старик и собрался что-то сказать, но не смог: в его органе речи лопнула струна. И сейчас он обвел взглядом землю и море, добежал глазами до самой ныне почившей Перстовой хижины в надежде, что эти развалины дадут ему силы, и да, может, удобренные порошей горы тоже смогут излечить его от сентиментальности. Затем он вытер глаза и лишь после этого повернулся снова к энергичному мальчику.

– Не говори со мной о форелях, Гест, родной.

– А? Почему?

– Здесь у нас сухопутную рыбу не едят. – А потом хозяин Обвала снова взял себя в руки и сказал уже гораздо более бодрым тоном: – Да, наверно, большие поэты могут продать свои стихи, а мы – мелкие рыбешки – нет.

– Я этим летом видел корюшку, и прошлым летом тоже. То есть мне кажется, что это была корюшка. В море за Сегюльнесом. Они все трепыхались на поверхности, так что море как будто кипело.

Раньше он, наверно, никогда не рассказывал своему приемному отцу о том, что видел это зрелище, может быть, потому, что оно что-то затронуло в глубине его души, в воспоминании оно было почти как интимное половое чувство, и к тому же его было невозможно описать так, чтоб рассказ не вышел дурацким. Но несколько недель назад это всплыло в разговоре с Магнусом, долговязым мальчишкой с Обвала, который тоже видел, как «море закипает», а отец объяснил ему, что это корюшки, рыбешки, букашки.

– А, так это селедка, а никакая не корюшка. Она сюда иногда забредает.

– Селедка?

– Да, она ходит косяками, выплывает на поверхность. Это называется: бродит. Совсем создание безмозглое! Ты ведь помнишь, как она заполонила весь фьорд.

Значит, то была селедка. Та самая рыба, которая запрудила весь фьорд год назад, – какое же это было изобилие! Ему хотелось описать Лауси эти увиденные им вереницы, эти косяки, которые на самом деле больше, чем целый кашалот, но он не стал говорить: он и так знал, что ему ответит старик. И они без дальнейших слов продолжили нагружать лодку Кристмюнда на склоне чуть выше хутора.

Глава 34
Вихрь с юга

В конце января людей разбудил сильный порыв ветра с юга. Мадамин дом весь ходил ходуном, громко скрипя несущими балками, и преподобный Ауртни встал с постели, когда над Косой прокатился мощный грохот, донесшийся сквозь громкий вой ветра, сопровождаемого непонятным шумом, словно по лужайке черканули утесом. Но в этом звуке слышался и металлический звон. На улице была лишь одна кромешная мгла, но этот скрежет без сомнения был угрожающим. Пастор Ауртни первым делом подумал, что к берегу подошли айсберги: в этом звуке чувствовалось что-то исполинское. Но этого быть не могло: ветер дул с юга.

Три мадамы-пасторши спустились вниз, а Халльдоура поднялась наверх, и все они кружили по комнате, словно юлы в балетной постановке более поздней эпохи: от одного окна к другому, и чувствовали, как от порывов ветра половицы прогибаются с треском и воем. Старшая мадама молилась Богу, средняя умоляла преподобного Ауртни ради всего святого выйти из дома и посмотреть, что творится в церкви, потому что сейчас раздавался беспрерывный звон ее колокола, а младшая умоляла его ни в коем случае не ходить. Да и что он мог бы сделать, чтоб остановить айсберги, которые вознамерились разнести его церковь в щепки? Преподобный Ауртни переминался между двумя окнами, но ничего не мог разглядеть в темноте, царившей за ними. Часов в гостиной больше не было слышно, но скрежет усилился и, казалось, приблизился. На сушу въехал корабль?

Пастор решил выглянуть на улицу и снарядился по погоде. Его супруга, наморщив лоб, смотрела на его приготовления в прихожей.

Главный вход в Мадамин дом был устроен таким образом, что там было двое дверей, и внешняя из них открывалась наружу. Это доставляло массу неудобств, но плотник-датчанин в свое время убедил всех, что так необходимо из-за суровых непогод. Преподобный Ауртни попрощался с женой и закрыл за собой дверь в прихожую, а потом повернулся к выходу. Он открыл внутреннюю дверь и едва успел взяться за ручку внешней, как она распахнулась, с громким треском ударилась о перила на крыльце и при этом выбила пастору руку из

плечевого сустава. Ауртни лежал на пороге и стонал, провожая взглядом свою шапку, уносящуюся в черноту. В прихожей все было вверх дном. В гостиной у женщин замер дух, когда они услышали доносящиеся из прихожей звуки. Магнус Пустолодочный вскочил на ноги и успел открыть дверь, ведущую в прихожую. Тогда воздушные змейки принялись резвиться в гостиной и качать люстры. Магнусу удалось быстро втащить своего стонущего учителя в дом, а потом он попытался закрыть двери, – но внешнюю дверь невозможно было отодвинуть от покореженных перил. В конце концов он ограничился тем, что закрыл внутреннюю дверь.

Хотя руки у льдиноволосого паренька были отнюдь не ловкими, ему удалось, немного помучив рукоположенного, вправить преподобному Ауртни вывих плеча. После этого усач потерял сознание в кресле, так что теперь домочадцам пришлось успокаивать Вигдис, а также Сусанну, тоже вскочившую с постели.

– Воды! Дайте ему воды! Он дышит?

Пастор довольно быстро пришел в себя и с помятым и недоумевающим видом посмотрел на собравшихся. «Дверь сорвало?» А затем скрылся в объятиях супруги.

– Боже мой, милый, я уж вообще думала, что…

Теперь идти на улицу вызвался уже Магнус. Ему всегда было важно проявить себя перед этими добрыми людьми, которые так тепло приняли его, когда он спасся со льдины. А поскольку из хаоса на улице по-прежнему доносился непонятный скрежет, все согласились, что ему нужно сходить и выяснить, что там происходит.

Надев лишь длинные чулки и ботинки, молодой человек рванул дверь, а потом закрыл ее за собой. Магнус славился тем, что никогда не мерз: три недели во льдах сделали его почти нечувствительным к небесным бурям. К тому же на руках у него сейчас появились акулятниковые бицепсы, и он мог похвастаться самой широкой грудной клеткой на Косе. Он пригнул голову и почти ползком вылез на крыльцо в нижней рубахе и шерстяных подштанниках, спустился по ступенькам, цепляясь за перила. Для этого потребовалось такое же усилие, как для того, чтоб лезть по отвесной скале. Холод схватил его такой же крепкой хваткой, как и шквал, но полностью отступил в столкновении с последним, чуть не оторвавшим ему уши. Наконец Магнус добрался до земли и осмотрелся. Глубоко среди воя шторма он расслышал

царапающий звук, и ему показалось, что тот доносится со стороны церкви.

Путь до дома Божьего проходил под ветром, и Магнус решил, из соображений безопасности, дать этому гаду докатить себя по сухоморозному двору до кладбищенской калитки. Этот способ передвижения больше всего напоминал то, как солдат перекатывается под падающим на него дождем бомб. Возле калитки он все же попал в какое ни есть укрытие под сложенной из камней стеной и теперь слушал бурю, как врач пациента. Скрежет вроде бы пока что затих. Затем он пополз на четвереньках к церковному крыльцу из двух ступенек, но там ухватился за пустоту: церковь исчезла.

Он немного подождал, думая, как ему быть, лежа врастяжку на фундаменте церкви, словно крошечная слабая букашка на планете Земля. Наконец Магнус услышал прямо к северу от кладбища громкий скрежет. И хотя он никогда не слышал такого звука раньше, он тотчас сообразил, что это конёк церковной крыши трется о камни.

Глава 35
Выуживают церковь

В этот холодный январский день рассвет пришел поздно и неохотно, и тогда стал очевиден факт: церковь сдуло с фундамента. Ветер подхватил ее всю целиком. Она поломала несколько крестов на кладбище и поцарапала сложенную из камней ограду, а потом рывками доползла до северной оконечности косы и сейчас лежала там на взморье, на вид совершенно целая, не считая пары разбитых окон. Ветер все еще дул с большой силой, так что на улице невозможно было даже стоять. И все же несколько мужчин с инструментами и канатами стояли на приливной полосе и обсуждали, что предпринять дальше. Там же было две лошади. Спор велся в основном о том, закрепить ли церковь на месте или вытянуть на берег.

И вдруг буря раскололась: струна ветра лопнула от натуги, и ее половинки сложились вместе: в мгновение ока сила урагана удвоилась. Он повалил на взморье всех людей и одну лошадь, а церковь невероятным образом поднялась на воздух и, словно в страшной истории, пролетела над мелями, с каркающим звоном колоколов, и в полете перевернулась на пол-оборота, а после этого опустилась на поверхность моря почти стоймя. Фермеры в изумлении выглянули из своих галечных углублений и проводили взглядом свою церковь, уплывающую по фьорду: по бортам разбитые окошки, вместо форштевня покореженная колокольня. И сквозь завывания ветра продолжал доноситься звон колоколов.

Лауси стоял возле своего дома и удивлялся, как хорошо церковный корабль плывет по морю. Сам он потерял только собаку. Юнона пропала.

Под Сегюльнесскими скалами скучало несколько сегюльфьордских тресколовных судов, накануне вечером не успевших войти во фьорд. Они увидели, как из устья фьорда выплывает их церковь. Послышался голос одного из матросов:

– Если Гвенд не идет в церковь, церковь приходит к Гвенду.

Позже днем непогода наконец улеглась, и люди снарядились в поход. Хреппоправитель Хавстейнн сам-третей отправился в Норвежский дом, и там им удалось окриками разбудить нескольких

спящих. Норвежская китобойная шхуна «Люсебергет» не успела выбраться из фьорда по причине сентябрьских штормов и застряла там вместе с экипажем. Капитан Нюволль и его команда жили у Эгертбрандсена и уже пятый месяц не прекращали застолья. В Норвежском доме не переводилась «огненная вода»: у Эгертбрандсена, стерегшего китов, обнаружилось восемнадцать больших бочек роскошного «Лёйтена». Но люсеберговцы оказались самыми жуткими выпивохами, каких только видели жители Сегюльфьорда, – а это кое о чем говорит. На второй день Рождества, на соревновании «кто кого перепьет», все видели, как их капитан одним глотком втянул в себя полбутылки аквавита. И пили у них определенно каждый вечер, потому что, несмотря на непогоду, все там спали мертвым сном, когда туда принесло хреппоправителя. Эгертбрандсен подошел к дверям только после очень долгого и сильного стука. А когда в дом вошли, то все увидели, что в этих комнатах была драка. На полу везде были осколки стекла и обломки стульев. Затем предстояло поднять Нюволля: эта работа требовала большого терпения. Но по-другому было нельзя: их шхуна была самой быстроходной во всем фьорде, а церковь стремительно уплывала в сторону Грамсейского пролива.

Сначала капитан не хотел никому давать свой корабль, потому что решил не прерывать зимовки здесь. Но когда до него дошло, в чем дело, в нем воскрес истинный христианин:

– Как? Что вы сказали? Церковь? Ее мы непременно спасем!

В итоге норвежское китобойное судно загарпунило исландскую церковь на море у берегов севера Исландии недалеко от кромки морских льдов. Все удивлялись плавучести и непотопляемости этого церковного корабля, у которого после трех часов плавания по морю все еще не образовалась течь в полу. «Прочный, хороший дом Божий!» – кричали норвежцы у себя на палубе исландцам, примкнувшим к этой экспедиции по спасению церкви: хреппоправителю Хавстейнну, его двадцатилетнему сыну Снорри, двум батракам со Старого хутора и доброму помощнику Магнусу Пустолодочному. «У вас, у исландцев, вера хорошо просмолена!» Они поклялись выловить такую героическую постройку и доставить в гавань. Но на этот раз гарпунщик отложил гарпун, вместо этого завязал на тросе петлю, и после

нескольких попыток им удалось заарканить церковь, словно какого-нибудь неука, и петля обхватила ее шею – полусломанную колокольню.

На море по-прежнему было волнение, но церковь тотчас притянулась к борту корабля и потянулась за ним, и язык колокола беспрестанно колотился на колокольне, но сам колокол, очевидно, застрял в досках, потому что звук был весьма скупомрачный: словно упрямец бился головой о камень. На экипаж это зрелище произвело удивительное впечатление: церковь медленно плыла у левого борта, словно корабль шел не по волнам, а по кладбищу, сменив норд-ост на погост. И все же по-настоящему они содрогнулись, когда в одном окне церкви показалось лицо – на короткий миг в нем промелькнуло лицо – седовласое, беззубое, стариковское, худощавое, с застывшей отрешенной гримасой – а что там алеет над одним глазом, уж не кровь ли? Борода была длинной, а плечи укутаны льняной простынью, так что зрители не могли понять, видели ли они своего Бога, престарелого Моисея или одного из ветхозаветных пророков. Никто не хотел верить своим глазам – настолько удивительным было это зрелище. А вскоре отпала и сама надобность обсуждать его: как только церковь закачалась позади корабля, канат натянулся и в считаные миги утащил дом Божий под воду.

Как наверняка известно большинству читателей, ни одному кораблю не перетянуть церковь, залитую морской водой, и капитан Нюволль скрепя сердце приказал экипажу перерезать канат, пока Сугробнокосская церковь не утащила «Люсебергет» за собой в пучину.

Глава 36
Один народ, две страны

По прибытии домой корабельщики сходили на берег весьма сконфуженные. Сегюльфьордцы все еще гадали, не пророка ли Сакариаса они видели в окне за миг до того, как церковь погрузилась под воду. Но никто не облек это зрелище в слова: настолько оно было диковинным и невероятным. Норвежцы, судя по их виду, отчаивались сильнее, и капитан Нюволль без конца извинялся и обвинял в случившемся только себя: им не надо было заарканивать колокольню и брать церковь на буксир, а надо было подплыть к ней и нанизать на веревку как рыбу: разбить стекла во всех окнах по ее правому борту, а затем продеть крепкий канат в окна: в одно закинуть, а из другого вытянуть, и так далее, и таким образом пришнуровать церковь к борту корабля. Хавстейнн попытался успокоить капитана, но напрасно: норвежец метался по палубе и бормотал себе под нос: *“Nei, for helvete! Jeg mistet kirken i havet!”* [104]

Казалось, он сейчас переживает то же, что герой какого-нибудь библейского сюжета, которому теперь не миновать гнева Божьего с небес: «Мол, Я тебя снарядил спасти мой дом – а ты его вместо этого утопил!» Когда Нюволль сошел на берег, он был убежден, что сейчас ему уготованы судьбой великие несчастья, и принялся заодно проклинать и фьорд, и Исландию, мол, не надо им было здесь околачиваться целую зиму, и не надо было попадать в такое пакостное положение – вылавливать из моря церковь! Что это, черт побери, за ерунда такая, и какого ляда они вообще делают в этой треклятой дикарской стране, где церкви сдувает в море ветром?

Поднимаясь на крыльцо Мадамина дома, он все же успокоился и снова принялся ныть себе под нос: *“For helvete! Jeg mistet kirken i havet!”* Затем он чуть ли не ползком приблизился к пастору и его мадаме, смиренно попросил прощения за то, что из-за него спасение Сугробнокосской церкви пошло насмарку, а затем уронил несколько слезинок в кофе, сказав Вигдис: «И где же вам теперь петь?» Потому что молва гласила, что большой приток прихожан в церковь в последнее время происходит прежде всего благодаря красивому пению

прекрасной пасторши. Во всяком случае, норвежцы ни одной мессы не пропускали: они не понимали смысла слов, зато понимали красоту.

Преподобный Ауртни попытался успокоить его: он, мол, сделал все, что мог, и даже если вышло так, как вышло, никто не осудит его строго. Но капитан был безутешен. И наконец выяснилась причина, по которой он так сурово корил себя: *“Det var bare ikke meg! Det var bare min forferdilege bakrus”* [105].

Собравшиеся далеко не сразу поняли, что хотел сказать капитан: то ли на его судне на баке что-то было не в порядке, то ли у него бока разболелись. И лишь когда хреппоправитель вошел в дом, непонятное прояснилось: «бакрус» – это норвежское слово для похмелья. Богобоязненный капитан приписал свою оплошность слабости к нездоровому дьявольскому пойлу.

“Jeg mistet kirken i havet!” – еще раз прохныкал Нюволль, а затем окончательно сломался. Слезы и всхлипы хлынули, словно волны на берег; он был безутешен.

Ошарашенные исландцы сидели и стояли вокруг этого мощно рыдающего могучего капитана китобойного судна, этого рослого громилы, и сопоставляли эту его чувствительность с его поведением этой зимой, в первую очередь с инцидентом в лавке незадолго до Рождества, когда Нюволль выбил зубы хуторянину с Сугробной речки за то, что тот отказался на время отдать свою жену в Норвежский дом.

Да, спору нет, эти люди из Олесунна и Хёугесунна такие странные. А ведь когда-то исландцы и норвежцы были единым народом. Но разлука в тысячу лет, тысячелетнее житье в новой непростой стране не прошло даром. Говорят, что условия жизни определяют характер человека на целую четверть. Так вот, Исландия превратила норвежцев в исландцев.

При общении с братским народом жители ледяной страны долго и удивленно смотрели на свою утраченную сущность – свою старую норвежскую национальную душу, блуждавшую между крайней набожностью, умеренностью и мелочностью с одной стороны, а с другой – безграничным суровым пьянством, которое, как правило, заканчивалось кровавыми драками. Норвег или сидел эдаким прилизанным ангелочком на скамье в церкви, или стоял, пьяный в лоск, ночью под чужим окошком, горланил и немедленно требовал разврата.

А каковы же норвежские женщины?

Местные жители не вполне понимали этот суровый сплав крайностей, потому что сами являлись такими людьми, которые все делают не с полной самоотдачей, никогда не идут до конца, не любят правил и не слушают аргументов. Скорее всего, так было по той причине, что сами они жили в нелогичной беспорядочной стране, которая сама не знала, какое в ней настало время года, где ни на что нельзя было положиться: а солнце вообще встанет? Это называется весна? А это – дождь?

В то время как норвежцы жили в краю штиля и покоя, где все деревья вертикальные, а все горы – не огнедышащие, так как вытесаны из той породы, которая уже миллионы лет как кружилась вокруг солнца, когда Исландия едва высунулась из океана, – исландцам досталась страна великих крайностей, поэтому они не могли позволить себе кидаться в крайности сами. Кому постоянно приходится мотаться между твердокаменными точками зрения, тот в конце концов превратится в разболтанный маятник. Исландцы именно такими и были.

Здесь горы были юные, бешеные, сегодня покрытые льдом, завтра – огнем. Здесь царила или круглосуточная темнота, или круглосуточный свет. Здесь зимние дни выдавались летом, а летние – зимой. Вода была или настолько горячая, что в нее было невозможно залезть, или настолько холодная, что по ней можно было бегать на коньках. Во фьорде то нельзя было днем с огнем сыскать хоть одну рыбешку, то рыба заполоняла его настолько, что нельзя было спустить лодку на воду.

Здесь ни на что нельзя было положиться и надо было быть готовым к чему угодно. И поэтому здешний народ развил в себе терпеливость мастерского сорта, увенчивавшуюся нерадостным туманным языком, применявшимся среди повседневных хлопот, в котором слова означали «всё и ничего», «вот» и «ну», а предложения были открытыми с обеих сторон: «Да что ты говоришь!» и «Да-да, вот именно». Высшей формой поэзии считались «слеттюбёнд» – стихи, в которых при первом прочтении было сказано одно, а если читать их задом наперед – то прямо противоположное. И так же со всей жизнью этого народа. Никакие планы не заходили дальше сегодняшнего вечера, ни одно решение не было окончательным, ни одна беседа не имела вывода. Любимые фразы исландцев были посвящены как раз всяческой

незавершенности: «Посмотрим», «Поглядим на это весной», «Ты мне напиши». Собрания у этого народа были не чем иным, как тренировками по фехтованию, освобождающими от мнений: участники врывались на трибуну и там заявляли свою точку зрения, и таким образом освобождались от нее на некоторое время – достаточное для того, чтоб поучаствовать в поднятии рук по окончании дискуссии только затем, чтоб завтра же изругать эту затею. «Да, они заставили нас одобрить эту хрень!» Потому что никогда исландцы не чувствовали себя хуже, чем когда им удавалось разрешить спорный вопрос договором или принять на себя обязательство, записанное в официально утвержденном документе, и подмахнуть свое имя. В стране, где церкви сдувало ветром с фундамента целиком, людям было очень сложно закрепить реальность на листке бумаги. (Страницы были полем для искажения и сочинительства.) Поэтому люди спешили поскорее положить конец этому мучению. Как только договор оказывался подписан, возникали еще более горячие споры, чем те, которые он был призван разрешить, вспыхивали конфликты, посвященные предмету и формулировкам договора, который большинство и не читало.

«Это не тот договор, который я подписывал!»

Так жизнь исландцев барахталась в вечном брожении туда-сюда, без всяких решений, все в одном и том же старом русле, и при этом как-то умудрялась расти и развиваться.

«Ну, что вышло, то вышло».

Словом, можно было сказать (о чем свидетельствуют и саги), что исландцы по своей сути были скандальными сутягами, хорошо умеющими затягивать дела, выворачивать их и находить на них новые грани и по-всякому бить-колотить их, словно сушеную рыбину. Слово «незаконно» лишь на волосок отстояло от слова «не закончено». Зато судьями эти люди были никудышными: ведь это сословие как раз создано для того, чтоб разрубать узлы, выносить окончательные решения. Так что судебная система в этой стране, как уже говорилось раньше, славилась своей медлительностью и причудливостью: когда убийце наконец выносили приговор, он уже сам лежал в могиле, вор становился почтенным землевладельцем, а развратников частенько вводили в зал суда, поддерживая под руки, их же собственные внебрачные дети. Обычный ответ преступников и преступниц на только

что оглашенный приговор был, что они «не согласны с Верховным судом», и эти слова в сознании людей были почти столь же весомы, сколь и сам приговор.

Но у этого было и свое преимущество: в этой стране ни один человек не начинал день в убеждении, что его жизнь всегда будет именно такой, что именно в этой лачуге он будет торчать до конца дней своих. В стране неожиданностей можно было надеяться и на хорошее. В своих хлопотах люди связывали надежды и чаяния с крайностями этой земли и с приключениями. Морем выкинуло бревна! Или кита! Горячий источник забил! С разбитого корабля чем-то можно поживиться! Всего две зимы назад хуторянин из Дома-в-Бухте, что в Хейдинсфьорде, проснулся поутру – а на его земле выбросилось на сушу 80 косаток…

В глубине души каждый житель Исландии был убежден, что его земля может разверзнуться когда угодно, хоть завтра, и из ее огненной пучины к нему поднимется освещенный-оснащенный волшебный дворец со всякой роскошью и прекрасной дисой [106] или медоблагоухающим альвом. Страна, которая могла одним ударом убить всю твою семью, могла также вознести тебя на трон.

Глава 37
Когда церковь исчезла

Богослужения в этой местности на какое-то время прекратились, и сама Коса выглядела пустынно, даром что деревянных домов там стало больше на два, потому что Эгертбрандсен заказал себе собственный дом летом, по каталогу в Норвегии, и экипаж «Люсебергета» осенью сколачивал его на потеху местным жителям, а ведь порой зрителей у этого зрелища бывало больше, чем на сцене, – шутов-плотников разной степени опьянения.

К тому же новый торговец, Кристьяун Маркуссон, возвел для себя и семьи симпатичный дом рядом со складом товарищества «Крона». Древесину он купил у сегюльнесских фермеров: она вся была с разбитой французской шхуны, и боковые стены дома выгибались, словно корабельные борта, крыша напоминала штевень, а внутри деревянные конструкции пахли красным вином и яблочным бренди. Прозвище Трюм дали этому дому остряки, – что стало первым вкладом этих замечательных людей в развитие местности, ведь раньше в этом фьорде не было такой социальной группы, а сейчас поселок подрос настолько, что в нем нашлось место, где мужчины, любящие поболтать, могли бы стоять вместе у стены какого-нибудь дома тут или там, жевать табак и рассказывать байки. Появление болтунов-острословов было главным (если не считать постройки причала) свидетельством того, что в нашем фьорде стал складываться настоящий город.

Исчезновение церкви немного отбросило это развитие назад: Коса перестала быть похожей на настоящий городок и начала смахивать на временный поселок для сезонного промысла рыбы. Но, кроме капитана Нюволля, никто не принял пропажу церкви так близко к сердцу, как новая пасторша. Дом Божий был почти единственным свидетельством того, что здесь есть какая-никакая культура, что здесь думают не только о китах да акулах, норвежцах да аквавите. В этой церкви Вигдис два раза выступала с сольным пением и руководила церковным хором, и к тому же во время богослужений пела и играла на старом органе – «Фанфароне из вод».

Раньше она и помыслить не могла, что будет тосковать по всему этому, – сейчас во всем фьорде ни одной клавиатуры не осталось! И она

вновь и вновь сравнивала здешнюю жизнь с жизнью у себя дома: клавесин до́ма, церковь дома, магазин дома. Она не могла отделаться от ощущения, что здесь она в изгнании – а теперь вот и церкви не стало… На то, чтоб построить новую, разумеется, уйдет год или два. В глубине души она желала, чтоб епископ перевел преподобного Ауртни на другую службу, лучше всего – в Рейкьявик, в контору, – а что вообще пастору делать во фьорде, где нет церкви?

В то ветреное утро, когда церковь сдуло в море, Сугробнокосский пастор целых десять минут смотрел в окно на голый фундамент посреди кладбища и молчал. Очевидно, преподобный Ауртни переживал тяжелый удар. Позже днем пришел Нюволль, распустил нюни на воле и принес известие, что церковь не вернется. Пастор Ауртни продолжал молчать: судя по всему, он размышлял, как быть дальше.

Зато в последующие дни он на удивление приободрился и даже начал рассказывать истории из своей жизни в Рейкьявике, чего он обычно никогда не делал: о долгих пиршествах в доме фогта, о том, как он однажды с середины дня и до поздней ночи без остановки играл на фортепиано в одной пивной на улице Хапранстрайти. К Вигдис даже начала закрадываться мысль, что муж радуется, что с него сняли бремя – тяжкий крест, по крайней мере, об этом говорило его поведение. Как может пастор радоваться, что у него церковь улетела? Разве он не должен, наоборот, напоминать птицу с переломанными крыльями?

Это легкое настроение держалось у него и в следующие дни, преподобный Ауртни разговаривал исключительно о музыке, популярных песенках, датских и шведских, которые ему прислали по почте, или народных песнях, которые он записывал, а однажды вечером он сел и сам сочинил стихотворение: «С весною в сердце, бужу тебя, / прекрасная ты богиня…». Конечно, это был красивый поступок, и, конечно, интерес к музыке был ключом к их любви, – но все же дочери торговца была не по нутру эта ничем-не-связанность, эта вольница, так что в качестве благодарности за песню она сообщила ему о своей беременности, в надежде, что это пробудит в нем больше ответственности.

Ведь она носила ребенка, – что в конце концов подтвердилось после небольших хлопот.

Глава 38
Золотое вино

Повитухой в нашем фьорде была энергичная Гвюдфинна со Старого хутора, но она уже месяц как трудилась в Оудальсфьорде, где дети рождались один за другим, и Вигдис была вынуждена предать себя в руки врача, как и прежде, обретавшегося в старом Докторском доме, стоявшем чуть дальше вглубь Косы, чем Мадамин дом, на полпути до Хреппоправительского дома, крепко вставшего перед своими тунами сбоку от Болванского ручья.

Врач по имени Финн Г. Рейкьялин в ту пору жил там один, и дел у него было мало: несчастные случаи бывали редкостью в темное время года, когда люди в основном сидели по хуторам и вязали на спицах. А те, кто был хронически болен, уже давно махнули на этого врача рукой, потому что он в любом часу дня был пьян и вечерами долго сидел один со свечкой, поглаживал седую щетину на подбородке и пытался совладать с благородным искусством наливать в стакан хмельное, не расплескав, что не всегда легко давалось в густом алкогольном тумане, царившем в его гостиной. Но в годы учения Финн усвоил правило, что врачи из горлышка не пьют.

Вигдис уже давно могла бы узнать от мадам или экономки, что этот врач абсолютно бесполезен, да только она прежде никому не говорила о своем положении, даже подруге Сусанне, и тем более – мужу. Финн подошел к дверям в одной ночной сорочке с голыми ногами и лишь наполовину приоткрыл дверь, предоставляя девушке через эту щель рассказать, что ее беспокоит. Вид у врача был явно нелепый: борода клочьями, нос распух, – но Вигдис слишком верила в образованных людей, чтоб увидеть на нем следы алкоголя. С такими вопросами к нему на порог раньше явно никто не приходил, и ему пришлось долго почесывать свою редковолосую голову. Эта высокородная нездешняя барышня и впрямь считает, что такие события в ее утробе проходят по ведомству его, врача? Но так как она была пасторшей, он велел ей снова явиться с утра и принести с собой баночку утренней мочи.

На следующее утро она пришла к нему еще до рассвета, и он пригласил ее в свою контору, плюхнулся за письменный стол, поднес баночку к лампе, долго и тщательно рассматривал ее на свет, а потом

отставил и начал расспрашивать Вигдис о ее личной жизни. Язык у него заплетался, и сейчас она увидела, что он хорошо залил за воротник, даром что было около восьми часов утра. А врач даже не пытался скрыть этот факт и регулярно прихлебывал из большой рюмки, которую держал за одним фолиантом на письменном столе – энциклопедией человеческих хворей.

Юной мадаме стало ясно, что она пришла сюда зря. Но Финну все же удалось долго удерживать ее на стуле перед собой бесконечными расспросами о ее здоровье и обыкновениях, сердцебиении, мочеиспускании, кроветворении. Его тон был механическим, а мысли явно витали далеко. Он вроде бы записывал ее ответы крупным пером, которое от души обмакивал в красивую чернильницу, но она видела, что это просто каракули, которые часто вылезают за пределы листка, на шершавую поверхность стола, где постепенно образовалась маленькая непросыхающая чернильная лужа. В конце концов ей удалось ускользнуть: она встала, сказала на прощание, что, мол, потом видно будет, и шагнула в прихожую.

И тут она вдруг хватилась баночки, которую принесла, и вернулась в контору, – только чтоб увидеть ее в руках врача, который по-прежнему сидел в своем тумане и только что осушил сей кубок до дна. Но крупной капле удалось избежать выпивания, и мадама увидела, как ее собственная золотистая влага мерцает в ламповом свете такого же оттенка, просачиваясь сквозь заросли щетины на кончике подбородка врача.

Глава 39
Любовь и искусство

В конце концов утреннюю мочу пасторши исследовала экономка Халльдоура, за день до того, как церковь сдуло южным ветром, и сообщила, что в ее утробе зародилась жизнь. Согласно народным поверьям, надо было под вечер положить начищенную иглу в рукомойник, наполненный мочой женщины, и если к утру игла останется такой же блестящей, как была, то новостей никаких нет, а если на ней появятся пятна ржавчины, значит, та женщина ждет ребенка. На основе этого народного верования Халльдоура развила свой собственный способ диагностики, который, впрочем, сама не могла детально описать. «Я просто вижу, и всё», – был ответ крупнокостной экономки, и мастерство, как всегда, не изменило ей, потому что вскоре Вигдис начало тошнить по утрам.

Но если она надеялась, что весть о ее положении пробудит в ее супруге чувство ответственности, то напрасно. Эта новость так обрадовала пастора, что он стал еще веселее и беспечнее и с тех пор целыми днями просиживал за своими нотными листками и сочинил две новые песни в честь своей супруги и одну – в честь ребенка, которого она носила. «Легконожки в мир мы ждем, / любезной нам во всем…» Казалось, пастор совсем забыл, в чем заключается его служба, и Вигдис приходилось дважды просить его ответить на письмо епископа по поводу постройки новой церкви и не забыть его напоминания о необходимости продолжать в приходе интенсивную деятельность в бесцерковный период.

В конце концов преподобный все-таки раскачался провести поминовение Сакариаса В. Эйнарссона, который пропал в тот день, когда улетела церковь; ходили даже слухи, что он утонул вместе с ней в море. Это было похоже на правду, потому что этот простыненосец – знаток календарей обычно по целому дню или по полдня проводил в доме Божьем. Мысль о том, что его дряхлое тело летало между полом, потолком и скамьями в церкви, которую ураган катил вдоль Косы, была кровавой и вызывала дрожь. В итоге Лауси первым из всех подал идею завести в церквях Исландии ремни безопасности; эту идею услышали немногие, и, конечно же, больше никто ею не проникся, а ведь она

пришлась бы очень кстати, когда семь лет спустя ураганом опрокинуло одну церковь на Снайфетльснесе во время похорон, так что срочно пришлось рыть две новые могилы – «ураганные». Поминовение Сакариаса проходило в бадстове Старого хутора в присутствии его жителей и двух других пророков, оставшихся в живых, и сильно затянулось, потому что они оба хотели поделиться воспоминаниями о своем друге.

«А сейчас позвольте мне кратко обрисовать мое первое знакомство с Сакариасом Вауласом Эйнарссоном, согласно предоставленному нам скудному документу…»

По завершении этого мероприятия об исправлении других служебных обязанностей речи не велось, так как исчезновение церкви из хреппа, судя по всему, возымело тот эффект, что люди стали сдерживать подобные потребности. Месяцами жизнь шла своим чередом, а необходимости в пасторе не возникало: никого не нужно было ни венчать, ни крестить. Умирать местные жители и то перестали, ведь никому не охота прощаться с этим миром без приличного погребального обряда. Кроме Рождества, когда после ужина можно было отложить вязальные спицы, это было единственным из всех прав человека, распространявшимся на бедняков и батраков в бадстовах страны: право быть похороненным не хуже людей, в гробу, с псалмами и надгробным словом. Это отсутствие смертей дало острякам повод выдвинуть теорию: с тех пор как церковь сдуло, стало лучше, и теперь Сегюльфьорд превратился в рай, где людям уготована вечная жизнь. А сейчас осталось только чтоб этот треклятый врач тоже куда-нибудь исчез, тогда и болезней никаких не станет, и все будут здоровы.

Чем дальше, тем сложнее было пастору сдерживать свою радость. Ауртни просто переполняло счастье. Новый век не только дал ему супругу – великолепнейшую из всех мыслимых женщин, несмотря на то, что порой ее голова скрывалась где-то в облаках, – а еще и ребенка! К тому же этот новый век избавил его от всех повинностей. Теперь он свободный человек! И каждую неделю он узнавал о новых народных песнях, которые можно записать – а это был повод съездить вглубь фьорда или через Седловину, чтоб вытрясти древний напев из дряхлого старца в нищей лачуге, – как много давали ему эти священные визиты к прихожанам! Он каждый раз возвращался домой, напевая, так что супруга и ее подруга, видимо, думали, что он не выдержал испытание,

нарушил слово и пропустил рюмашку за горами, пронес бутылку домой под одеждой, – но нет, пастора опьяняли только счастье и радость бытия, любовь и искусство.

Он вновь обрел радость творчества. Он снова стал сочинять музыку! Теперь из него лились дивные мелодии – он стал композитором? Более того: они приносили с собой стихотворные строчки, естественнейшим образом, подобно тому, как речной поток несет с собой клочок мха, – он стал поэтом?

Глава 40
Любование цветком

Да, что же, собственно говоря, произошло? Стоило убрать из городка церковь, как жизнь в нем расцвела. Пастор сделался композитором, а пасторша стала ждать ребенка. Месяц гоуа обошелся без льдов на море, а Нюволль перестал пить!

Но самым явным знаком, судя по всему, был комнатный цветок, который внесли в Мадамин дом в огромном ящике незадолго до Пасхи, а в этом ящике были окошки и дырки для воздуха, и прислали его с Западных фьордов, из Бильдюдаля, дочери от отца по случаю добрых вестей; возможно, это также была попытка как-то обогатить и смягчить существование в этом обесцерковленном ветродуйском мерзлоземнике. Супруги Торгильсены вычитали между строк в письмах дочери печаль: «В эту зиму у нас не было ни какао, ни чая, так что мы оба начали пить кофе, словно какие-нибудь предводители акулятников. Может быть, к весне нам это даже начнет нравиться». Этот цветок носил сказочное имя Бегония и таил радость в трех закрытых бутонах. Ему отвели почетное место посреди столовой. Престарелые мадамы обрадовались, точно старые коровы по весне, но в самый большой восторг от него пришел сам пастор, и отныне никто, кроме него, не смел его поливать. «Он через этот цветок пьет», – бурчала Халльдоура на кухне над кастрюлей, полной тихо побулькивающей кашей из ржаной муки.

Раньше в Сегюльфьорде комнатных растений не знали, и вскоре о фрёкен Бегонии Торгильсен, как ее прозвали остряки, заговорили во всех бадстовах фьорда. «Но как может цветок расти в комнате? Не станут же в Мадамином доме для него устраивать земляной пол?» – «Да у них там вроде бы в горшке земля». – «В горшке? Земля в горшке?» – Это было настолько непостижимым, что у людей не хватало воображения представить себе такое.

Спустя месяц цветок стал так знаменит, что люди, отправляясь на причал или в «Крону», делали крюк до Мадамина дома в надежде своими глазами увидеть эту красоту. Дошло до того, что преподобный Ауртни прибавил к своему письму, которое рассылалось пастве и в котором говорилось о новой действительности в христианстве, что в последнее воскресенье апреля Мадамин дом будет открыт для тех

прихожан из фьорда, которые пожелают полюбоваться цветком и потрогать его. Примерно тридцать душ взошли на крыльцо пасторского жилища. А потом их небольшими группами стали впускать в комнаты из прихожей под строгим взглядом экономки Халльдоуры.

– *Uh, min gud, hvor det er skønt*[107], – сказала Ребекка с Пастбищного хутора, склонившись перед тремя розовыми цветками, расцветшими на этой неделе. Хотя телосложение у нее было как у троллихи, а движения размашисты (протискиваясь в гостиную, она пошатнула своим огромным задом столик с тем последствием, что вазочка, стоявшая там на вязаной скатерти, опрокинулась и полетела на пол, где раскололась на три части), ее душа велела ей говорить с цветком по-датски и произнести фразу, которую она хранила при себе с детства.

Она привела с собой дочь – щекохлопку Сюнну, рыжую девицу, на лице у которой высыпал град веснушек, тело было крепко сбитое, а руки узловатые, мужские. Она так выпучила глаза на Геста, когда спускалась с крыльца, закончив любование цветком, что на последней ступеньке споткнулась. Гест перевез через фьорд все женское население Нижнего Обвала: Сайбьёрг, Сньоульку и Хельгу, потому что и они хотели увидеть цветок собственными глазами, а потом решил зайти вместе с ними и в пасторский дом, и оказался одним из немногих мужчин, пришедших туда в тот день: он волновался, что будет с его конфирмацией, если церкви нет.

– Да, здравствуй, дружочек, ты же мальчик нашего Лауси, верно; я тебя в прошлом году нашел в кухне Хуторской хижины? Нет, к сожалению, боюсь, в этом году конфирмации не будет, но мы надеемся, что к лету здесь построят новую церковь, и тогда мы, наверно, сможем конфирмовать вас осенью, – сказал преподобный Ауртни мальчику, когда они стояли в коридоре, ведущем из прихожей в комнаты.

Кроме Геста конфирмоваться должна была вышеупомянутая Сюнна и еще одна девушка, Анна – тихая, бледная, которая порой бродила по Косе с пустым ведром для воды, дочь Метты из Мучной хижины. Гест слушал эту тираду пастора и не сводил глаз с его улыбки: было очень похоже, что пастор воображает, будто сообщает ему радостную новость – неужели преподобный не переживает из-за такого положения вещей? А потом они с пастором стали наблюдать, как три женщины с Обвала рассматривают гостиную, всех мадам и цветок.

Ведь для земляночников этот «день открытых дверей» был не в последнюю очередь возможностью наконец познакомиться с внутренним убранством Мадамина дома. Раньше лишь зажиточных фермеров приглашали сюда на великие возлияния преподобного Йоуна до и после богослужений. Тощему простонародью и прокопченным очажным дымом женщинам никогда не удавалось увидеть, как живет высшее сословие, и все эти рахитичные бадстовные обитатели с изъеденными морозом лицами и сырыми от пота волосами стремились как следует рассмотреть все эти комоды, буфеты, вазы, все подоконники, столики, коленки, груди, платья, скамейки, проволочки, руки, лица, шапки, кисточки, косички и прически, прежде чем черед дойдет до нового украшения дома – розовоцветного зеленолистика в черном жестяном горшочке. А потом – тем же путем обратно… ух ты, смотрите-ка, по-моему, это называется «дверная ручка», а тут, – ну ничего себе! – пол застелен покрывалом…

Корифеи – беловолосые вдовы – сидели каждая на своем кресле за столом друг напротив друга, словно куклы размеров *medium* и *small*, словно два более-менее реалистичных избражения в музее восковых фигур, и не моргали, а скривленные губы защищали их от исходящих от всей этой публики запахов хлева, вони дыма и ароматов очажной кухни, – и мечтали как-нибудь отыграться на пасторе Ауртни. Они десятилетиями жили здесь, не тревожимые людским сообществом, защищаемые духовными властями страны, на попечении фонда пасторских вдов, – два подчиненных подбородка, обретавшиеся в долгожданном отпуске от домашних работ, избавленные от своих кошмарных мужей и от их кошмарной паствы, – а теперь им приходилось лицезреть, как бабы с грубыми ногтями и их выводки, заходящиеся в кашле, а также затесавшиеся среди них моряки и сифилитики суетятся в их любимой гостиной. Обе они подумывали, не остаться ли им у себя наверху, но из двух зол меньшим было – стоять на страже своего имущества. Подумать только: некоторые из этих людей целых три часа шли пешком, только чтоб увидеть три розовых цветка на одном стебельке.

Этих людей ничем не спасти, подумала Вигдис и стрельнула глазами в сторону своей подруги. Они обе сидели в уголке у дверей. Сусанна же наклонилась вперед, чтобы видеть того мальчика, с которым Ауртни беседовал в коридоре.

– А летом здесь точно построят новую церковь? – спросил Гест. Какой он стал солидный!

– Да, это дело уже удалось пробить, – ответил пастор, но его слова звучали, по правде говоря, не очень убедительно, видимо, он не слушал. – А впрочем, погодите-ка, на днях сюда пришло письмо, адресованное вам. Вы ведь Элиссон? Гест Элиссон?

– Нет, Эйливссон.

– Да, точно, Эйливссон. Обождите-ка немного.

Гест проводил усача взглядом вверх по лестнице: тот при каждом шаге перескакивал через ступеньку – этот пастор был очень легок на ногу! Через миг преподобный сбежал вниз, держа белый конверт, который он и протянул неконфирмованному мальчику. Гест прочел свое имя, осторожно выведенное женской рукой, а под ним название фьорда. В правом углу была голубая почтовая марка, на которой красовались корона и слова «ИСЛАНДИЯ» и «40 ЭЙРИРОВ». Кто-то написал ему письмо. Кто написал ему письмо? Он снова и снова перечитывал свое имя, и у него слегка потемнело в глазах, он вдруг стал сомневаться, что это и впрямь его имя, что его в самом деле зовут Гест Эйливссон. Но потом он вновь пришел в себя, оторвал глаза от письма и обратился к пастору с совсем нового места, словно под ним сейчас выросла небольшая возвышенность.

– А вот по поводу строительства церкви. Я тут подумал… Могла бы на этой стройке найтись работа для моего отца Лауси?

– Эээ… да, Лауси, плотник? Ну… наверно, будет нелишним иметь это в виду.

Сейчас Гест ненадолго отвлекся, потому что светловолосая дева Сусанна чуть дальше высунула голову в дверной проем, и ее глаза встретились с его глазами в насмешливом взгляде, который у нее завершился небольшим всплеском смеха, а он не смог не послать ей в ответ улыбку – и тут же слегка покраснел; какая же у нее длинная шея! Какая шея! Его глаза скользнули по ней вниз, под ворот, его бросило в жар.

– Простите, что вы сказали?

– Мы будем иметь это в виду.

– А могла бы там и для меня найтись работа? Я его подручный.

Откуда в нем взялась такая уверенность! Он и сам себе немного удивился.

– Для вас? На строительстве церкви?

– Да.

– Э-э… это тоже можно будет иметь в виду.

– А мы можем об этом точно договориться?

Какая решительность у такого юного неконфирмованного мальчика, подумал преподобный Ауртни. Он уже вышел из очажного мрака в кухонном закутке Хуторской хижины – и далеко пошел. – Сначала надо посмотреть, когда начнутся работы.

– То есть этим летом они еще могут и не начаться?

– Ну… мы рассчитываем, что начнутся.

– Как эта работа будет оплачиваться?

– Что вы имеете в виду?

– В том году папа Лауси три недели работал на постройке причала. А за ту работу ему так и не заплатили.

Вот оно что: хуторянин с Обвала обрел не только сына, но и ходатая по своим делам!

– Не заплатили?

И снова Сусанна высунула свою головку в дверной проем, и на ее лице обозначилось легкое любопытство, а в глазах – даже какой-то намек на уважение. Какие ямочки на щечках! Какая кожа! Какие губы!

– Нет, ему должны были дать за это кредит в «Кроне», равный стоимости пяти ягнят, но это не заладилось. Он ведь живет в стихах, а не в верхах и часто туда не ходит. Кто будет платить за работу?

Сейчас Гест почувствовал, как сильно повлияло на него это письмо, как возвысило его – а может, это взгляд длинношеей девушки подзадоривал его, так что он начинал разговаривать как власть имущий, так громко и четко? А может, это его женщины, которые все еще осматривали гостиную, и эта пьеса разыгрывалась для них? И он хотел показать им, что его собственное место – на деревянном полу, он – не дитя землянки и даже может запросто разговаривать с государственными служащими. Объяснений этому он так и не нашел – просто чувствовал, что не может сдержаться, слова сами говорились.

– То… мне нужно проверить, – сказал пастор, при этом чувствуя легкую неуверенность и раздражение по ее поводу. – По-моему, платит государственная церковь.

– Да, было бы неплохо это выяснить, прежде чем приступить к работе.

Преподобный Ауртни решил, что теперь с него довольно: еще какой-то самоуверенный земляночник будет ему указывать! Но в этот момент Обвальские женщины вышли из гостиной, завершив розовое цветолюбование, и молча склонились перед слугой божьим, и только Сньоулька сказала, сильно поморщившись и сильно возмутившись:

– Ты с паттоом говоил?

– Да, – ответил Гест.

– Спева кофимуйся!

Маленькая Хельга, которой сейчас исполнилось девять лет, обводила высокого пастора глазами снизу вверх, пока ее взгляд не остановился на знаменитых усах, а потом посмотрела на своего Геста с выражением лица, которое говорило: «Да, конечно, он говорил с пастором, спрашивал, когда построят церковь, чтоб он там повенчал их двоих». При словах Сньоулёйг Гест закатил глаза, но тут встретил взгляд Сусанны – красивой взрослой женщины – и теперь разглядел, что рядом с ней сидит мадама Вигдис – да, конечно, значит, это и есть она, подруга с Западных фьордов, он слышал, как о ней говорили парни с Косы – и такой женской красоты он никогда не видел! Потом его взгляд упал на Хельгу, и ему стало слегка не по себе, когда он увидел, что здесь, в присутствии рукоположенного, она недвусмысленно состроила мину невесты. А затем в его ушах отдался, словно эхо, голос ее матери – женщины с телячьими зубами:

– Дамой пшли! Даить поа!

Глава 41
Земляночник

Жизнь – странная штука. Теплосердечная Грандвёр родила холодную как лед дочь, которая вышла за самого умного человека во всем фьорде, и вместе они породили эту придурковатую, докучную и некрасивую рабочую скотинку, которая от щуплого человечишки с жестяным сердцем родила самого красивого в этом фьорде ребенка – девочку, которая вся была – одна любовная страсть. Гест, в общем, был бы не против жениться на ней со временем, но ее маниакальная влюбленность так утомляла! Эти большие просящие глаза, день-деньской обожавшие его, смотревшие на него из всех закоулков жизни: закутков хлева, углов дома, – злили его. Он пошел за своими юбконосицами в прихожую, словно пастух за стадом, но на пороге все же обернулся и послал взгляд в дверной проем гостиной, где Сусанна опять улыбалась ему вслед.

Следующими в дом вошли Стейнка из Хуторской хижины и ее дочь Маргрьет – та самая, которая во время пасторского визита в позапрошлом году лежала больная под водяным покрывалом, которое нельзя было трогать. Сейчас ей исполнилось девять лет, и она сильно вымахала. Гест узнал их, но здороваться не стал, а поспешил на крыльцо.

Он не мог понять, хорошо это или плохо, что он не будет конфирмоваться. Внизу на площадке стояли двое парней с Косы; этих охламонов он узнал: Хемми из Трюма и Вальди с Молочного. Им удалось посмотреть на мальчика с Обвала снизу вверх, хотя он стоял на самой высокой ступеньке, раздувшийся от важности после разговора с пастором, и держал в руке письмо, адресованное ему самому. Гест сошел с крыльца, не глядя больше на мальчишек, и последовал за своими длинноюбочницами в сторону причала, словно миниатюрный неконфирмованный фермер с женой, дочерью и тещей. Шагал он как взрослый, как эдакий немного напыщенный земляночник, но при пристальном рассмотрении в этой походке можно было углядеть полуподавленное желание обратиться в бегство.

На горных склонах стоял апрельский звон, из ущелий щелкал зубами слабый ветерок, но туны были пегими от проталин, а к югу от

домов и оград притаились одряхлевшие сугробы, грубые, песконосные, и ближе к дому доходили в высоту до самых стен, при этом больше всего напоминая гигантские кляксы шпаклевки, которой эти лачужки пытались прикрепить к Косе на случай новых лавин. По кладбищу вышагивал сердитый ворон.

Гест слышал, как парень из Трюма, единственный настоящий купеческий сын в Сегюльфьорде, орет им вслед, передразнивая умственно недосталую Сньоульку: «Дамой пшли! Даить поа! Все равно жрать нечего! Ха-ха-ха!»

Едва он отчалил, разом настал штиль, и море показало отражения гор – картину, которую Гест потревожил своими веслами, которую он и не увидел, потому что в голове у него до сих пор был разговор с пастором, письмо и Сусанна. Ее лицо поразило его как удар ласкового кулака. Он никогда раньше не видел такой женщины – женщины, у которой была возможность холить свою красоту, женщины, которая не была побита морозом, вычернена дымом, у которой не было под глазами темных кругов от бдений. Письмо он заткнул себе под портки после того, как на конверт покосилась Сньоулька, и теперь оно похрустывало у него в паху, пока он греб, сидя на скамье в лодке.

Женщины сидели напротив него на корме. И когда он проплыл расстояние, превышающее длину лодки во много раз, и запарился, ему случилось бросить на них взгляд – и, кажется, сейчас его впервые посетила мысль, что они – его близкие. Конечно, его семьей они не были (в его представлении его семьей все еще были Копп и Малла, а также сестры Сигга и Тедда), но он сроднился с ними, даже привязался (он сам только что обнаружил это), потому что вдруг ощутил к ним неожиданную симпатию.

Вот она сидит, со своими большими глазами, Хельга Любящая, и не сводит их с него. Позади нее – ее бабушка Сайбьёрг, зашаленная и оюбоченная, с крепко сжатыми губами, глазеет поверх водной глади и следит, чтоб ее взгляд не упал туда – такое отвращение она питает к морю. Хотя Гест прожил на хуторе этой женщины без малого два года, она все еще так же далека от него, как и в тот день, когда он впервые пришел туда. Наверно, быть женой Лауси непросто. А может, просто быть женщиной так скверно? Он попытался представить, что может быть отрадой для этой тонкогубой и худощекой особы, но не смог:

казалось, ей докучало все, и даже внуки – Хельга и Бальдюр – не доставляли ей никакой радости: «Ну-ну, только смотрите не разлейте!»

На скамье перед Сайей, рядом с Хельгой, сидела эта гримасничающая скотинка – ее мать, Сньоулёйг Сигюрлаусдоттир, пялясь своими огромными передними зубами на фьорд. Одному Богу было ведомо, о чем она думает, эта женщина, которую было так трудно полюбить, но к которой все в глубине души относились по-доброму. И сейчас Гест тоже наконец почувствовал это: к собственному удивлению, он вдруг начал ее жалеть, эту преданную душу, заточенную в это уродливое тело. Потому что сейчас ему вдруг стало ясно, что на самом деле эта лачуга, вся эта жизнь на склоне горы держится только на ней, что именно она день-деньской поддерживала все в движении, доила коров и овец, подгоняла людей и собаку, на спицах вязала за троих, а любила за семерых (потому что любви больше всех у того, кто не получает ее взамен). Да, конечно, она была единственным на этом хуторе человеком, с которым все состояли в родстве. Кроме него, разумеется. Она была сердцем семьи. Те, кто видит лишь поверхность, не понимают жизни. Кто судит людей по внешности, тот тем самым делает внешность зеркалом своего характера. Из двух зол большее – определенно: быть снаружи красивым, а внутри уродливым. Хотя фасад этого хуторка показывал, что это самая что ни на есть мерзкая лачужка, за ним таились несметные богатства – он это осознал, – богатства, которые он понимал не полностью и не всегда, но все же так или иначе понимал их ценность. Книги Лауси, его ученость и поэзия, Холодномысские римы, мастерская со всеми инструментами, старая Грандвёр и маленький Бальдюр, производство рукавиц, антилавинная веревка и его овечка Айсина – всю эту жизненную взаимосвязь невозможно было описать одним словом «землянка». А ведь он совсем забыл славную собачку Юнону, которая пропала во время церквесносного урагана в начале этого года, а полмесяца спустя объявилась снова без всяких объяснений, словно сбегала на небо в собакочистку. Может, для него было бы лучше всего признать ту любовь, что сидела напротив него в лодке, стать зятем Сньоулёйг, а потом вступить во владение хозяйством Нижнего Обвала, стать фермером среди фермеров? – Греби! – гаркнула тут на него скотинка Сньоулька: он задумался и перестал налегать на весла. – Дамой пыви! Даить поа!

Глава 42
Красота, нищета

В Мадамином доме земляночные чудища продолжали любоваться цветком. Преподобный Ауртни с одной и той же улыбкой приглашал всех войти. И конечно, Стейнку из Хуторской хижины тоже – ведь разве не под ее крышей возникла исландская академия музыки?

Из всех баб этого хреппа она была самая неприглядная: наполовину лысая, с патлами, свисающими вдоль обмороженных щек, каждая морщина на ее лице была до краев полна копоти, так что казалось – эта женщина сплошь покрыта черными шрамами, а на лбу прямо над левой бровью красовалась вечно красная шишка, из которой порой сочился непонятный прозрачно-белый гной, капавший на бровь и засыхавший на волосках, так что у нее все время был шершавый бугор над глазом. Ее губы все потрескались, и некоторые трещины были влажны от крови. В верхней челюсти не хватало обоих передних зубов, так что казалось – она прямо угрожает людям этим фактом, потому что, открывая рот, она всегда до десны обнажала верхнюю челюсть, сильно выступающую над нижней. От этого обнажения десны всем становилось не по себе, потому что двойной кратер, оставшийся от передних зубов, был черным-черным, и эта чернота заходила высоко на десну, словно зубы в ее рту спалились. Ее одежда, по обыкновению, была заношенной, занюханной и запачканной. Сзади на внешней юбке она носила твердокаменную навозную блямбу, которая, очевидно, болталась там еще с Рождества.

Не переодевалась она с конца девятнадцатого века.

У Вигдис тошнота подступила к горлу, как только она увидела, как эта женщина, согнувшись пополам и покачиваясь, вошла в гостиную, с руками, замершими в положении для вязания, так что локти торчали позади, словно короткие неоперенные крылья. В отличие от других гостей, она решительно пошла напрямик к столу, – ведь, несмотря на всю ее неряшливость, про ее поступки всегда можно было сказать: «Чисто сработано!» Вигдис и Сусанна видели эту беднячку на богослужениях и ежились, – но увидеть ее здесь, в этой гостино-безделушечной обстановке, в их собственной комнате, где она была на сцене одна, – было еще более пугающим. Подруги раньше никогда не

сталкивались с человеком в таком позорном состоянии; запах от нее стоял такой, словно за ней столпилось целых восемнадцать покойников. А Ауртни еще и здоровался с ней за руку!.. Это была крайне неподходящая обстановка для женщины на сносях! У этой троллихи мог оказаться французифилис, желтуха, даже проказа, и поговаривали, что она убила своего мужа ядом и молотком. По всем этим причинам каким-то уму непостижимым откровением казалось то, что девочка, держащаяся за ее зловонный подол, была прекраснейшим цветком, который в жизни видели глаза подруг, – даже красивее, чем девочка, которая побывала здесь только что, а сейчас ушла, Хельга, дочь Сньоульки с Нижнего Обвала. Если бы только здесь присутствовал датчанин-фотограф, личико этой девчушки попало бы прямиком на открытку. И как только такая красота вышла из такой паленозубой пещеры – ее мамаши?

Никто из гостей не стоял у цветка дольше, чем Стейнка из Хуторской хижины, никто не был пленен его красотой больше нее.

– Просто чудо как красиво! – простонала женщина, склонившись перед этой яркой святыней, сверкая дыркой в зубах в светлое воскресное окошко.

Старые мадамы дважды моргнули веками, словно веерами, которые могли бы отогнать густое зловоние, исходившее от хуторянки, но в остальном не шелохнулись, не шевельнули ни губой, ни пальцем.

– Да, дивная красота! – стонала Стейнка. – Значит, вот какие у пастора детки? От него только соцветия родятся? Да, наверно. Он как есть святой. А что же это за цвет?

Никто не решился ответить. Все были сражены ее дерзкими словами. А преподобный Ауртни в коридоре глотнул кадыком.

– Как называется этот цвет?

– Это розовый, – проговорила наконец Сусанна.

– Розовый? Такого цвета в нашем языке нет. Это какая-то датская хреновня.

– Розовый – исконно исландское слово. В «Саге о Ньяле» Гуннар из Хлидаренди его употребляет[108], – сказала Вигдис с тяжелым упреком в голосе.

– Это его и сгубило, – отозвалась баба.

И тут она сделала то, чего тоже никто другой не делал: просунула голову, свою пресловутую черепушку, над столом, пока запутавшийся в

волосах кончик носа не дотянулся до самого большого цветка, этого ярко-розового празднества, и начала нюхать, изо всех сил шумно вдыхать аромат, словно от этого зависела ее жизнь, словно она нашла источник вечной юности и с каждым глотком продлевает свою жизнь на одно лето. Вигдис вскочила и выбежала на середину комнаты: да что она там творит? Жует ее цветок? Нет, вроде бы не жует. Но вдруг она выпивает из него жизненную силу? Если она и дальше так будет продолжать – вдруг она его убьет? Девочка Маргрьет стояла рядом с матерью и безучастно смотрела в окошко, со своим ангельским профилем, и, казалось, не проявляла никакого интереса к розовой цветочной красоте. Вигдис с Сусанной не могли оторвать от нее глаз: неужели Бог создал себе ангела в землянке? Но самым непостижимым для них было – насколько мать и дочь были схожи. Значит, и мать когда-то была таким же цветком, но суровая жизнь с годами превратила ее в то, чем она стала сейчас? И этот ангелочек через несколько десятков лет превратится в такую же троллиху? Ах, как жестока эта страна.

– Ох, какая роскошь! Ох, какое чудо, ах, мой единственный… – стонала Стейнка из Хуторской хижины между вдохами.

Вигдис едва не одернула бабу: она собралась вынюхать эти розы как табак?! – но побрезговала дотрагиваться до горбатого склона, который представляло собой ее плечо, а материал ее кофты лоснился оттого, что терся о косовище и коровьи ляжки. Но этого и не потребовалось, потому что, прежде чем смердящая баба вынюхала из цветка всю жизнь, она отвела от него свою голову и обернулась – юная пасторша никогда еще не видела столь безобразной радости, столь прекрасной троллихи: лицо бабы сияло всеми своими шишками и бугорками, кровавыми трещинами и зубными кратерами, как будто ярко-розовый оттенок цветка примешался ко всем краскам ее лица и поднял их в рдяно-светящийся восторг. На кончике носа, на вершине шершавого бугорка на левой брови, на гнойной мокрети в шишке на лбу, на блестящей верхней губе, в овечье-серых вечно мокрых зрачках – везде виднелись бегониево-розовые проблески величиной с булавочную головку: она искупалась в красоте цветка, втянула в себя его цвет и запах, текстуру и великолепие и сейчас стояла перед носом у Вигдис словно человек, сподобившийся спасения души, которому осталось только сказать: «Ну вот, теперь можно и умереть спокойно».

Затем она сказала «спасибо» и стала понукать дочь. И они в мгновение ока исчезли из гостиной, с этими отведенными за спину лоснящимися локтями. В гостиной остались стоять и сидеть две подруги с Западных фьордов и старые мадамы: они пытались отогнать от себя ощущение, что все они (но отнюдь не та, которая только что ушла!) вообще не умеют наслаждаться красотой, потому что она для них слишком буднична.

В коридоре Стейнка попрощалась с пастором. А затем послышалось, как она громко сказала, как только они с дочерью вышли на крыльцо:

– Ну, Магга родная, вот ты и посмотрела к ним в нутро. У них там не жизнь, а тощища бесскотинная!

Осенью двадцатилетняя батрачка с Молочного родила девочку, которую окрестили в лучшей гостиной Мадамина дома и дали имя Бегония Аурелия Андресдоттир в присутствии ее тезки в черном жестяном горшке. Утверждали, что отец девочки не кто иной, как норвежский капитан-китобой Андерс Нюволль.

Глава 43
Болтовня на подушке под вечер

Зрелище того, как это исхлестанное снегами лицо обрело свою весну, свою радость, свою жизнь, произвело на Вигдис столь сильное впечатление, что в тот вечер она долго лежала головой на подушке в задумчивости и расспрашивала мужа о подробностях его визита в Хуторскую хижину. Ей больше всего хотелось на следующий же день съездить в эту хижину, потому что она раньше не встречала такое чудо-юдо. Как живут такие люди? А что с девочкой, с Маргрьет, какова будет ее жизнь?

– Это землянка с поперечной балкой, а бадстова там с хлевом. И вонь, и течь там были просто жуткие, но обстановка все же была довольно теплая, несмотря ни на что. А к тому же у меня там состоялась та судьбоносная встреча. Тебе надо съездить туда с Хавстейнновой Мильдой, она туда регулярно заезжает и передает им всякое разное. – Но говорят, она убила своего мужа?

– Не знаю; на теле покойного повреждений не было. Правда, он весь осклиз, из него выступили жидкости, а под ним была просто каша. Если кто-то и знает, что там произошло, так это дети – Маргрьет и ее брат Гисли. Ну и Гест с Нижнего Обвала. Он был у них, когда Эйнар умер.

– Эта Маргрьет просто невероятна: она как будто вышла из холма альвов.

– Да. Как сказал не помню кто, самый красивый цветок расцветает на куче навозной.

– А Гест – это тот, который пришел с матерью и дочерью: этой ограниченной и …?

– Да, очень умный паренек, ему этой весной было бы надо конфирмоваться.

– Да, прямо так и чувствуешь что-то значительное в его глазах, под всеми этими волосами. Сусанне он показался таким талантливым. И симпатичным.

Пасторша слегка посмеялась над своей подругой и вздохнула красивыми глазами, затем повернулась на бок, к мужу, и получше натянула одеяло на плечо.

– Да. У меня такое чувство, что в нем сокрыто много, хотя жизнь у него до этих пор была трудная.

– Да? Почему ты так сказал?

– Ну… его мать и сестра погибли в снежной лавине, вернее, их завалило снегом, когда ему было два года, а через некоторое время он потерял и отца. Тогда он стал воспитываться у торговца в Фагюрэйри; поговаривают, что он и есть настоящий отец мальчика, ведь, как мне говорили, этот торговец часто приезжал сюда ловить рыбу в озере и в реке. Да, Кристмюнд из Лощины как-то заявил мне на ухо, что его мать была любовницей того торговца. Она, очевидно, была очень привлекательной. А раньше она батрачила у него в Лощине. У этого торговца, как говорят, по меньшей мере трое внебрачных детей в Фагюрэйри, так что… да. Его жена, она… Господь с нами, она уже стала просто развалиной.

– А что стало с мальчиком потом?

– Да, вот именно, он, то есть торговец, больше не смог держать его у себя, правда, мне не известно почему, и послал мальчика опять в наш фьорд, к Лауси. Но я подозреваю, что это из-за его жены, она вроде бы так и не примирилась с существованием этого ребенка. А вот мальчонке здесь, напротив, не понравилось, и через короткое время после прибытия он сбежал на французскую шхуну и целое лето плавал с французиками, а там для него житье точно было не райское, судя по тому, что мне рассказывали про то, что они вытворяют со своими собственными мальчишками. Кристмюнд одного такого нашел на взморье, то есть мертвое тело, и у него были отрублены два пальца. Гесту удалось удрать со шхуны, но обратно к Лауси и его семье он вернуться не смел и спрятался в Хуторской хижине у этой бабы, у Стейнки, у которой на лбу такой рог… – А сейчас он вернулся?..

– Да, сейчас он уже две зимы прожил у Сайбьёрг и Сигюрлауса и хорошо справляется.

– Везде тут истории. Так много всего происходит необычного. Например, сегодня эта баба перед цветком. Это было как будто… как какая-то ведьма… как само прошлое.

– Да. А как себя чувствует наше будущее? – спросил пастор и улыбнулся своей счастливой лукавой улыбкой, чтоб положить конец этому серьезному разговору и дать слово самой жизни, – и при этом

просунул руку под одеяло Вигдис и потрогал ее натянутый плодом живот.

– Я ее уже чувствую. Она начала шевелиться.

Они рассмеялись, словно два счастливчика, и преподобный Ауртни спросил себя, как долго может длиться такое счастье, – и тотчас ему чуть-чуть взгрустнулось, потому что ответ был очевиден: до тех пор, пока здесь снова не построят церковь.

Глава 44
Чтение в овчарне

В тот же вечер Гест отправился в овчарню, взяв с собой огарок свечи, который он зажег в кухне. Ему удалось удержать этот небольшой огонек всю дорогу до овчарни, а там он пристроил свечку в яслях, чтоб читать при ней письмо. Овчушки косили глаза на огонь, жуя последние охапки зимнего сена.

Гест аккуратно вскрыл конверт погнутым мелким гвоздем, и когда он увидел подпись, его сердце забилось сильнее. Значит, она получила его письмо на доске? Конечно, нет, ведь он его и не отправлял; в последний раз он видел его к северу от стены дома, значит, его туда унес ветер, и оно валялось там, словно какая-нибудь игрушка непогоды, и вырезанные буквы стали совсем не видны. Но ведь она – особенная, она и без всяких писем уловила его мысль через горы и фьорды.

Гвендарстадир, третье число февраля, год 1901
Милый мой дорогой Гест!

Я пишу тебе эти строки, чтоб сообщить новости о доме и о твоей Маллёшке. В минувшие полугодия мне часто доводилось думать о тебе, и я уже давно замыслила написать тебе порядочное письмо, надеюсь, ты простишь мне мою лень: у меня дошли руки до этого лишь сейчас.

Знай, дружок, что час нашей разлуки наступил слишком внезапно и оказался для нас обоих тяжким бременем, при том как я и мы все любили – и до сих пор любим! – тебя. Некоторое время спустя после того, как ты покинул дом супругов Коппов, мне тоже пришлось его покинуть. Злосчастье породило свое дитя, и мне пришлось покориться этому. Я все еще тоскую по той хорошей жизни, которую торговец предоставил мне под крышей своего дома, и каждодневно молюсь за его супругу. Мне пришлось наняться на восток, за хейди [109], и я уже две зимы как состою здесь в работницах у одного вдовца.

Житье и служба здесь сносные, хотя, разумеется, не идет ни в какое сравнение с нашими счастливыми годами в Фагюрэйри.

Милое дитя, знай, что я думаю о тебе каждый день и надеюсь, что ты хорошо проводишь время в своем родном фьорде. В Рождественский пост сюда приходил один бродяга, который знает тебя в твоих краях, и он принес оттуда интересные рассказы, а еще песни. Я бы многое отдала, чтоб увидеть тебя рядом с собой, живого, в вечернем свете, но жизнь, видимо, этого не позволит. Посему мне придется довольствоваться этим письмом. Но подумай же обо мне, мой милый Резвунциус! И съешь за меня одну клейну из кладовки!

Да хранят тебя все добрые духи. И да сопутствует тебе удача везде. Ты всегда будешь много значить для меня.

Навеки твоя, Малла.

P. S. Если ты все же станешь думать обо мне, то спой ту славную вису, которую, я надеюсь, ты еще хранишь в памяти. Тогда я буду рада.

Гест, лежавший в яслях, словно подросший ребенок, поднял глаза от шелестящей страницы и встретился взглядом со своей годовалой овечкой Айсиной, которая стояла, пережевывая свои минуты на земле, и, похоже, у нее глаза тоже были мокры. В глубине овчарни громко блеяли. Какую вису имела в виду Малла-мама? Он ее, кажется, забыл.

Но добрая экономка это предусмотрела: на обороте письма Гест обнаружил четыре строчки мелким почерком и прочел:

Гест в кладовке за глаза
сдобу уплетает.
В жизни кончится гроза —
Маллёшка обещает.

Маллёшка обещает. Тут Гест расплакался. Четырнадцать овчушек прервали жевание сена и обратили свои глаза и уши к его

всхлипываниям. Его рыдание было одним тихим жалобным тоном – чистым исландским тоном зари времен, освещенным единственной свечой в овчарне, полной мрака.

Книга 3
Утро на Марсе

Глава 1
God dag![110]

Весной, в три часа пополудни к Сегюльнесу подплыло будущее, нагруженное до отказа, и вскоре бросило якорь в Затоне. Это случилось в ясный тихий вторник. Ветерок то тут, то там пестрил морскую гладь темными волнами, а в остальном вода была зеркалом для небес.

Сюда пришел самый большой парусник, который когда-либо видел этот фьорд – роскошное судно «Аттила», на котором красовался норвежский флаг со значком унии со Швецией, ведь на бумаге Норвегия все еще принадлежала Швеции, как Исландия – Дании. Народ стоял на камнях и смотрел на прибытие корабля, о котором даже почтенному хреппоправителю и директору порта было неизвестно, и кто-то даже сказал слово «бриг». Какие паруса, какой бушприт, какой кильватерный след! Мачты у него три, и на фок-мачте три паруса, а на грот-мачте четыре. И по этому мачтовому лесу снуют легко одетые матросы, словно ловкие цепкие мыши-малютки, крепят и подвязывают эти паруса.

О, этот возвышенный мир!

Гест со своим стадом стоял на середине горы и как завороженный во все глаза смотрел на это многопарусное чудо. Эпоха парусников, продолжавшаяся несколько тысячелетий, решила сделать прощание ярким и запоминающимся. Гест не мог оторвать взгляда от корабля, пока тот не бросил якорь на рейде с внутренней части Косы. Когда якорные цепи потянулись из клюзов, грохот раздался такой, что во всех горах отозвалось эхо. Тут наш пастух очнулся и увидел, что от шума все его стадо разбежалось, а собачка Юнона исчезла. Такой звук совершенно не подходил к той древнегреческой жизни, которую здесь вели: в этой Аркадии не бывало звуков громче собачьего лая. Гест увидел, как Лауси опрометью выскочил из дома и посмотрел на склоны гор, проверяя, не случился ли обвал.

На палубе корабля покоился огромный штабель древесины пилено-светлого оттенка. Эта шхуна была, очевидно, слишком велика, чтоб решиться подойти к местному славному причалу (который сейчас, казалось, съежился от ночной росы), поэтому всю древесину с роскошным плюханьем вывалили за борт, а потом вытянули на сушу.

Это были стройматериалы для сельдезасолочной базы: причала для выгрузки сельди, сельдезасолочного помоста и склада для засоленной сельди.

Слово-то какое! Такое чуждое – и одновременно долгожданное. Едва люди услышали его, ими овладело желание отойти в уголок и там в одиночестве посмаковать его: «*сельдезасолочная база*», – во всех этих звуках «с» и «з» так и слышались шум и суета, которые оно сулило. Люди увидели, как их жизнь поднимается вверх, словно мачта из моря, с соленым шепотом.

В минувшем веке норвежцы промышляли селедку в различных фьордах Исландии примитивными способами при неровных результатах. В иные годы бочки и кошельки оказывались полны, а затем приходило бесселедочное лето, льды на море, кораблекрушения. А сейчас, видимо, надо было попытаться снова, на новом месте и более интенсивными методами, чем раньше. До сегюльфьордцев раньше доходили лишь смутные слухи об этом «исландском приключении» норвежцев, а об их новых планах им совсем не было известно.

Хреппоправитель наскоро оделся и теперь поджидал в конце причала (одна нога на твердом берегу) в своем официальном костюме – синем пальто с золотыми пуговицами и фуражке в том же стиле. Ему, вероятно, показалось чересчур дерзким стоять на краю причала, поэтому он поджидал в дальнем конце, как ласково-напряженный жених в церкви ждет, когда же будущее выйдет на это место событий – на эту сцену, ведь от корабля в сторону причала уже полетела шлюпка. Может быть, Хавстейнн и осознавал, что из сотни хреппоправителей Северной Исландии именно он оказался избранным встретить новые времена, новую эпоху – потому что сюда явно явился сам Двадцатый век во всей своей мощи, на всех парусах – тот самый, который в заключительные месяцы своего первого года проплыл мимо фьорда и его жителей. И может быть, хреппоправитель ожидал, что воплощением новых времен будет юный нездешний световой дух, какой-нибудь технически мыслящий сверхчеловек из этого диковинного мира рей и парусов. Но история никогда не разворачивается так, как пишут в исторических книжках, и лик каждого мига – всегда сверхточный слепок того, чего мы как раз не ждем, – и сейчас на причал ступил такой знакомый широкобрюхий и пухлолицый ровесник хреппоправителя в капитанской фуражке – вбежал на причал с трубкой

в зубах и короткими штанинами, трепыхающимися при его колченогих шагах. – *God dag!* – поздоровался норвежец и пожал руку властительным рукопожатием, которое разом сказало все:

«Мы прибыли, скажите нам за это спасибо, и мы останемся здесь в последующие годы или даже десятилетия; сбор платить мы будем, не сомневайтесь, но не сомневайтесь также и в нашем праве устроить здесь свою базу, потому что – у вас самих-то что есть? – Ничего! Но конечно, это все будет сопровождаться конфликтами, столкновениями, дебошами, драками, особенно если дело не обойдется без выпивки, а уж поверьте, без нее здесь не обойдется! Также в этих пьяных объятьях будут возникать любовные связи, от них пойдут дети, но не волнуйтесь, мы – ветви одного ствола, одной расы, да к тому же вам давно пришла пора обновить свой генофонд, сделать вливание, вкачивание, инъекцию, потому что, как вы сами смогли бы заметить, если бы не были таким местным чиновником, какой вы есть, что у вас здесь нет никакого лада, никакого *дрифта,* никакой жизни, никакого будущего, никаких мечтаний. Здесь у вас все закоснело в малоумии, малообщительности, малоинициативности и малолюдстве, и даже церкви здесь нет, – кстати, а церковь вам нужна? Церковь мы вам можем построить за три дня, если хотите, во всяком случае, церковь быть должна, так что давайте договоримся: мы строим церковь – добрый день!»

Молниеносно выпалив это все – при этом не сказав ни слова, кроме этих двух: *“God dag”* – насмешливый шкипер улыбнулся из-под своих глаз-мешков, и его взгляд был таким дружелюбным, что Хавстейнну ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ, произнести мысленно слово «стурартово!» и предложить табакерку. Но норвежец помахал своей трубкой и ответил снова безмолвно – взглядом он произнес целую сложную фразу:

«Спасибо, не надо, я только курю табак, причем английский, да только я, перед тем как сойти на берег, забыл набить трубку, кисет остался на борту, а с трубкой я никогда не расстаюсь. Я с ней буквально спать ложусь. Ведь лучший друг каждого капитана – это его трубка: должен же он за что-то держаться, когда шхуну качает и мир теряет точку опоры, – тогда просто необходимо за что-то крепко держаться, да, крепко держаться; а это, значит, Сегюльфьорд, прелестное местечко в такой день, только, как я уже сказал, тут нет движения и вообще ничего

нет. А где же ваши добрые хозяева? Датчане где? Я их не вижу. Датчан здесь нет, и вообще никого и ничего нет, зато здесь есть мы – норвежцы! Забудьте датчан: они не умеют ни по морю ходить, ни рыбу ловить, умеют только драть поборы и забивать свиней! Зато здесь есть мы. Там, где всего не хватает, есть мы – норвежцы!»

Несмотря на то что шкипер так и лучился прямотой, словно недавно отчеканенная монета – новизной, этот пожилой норвежец оказал на хреппоправителя по-странному успокаивающее действие. Хавстейнн опасался, что его знаний норвежского языка окажется недостаточно для такого большого корабля, – но сейчас перед ним стоял человек, который разговаривал не языком, а глазами и понимал все, особенно невысказанное. Такие люди редкость – но он был как раз одним из них; он сказал, что его зовут Ляйф Лауритсен. Хреппоправитель пригласил его к себе в дом, и они побрели по пыльной земляной тропке: один квадратный и покачивающийся, другой – круглый и колченогий.

Остряки, настроенные антинорвежски, недовольно косились на них из-под стен домов: они ясно видели, что те оба хохочут. Вот это очень по-хреппоправительски! Он просто взял и пригласил того взгромоздиться на свою Подбородочницу! Это, небось, такому норвеголизу по нутру! Вы только гляньте, как он подлизывается, как заискивает, даже походку и то изменил!

В чем-то они были правы. У Хавстейнна в груди теснилось странное чувство. Все это было слишком большим. Слишком большим? Да, чересчур большим, великим, даже стурартовым! Как все это сочеталось? Этот корабль, эти паруса, эти бревна и доски, эти планы… и название «Аттила»! Что это было, если не вторжение? Может, ему следовало бы доложить об этом управителю страны или даже самому королю? Внутри него поднимались столбы пара – горячего непривычного пара, который пробирался между органами и конденсировался в каплях пота на лбу под фуражкой исландского хреппоправителя. От мысли обо всем этом количестве бревен и досок у него кружилась голова, и слава богу, если под пятками не вырастали какие-то там пружины. Ему казалось, что он вот-вот подпрыгнет и опишет над капитаном большую дугу, словно игрушечный клоун на пружинке, и поэтому он изо всех сил старался не отрываться от земли. Хавстейнн надеялся, что по нему незаметно, что он сейчас

переживает, – а ведь тут под стеной дома стояли двое юношей и смотрели на него прищурившись – и вроде бы один из них был тайный сын Кристмюнда из Лощины?

Хреппоправитель ничего не мог поделать: перед глазами у него так и стояло, как вся эта белая древесина складывается на Косе в какое-то грозное укрепление, непривычное и странное. Мог ли он, как хреппоправитель, дать им на это разрешение? Должен ли он был продать им эту землю? А можно ли продавать землю иностранцам? Позволил бы такое преподобный Ауртни? Разве не вся земля на Косе принадлежала церкви? Он воспарил настолько, что буквально перестал знать то, что знал.

А где же пастор? Почему он не пришел? Это его чертово семейное счастье чересчур уж затянулось. С тех пор как церковь сдуло и родился первенец, пастор стал уже почти не пастор и даже не член совета хреппа, а с головой ушел в этих своих женщин в Мадамином доме, любовь и музыку! Броситься в крайности можно абсолютно во всем. Хавстейнн велел своему младшему мальчику, Лаурусу, который выбежал навстречу ему и капитану, привести пастора: он чувствовал здесь потребность в руководстве. Как только хреппоправитель, подтянутый и проворный, взбежал на крыльцо своего дома впереди капитана-норвежца, он увидел перед своим внутренним взором беловолосого Кристмюнда, сжавшего кулак: «А как же акулий промысел, Хавстейнн?!» А за его спиной толпа пищала: «Пусть эти гады нам платят!», «Не надо нам в нашем фьорде никаких треклятых предприятий!», «Норвеголюб!»

Несмотря на это все, он открыл свой дом будущему и пригласил его пройти, а после этого на миг обернулся на крыльце, чтоб посмотреть на Морекамень. Он яркозвездно искрился на весеннем солнце на старой каменной кладке. И – это было нельзя отрицать – камень явно улыбался ему. Вот это стурартово!

Значит, сказка уже пришла?

У Хавстейнна на душе было как у многих, кто вдруг не по своей воле оказался на перекрестке времен. Длинную темную зиму он потратил на препирательства из-за крон и эйриров в бесконечной переписке и на собраниях, посвященных плате за хранение китовых туш, вопросам о днях и часах, которые надо прибавить или убавить, о том, вводить ли льготу за большое количество китов, снижать ли плату

по воскресеньям… – но вся эта долгая возня вдруг померкла перед внезапной волной весеннего солнца и цветов, так что больше никому не было видно, о чем шли споры в темноте. Ведь так ведет себя история. Она заставляет нас спорить о миллиметрах до полного изнеможения, а потом приносит целые метры и впихивает в нас, а мы к тому времени уже настолько усталые, что безропотно их проглатываем.

Сын хреппоправителя, запыхавшись, прибежал на порог гостиной с вестью, что преподобный Ауртни еще рано поутру уехал верхом в Хейдинсфьорд собирать народные песни и раньше завтрашнего утра домой не явится. Да уж, у каждого во фьордах свое счастье, подумал Хавстейнн и отослал мальчика, но маленький Лаурус тотчас вбежал обратно и возбужденно объявил отцу: «Они начали таскать доски!» – а затем умчался на Косу.

Едва якорная цепь громадного «Аттилы» дрогнула, бревна и доски побросали в море, и сейчас, когда капитан сидел за кипятком для кофе в гостиной у хреппоправителя и его супруги, сии столбы от почетной скамьи уже были на берегу[111].

Не слишком ли это велико, не слишком ли быстро? Во всяком случае, эту деятельность проклинали на нескольких хуторах, где фермер стоял во дворе, широко расставив ноги, приставив к глазам ладонь козырьком, чтоб лучше видеть, сосредоточивал взгляд на том, что происходило на Косе, и ругался в бороду.

А еще и эта уму непостижимая тихая весенняя погода… Что здесь вообще происходит? Все здесь летит к чертям?

Глава 2
Дым в гостиной

Лауритсен выражал каждому глотку почтение тем, что вынимал на время него трубку изо рта, но не откладывал ее в сторону, а держал в правой руке за чубук – крепко, как обычно держатся за опору в жизни, – а левой рукой в это время подносил чашку к губам. Жар кипятка он употреблял не прихлебывая.

Как и другие норвежцы, он обращался к Хавстейнну – «ленсманн», и это заставляло рядового исландского хреппоправителя держать голову выше. Капитан изложил ему планы на лето и сейчас говорил уже не только глазами: «Аттила» пробудет здесь недолго, но оставит троих норвежских плотников – настоящих кудесников, которые слагают бревна так называемым трёнделагом, – что бы это ни значило. Затем этот превеликий корабль придет снова, на этот раз нагруженный пустыми бочками для сельди и солью, и тогда же придет другое судно той же компании – но не грузовое, а рыболовецкое.

– Вы не получали письмо от Сёдаля?

– Нет. А вы посылали письмо? – не понял Хавстейнн.

– Нет, письмо посылал Сёдаль. Ах да, оно же могло быть на том почтовом судне, которое затонуло. Сёдаль – это человек, который стоит за морем.

– Да? Стоит за морем?

– Стоит за морем. Это всё его.

Засим последовал краткий пересказ биографии Йохана Сёдаля. Он был крупным судовладельцем-рыбопромышленником из Кристиансунна, лет сорока пяти, ему принадлежали «Аттила» и все бревна и доски, которые он привез, и все идеи, дремавшие в этой древесине. Кристиансунн был постоянно растущим приморским городком на западном побережье Норвегии, между Мольде и Тронхеймом, в фюльке, который назывался Ромсдаль и Мёре. Сёдаль с юности стал тяготеть к рыболовному промыслу и быстро переходил с корабля на корабль, всюду успел постоять на капитанских мостиках, управлял многопарусными судами, – а сейчас обосновался в расхристанной конторе на суше, откуда руководил четырьмя тресколовными судами в норвежских водах и множеством

сельделовных суденышек, из которых два минувшим летом трудились в Исландии. Слава о Сёдале дошла до самой глубинки его родной страны по ее длинным фьордам, когда он, недовольный ценами на сушено-соленую рыбу, сам отвез свой улов в самый Келтавик [112] в Испании и выручил за него баснословную сумму, чем и заложил основу своей империи, которая сейчас дотянулась своими красивопарусными конечностями даже досюда, до студеной глотки мира. Ведь сейчас в конторах получили хождение теории, что норвежская селедка стала проводить летний отпуск к востоку и северу от Исландии, – там-то ее и надо было брать.

Закончив панегирик своему хозяину, капитан снова вынул трубку изо рта и отпил глоток кофе. Правда, хреппоправитель предлагал ему и шнапс, но норвежец Ляйф лишь рассмеялся в ответ и сказал, что на всех судах Сёдаля есть такое правило, что их капитан выпивает только с собственной хустру [113]. Взгляд Хавстейнна упал на пустой чубук, который капитан сжимал в руке так, что костяшки пальцев на красной от соли руке белели, – и тут он вспомнил про собственную трубку и табак. Вынул табакерку из-под своего сиденья и предложил гостю, но капитан вежливо отказался, потому что вдруг вспомнил, что у него во внутреннем кармане хранится старый шматок табака. Лауритсен просунул руку под побитое морем пальто, под продымленный пиджак, под заляпанную кофе жилетку, в карман влажной от пота рубашки, и оттуда извлек крошечный тряпичный мешочек и насыпал его содержимое в трубку, затем утрамбовал пальцем и раскурил, а потом предложил этого табака и ленсманну в его маленькую трубочку. Хавстейнн впился взглядом в разноцветный спичечный коробок: такое диво он видел в жизни лишь однажды.

Вот это стурартово: норвег у себя в кармане огонь держит! Самому Хавстейнну приходилось все время бегать за огнем к очагу, так что курил он исключительно дома.

За время своего общения с народами весельнолодочников Лауритсен привык к тому, что все обычно приходят в восторг от знаменитых норвежских спичечных коробков, – и протянул вещицу хреппоправителю. Хавстейнн долго смотрел на это сокровище, а потом поднялся и шагнул к жене, сидевшей за вязанием у северного окна: «Глянь-ка, Мильда, правда, совсем стурартово?» Они вместе стали смотреть на это чудо, подобно тому как народы старых времен будут

смотреть на телевизоры новых времен; на красном поле были изображены три жирафа, а над ними вились ленты с надписью по-английски: *Impregnated Giraffe*. А под их ногами – *Safety Match, Made by Nitedals Norway.*

– А вот смотри-ка: в этом ящичке лежат палочки-зажигалочки, – сказал Хавстейнн жене, показывая содержимое коробка. – Смотри, сюда влезет очень много костров.

– Да, хороший получится запас, – отвечала хреппоправительша Мильда, а затем стиснула губы над своим длинным подбородком и вновь принялась двигать спицами. Для сравнения в ее голове светил огонь времен заселения Исландии, неугасимо горевший с тех пор, как самый первый норвежец возжег его спичкой самой первой Нитедальской фабрики, и от которого пошли все остальные сегюльфьордские огни – разводить огонь здесь уже тысячу лет как не требовалось.

Хреппоправитель снова сел рядом с Ляйфом, вернул ему коробок и снова принялся глазеть на норвежскую трубку, при этом посасывая свою собственную. Такой величественной курительной трубки он не видел никогда – а ведь он перевидал немало капитанов. Может, подобный инструмент для курения прилагался к самым большим шхунам? По сравнению с этим удобным в обращении дымоходом его собственная трубка была как наперсток, и количество дыма из нее – соответствующее. Из большой трубки в воздух красиво поднимался голубоватый дымок, вскоре исчезавший в тени пышного кучевого облака, которое выдыхал сам курильщик. Эти облака были густыми, матовыми, они постепенно увеличивались, а затем медленно таяли в атмосфере. Вскоре хреппоправительская чета сидела в собственной гостиной в густом тумане, словно утесы троллей, и едва могла разглядеть Лауритсена – так он надымил.

– Сёдаль всегда мыслил масштабно, но сейчас его замыслы просто грандиозны, – слышалось из тумана. – Потому что сейчас здесь наконец начнется настоящий промысел сельди. И он собирается быть здесь первым.

– Да? И как же он собирается селедку ловить? Плавной сетью?

Лауритсен наклонился вперед, так что его лицо забрезжило из серого тумана, и произнес тихо и отчетливо:

– Кошельковым неводом.

Исландец-хреппоправитель пристально посмотрел в глаза будущему, и его уши затрепетали при этом слове, точно баскетбольная корзина будущих времен – от мощного удара мяча. Кошельковый невод!

– Мы окружим косяк сельди неводом, а потом затянем его как мешок с котятами!

Послышалось, как супруга хреппоправителя дважды кашлянула. И снова лицо капитана скрылось в дыму, но Хавстейнн все же различал сквозь туман его прищуренные глаза, и они сейчас приняли форму селедок – были больше всего похожи на двух рыбок темного цвета, плавающих в светло-серой дымке. И тут хреппоправитель почувствовал, что с него довольно. Конечно, норвежцы стурартовы – но могут быть ужасными занудами, – и еще эта их заносчивость, это высокомерие, которое порой проскальзывало в них по отношению к исландцам.

– Да ну? Но от такой снасти вряд ли будет прок на мелководье? – решился сказать ленсманн. До сих пор лов селедки проходил вблизи берега: косяк, похожий на серебристых крыс, загоняли в угол, окружая знаменитыми плавными и так называемыми береговыми сетями. Впрочем, два года назад такой загон сельди запретили норвежцам, так как территориальные воды расширили до трех миль, и теперь им приходилось вести свой промысел за их пределами, и они использовали при нем специальный вид загоновых сетей. Но для кошельковых неводов нужна еще бóльшая глубина, и хреппоправителю это было известно.

Туман над столом слегка рассеялся, и показался сидящий в своем кресле капитан, словно черная скала; он отвечал:

– Да. Это все верно. Но сейчас мы будем ловить в открытом море.

Тут Хавстейнн не смог сдержать улыбки.

– Селедку? В открытом море?

– Да. В Америке попробовали – и у них получилось. Кошельковые неводы пошли как раз оттуда. Теперь этими кошельками можно зачерпывать целые косяки! Теперь здесь начнется такой промысел, и жизнь забьет ключом!

Хреппоправитель испустил смешок – тихий неровный «хух», который, впрочем, не ускользнул от норвежца Ляйфа. Всем известно: селедка в открытом море не ходит, она держится у берега, никто никогда не видел селедки в открытом море. И к тому же: как, черт

возьми, они собрались управляться с такой сложной снастью, как кошельковый невод, в исландском открытом море? Несмотря на всю свою смекалку, эти мастера парусного хода не знали, какое чудище – море вокруг Исландии. Разумеется, когда по морю пойдут валы, этот кошельковый невод прилетит к ним обратно, и они поймают в него разве что самих себя.

Подбородочница снова покашляла в тумане.

– Ишь, дракон огнедышащий! – сказала она затем по-исландски.

– Да, по-моему, как раз это и символизирует все их планы: они не видят, что из них получится, – отвечал ей муж, тоже по-исландски, и встал, чтобы проветрить, вышел в прихожую и на улицу, наконец остановился на крыльце и спросил самого себя и Морекамень, могут ли люди с такого большого судна быть совсем дураками. Камень ничего не ответил и по-прежнему сиял в лучах майски-прохладного солнца, а над головой хреппоправителя поплыли волокна дыма: белый шлейф из гостиной и из дома – и величественно вознеслись в небеса при послеполуденном штиле и образовали некие знаки, которых никто не мог разгадать.

«Да никак этот норвег его подпалил!» – такую фразу сказали на дальнем конце Косы, потому что при взгляде оттуда казалось, что дым валит от самого хреппоправителя, стоящего на крыльце перед дверями собственного дома.

Глава 3
Плата за пользование

Хавстейнн вернулся в дом, в гостиную, которую капитан-завоеватель наполнил дымом, погоняя перед собой слова: «Открытое море, значит…». Туман в гостиной немного рассеялся, и сейчас он видел очертания своей жены со спицами у северного окна.

– Сколько вы хотите с нас за пользование, причал, площадку и склад? – спросил Лауритсен, по-прежнему сидевший за столом, даже не повернувшись в кресле. На его затылке можно было разглядеть намечающуюся кожисто-красную проплешину среди желто-белесых лоснящихся волос.

Хреппоправитель Хавстейнн прошел к концу стола и сел на свое сиденье. Вот до этого и дошло. Он почувствовал, что на него давят. Сейчас ему было бы лучше, если б с ним были члены совета хреппа, но преподобный Ауртни был, судя по всему, в другом фьорде, а старый хреппоправитель, Сиггейр с Сугробной реки, не вставал с постели. К счастью, его Мильда не пошла относить еду в Хуторскую хижину, когда в устье фьорда показался «Аттила», и сейчас сидела рядом, со своими встревоженными глазами – утес в дымном тумане мужа. Он бросил на нее взгляд, а потом повернулся к норвежцу и спросил, чтоб выиграть еще несколько секунд:

– Что вы сказали?

– Сколько вы хотите с нас за пользование, причал, площадку и склад? – повторил норвежец.

Исландский ленсманн достаточно долго прокопошился в этом мире, чтоб знать, что время столь же материально, как какая-нибудь гусыня, и его нельзя упускать: убежит и не вернется. Ему придется принимать решение в одиночку.

До сих пор хреппоправитель пользовался цифрой 900 крон за лето – девять стоимостей коровы – такую сумму платили норвежские китобои в минувшие годы, – но когда он стоял на причале и смотрел на все эти паруса и весь этот плавучий сосняк, она сама собой повысилась до 2 000 крон. А сейчас, когда он услышал, насколько сумасшедшие планы были у этого человека, он чуть не сказал 3 000. Другого они явно не заслуживали. Но когда он наконец заглянул в глаза капитану-

трубочнику, сидящему напротив, то сам себя ошарашил фразой, которая сорвалась у него с языка:

– Десять тысяч крон.

Он услышал, как у жены спицы выпали из рук.

Что он наделал? Он их отпугнул? Ему стало все равно? Ему дым показался настолько противен? Ведь этот человек буквально выкурил его из его собственного дома. Он сам себя не понимал. Он ни в чем не проявил надменности с этим мастером шхуны, этим человеком, про которого ему было известно, что он переплыл Атлантический океан, как его счастливый тезка[114], и доплыл до Америки (букву «А» к этому слову прибавил тот капитан) и обратно. Он, исландский хреппоправитель, не только позволил себе прыскать со смеху и обвинять такого человека в незнании промысла и повадок моря, – он еще, из жадности неимущего и наглости нищего, потребовал у этого норвежца сумму, столь же безумную, как и рассуждения того человека о лове сельди в открытом море, а следовательно, крайне унизительную для такого бывалого крупного дельца. Сейчас он наверняка вскочит и быстро выйдет, уедет в какой-нибудь другой фьорд, за который дадут более хорошую цену.

Но Лауритсен вынул трубку изо рта, тихонько усмехнулся и протянул через стол свободную руку:

– Десять тысяч крон, по рукам.

Видимость в гостиной сейчас стала такой хорошей, что хреппоправитель заметил: капитан сказал это, не моргнув глазом, как будто он уже заранее вооружился числом десять тысяч крон.

Хреппоправитель почувствовал, как вокруг него рушатся горы, а сам он проваливается сквозь землю. Его мир за одно мгновение взял и вывернулся наизнанку. Ему едва удалось встать, чтобы проводить гостя к выходу. В следующие ночи он спал плохо. Почему он не сказал 15 000 крон? Или 20 000? Да, конечно, он все же получил 9 100 крон для своего хреппа. Это огромная сумма. Говорили, что новая церковь может стоить около 3 000 крон. А сейчас ему пришлось бы искать место, где поставить три церкви…

Нет, постойте-ка, он начал терять рассудок, сейчас у него опять выросли под ногами эти проклятые пружины.

Оговоренная плата за пользование фьордом была столь высока, что он не стал говорить о ней ни одной живой душе и запретил своей

Мильде упоминать это в разговорах с кем бы то ни было. «Как будто за столом сидел Морекамень, а не Хавстейнн», – с серьезным выражением лица заметила супруга – она никогда не шутила. Ее муж повернул голову и стал смотреть с подушки на ее профиль. Да, очевидно, она сказала это всерьез. «В тебя сказка вселилась», – проговорила она затем и снова повернулась к нему; у нее на губах можно было с трудом разглядеть след очень слабой усмешки.

Супруги спали и хранили сообща эту цифру, словно двое воробушков – золотое яйцо. Впрочем, спала лишь Мильда, а Хавстейнн лежал без сна и глазел из своей бороды на деревянную стену – стену своей спальни, обшитую красивыми досками, светло-голубую в белой весенней ночи. Подумать только – он, в силу какой-то поросячьей шальной удачи, без труда выгадал для хреппа две дополнительные церкви со всеми алтарными принадлежностями.

Сначала он радовался этому – но потом начал видеть это в черном свете – эта мысль была почти невыносима. Цифру «десять тысяч» просто невозможно было согласовать с реальностью этого фьорда, она не подходила к ней – как лязг якорной цепи не подходил к овцам с Нижнего Обвала. И как бы он обосновал эту цифру сислюманну? Не лучше ли скрыть ее в балансе? Или часть положить на счет хреппа, а остальное хранить в горшке под кроватью?

И вновь хреппоправитель, сам того не подозревая, оказался на перекрестке двух эпох, на участке анархии, которая образуется, когда одна реальность встречается с другой и ни одна из них не знает законов другой, где промышленность сталкивается с жизнью в захолустье, где дымовая труба располагается в гостиной. Понять это гигантское создание ему удалось в силу чистейшей шальной удачи, и этим пониманием он был обязан вовсе не мозгу: это какой-то другой орган его тела понял, что здесь происходит, возможно, просто губы и язык, объединившиеся, чтоб сказать «десять тысяч».

А впрочем, удивительно, насколько такой выигрыш был нездоровым для души – у нее явно возникли с ним трудности, она была заперта в каком-то колесе, где ее день и ночь вращали по кругу. Хреппоправитель потерял покой, спал лишь сном отчаяния и целыми днями был сам не свой. Значит, это послано ему от лукавого, из кузницы дьявола – раз так влияет на человека?

Глава 4
Плотники-боги

К вечеру огромный корабль исчез – да и был ли он? Да, был: плотники остались здесь, более того – они уже начали пилить и строгать доски, замерять место для причала, вбивать сваи. Они работали все светлые сутки, и по вечерам местные жители наблюдали за этими сосновниками, этими гениями из лесной страны, подобно тому, как народ смотрит на уличных художников – робко, молчаливо, на почтительном расстоянии, чтоб его нельзя было ни оделить улыбкой, ни попросить помочь.

Лишь дети рискнули подойти поближе, среди них – приятели «из-за фьорда» – Магнус с Верхнего Обвала и Гест с Нижнего Обвала, первый из-за близорукости, второй – из чистого плотницкого интереса. Обоих отпустили на Косу, и они каждый вечер переплывали на лодке через глубину. Гест привык к возне своего отца-земляночника с досками, и она ему нравилась, особенно если ему самому давали поплотничать, потому что душа у мальчика лежала к осязаемому миру. Но все это заделывание щелей выглядело таким убогим по сравнению с тем, что делали эти норвежские плотники-боги. Они носили инструменты на себе спереди в специальных фартуках, их карманы топорщились от гвоздей, – а как они держались – боже мой! – без суетни, с достоинством, и волосы у них были сверхсветлые, а руки тяжелые и мощные, – просто с ума сойти! Передний из них вгонял четырехдюймовый гвоздь в доску ровно с трех ударов.

Как самые преданные фанаты, мальчишки постепенно приблизились к сцене и в конце концов оказались на ней. И вот, не успели пареньки с Обвалов и глазом моргнуть, как оба стали подручными, а зарплатой для них были лишь обпилки досок, которые им позволялось подобрать и увезти с собой за фьорд по вечерам. Постепенно Лауси стал ждать их с таким же нетерпением, как новых стихов с юга страны. И однажды, когда Гест вечером пригнал овец, в загоне уже стояла новехонькая скамейка для дойки – блестящий пример того, какое влияние на эти края оказал набег «Аттилы». И хотя другу Магнусу в конечном итоге запретили туда ездить по причине опасности, которая могла исходить от завоевателей («А вдруг он

древесных червей подцепит, кто знает, что там может оказаться в этой древесине?»), Гест каждый вечер переплывал фьорд на лодке, а потом светлой-светлой полуночью, крадучись, возвращался домой.

В сказке никто не устает.

Причал, помост, дом и склад. За удивительно короткий срок южная оконечность Косы стала образчиком формирующегося портового городка, а трио плотников – согласной музыкальной группой, передающей друг другу доски и бруски, один пилил, другой прилаживал, третий прибивал. Опоры, балки, доски, рейки – вот дом и готов.

Зато в первое же воскресенье они отложили работу и пошли в поселок, спросили, где здесь церковь: им просто необходимо сходить на богослужение. Мало кто понимал норвежский, и еще меньше было тех, кто находил в себе мужество рассказать все как есть. Люди предпочитали сделать глупое лицо, ведь жить без церкви и без всех связанных с нею формальностей было, в общем-то, приятно (хотя некоторые скучали по певческому искусству пасторши), но как только о церкви спрашивали, причем иностранцы, ситуация начинала выглядеть сомнительно. Выходит, мы совсем дикари? Почему здесь до сих пор не построили церковь, хотя с той поры, как сдуло старую, прошло полтора года? Богам-плотникам указали на пастора.

Преподобный Ауртни пригласил троицу в дом, представил трем пасторшам и попросил Халльдоуру поставить кофе и напечь блинов. Плотники-боги были великолепны со своими приглаженными бородами и в воскресной одежде, когда приняли приглашение сесть в лучшей гостиной Мадамина дома, – но приобрели слегка комичный вид, когда сели и положили свои грубосуставчатые руки на вязаную скатерть и завертели головами (а щеки у них были раскрасневшимися от работы), рассматривая подушечки и плюш. Самый младший и самый светловолосый из них уставился на Вигдис с выражением человека, который забыл, что такое женщины. Сусанна обреталась на верхнем этаже и стерегла маленькую крошечку счастья – полуторагодовалую Кристин Ауртнадоттир.

Преподобный Ауртни недавно слышал, как Лауси с Обвала объяснял приезжему, почему у них нет церкви, и попытался сейчас вспомнить эту забавную историю, а заодно и датский язык, в чем не обошелся без помощи жены, владевшей им в совершенстве. А Вигдис

порой закатывала глаза, когда ей казалось, что он плохо обращается со словами, которые она подсказала ему, или сбивается в рассказе, который, как ей казалось, ему и не подобало излагать. К этому прибавлялось то, что умение рассказывать истории не относилось к числу талантов преподобного Ауртни. Изначальное объяснение поэта с Обвала звучало так:

«В нашем славном поселке нет церкви с тех пор, как наш дом Божий сдуло ветром с фундамента при самом сильном урагане, который был в нашей местности. Тогда Бог в удачный день призвал к себе своего лучшего человека, самого истово верующего во всей пастве, главного из «троих пророков», как прозывались самые богобоязненные люди в нашем фьорде, начитанные в Священном Писании настолько, что порой поправляли пастора в самый разгар мессы. И вот, Бог призвал одного из них к себе и решил оттранспортировать его до места назначения подобающим образом. Интересно заметить, что Сакариас, вероятно, единственный за всю историю христианства, сподобился такого погребения: в церкви, а не в гробу, и сейчас этот храм Господень стоит в целости и во всей красе на дне морском, а тело этого выдающегося пророка плавает там перед алтарем, словно палтус в саване. И этот необычный склеп окружен такой святостью, что акулы не решаются вплыть в него, даже через разбитые окна, а просто скрежещут зубами перед дверями от желания полакомиться мясом святого человека. По этой уникальной причине паства, к которой принадлежал Сакариас, чтит память об этом знаменательном событии и не спешит возводить новое здание, а ждет знака, когда можно предпринять следующий шаг. О местоположении новой церкви тоже много спорят: будет ли это надругательством над памятью святого, если поставить другую церковь на то место, где стояла та, и должна ли тогда эта церковь стоять «правильно», то есть алтарем на восток, а не на север, как прежняя. Оставшиеся в живых пророки уже вторую осень гадают по овечьим внутренностям во время забоя скота, но говорят, что им потребуется и третья, чтоб прийти к окончательному результату».

Так звучала байка Лауси, к которой сейчас решил прибегнуть пастор, потому как он не мог рассказать им правду: что по причине различных недоразумений и свойственной этой стране (хотя в чем-то и умышленной) безынициативности решение о строительстве церкви сейчас уже три полугодия не могло доплюхать до их местности

морским путем вокруг Исландии. Но хороший рассказчик должен сам верить в свой вымысел, а преподобный Ауртни этого не мог, во всяком случае, трезвый и в присутствии жены, поэтому плотникам-богам было рассказано лишь полбайки и с половинным энтузиазмом. Но при всем том они восприняли ее заинтересованно, широко раскрыв глаза, в которых светилось полнейшее непонимание. *“Ja?”* [115] *Ведь хотя эти боги и стосковались по мессам,* их Христом был плотницкий метр, они верили в сантиметры и не понимали сантиментов.

К тому же сейчас со всей очевидностью проявилась та разница между исландцами и норвежцами, которую невозможно отрицать. Как уже говорилось, тысяча лет в разлуке не прошла бесследно. Там, где исландцы увлекались рассказом в творческом пылу, норвежцы хватались за пилу. Из-за ограниченной возможности возводить что-либо в реальном мире (ведь Исландия – край не строевого леса, а ветрового беса), первый из этих народов научился жить по большей части внутри своей головы. Для местных рассказ Лауси на самом деле был лучше любой церкви, во всяком случае, он вполне заменял ее. И когда плотники-норвежцы стояли у пустого фундамента посреди кладбища (пока варился кофе, преподобный Ауртни сводил их туда, чтоб показать следы разрушения), на их лицах читалось, что они ни за что не променяют здание на интересную историю.

Когда они вернулись в дом, Ауртни предложил троим плотникам прямо сейчас почитать Евангелие на своего рода домашней мессе. Но сейчас, когда они собственными глазами увидели, что церкви нет, они только и могли думать, что о новом храме, новой стройке, и тотчас предложили свои рабочие руки.

– Но, дорогой пастор, древесины у нас много. Она может быть готова уже к следующему воскресенью!

– К следующему воскресенью? Боюсь, что…

– Что – что?

– Что…

– Где вы хотите ее поставить? На старом месте? Да, и хотите ли вы церковь по новейшей моде, с башней, или простую церковь с дерновой крышей в исландском стиле, или в норвежском стиле – ставкирку? На сорок мест, на семьдесят, на сто двадцать? Выбирайте – у нас материала много.

У преподобного Ауртни от такой мысли голова пошла кругом. Что за спешка, полегче, здесь церкви не разом строятся, перед этим нужно как следует натешиться формальностями, а согласие епископа еще не получено. Но как – в следующее воскресенье? Постойте-ка, что-что? Ставкирка?

За прошедшие двадцать семь месяцев преподобный Ауртни, конечно же, привык к отсутствию церкви, и оно ему даже слишком понравилось. Немного нашлось бы пасторов в таком же положении, что и он: быть избавленным от хлопот по мессам и иметь возможность сосредоточиться на материях более высоких, чем убаюкивание душ по воскресеньям. Однако за это время ему пришлось провести трое похорон: люди не могли больше сдерживаться, и трое признали себя побежденными, отсутствие церкви не стало средством от всех в жизни напастей. Правда, один из умерших был приезжим – благородный господин с востока страны, приехавший за наследством: он считал, что ему принадлежит полоска земли в глубине фьорда, но на третий день он скоропостижно скончался и сейчас лежал в той самой земле, которую требовал себе. Трижды преподобного Ауртни пускали провести погребальный обряд на складе товарищества «Крона», а затем гроб, как прежде, зарывали на кладбище – кладбище-то ветром не сдувало.

А в остальном он с головой ушел в собирание народных песен, и сейчас его коллекция насчитывала восемьдесят шесть напевов. И этот источник все еще не был исчерпан. Например, в означенную неделю мая он наметил себе переписать на чистовую мелодии, которые недавно записал в Хейдинсфьорде, в частности – две наикрасивейшие народные висы, и по этой причине сейчас совершенно не мог думать о строительстве церкви. Он посмотрел на жену растерянным взглядом, а она по-исландски попросила его принять хорошее предложение. Конечно, здесь должна быть церковь. Без церкви и городок – не городок. Почему бы этим людям не построить церковь, раз уж они так хотят? Ведь эти плотники – настоящие искусники. А где же ей самой петь, если церкви не будет?

Да, конечно, она с ними заодно, как он мог забыть: этим женщинам вечно всякие финтифлюшки подавай! «А я-то надеялся, что следующую зиму потрачу на работу над собранием народных песен, закончу его…» Так думал пастор Ауртни, приглаживая лезущие на лоб

волосы своей нежной рукой (сейчас было заметно, что края ладоней все пятнисты от чернил после всего этого наляпывания нот), и не мог взять в толк, что сказать, но в конце концов превратился в чиновника того типа, который был наиболее привычен исландцам и который он сам выучился презирать в юности во время странствий по конторам Рейкьявика.

То есть он полностью сменил пластинку, как можно ласковее улыбнулся, предложил еще кофе, от всей души поблагодарил за такую прекрасную идею, которую он принимает с радостью и непременно доведет до сведения соответствующих лиц, а их будет держать в курсе событий. Датское начальство довольно рано научило исландских чиновников применять такую технику к своим подчиненным, не упоминая, что само в свое время на этих же самых чиновниках ее и отточило. Никогда не говорить нет, а да – тем более, но держать собеседников в уверенности, что разговор движется в сторону последнего. Тех, от кого одни хлопоты, подобает обнадеживать.

Так преподобный Ауртни выпустил норвежских плотников-богов на простор воскресенья, обнадежив их, что они, вероятно, смогут заняться постройкой церкви на следующей неделе, – и эта надежда, по всей видимости, подействовала на искусников окрыляюще, потому что в сверхсжатые сроки из моря вырос причал, а из земли – склад: прозрачная решетчатая конструкция поднебесной высоты из ароматных свежих досок, сверкающих в закатных лучах, словно золото. Сегюльфьордцы прежде никогда не видели такого сооружения и глазели на новостройку, как бараны. Когда Гест стоял внутри нее посередине, ему казалось – в нее вместится весь фьорд: обрывы в горах полностью сливались с верхними краями стен. Этот набросок складского помещения обещал стать такой хороминой, что в ней можно поставить блаженной памяти старую церковь, и крест даже не задел бы матицу.

Но когда уже вовсю настал следующий выходной, и люди, согнувшись, вылезли из своих землянок, чтоб размяться, их глазам предстал такой же набросок церкви: каркас дома божьего, полностью возведенный на старом фундаменте с такой скоростью, с какой солнце поднимается из моря.

Перед нею стояли двое пророков – Йоунас и Йеремиас, и спрашивали себя, неужто это гроб, уготованный им.

Глава 5
Серьезные споры и крупный кусок

– Ну разве не стурартово норвежцы строят? И быстро, и хорошо! – произнес хреппоправитель со своим всем известным спокойствием и ласковостью на очередном собрании на складе товарищества «Крона» во время горячих дебатов. Поводом к собранию послужило грандиозное возмущение по поводу того, что иностранцы взяли и начали строить церковь, пока местные отсыпались после коньячного вечера в лавке Йоуи-акулятника, у которого порой водилось французское хмельное.

Вопросы были таковы: 1) Законно ли это? 2) Будет ли такая церковь считаться исландской, если она построена иностранцами на зарубежные деньги? 3) Может ли такое строительство, если оно дозволено, считаться чем-либо иным, нежели взяткой хреппу, чтоб скрасить впечатление от нашествия норвежцев? 4) Разве Исландию как раз не заселили те, кто бежал от становления и произвола норвежской государственной церкви, от розги Олава Святого? Не слишком ли далеко все зашло, когда через тысячу лет его проповедь христианства все же настигла беглецов на далеком берегу[116]? 5) Захотят ли люди, чтоб их отпевали по-норвежски?

– Да, им нужна церковь; они считают, что им нужна церковь.

– Да, но нам-то церковь тоже нужна! Что мы – совсем ничтожества, что одну-единственную чертову церковь сколотить не сможем?

– Да, но эту церковь пока еще не утвердили в государственном совете…

– А что скажет пастор? Не пора ли ему уже выразить об этом свое мнение?

– Да ради бога. Преподобный Ауртни, просим.

Усач взошел на трибуну и произнес речь, которой бы позавидовали политики всех времен. Разумеется, он понимал, что люди сердятся, и такая реакция не была для него неожиданностью; он, мол, сначала сам рассердился, потому что с ним никто не посоветовался («А они сказали, что получили у вас разрешение!» – перебили его криком), совсем никто, но, разумеется, положение здесь сложное, прямо сказать – незавидное,

ведь что сделано, то сделано, и сейчас эту постройку не назовешь незаконченной («А незаконной как раз назовешь!»); а потом пастор спросил, не все ли равно, откуда приходит хорошее (гвалт), и подытожил: мол, это дело требует более тщательного рассмотрения, особенно – его юридические аспекты, в первую очередь – те, что касаются международного права и нашего положения как страны, находящейся в унии с Данией, и Норвегии – как страны, находящейся в унии со Швецией, – и таким образом, оказывается, что вопрос здесь крайне сложный.

– В досках и плотницком метре ничего сложного нет!

Казалось, этому аргументу из зала зааплодировали – но нет, это был всего лишь стук норвежских молотков, доносившийся снаружи, из весеннего вечера, из стремительно возводимого склада в конце Косы.

Бесподбородый Магнус с Верхнего Обвала после этого заговорил с места:

– А кто-нибудь удосужился спросить добрую страну, которая владычествует над нами: такое вообще законно? Чтоб приезжали всякие норвежцы… располагались тут как у себя дома? То есть разве на это не нужно разрешение от датчан?

Это замечание было без сомнения ценным. Однако никто не посчитал себя в состоянии оценить это положение: специалистов по международному праву здесь не хватало. В конце концов из толпы собравшихся поднялся толстобрюхий мужчина в летах и заговорил на норвежском, который в его устах изо всех сил старался походить на исландский. Единственным, что снижало эффект от этих усилий, было подвыпившее заплетание языка. Это был китовый сторож Эгертбрандсен:

– Дорогие друзья. Мои дорогие исландские друзья… Я не понимаю, в чем вопрос. Тут нет церкви, она улетела с ветром. То есть церковь тут нужна, потому что людям где-то надо… молиться, креститься, конфирмоваться, погребаться, жениться. Я слышал, что сейчас в хреппе девятеро некрещеных детей. Так дело, конечно, не пойдет. Совсем не пойдет. Ведь самое главное у нас – это чтоб церковь тут появилась, а откуда она появится – это уже второстепенное. С таким же успехом мы могли бы обсуждать на этом собрании, подул ли тот ветер, который унес нашу церковь, из ноздрей Бога или Дьявола. А я скажу как написано: Господь дал – Господь взял, а сейчас он хочет

дать нам церковь. За это прежде всего надо сказать спасибо – так или не так? Иначе это будет называться неблагодарностью. Честно признаться, на ум здесь приходит выражение «гордость убогих». Да, гордость убогих. А с этой пакостью бороться, конечно же, очень трудно. Потому что первый шаг из убогости как раз заключается в том, чтоб осознать свое положение. Тот человек, который упал в открытую могилу – он, конечно же, осознает свое положение. И даже если кто-то на краю обрыва над ним улыбается, он все равно не позволит гордости оттолкнуть протянутую ему руку помощи. Но, по-моему, здесь все-таки собрались люди, которым нравится в этой могиле и которые хотят и дальше в ней сидеть. Это понятно… Тот, кто живет в могиле, конечно, предпочтет сидеть в ней один. Ну, пока мимо не пройдет какой-нибудь датчанин!

– Что ты городишь, приятель?! Да ты пьян! – раздались крики позади; он не увидел, кто кричал, но на миг глянул в сторону и замолчал. Однако это замечание, кажется, задело его, потому что потом он разошелся еще пуще:

– Чего вам, исландцам, не хватает, так это *стабилитета* [117]! Кажется, вы совсем не понимаете, что означает слово «принсип». За то короткое время, что я провел здесь, у меня сложилось впечатление, что исландцы – это такие люди, которые бранят пирог, а сами едят. Когда я смотрю на собравшихся, я вижу людей, которые в прошлом и позапрошлом году поутру бранили наши замечательные китовые туши, а под вечер отрезали себе от них кусочки. Здесь просто не существует того, что называется «прочно стоять на якоре»! Даже беспринципность у вас лишена каких бы то ни было принципов, потому что сегодня действует одно, а завтра – другое! Может, вы не знаете, но в Книге Книг написано, что тот, кто вкушает от хлеба другого человека, ни при каких обстоятельствах не может отвергнуть дара от того же самого человека, иначе он утратит то свое право. Тот, кто ест китовый хвост, получит себе церковь! Вот так! И больше мы об этом не говорим!

Носатый Эгертбрандсен снова плюхнулся на свое место, и толпу охватило молчание. И энтузиазм у этого оратора был таков, что нагнал на слушателей оторопь, и эта цитата из Библии, никому не знакомая… (на лице у преподобного Ауртни отобразилось замешательство, и он принялся разглядывать пол склада и мешки с мукой). А еще было и другое: большинство собравшихся уже приняло в дар от этого человека

целые вечера, и будущее сулило еще много таких же – дивно напоенных аквавитом, так что здесь никто не стал бы дуться на Эгертбрандсена – ведь он хороший мужик! Только вот – что он такое о нас сказал? Я не все уловил. «Принсип» – это что?

– Ну, – сказал наконец хреппоправитель Хавстейнн, – это что-то такое…

– Кто построил этот дом? – раздался звонкий голосок, мальчишеский, который, впрочем, раскатился по всему залу. Люди обернулись и увидели паренька со шлемообразной копной волос, сидящего на штабеле мешков: Гест. Он решил быть остроумным и уже заготовил продолжение: «Разве этот дом, этот склад строил не датский торговец? Ведь дом – это всего лишь дом? Кто же сердился тогда?»

Сидевший рядом с ним молодой моряк-акулятник прочитал его мысли и покачал головой, пробурчав:

– Товарищество «Крона» его строило.

Гест разом покраснел под своей светлой копной и почувствовал, как его бросает в жар: что он возомнил? Лауси подмигнул ему; может, такая поддержка и могла бы помочь, но Гест не посмел ее принять и теперь не видел вокруг себя ничего, кроме своего позора. Да что он там болтал – мелюзга неконфирмованная – на собрании, где сидят крупные фермеры и весь цвет общества! Его спасло лишь то, что мужчины сделали вид, будто не слышат его: как будто это баба что-то брякнула.

Фермеры и безземельные жители городка увидели все как есть: что продолжения дискуссии не будет, в стельку пьяный норвежец убил ее окончательно. Церкви – быть, ведь от того, кто хочет помочь, даров не отвергают. Но раз уж они все пришли на склад, было бы не лишним обсудить и другие вопросы. Торд с Берега (так прозывалась крошечная хижинка, стоящая на крайнем севере Косы вне общего списка) с испуганным выражением лица попросил слова и горько посетовал на то, что норвежцы плотники «разделись догола» перед двумя его дочерьми на выданье. Тут Халльдоур из лавки, работавший у торговца, объяснил ему, что они всего-навсего сняли рубашки, ведь день был жаркий, а они тяжело трудились, – и тут разгорелся спор: когда нагота начинает быть неприличной? У локтя, плеча, груди?

У стены стоял торговец – Кристьяун из Трюма – симпатичный мужчина крепкого сложения, построивший себе дом из выкинутых морем досок и бревен – дом, пропахший яблочным бренди – и сам он

тоже пропах им. Он уже почти примирился со своим прозвищем, так как оно звучало по-датски, и порой, лежа на подушке, лелеял мысль официально сделать его своей фамилией и даже писать свое имя на датский манер: *Christian Trym*. Итак, он стоял у своей собственной стены, усмехался и жевал табак своими широкими, но все же чисто исландскими челюстями, так что его усы постоянно растягивались, слушал дискуссию, но сам в нее не вступал. Лицо у него было как у человека, который предоставил для прений помещение и поэтому сам разговаривать не хочет, а пытается соблюдать нейтралитет, так что лицо у него становится похоже на это помещение. Торговец Трюм на самом деле не принадлежал к этому маленькому местному сообществу, и его место здесь было лишь ступенькой в пути наверх – в большой магазин в Фагюрэйри, к должности председателя правления товарищества «Крона». Душой он был уже там, только вот тело до сих пор задержалось здесь. В этом отношении он был самым настоящим исландцем, ведь «*двойное бытие*» считается главной отличительной чертой этого народа пентюхов-авральщиков: это явление сформировалось уже в первые века заселения страны у людей, от которых пошел многочисленный род, как, например, Эгиля Скаллагримссона, который «проживал» в Борге на Болотах, но его дух постоянно пребывал в других боргах. О сущности исландского народа есть такая знаменитая виса:

Я вообще-то здесь не весь —
в будущем одной ногой.
Ты не знаешь, кто я есть,
ведь внутри меня другой.

Правда, торговец Кристьяун Трюм беспокоился о своем месте здесь и сейчас и все еще не мог решить, как ему отнестись к норвежскому вторжению. Ведь плотники работали здесь уже две недели и до сих пор ничего не купили у него в лавке. Или у них с собой провианта было до черта, или они были экономнее, чем он сам. А он и представить себе не мог, чтоб на свете кто-нибудь был экономнее его. Но когда будет улов, если он будет, и начнется засолка, если начнется, то его товарищество «Крона» окажется в самом выгодном положении,

потому что вся торговля в городке шла и должна была идти через него. Разве впереди не процветание?

Когда спор об обнажении норвежских предплечий (впервые в истории фьорда здесь увидели голые предплечья вне дома) перерос в общий шум, когда говорят четверо разом, Гест увидел, как Кристмюнд заерзал на сиденье, а потом возвысил свой зычный голос:

– Ребята, давайте не будем погрязать в мелочах. Отнесемся с уважением к нашему славному Эгертбрандсену и замечательной речи, которую он только что произнес. Но невозможно пройти и мимо другого обстоятельства: о том, чтобы эти великие господа внесли свою арендную плату, мы до сих пор не слышали. О чем договаривался с ними хреппоправитель от нашего имени? Это известно? Такие соглашения вообще были заключены? Ведь это земля хреппа. Хавстейнн! Не забывайте это! Несколько лет назад владениями хреппа стала также крайняя часть Косы, до причала. Так что вы не можете просто так взять и позволить кому-либо приехать и построить тут причал и китобойную базу…

– Сельдезасолочную.

– Что?

– Они тут селедку солить собираются на этом помосте. Правда, стурартово?

– Вот это называется: помост велик, да рыбка мала! Но заплатить они обязаны – и никаких гвоздей! Иначе вся эта дровяная конструкция подлежит скорейшему сносу!

– Вот это ты стурартово возразил!

– Ты здесь как будто делегат нечистого, Морекамень.

– Море?..

– Да, или его краля, ты же только и знаешь, что перед ним стелешься!

На лице добряка хреппоправителя обозначилась обида. Случилось нечто уникальное: присутствующие увидели границы его необъятного терпения: за ними зияли обрывы гнева. Хавстейнн закатил глаза, глубоко вздохнул, стоя на трибуне, и почувствовал себя капитаном (которым он так и не стал), перед ним было бушующее хмурое море, захлестывающее палубу, так что ему не было видно корабль, который он вел, но именно сейчас, среди отчаяния, было жизненно необходимо сохранять спокойствие и логичность. – Скажите мне одно, дорогие

друзья. Что вы сделаете, если будущее вдруг встанет у вас на крыльце с полной охапкой свежей древесины и… Да, что вы тогда будете делать?

Кубообразный хреппоправитель позволил тишине, нарушаемой лишь стуком норвежских молотков, накрыть своих слушателей, и только после этого ответил сам себе вопросом на вопрос:

– Вы тогда скажете: нет, я потерплю, пока с моря несколько раз не наплывут льды? Или пригласите его в дом?

– Ишь, как твоя краля тебя разожгла! – выкрикнул какой-то остряк, и его приятели расхохотались: они видели, как от хреппоправителя на крылечке валил дым. А потом Кристмюнд, сидевший в первом ряду, спросил, скрестив руки:

– А сколько норвег заплатит за место на Косе?

– Мы: я и капитан «Аттилы», господин Лауритсен… мы ударили по рукам и договорились на десять…

– Десять крон?!

– Десять тысяч крон за лето.

Слова «десять тысяч» накрыли зал как безмолвный взрыв, людям потребовалось несколько секунд, чтоб осознать эту сумму, несколько минут – чтоб поверить в нее, несколько дней – чтоб переварить. Таких величин тут не знали. За такие деньги можно купить три церкви, пять акулоловных судов, сотню коров! И хотя хреппоправитель целых две недели никому не сообщал этих сведений – буквально «сидел» на них (хотя как раз спокойно ему не сиделось), он только сейчас осознал свой поступок – когда увидел лица земляков – эти в упор смотрящие молчащие глаза – и оценил произведенное впечатление – которое чаще всего выражалось почесыванием в затылке.

«Десять тысяч» – такой кусок годился для пасти этого фьорда.

Глава 6
Космический путешественник

Исторические события всегда совершаются одновременно и медленно, и быстро. Обычно у них есть никем не замечаемая предыстория, они плывут под водой до нужной даты и там выныривают, поднимая над поверхностью свою историческую голову. Ничто не возникает на пустом месте. Но если читать историю с дальнего расстояния, становится ясно, что большим событиям невозможно полностью скрыться в реке времени, и обычно людям делаются предупреждения: дважды, трижды, четырежды, но об этом всегда начисто забывают, когда доходит до самого судьбоносного мига: он всегда захватывает всех врасплох. И люди стоят, оцепенев от удивления, перед значительным событием, которое величественно ступает на берег в сапогах истории: высокое, светловолосое, солено-загорелое, красивое – и у мужчин прихватывает живот, а у женщин слабеют колени.

Арне Мандаль был таков, каким подобает быть космонавту, когда он ступает на неизвестную планету: блистателен, как киногерой, за которого женщины горой, и повадка – как у предводителя. Светловолосый, длинноногий, длиннорукий, лет тридцати. Он был родом с западного побережья Норвегии из города Вставанькер [118] – примерно из тех же весей, где воспитывался первый поселенец в Исландии, Ингольв Арнарсон, – и правил ладьей по прозванию «Марсей».

Тогда Исландия была островом Марсом.

Это было восьмого числа июля месяца, и на небе, и на море царило солнечное ликование. Пастухи с окраинных хуторов во фьорде, Гест со товарищи, перекрикивались по склонам, пока их голоса не докатились до Косы, где сейчас стояла полностью возведенная церковь – новенькая, некрашеная и немного нереальная, на целый придел больше старой. И вскоре все, кто только был способен передвигать ноги, спустились на причал и на взморье, – все, кроме хреппоправителя, торговца и пастора, занятых своим еженедельным собранием, на котором обсуждались меры действия при грозящем фьорду периоде изобилия. Целых семь недель пастушки́ не сводили глаз с устья фьорда

и ждали, когда же вернется великан «Аттила», – и это ожидание гарантировало им каждодневное разочарование: паруса на горизонте всегда оказывались не чем иным, как до ужаса будничными акулоловными судами, тресколовными сундуками, пароходами, кораблями, курсирующими вдоль побережья, или теми неопределенными шхунами, которых всегда полным-полно во всех морях с тех самых пор, как человек впервые отважился выйти в море, и про которые никто не знает, откуда они и куда держат путь, и, кажется, вперед их гонит лишь одна бесцельность.

Но вот наконец в одно прекрасноштильное утро они увидели корабль, не похожий на другие, корабль, имевший значение, хотя по размерам он существенно уступал «Аттиле». Но сразу было видно, что этот корабль сулит новости: красивопарусная двухмачтовая шхуна черного цвета с двумя живописными парусами-кливерами, идущими вверх от бушприта. На переднем из них – бом-кливере – искрилось солнце, а большой парус легонько трепетал при невидимом ветре с моря и нес корабль вглубь фьорда. Пастушки́ побежали наискосок по оползням, бросив свои древние методы пастьбы высоко на склонах, оставив при них, однако, собак, быстро оттолкнули от берега лодки и успели к причалу до сказочного корабля о семи парусах. Самые первые из них стояли там среди своих земляков, с исторической послушностью выстроившихся и образовавших весьма комичный комитет по встрече: марсианам было любопытно посмотреть на космический корабль с Земли.

Сердце у Геста билось. Он без разрешения оставил стадо, бросил на произвол судьбы – но он не хотел пропускать, не мог пропустить этот момент: когда в округу приходит праздник, будничные занятия должны отступить. В глубине души он осознавал, что после этого дня фьорд уже не будет таким, как раньше. К тому же со старушками-овчушками осталась Юнона.

Корабль «Марсей» приблизился к концу Косы, ловко обогнул два буйка для крепления китовых туш и бросил якорь как раз напротив причалов, которых теперь стало два: один потемневший от старости, а другой девственно-светлый. И так судно стояло напротив них поперек фьорда, так что весь такелаж, все это роскошество парусов предстало местным, которые как завороженные впивали глазами искусную работу норвежцев и ее отражение в воде. На палубе корабля вертикально

стояли бочки – открытые бочки, числом около двадцати штук. Эти бочки были не такие, как обычно: на вид заметно мельче и легче, с гнутыми досками, так что их середина была толще, чем края. А еще из их горловин что-то светилось, блеск слепил людям глаза, казалось, бочки полны солнечного света. Возле них стояли бородачи моряки, словно восточные стражи сокровищ, более того – у одного из них на голове было подобие тюрбана.

Что это? Что в этих бочках? Золото?

Каждый спрашивал самого себя, а других – никто. Народ молчал от удивления и ожидания, атмосфера вибрировала – это Господь посылает нам радость? Лишь мальчишки – Гест и несколько мальчиков с Косы помладше – отважились шагнуть на причал, остальные жались к фасаду склада или жиротопне: ничто не пугало людей больше, чем эти окаянные бочонки счастья. Торговец Кристьяун стоял, широко расставив ноги, у своей лавки, щурил глаза и усы.

Наконец парусник как бы разродился лодкой: сзади из-под него выгребла шлюпка, в которой сидели трое. Ее кильватер сплетал себе сияние из света, так что казалось – она тащит за собой целый солнечный шар. Один из этих троих выше всех возносил свою голову, щеголяя длинной шеей и прямой как струна спиной, с его лба солнечно-светлые волосы спадали, словно облака с горного кряжа. На причал он вылез первым. Гест навсегда запомнил, как Арне Мандаль, капитан «Марсея», просунул свою голову в его мирок. Это выражение лица было из другого мира, лицо – с другой планеты, этот космический путешественник проделал путь длиной во много световых лет и был слегка удивлен, но также обрадован, и у него было много различных дел. От его яснопогодного лица веяло здоровьем, на нем красовались светло-каре-голубые, глубоко посаженные глаза и между ними – величественный нос. Подбородок был выпуклый, волевой и слегка выступающий вперед из-за высоко поднятой шеи и таким образом свидетельствовал о неутомимости своего обладателя, напоминавшего коня, который у стартовой черты топорщит гриву. Здесь явился человек, который собрался перетащить целый фьорд в будущее. И когда он полностью поднялся на причал, все, кто хотел, увидели, что это и впрямь такой человек, который способен перетащить целый фьорд в будущее. Он был такой большой, длинноногий и во всех отношениях симпатичный, этот Гуннар с Конца эпохи[119].

И этот капитан космического корабля сейчас кивал головой ему, марсианину Гесту, произнося незнакомые слова, которые могли означать «Здравствуй!», но также и «Да пребудет с тобой будущее!» Мальчик ощутил ту историческую ширину, которая крылась в этих словах, хотя не понял их самих. Сейчас первый человек двадцатого века ступил на ту луну, которой была Исландия, и первым, к кому он обратился, был не кто иной, как Гест Эйливссон! Едва ли его мальчишеский рассудок был бы потрясен больше, если бы сам Христос кивнул ему головой! А потом он проводил норвежца взглядом по причалу: тот ступал большими широкими шагами, в знаменитых сапогах, на которые все таращили глаза. Они не только были сделаны из чудесного материала под названием «гумми», но он еще и подвернул их так, что болтающиеся подвороты скрывали большую часть башмака, так что издали казалось, будто он вышагивает на двух громадных копытах.

Может, это был скорее не бог, а дьявол?

У причала его ждали простые люди – исландский народ в своей серой, как овцы, вязаной одежде в летнюю жару. Двое косцов со Старого хутора стояли, вытаращив глаза, со своими косами, в одних длинных кальсонах и майках и в той обуви, которую норвежцы зовут ночными туфлями, а по-исландски это называется башмаками из овечьей кожи. В этой части земного шара немногие народы позволяли себе разгуливать по улице в нижнем белье, и зарубежным гостям нередко было трудно выносить это мочежелтое зрелище: ведь дней стирки в году бывало меньше, чем времен года.

Но по мере того, как приближался новый человек, кое-кто из местных отделился от толпы – может, им не понравились эти громадные копыта? Но кое-кто остался стоять, сунув руки в карманы и продолжая держать их там, даже когда норвежец был в двух шагах от них и уже сказал: «Здравствуйте!» Но в те времена в Исландии не было принято здороваться с незнакомыми. Никто не ответил на приветствие, не поздоровался с норвежцем, и никто не предложил ему понюшку из своей табакерки; но в толпе был молодой вольник, широколицый и безбородый повеса, немного умеющий говорить по-норвежски и, в отличие от других, слишком малоодаренный, чтоб стесняться.

– Что у вас в бочках? – громко спросил он, не поздоровавшись.

– Это, скажу я вам, селедка.

– Селедка? В бочках?

– Да, мы получили ее утром, вот только что выловили этой нашей новой снастью – кошельковым неводом.

– Кошельковым?

– Да, его еще называют «кошель» или «снюрревод». Мы окружаем им косяк сельди, затягиваем горловину и потом вычерпываем из этого мешка золото. Мы так много наловили, что забили весь трюм и даже бочки, которые взяли с собой на первые дни, пока не подойдет «Аттила». Просто невероятно! Все заполнилось за какие-то полчаса! Там в открытом море эта сельдь просто кишмя кишит. В невод набилось столько, что я опасался – он утянет нас на дно! Представляете себе? Улов, который судно перетягивает!

И тут он засмеялся: легко, без всякого высокомерия, и так искренне, что слушателям ничего не оставалось, как попробовать примкнуть к нему в этом занятии, хотя здесь никто не умел смеяться вне дома и мало кто понял хоть словечко из этого космического языка старого мира. Но все же кое-кто понял. “Silla” – это значит «селедка». Этот рослый красавец говорил о селедке так же, как иные – о золоте. И как он мог пороть такую золотую горячку о такой никчемной рыбешке? Странные эти норвежцы: промышляют то самых больших существ на земле, то самых крошечных.

– И что с этой селедкой делать? – спросил повеса.

– А вот мы собирались выгрузить ее здесь, – ответил капитан Мандаль и кинул взгляд в сторону склада, который уже стоял наготове за новым причалом. Плотники закончили свою работу раньше на три дня, и церковь тоже, и сейчас третью ночь кряду отсыпались у Эгертбрандсена. «Выгрузить здесь?» – переспросили люди и посмотрели распахнутыми глазами на сам корабль и эти двадцать бочек, полных сверкающего рыбьежирного золота. После тысячелетнего мучения в холоде и мраке в этом фьорде наконец выгрузят на берег свет. Заселение Исландии-1 прошло неплохо, а Заселение Исландии-2 обещает быть еще лучше. Или как? А вдруг этот человек – представитель Нечистого, хотя к его копытам не прилагалось ни рогов, ни хвоста. А вдруг это все обман зрения? Какие дураки расставляют посреди палубы пустые бочки, а потом наполняют их рыбой? Что-то не видно, чтоб они были хоть как-то там закреплены! Ну вот, разве это не отвод глаз? Да и как такой красиво сложенный

человек вообще мог водить корабли? Где у руля стоит красота, там это добром не кончается! Да и что вообще за дела: опять этот проклятый окаянный штиль! Здесь все катится к чертям?

К своей удаче исландцы подступали медленно и ругали каждый кусок пирога до тех пор, пока полностью не проглатывали его.

Гест вновь отошел к концу причала, чтобы удобнее было любоваться этими красивыми пузатыми сосудами, составленными из выгнутых досок, расставленных вертикально и опоясанных тремя поясами – тоже деревянными, которые назывались «обручи». Лица корабельщиков, стоявших возле улова, излучали гордость – особенно лицо просоленно-загорелого жилистого человека с белой тряпкой, повязанной вокруг головы. Он держался словно матрос на космическом корабле, стерегущий улов редкостных метеоритов, которых они наловили в свой магнитный невод по пути к Марсу.

Глава 7
Звездный час

Арне Мандаль наметил из толпы нелепого старика, который показался ему наиболее подходящим для роли ленсманна в этом безлесном лене, потому что он единственный здесь был в фуражке. Это был старый Йоун из Дома ветров, прозванного так из-за того, что его хозяин часто пускал ветры, – отшельничьей хижины вверх по склону, которая выглядела как куча камней, но внутри нее этих ветров напускано было столько, что жить там было невозможно. Йоун был одноглазым, но этот один глаз у него был постоянно широко открыт; он за полвека ни разу не моргнул, а лицо, застывшее в гримасе, как бы обрамляло его, словно он постоянно смотрел в бинокль. И над этим невидимым биноклем он носил фуражкоподобную шапку с козырьком, который так хорошо затенял царящее под ним непонимание, что капитан-норвежец решил, будто его собеседник понимает все его речи, и обрушил на его уши длинную тираду, к тому же содержавшую в конце ряд вопросов.

Старый Йоун не знал норвежского, но из-за его гримасы догадаться об этом было невозможно; напротив, она заставляла его казаться умнейшим старцем, встречающим речь космического капитана особо мудрым молчанием. Он ответил на нее лишь тем, что жестом пригласил Арне и его спутников – пареньков, которые выглядели более буднично, однако оба были обуты в резиновые сапоги, – следовать за собой, и двинулся к новому дому Эгертбрандсена, который стоял рядом с Норвежским домом и который остряки уже окрестили «Аквавыть».

Китовый сторож приплелся к дверям похмельный и едва проснувшийся, с ночным туманом в голове, в белой ночной сорочке. На его брюхе выгибались подтяжки, напоминая доски бочонков на палубе. Как раз здесь и состоялась радостная встреча земляков; они немного поговорили, словно четверо джентльменов, окруженных дикарями, потому что за высоким светловолосым человеком потянулась длинная вереница мальчишек, девчонок, мужиков, собак и вольников, и теперь они все окружили его, словно он был рок-звездой более поздней эпохи. Гест смотрел на этих больших людей снизу вверх и впитывал в себя все их разговоры и манеры.

Но норвежцы сделали в своем разговоре перерыв, когда старый Йоун так мощно пукнул, что они поначалу решили, что на склоне какой-нибудь горы начался камнепад или на «Марсей» рухнула якорная цепь, и огляделись вокруг, тараща глаза. Но тут последовал второй раскат, более похожий на человеческое ветропускание, и они всё поняли, к тому же Эгертбрандсен объяснил им, в чем дело. Тут они легко засмеялись. А когда до них долетел запах – то еще громче. *“Ho, ho! Herregud!”* [120] Только они не заметили, что из местных никто не улыбнулся: они стояли такие же серьезные и пучеглазые, как прежде, но по их виду нельзя было сказать, чтоб их что-то огорчило. Здесь явно никто не смутился, словно в этой стране было принято пускать ветры в общественном месте. И все же по этим продубленным непогодой лицам было непонятно, выражают ли они снисхождение, сочувствие, изможденность или своеобразное вонелюбие.

Но тут послышались крики, и все увидели, как перед Мадаминым домом шагает делегация – лучшие люди городка закончили свое собрание и вышли встречать новых занимателей земли. Это были хреппоправитель, пастор и новый врач, Гвюдмюнд Херманнссон, коренастый очкарик с качающейся походкой. Марсейцы спустились с крыльца Аквавыти, а китовый сторож тем временем побежал надеть на себя побольше одежды. Он догнал все общество как раз в минуту встречи, когда трое из экипажа корабля пожали руки троим из совета хреппа. «Ах, вот как, значит, исландцы не так уж и отличаются от нас, – думал Арне Мандаль, – во всяком случае, этот пастор просто ужасно напоминает моего дядюшку Вегарда. Те же кустистые брови, та же прямая спина, та же гордость, прикрытая усами». И он тотчас понял этих людей: здесь старые родичи встретились на красивом краю света.

Глава 8
Жена пастора

Преподобный Ауртни проводил всех в гостиную, пригласил четверых норвежцев и двух исландцев сесть за стол, а сам выскочил в коридор, чтоб отдать экономке Халльдоуре распоряжения насчет угощения. Кофе с клейнами!

Моряки очень долго выбирались из своих резиновых сапог. Об этом виде обуви возникли споры. Исландцы знали сапоги на основе деревянных башмаков, к которым прибивались высокие кожаные голенища: с этим предметом их познакомили бретонские и фламандские моряки, и они потом применяли его во время акульего промысла, – но никто раньше не видел, чтоб к деревянным башмакам приклеивали куски резины, а норвежцы говорили, что такие сапоги совершенно не пропускают воду, – что и стало понятно по запаху, когда им наконец удалось высвободить свои взопревшие в носках ноги из этих огромных копыт.

Хреппоправитель Хавстейнн смог занять гостей беседой, и марсейцы по его просьбе рассказывали истории из своих путешествий, а сквозь деревянный потолок тем временем доносилась возня женщин на верхнем этаже. Врач Гвюдмюнд немного поерзал на стуле и откашлялся. Он был человек медлительный, и ему было удобнее общаться с больными, нежели со здоровыми. Сфера его интересов почти полностью ограничивалась людскими хворями. Впрочем, его присутствие всегда хорошо влияло на всех: людям было приятно слышать шелест, с которым его бакенбарды терлись о жесткий воротничок рубашки. Послышалось, как пастор поднимается по лестнице – а Арне Мандаль тем временем описывал то, что он называл «солнцепутный ветер» – когда ветер все время дует из той стороны, в которой находится солнце, не важно, поднимается ли оно на востоке или закатывается на западе, – и этот «солнцепутный» ветер у них был все время: плавание из Кристиансунна до Сегюльфьорда заняло всего трое суток, – а ведь это было самое большое расстояние, которое преодолели корабль и капитан.

– *Men det var jo storartig!* [121] – улыбнулся хреппоправитель, а потом повернулся на сиденье и громко сказал по-норвежски в тот

момент, когда преподобный Ауртни вошел в гостиную: – А вот и пастор со всеми своими женщинами!

Они проследовали за ним в лучшую гостиную: Сигюрлёйг, Гвюдлёйг, Вигдис и Сусанна, – все в длинных юбках и платьях – блистательный женский мир. Волосы уложенные, шали узорчатые, лица потупленные, взгляды быстрые.

– Четыре женщины! – сказал Эгертбрандсен, и гостиная в Мадамином доме наполнилась норвежским хохотом. – Но ведь Исландия не католическая, здесь пасторам нельзя иметь по четыре жены! – И они вновь расхохотались.

Арне поднялся с места и встал возле стола, покрытого скатертью, высоко подняв подбородок: такой уж он был человек, он вставал в присутствии женщин, хотя было не ясно, поступает ли он так в силу искреннего восхищения и обожания, или собственная красота со временем научила его так держать себя с противоположным полом. Во всяком случае, он, судя по всему, привык к тому, что женщины восхищаются им, и, подобно цирковому слону, которого уже слегка утомило всеобщее внимание, выработал особое поведение, которым отвечал на обожание.

Тишина наполнилась шорохом женских платьев, и Арне переводил глаза с одной женщины на другую, по всей этой радуге красоты, пока его взгляд не упал на лицо Сусанны, как раз поднявшей глаза с пола на стол, со стола – на спину хреппоправителя, а с его спины – на молодого капитана, точнее, на его тень – тень прямого человека на залитом солнцем окне. Из-за яркого света она не видела выражения его лица, лишь темный силуэт, длинную шею и взъерошенные волосы, а ему было видно ее лицо, и хотя он причалил к берегу совсем недавно, его сердце отдало швартовы, в груди поднялась качка, волны стали захлестывать все, что он, как ему казалось, знал и умел, так что кораблик его души, гордо несущий свои паруса, принялся скрипеть. Проходили напряженные секунды, проходили целые человеческие жизни, горы трогались с места, из фьордов уходила вода: а вдруг эта светловолосая, длинношеяя, пухлощекая, румяная, серьезная, темнобровая раскрасавица – это жена пастора?

В конце концов он больше не смог вынести и наклонил голову перед девушкой, но слишком быстро, словно хотел склониться перед мыслями, метавшимися в его голове. Впрочем, для присутствующих

этот быстрый наклон головы больше показался похожим на то, как будто капитан получил резкий удар в живот и согнулся из-за боли: любовь иногда – боксер. Но с его собственной точки зрения, он всего лишь низко поклонился красоте мира и теперь горячо и искренне желал, чтоб она и оказалась женой пастора: «так будет лучше, я не могу сладить с этими волнами в груди, похоже, будто все морские воды между Норвегией и Исландией собрались у моего горла, я едва могу вздохнуть; может, это из-за того, что сейчас, после тысячи лет разлуки, наши народы вновь поприветствовали друг друга? Здесь должны действовать мощные судьбоносные силы, не иначе, ведь во мне волнуется все это море, я раньше никогда такого не ощущал, я…»

Все это думал молодой капитан, пока наклонял голову, пока его взгляд задерживался на ее обувке (иностранных домашних туфлях) напротив его серых шерстяных носков. И все же он не пробыл в такой позе настолько долго, чтоб это показалось уже неестественным. Но вот он услышал, как разговор над его головой переключился на то, которая из четырех женщин – настоящая жена пастора, только он не услышал, кто именно: такой у него в ушах был сильный прибой.

Когда он наконец выпрямился, его сердце отбило тысячу ударов, предваряемых металлическим мелкозвоном, раздающимся в часах, когда они вот-вот пробьют, тысяча ударов в одном птичьекапельном предзвоне, по звуку на каждый год, разлучавший их, – и его глаза вновь встретились с ее глазами, и вновь началось неистовство, любовь была ударом, ее лицо – палицей, ему отвесили оплеуху, и сейчас он заметил, что посреди любовного поля боя лежал рукоположенный человек – здесь было чему уступить. Если эта женщина, эта дива с ямочками на щеках, эта… девушка, эта краса жизни, если она – жена этого усатого пастора, так похожего на дядюшку Вегарда, – то пастору придется убраться: капитан ему или хребет перешибет, или вовсе пришибет. Да, вовсе убьет. Потому что на атаки любви отвечают лишь таким образом: решиться на убийство или порешить себя. Капитану Арне всего лишь за три мгновения после того, как он узрел датско-исландскую Сусанну, стало ясно: за нее он способен убить пастора.

Сердце, оставившее позади целое море, мыслит яснее всего.

Его губы дрожали, когда он представлялся ей – представлял ей то имя, которое она потом будет носить до конца дней своих: Сусанна Мандаль. Пути назад уже не было: они заглянули друг другу в глаза,

они взялись за руки, она назвала ему свое имя, он ей – свое, и отступать было поздно, его жизнь забилась в ее кошельковом неводе. Его силуэт на тени дрожал, когда он вновь сел за стол; машинально он поднес руку ко лбу и вытер с него пот. Такая роль была для него совсем непривычна – вот он и вспотел. Обычно в его присутствии колебались как раз дамы – как лодки у причала. Товарищи посмотрели на него с удивлением: что-то случилось? Он ощутил на себе их взгляды и подтянулся, положил руки на стол и выпрямил спину, его лицо было багровым, и в этой багровости светлые волосы сияли как никогда раньше: и в легком пушке бородки, и в волосах, и в бровях.

Эгертбрандсен все еще о чем-то перешучивался с пастором и женщинами (Арне не слышал о чем), и все еще раздавался смех. Арне для верности тоже немного посмеялся вместе со всеми, а затем отодвинул стул от стола и попытался устроиться как следует – а его глаза в это время кружили по гостиной, как две осы, и наконец остановились на закрытых веках светловолосой девушки, которая сейчас села в южном углу гостиной, у клавиатуры фортепиано с краю, и красиво молчала.

Немного спустя в дверях гостиной появилась широколицая экономка с ребенком на руках – двухлетней темноволосой девчушкой, одетой в бледно-розовое шелковое платьице с бантиком впереди. Мужчины этого не заметили – кроме светловолосого капитана, который сейчас выпятил грудь. Толстушка экономка поставила ребенка у порога, и малютка со всех ног побежала, сильно пугаясь всех этих малоотесанных моряков, позади их стульев, – и куда же она побежала? Конечно, прямо в объятия той светловолосой длинношеей, которая сидела в углу у окна. Сусанна ласково улыбнулась, подняла маленькую Кристин, прошептала ей на ухо что-то матерински нежное, а малышка тем временем окидывала взглядом гостиную, сидя у нее на руках, – щекастый ребенок со смущенными, но умными глазами, живая копия своего отца – для полного сходства не хватало лишь усов. «Это малышка Кристин, наша общая радость», – объяснил пастор гостям; он сидел за столом напротив Мандаля, который нежно улыбнулся, перебирая в уме всевозможные способы извести этого своего собеседника. Ведь это было уже не эффектное сравнение, продиктованное любовью: он по-настоящему уверился, что должен убить этого пастора-исландца.

Халльдоура внесла чашки, а Вигдис приняла их и поставила на стол, чтоб экономка могла сходить и принести что-нибудь еще. Арне внимательно следил за этой расстановкой и во время каждого движения головой снова и снова скашивал глаза на Сусанну и ее дочь. Ему придется заменить этому ребенку отца – или, может, его лучше тоже убить? «Ну что за мысли», – возмущенно пробурчал его рассудок, а потом представил себе своего обладателя, который забегает в один из лучших магазинов Бергена и покупает ей, Сусанне, шейный платок китайского шелка, и слышит, как звенит колокольчик на открывающейся двери магазина. *“God dag!”* А в это же время страж, прикрывающий тылы его души, не спускал глаз с пастора Ауртни и мысленно примеривал к освященной шее опасную бритву. Халльдоура плюхнула на стол кофейник, и пастор поднялся с сиденья:

– Тезка, не желаете ли кофе?

Глава 9
Все равно, что сквозь войлок кричать…

Фортепиано пастору привезли прошлой осенью – огромный новый инструмент, для переноски которого с пристани в дом потребовалось шестеро человек, потому что этот высокий ящик был заполнен всей историей мировой музыки, а тяжелее всего весили приятели Бах и Бетховен. Теперь, когда во фьорде появился инструмент, настоящий инструмент, началась совсем другая жизнь! Для пасторши этот предмет стоил целой церкви. В ту зиму пасторская чета дала в Мадамином доме три концерта для лучшей публики городка – людей, которые умели сидеть на стульях. Песни Грига и Гаде вперемешку с более легкими шлягерами и, конечно же, «новейшие» народные исландские песни из седельной сумки пастора Ауртни. И тогда Вигдис решила, что в Сугробной косе вполне можно жить, хотя за окном ревел бескультурный буран.

И сейчас, когда кофепитие было завершено, словно необходимая бюрократическая процедура, моряки-сельделовы спешили приняться за работу: улов был ценный, – но пастор попросил их задержаться на пять минут: сейчас ему хотелось исполнить в честь визита хороших людей и хорошего дня песню, сочиненную им специально для такого случая: «Норвежские родичи! Дарите нам / вы новое время на свете…» Пастор сел за фортепиано, а Вигдис заняла место у того его конца, который был ближе к дверям, и потом они оба (правда, она – лучше и громче) запели эту специально сложенную песню присутствующим. «…Во фьорде улыбка бежит по горам, / и радости учатся дети». Слушатели зажмуривались и улыбались, как фьорд в солнечную погоду, – и светловолосый капитан вместе со всеми, хотя его глаза постоянно блуждали между женщиной, сидящей у края инструмента возле окна, и задней частью шеи аккомпаниатора.

Но по окончании песни, когда певица поклонилась и приняла аплодисменты публики, нарядный ребенок вдруг вырвался из объятий красавицы Сусанны и помчался к певице с громким возгласом: «Мама!» Вигдис, рассмеявшись, взяла дочь на руки и так поклонилась с ней, а аплодисменты стали еще громче. Эгертбрандсен крикнул: «Ура!», а сердце капитана воспарило ввысь, словно окрыленная

кровяная колбаса: какое облегчение! Все мысли об убийстве, которые он лелеял, разом исчезли из его головы, и там начала свою неистовую пляску любовь, в сапогах на мокрой палубе; он бросил взгляд на Сусанну, и она, словно прочитав его мысли, на этот раз отплатила ему ответным взглядом.

Но взгляд у нее был безучастный – такой же безучастный, как пробки двух бутылок, не дающие никакого представления об их содержимом, обо всех мыслях, которые спали в этих стеклянных сосудах среди выверенных фактов, например, таких: вот к нам приехали иностранные гости, видеть новые лица – это всегда развлечение, а этот высокий светловолосый и впрямь необыкновенно миловиден, но его удачливость на море приведет к несчастьям на земле, это видно по его резким бровям – или как? Ишь, как он на меня смотрит, ну знаете ли, мой рассудок запретил мне заглядываться на красавчиков, дважды – это в два раза больше, чем надо, в обоих случаях тут бочки пустые, бочки-то пустые.

Вот что говорили эти две пробки, но у любви с первого взгляда есть только глаза, а ушей нет, и Арне сейчас больше всего на свете хотелось бы попросить пастора сходить с ними в ту новую некрашеную церковь, которая стоит вон там, и обвенчать их – немедленно. Единственным возражением против этого было то, что слишком уж очевидным и предсказуемым выходило, что они, молодые, светлые и прекрасные, должны прилепиться друг к другу. Но глаза не лгали – такие глаза! – все было уже решено. И тут он представил себе, как его мать, Маттхильд, раскрывает свои широкие объятья в голубой кухне дома во Вставанькере и обнимает ту, что станет его супругой навек. *“Åh, Gud hva hun er vakker!”* [122] – громко-громко выкрикивает она и смеется своим переливчатым румяным смехом всеми своими шестнадцатью щеками.

Но как раз в этот миг в дверь постучали. Магнус Пустолодочный пошел открывать – и был слегка удивлен, увидев делегацию, собравшуюся на полянке перед домом: там все еще была вереница, увязавшаяся за норвежцами, мужики и дети, а еще к ним примкнули несколько батраков и работников, более того: к такому веселью присоединились и Йоуи-акулятник, и Йоун из Дома ветров, и Метта из Мучной хижины, Анна, ее дочь, и сын – Бальдвин Пухлый, со строгим лицом, и двое пророков чуть в сторонке… да и сам Кристьяун –

торговец в выходной одежде стоял перед ним на крыльце и просил разрешения войти. Магнус впустил его, и торговец встал на пороге гостиной – со своими начищенными усами и важным видом. Он поприветствовал собравшихся, словно вождь народа: помахал правой рукой, затем переступил порог, но усаживаться не стал, а обратился к присутствующим стоя. Он бегло говорил по-датски с жестким акцентом, и норвежцам потребовалось время, чтоб настроить свои уши на эту частоту волны, а потом им пришлось с еще большей тщательностью настроить свое сознание, чтоб воспринять содержание того, что этот человек хотел сказать.

Торговец Кристьяун сделал капитану выгодное предложение: вызвался заплатить за судно «Марсей» все портовые сборы и сборы за разгрузочные работы – пусть он ни о чем не беспокоится! В этом месте последовал самоуверенный взгляд в сторону хреппоправителя Хавстейнна, сидевшего рядом у края стола со своей табакеркой. Капитан Мандаль переспросил: «Что?» – и попросил его повторить это предложение, а Эгертбрандсен глубоко кашлянул. Да, торговец делает им выгодное предложение, потому что по случаю таких грандиозных событий, – не в последнюю очередь для того, чтоб показать этим новым заселятелям земли, что такое настоящее исландское гостеприимство, другими словами, оказать им теплый прием в этом фьорде, – магазин торгового товарищества «Крона» вызывается заплатить за них все сборы для порта и хреппа. – Значит, и проследить за выгрузкой и разделкой? – спросил Мандаль. Ему было трудно это понять. Кто этот человек и что у него за такое коронное общество? Королевская судовая компания?

– Разделка? – переспросил купец.

– Да, селедке надо вырезать жабры, уложить в бочки и засолить. У вас соль есть?

– Засолить?

И наш исландский торговец вдруг оказался обеими ногами в новой реальности, хотя голова у него все еще была полна старой. Норвежский капитан ясно видел, что этот человек не имеет представления о засоле селедки да и пришел сюда вовсе не для того, чтоб оказать кому бы то ни было добрую услугу. Так что он обратился к Эгертбрандсену. Они с ним обменялись фразами на таком особенном норвежском, что исландцы ничего не поняли. Но, судя по всему, китовый сторож что-то

объяснял своему соотечественнику. Наконец молодой капитан поднялся, словно представитель угнетенного народа за столом горячих дебатов, и обратился к торговцу на понятном норвежском, спокойно и сдержанно:

– Вы хотите заплатить за нас все сборы?

– Да.

– Вы знаете, что для обработки этого улова – а у нас двадцать бочек на палубе и триста в трюме – нужно много рабочих рук.

– Да.

– И вы понимаете, что этим рабочим мы собираемся заплатить за их труд?

– Да, сударь.

– Но вы своим предложением хотите воспрепятствовать этому?

– А вот сейчас я вас не понимаю.

– Вы хотите воспрепятствовать тому, чтоб мы заплатили людям то, что они заработают. Вы вызвались заплатить за нас наши сборы с той целью, чтоб все эти финансовые потоки проходили через ваш магазин, чтоб сумма этого заработка таким образом пошла вам, а не самим рабочим. Другими словами: вместо того, чтоб платить людям за разделку улова, вы хотите, чтоб мы заплатили вашему магазину. То есть вы хотите забрать чужой заработок себе?

Молчание. Капитан быстро посмотрел в угол, на свою любовь – какая женщина! Какая жизнь перед моими глазами! – но тут же увидел за окном, что на площадке на улице полно народу: серосвитерные бородачи и неуклюжие пареньки-мальки, бледные на ярком солнце. Там же – и мальчик, которого он встретил первым на причале. Он снова повернулся к Кристьяуну из товарищества «Крона» и ощутил взгляд Сусанны у себя на спине и затылке: сейчас ему предоставлялась возможность проявить себя и показать… Он посуровел:

– Вы хотите, чтоб мы выплатили вам то, что заработают люди, потому что эти люди и весь их труд – ваша собственность?

– Я боюсь, что…

– Вы сами выловили всю эту рыбу? Вы строили наш причал? Все эти люди вам принадлежат? В Исландии рабовладельческий строй? Вы – царь над мужчинами и женщинами?

– Боюсь, что…

– Не надо бояться, давайте-ка лучше выйдем… Выйдите со мной!

Арне Мандаль вошел в раж, движимый любовью и праведным гневом: ему были знакомы эти сухопутные жуки, которые тихой сапой пытаются втереться между людьми и уловом, и иногда им удавалось нагреть руки на том, что наловили другие. Он приблизился к торговцу и прошел мимо него прямо в двери.

– Ступайте за мной, – сказал он, а потом добавил, заметив, что Кристьяун мешкает: – Вы боитесь ваших людей?

Высокий светловолосый норвежец открыл двери Мадамина дома и шагнул на залитую солнцем лестничную площадку; щеки у него раскраснелись от накалившихся страстей, – Исландия в одночасье приобрела собственного вождя-революционера! Он помахал Кристьяуну, велел ему выйти, и в конце концов владелец товарищества «Крона» повиновался и встал рядом с норвежцем, словно осужденный. Толпа сгустилась у лестницы: здесь что-то происходило, здесь стояли скверношляпные акулятники, согнутые в три погибели земляночники, батрачки со Старого хутора с пухом на щеках – и все не сводили глаз с высокого светловолосого человека. Капитан возвысил голос и обратился прямо к народу на таком понятном норвежском, на какой только был способен:

– Этот человек, ваш торговец, хочет, чтоб вы сейчас поработали на засолке сельди. Но ваш заработок он хочет положить в свой карман. Вы этого хотите?

Народ смотрел на него безо всякого выражения на лицах, – но в этом черничнике глаз можно было расслышать слабый ропот. Мандаль продолжал:

– Я говорю: нет! Мы заплатим вам деньгами! Теперь в ваш городок пришло будущее, теперь у вас будет свобода, вы будете работать не на него, а на себя самих! Настали новые времена!

Он закончил свою речь, подняв вверх сжатый кулак, и тут бы раздаться ликованию и крикам «ура!», только исландское простонародье не понимало в достаточной мере ни норвежский язык, ни такие разговоры о свободе.

– Он говорит, что теперь мы будем свободными, – громко объяснял взрослый мужчина осунувшейся женщине в платке, которая стояла и жмурилась на солнце, – то была Метта из Мучной хижины.

– Вот как? А разве тут кто-то несвободный?

Молодой капитан окинул толпу взглядом и попытался понять этих людей; он не мог взять в толк, почему они никак не реагируют на его слова, – может, они его не поняли? Где у этих людей сознание? Где жажда свободы? Он стоял перед людьми, из которых каждый на свой лад был закован в цепи: моряки, которые каждый вчерашний день закладывали лавочнику, чтоб пережить день завтрашний; или батраки, которые были собственностью своего хозяина, потому что вся их работа принадлежала ему, а сами они не имели права ничем владеть; вся их свобода заключалась в том, что им можно было раз в году уходить к другому хозяину, и то лишь в пределах одного фьорда, а переезжать в другие местности им возбранялось. И когда иностранец предложил им работать за деньги – впервые в истории страны, то торговец – истинный сверххозяин над всеми хозяевами и батраками, потому что все эти кроны, вся эта чудна́я финансовая система, были только буковками в его книге, – этот торговец сейчас собирался присвоить себе их труд. Вот каким было исландское рабство, – но оно в ходу уже так давно, а обсуждали его так мало, что все уже притерпелись к нему, и никто его не критиковал. Для этого был нужен иностранец.

Итак, наши земляки восприняли все эти неожиданные вести об освобождении от оков бестрепетно. Вести такие речи здесь было все равно, что сквозь войлок кричать: как ни старайся, никто не услышит.

Он стоял на утреннем солнце без обуви, в одних носках и в своем голубом свитере-водолазке; и он всего-то успел пробыть в этой стране час с четвертью – а уже нашел себе жену, выгрузил селедку на берег и будущее – в Северную Исландию, изменил ход истории страны и надолго поколебал жизнь целого народа этой примечательной идеей: платить людям деньги за их работу. Здесь и закончилась самая длинная глава в истории Исландии – на площадке перед Мадаминым домом, хотя действующие лица этой истории и сами об этом не подозревали.

Мандаль повернулся к Кристьяуну и спросил:

– Не желает ли торговец что-нибудь сказать?

Но сверххозяин старого времени в новом потерял дар речи и лишь потряс головой. Вот что этому народу делать с деньгами? Теперь, что ли, в лавке и кассу придется заводить?

– Ну, люди добрые! А теперь за работу! Все за работу! Улов ждет, солнце печет! Кто бы что ни говорил, а сейчас за всю работу заплатят

деньгами!

Капитан вошел в такой раж, что, закончив свою речь, поспешил в одних носках вниз по лестнице, а оттуда – на тун, правда, там он обернулся и прокричал своему штурману, вышедшему на лестницу, чтоб тот прихватил его сапоги. А торговец все еще стоял на площадке не шелохнувшись и, несмотря на яркое солнце, уже стал тенью минувшего – действующим лицом, которое все еще на сцене, хотя прожектор больше не освещает его. Теперь луч этого прожектора бежал за другим человеком – высоким светловолосым вождем-революционером в одних носках.

В гостиной с пианино Сусанна сидела у окна и наблюдала за толпой. Гест взглянул на окно, увидел лицо подруги пасторши и почувствовал, что воздух наэлектризован – здесь по истечении тысячи лет наконец стали происходить события. Он двинулся вместе с толпой и догнал капитана; норвежец уже успел обуться в сапоги и шагал широко, не глядя по сторонам; он явно еще не остыл. Примерно за час с небольшим он превратился из жизнерадостного первопоселенца в жестокосердого убийцу, а из него – в мягкосердечную влюбленную птаху, а потом вдруг стал вождем народа, мечущим в своих речах громы и молнии. Гест обернулся и увидел, что Сусанна все еще стоит у окна и смотрит им вслед, а потом смешался с серой толпой, которая влеклась за этим пламенеющим человеком, – и старался все время быть в первых рядах.

Глава 10
Первый день засолки

Пока норвежцы пили кофе, влюблялись и меняли уклад жизни в стране, их матросы замеряли глубину возле нового причала: опускали в море камень на длинном лоте. По окончании этой процедуры капитан посчитал безопасным причалить там свою шхуну. Однако рядом таилась подводная гряда, и корабль чуть-чуть задел ее на пути к причалу, так что работникам пришлось добрую часть дня, – да еще при хорошей погоде! – ждать, пока грузчики и матросы воевали с веслами и канатами. В конце концов разгруженная шхуна сама легко поплыла к новому норвежскому причалу, где ее пришвартовали поперек причала. Тогда день перевалил уже за середину, солнце стало клониться к западу, и мальчишки побежали по лачугам и хуторам выгонять оттуда работников, которым надоело ждать, и они убрели домой, чтоб утолить голод.

А Гест никуда не уходил: он как завороженный наблюдал за действиями корабельщиков, разгружающих свое судно, и не чувствовал голода: он уже насытил свои взоры. На берег потекли бочки золота на специальных носилках – тачках: их жители Сегюльфьорда до того никогда не видели и пришли от них в восторг. Так в этих краях завертелись первые колеса.

А по ту сторону фьорда у себя во дворе стоял хуторянин Сигюрлаус и пытался разглядеть все эти события в слепящем сиянии дня. Всюду на приливной полосе сверкало послеполуденное солнце, низвергало свои лучи на море, штиль стоял полный, ни одна волна не билась о камень. Не иначе, казалось ему, во фьорд пришло второе поколение сказочных братьев-дураков: судя по этому блеску, на берег принесли много-много солнечного света[123], а на палубе корабля виднелись полные бочки этого вещества.

Работа там все же велась довольно примитивным способом, потому что едва бочки свезли с причала, искристое сияние из них вывалили прямо на гальку, и по мере того, как количество бочек на палубе уменьшалось, на каменистой приливной полосе возле нового сарая росла громадная серебристая гора. Если смотреть с хутора Обвал, эта куча сельди выглядела как один гигантский солнечный блик.

Конечно же, там полагалось поставить специальный сельдезасолочный помост; но поскольку плотники неожиданно бросились возводить церковь, на него материала уже не хватило. Однако никто из них не сомневался, что церковь важнее помоста, – а когда еще ждать «Аттилу» с новым грузом бревен и досок! (У этих норвежцев приоритеты ясны: первым делом – корабль, а после – экипаж, а после – Бог, после – улов, после – вино, после – драка, а уж женщины только потом.)

Когда бочки выгрузили с палубы, грузчики спустились в отсеки трюма, где россыпью лежала сельдь. Ее нужно было сгрести в оказавшиеся под рукой бочонки, чтобы потом свезти весь улов на тачках на берег и свалить в кучу. Для этой цели использовалась корабельная таль, и на ней в кишащую рыбу опускали сооруженный из сети мешок. Количество этих серебристых рыбешек было просто неимоверным, и у окружающих захватывало дух. Как может одно судно наловить столько рыбы? Экипаж отгружал полные тачки сельди на причал – но тачек у них было всего три, и тут местные мальчишки-подростки показали капитану свою смекалку: они раздобывали старые корыта и те тазы, в каких в акулоловную эпоху топили жир, просили наполнять их селедкой и, взявшись вдвоем, уносили на берег. Гест и Магнус вместе таскали такой таз для акульего жира, полного скользких рыбин, сбегали с ним на причал и опрокидывали в общую кучу – и рыбы скользили прямо к своим товаркам, а какая-нибудь из них дергалась и подскакивала в воздух. При этом Гест вспоминал, как рыбаки из Лощины застряли посреди фьорда в косяке сельди. А сейчас он видел, как они же стояли на гальке в толпе зевак и внимательно следили за работой, вытаращив глаза.

Некоторые члены экипажа начали подготавливать разделку и засолку. Здесь приходилось импровизировать. Они поманили к себе женщин – батрачек со Старого хутора, сестер с Сугробной реки и других, выдали им фартуки – промасленные, блестящие фартуки, пахнущие дружной работой, – и рукавицы, и ножи, и показали, как правильно действовать. Видели там и одну из девушек Кристмюнда, Хюгльюву, батрачку из Лощины, которой такое имя не совсем подходило [124]. Каждой выдали пустую бочку, а затем показали, как, стоя на коленях у кучи рыбы, разделывать селедку на камне или дощечке, если найдется: по одной, и сперва делать на рыбке V-

образный надрез под жабрами, а потом вытаскивать через него внутренности. После этого рыб надо было класть в раздолбанные бадьи, которые норвежцы сыскали у себя на судне, и обваливать в соли, а уж потом складывать в бочку. Как уже говорилось, в этот первый день соления сельди методы работы были весьма примитивны и неудобны для мужчин и женщин, а норвежцы объясняли, что в Норвегии селедку всегда разделывают на специальных столиках, но плотники, такие-сякие, извели все доски на алтарь, а значит, пока придется работать вот так.

Укладывать сельди в бочку надлежало по определенной методе, веками сложившейся у сельдепромышленных народов Европы, из которых первыми были голландцы и англичане. Порядок укладки был как простой танец: одна селедка – две селедки, одна – две, одна – две… Начинающим не сразу удалось запомнить, что из одиночных селедок каждая первая должна смотреть наверх, а каждая вторая вниз. Во всех слоях рыбины должны были лежать брюхом вверх, кроме самого верхнего, где они показывали спину.

– Да, правильно, укладывай тесно и как следует, – сказал матрос-норвежец юной исландке-земляночнице, которая впервые в жизни вышла на взморье, и объяснил ей, как сыпать соль, когда селедка в бочке закроет дно.

– Salt! Vi trenger salt! [125]

И все пришло в движение; множество народу, множество новых лиц; иные обливались по́том, иные просто глазели. Гест сразу ощутил радость, похожую на то оживление, с которым у них на хуторе отправлялись на сенокос, – да только здесь все было гораздо более спешным, более важным, – и таким сверкающе новым. Норвежцы суетились, кричали, подгоняли, ведь селедка слишком залежалась на палубе и в трюме из-за того, что корабль задел подводную скалу. И все же здесь все было как у совсем новичков: не было ни сапог, ни рукавиц. При разделке рыбы фартуки закрывали колени, но башмаки из овечьей кожи размокали от рыбьей слизи, в вязаных варежках было неудобно держать нож. А вскоре и ножей перестало хватать, и тем девушкам, которые захотели примкнуть к работе позже, приходилось бежать домой за резаками или лезвиями кос, чтоб было чем взрезать глотку рыбе.

Норвежцы точно знали, что делали: разделка – женская работа, так оно было у них на родине, у девушек и движения быстрее, и терпение больше, а такой монотонный труд требует выдержки и точности; мужчины же больше подходят для авралов и починов и вряд ли выдержат бесконечные повторения. На родине, в Кристиансунне, бывали такие *jenter* [126], которые могли разделать в день по десять тысяч рыб и засолить целых двадцать бочек!

Исландским мужчинам было странно болтаться без дела, пока женщины трудятся, но причал не мог вместить всех желающих. В этой стране испытанные работники не привыкли просто так стоять, пока девушки надрываются, так что мужчины просто не представляли, как им быть. Один из толпы не сдержался, выругал происходящее последними словами, а потом сорвал с головы шляпу и запустил ею в «эту чушь». Потрепанная светло-коричневая шляпа приземлилась недалеко от того места, где Гест рядом с Магнусом переводил дух после двенадцатого захода с тазом для акульего жира и любовался всей этой красотой. Он нагнулся, поднял головной убор, но тут же услышал насмешливые крики работников, и тут его разобрало озорство, и он зашвырнул эту потрепанную светло-коричневую шляпу еще дальше. А она вдруг важно, словно летающая тарелка, воспарила над горой сельди, а потом опустилась на ее вершину да так и осталась там лежать, словно виноградина, украшающая торт, так что ее обладателю пришлось бы ждать до конца засолки или лезть за ней, по пояс утопая в рыбьей слизи. Шляповладелец погрозил Гесту кулаком, но тот уже спрятался в толпе норвежцев и не показывался, пока тот человек (а это был один из батраков Кристмюнда) не убежал, ругаясь. Его товарищи молча стояли и смотрели, как работают женщины. Ну-ну… Селедку-то разделывать – это все равно что спицами махать – а кому потом всю эту гадость есть?

Повсюду вокруг дочери фьорда, согнувшись, корпели над селедкой; они пропустили полет шляпы, хотя он и сопровождался криками. Гест заметил, что самая проворная из работниц – очевидно, самая старшая: Хюгльюва из Лощины. Она славилась желчностью – а сейчас сияла как сама владычица света в этой куче рыбы и разделывала ее с выражением абсолютного счастья. По ней – и по всем остальным – было видно одно: слова «труд» и «работа» совершенно не подходили к этому веселью. Здесь радость лучилась как само солнце.

Капитан Мандаль стоял на палубе, радостный, утомленный счастьем, опирался на штаг, смотрел, как суетятся работники; сейчас все задвигалось: от россыпи селедки в отсеках трюма – по мокрому от слизи причалу – в сверкающую гору на взморье. И он улыбнулся про себя: какой здесь работящий народ! И погода хорошая: фьорд прямо как у нас на родине, на севере. Да и женщины красивые! Не только Сусанна: он заметил, что эти раздельщицы сельди одна другой краше. Поразительная страна! Мужчины – или одноглазые пердуны, или расфуфыренные остолопы, – а девушек таких красивых он не видел даже в старые времена в Клаксвике [127]! Девицы, как палтус, мягкие…

Но здесь, чтоб добраться до источников веселья, приходилось копать очень глубоко. От всех этих лиц веяло затяжной усталостью. Это был народ, замученный работой, народ без радости. И все же в глазах виднелся блеск, в руках – мощь, и даже в плечах – радостное ощущение. Им явно хотелось разгуляться на воле.

Норвежца не обмануло его чувство. Тысячу лет труд у исландцев оставался неизменным. Сезонные работы были как неколебимые звенья цепи: сначала окот, потом отсадить ягнят, потом погнать их в горы, потом сенокос, потом забой, вязание шерстяных носков, зимняя путина, весенняя путина… И каждый трудовой день логически вытекал из предыдущего и предвосхищал следующий. И как бы ты ни надрывался – все старания только двигали тебя дальше по этой колее, но никогда не уносили за ее пределы. Прогресса не было. Никто ничего не зарабатывал, трудились лишь для того, чтоб обеспечить себе возможность и дальше заниматься все тем же трудом. Будущее не таило в себе никаких надежд, никаких мечтаний, никакого азарта, оно было всего лишь точной копией прошлого. Вся жизнь исландцев была как бы заперта на огромный замок.

А эта необычная новая работа стала для людей долгожданной переменой. Впервые в истории Исландии дневным трудам сопутствовала надежда, что завтрашние задачи окажутся *другими*. Наконец эта цепь трудовых будней превратилась в лестницу. И хотя здесь все ползали на карачках, теперь путь лежал вверх.

Глава 11
Рыбья слизь и хло́пок

Когда настал час пить кофе, чета хреппоправителей подошла своей качающейся походкой и принесла поднос, полный свернутых в трубочку блинов, а пастор велел своему Магнусу дать людям напиться воды, потому что день был жаркий. Он лил им воду из двух подойников прямо в рот: стаканов нигде не было, а все ладони были выпачканы в грязи и слизи. Новоиспеченные раздельщицы селедки поднялись с колен, отстонались от болей в спине, дали детям проглотить по блинчику, – и потом продолжили. Арне пришел поздороваться со зрителями: в сапогах до колен и весь в слизи, и тотчас его взгляд упал на его будущую жену, которая стояла там, легко одетая, с мадамой Вигдис и маленькой Кристин – и им было интересно поглядеть на новую эпоху.

– А вы не хотите тоже попробовать? – спросил капитан с милой улыбкой.

– Мне такая работа незнакома, – ответила Сусанна по-датски с исландским акцентом. Она уложила волосы, надела светлое платье с короткими рукавами и наслаждалась возможностью стоять на солнце без пальто; но она сделала полшага назад, когда он приблизился к ним: ей не хотелось, чтоб подол ее платья соприкасался со слизью.

Арне постарался не давать своему взгляду опускаться на ее подбородок, потому что оттуда он мог бы легко скользнуть вниз на ее шею, – ах, эта шея! – и тогда возврата уже не было бы, тогда бы такое началось! А эта любовь была не такая. Эта любовь была выше пояса – выше уровня моря.

– А я вас научу.

– Я на редкость бестолковая ученица.

– Зачем вы так говорите?

– В школе у меня учеба не ладилась.

– Может, вам больше подошло бы учиться ремеслам?

– Не знаю. Это…

– Что и говорить, при этом слизи много, но когда начнешь – тогда это ужасно весело. Когда один раз испачкаешься в рыбьей слизи, – то полюбишь слизь!

Как же он неудачно выразился! Сейчас она посмотрела на него так, будто культурные различия между ними были слишком велики: он – просоленный моряк, она – комнатный цветочек. И сейчас ему показалось, что это будет трудно, хотя прежде он был уверен в обратном. Но это же не должно было быть трудно! Любовь – это легко! Настоящая любовь – это легко! И с этой любовью именно так и было. Им судьба быть вместе. Только она должна соприкоснуться с рыбьей слизью.

– Полюбишь слизь?

– Да! Полюбишь слизь!

Он засмеялся слегка растерянным смехом, его планы грозили рухнуть, и Вигдис, стоявшая рядом со своей товаркой, бросала на него взгляды. И если б у него все так не кипело внутри, он бы прочитал ее взгляды таким образом: «Не думай, что ты ей ровня, мы – образованные женщины, а ты – соленоглазый парусятник, твой мир у нас качается за окном, и между тобой и нами всегда будет стекло».

В тот же миг раздался крик: таль с полной корзиной ударилась о голову человека, и тот сейчас лежал врастяжку. Капитан оставил женщин, не попрощавшись, и поспешил на причал. Корзина с селедкой свалила долговязого Магнуса с Обвала, который не заметил ее из-за плохого зрения и сейчас лежал без сознания на заляпанном причале. Капитан растолкал толпу и склонился над ним, взял за подбородок и дважды ударил по щекам; паренек очнулся. – С тобой все в порядке? Воды! Принесите воды!

Сусанна следила за этим издалека. Конечно, все эти процедуры казались ей мерзкими: вонь от них, ее ровесницы, вывалянные в чешуе и слизи, – но здесь было движение и жизнь, было так заметно, что люди в глубине души рады этому новому делу, в котором можно попробовать свои силы, потрудиться всем сообща на свежем воздухе. Да и погода – лучше не бывает. А вон и капитан – склонился над мальчишкой и отдает приказы направо-налево, и в конце концов он поднял его на ноги и ненадолго обнял. Судя по всему, человек он хороший, – а какой в его глазах пыл! А еще она никогда раньше не видела мужчину, у которого было бы столько уверенности в себе, несгибаемой веры в победу, как он измерил площадку шагами и привел всех этих людей на взморье, на работу, – все это он сделал, все это совершил всего за каких-то полдня. Хуже всего, что у них двоих нет ничего общего. Она вздохнула и

повернулась к Вигдис: ах, как той повезло, ее муж одновременно был ей другом, она порой слышала, как они вместе смеются у себя в кровати. А тут, стало быть, приехал еще один рыцарь удачи, подумала она и снова поглядела на капитана, который уже поднялся на борт. – Не пора ли нам домой? – спросила она, и пасторша поддержала ее.

– Стина, пойдем!

Ребенок стоял как зачарованный, наполняя широко распахнутые глаза зрелищем селедки, и носилок, и бочек, и тачек, и мужиков, и женщин, и мальчишек, и собак, и талей, и корзин, и сотни чаек, реющих вокруг. Одна из них плавно опустилась на кучу сельди. А оттуда пересела на прибрежный камень рядом с ней – такой белоснежный и чистый, а потом нерешительно отправилась снова в полет, но далеко не улетела, а раскинула крылья над согнувшейся, сверкающей от слизи раздельщицей и украдкой села на борт бочки рядом с ней, мгновение посидела там, но тут подошел один из экипажа «Марсей» и с руганью прогнал птицу, погрозив ей влажно блестящим точильным бруском. Чайка обратилась в бегство, но ей не удалось увернуться от искрящегося бурого табачного плевка, который послал ей вслед моряк, описавшего невероятно быструю изящную дугу. Он опустил углы губ подковкой, сделал рывок головой, – и из этой подковы вылетела слюна и приземлилась на хвост птице, только-только поднявшейся в воздух, так что она пронесла этот плевок на себе над кучей рыбы в течение секунды, а потом он соскользнул с ее хвоста и канул в эту серебристую груду рядом со шляпой.

Белая чайка, коричневая слюна, серебряная селедка: из этого сплелось первое воспоминание в душе дочери сегюльфьордского пастора – из первого засола сельди, происходившего в том месте.

Глава 12
Женщина вверх ногами

Несмотря на старания местных жителей (этого самого нового в мире рабочего класса!), работа затянулась. К тому же к раннему вечеру запас бочек иссяк, поэтому пришлось остановиться и подождать, пока плотники соорудят из остатков досок высокие кадки и какие ни есть подобия бочонков. Из церкви принесли начерно сколоченную церковную кафедру, чтобы и ее наполнить селедкой. Все прочие приоритеты в одночасье пропали: всё ради улова!

Пока работники простаивали, Арне Мандаль дал банкет на шхуне «Марсей» по случаю этого дня, и этого вечера, и любви, и у окошка камбуза на палубе образовалась живописная очередь. Многие из девушек никогда не ступали на палубу корабля, а ниже нее тем более не бывали. Датский кок-ворчун Прест стоял над кастрюлями с тунцом, обливаясь пóтом, и ругал капитана за его гостеприимство: *“Det snakker hann ikke med mig om, nej!”* [128] – в промежутках отхлебывая ром из бутылки, которую прятал в тайнике над одной балкой. На десерт Гест со товарищи получили по огромной корабельной галете и горячее коричневое молоко, по вкусу напоминавшее самый лучший час будущего. Никто никогда не забудет этот день, этот вечер, эту ночь.

Солнце скатилось со склона горы в устье фьорда с западной стороны, словно медлительный снежный ком-переросток, и оттуда выкатилось на вечерне-гладкую равнину моря. И тут стало светлее, потому что море многократно усиливало лучи, – но при этом тень нового склада переползла на кучу селедки. Сегюльфьордские работники раньше никогда не радовались вечерней тенистой прохладе: с раздельщиц катился пот, и в каждую бочку скатывалось по капле. Даже у Анны из Мучной хижины лицо разрумянилось. Нет, никогда еще эти девушки и женщины-работницы так не расцветали, как сейчас, когда в тени склада алели щеки – у них, насытившихся, разгоряченных от усталости, со свежими мозолями на ладонях. Пока Хюгльюва из Лощины распрямлялась и тянула свой суровый профиль к небесам, батрачки со Старого хутора перешучивались между собой о том, что, мол, потом какой-нибудь граф-датчанин, жирный как свинья, будет уплетать эту селедку, засоленную в их собственном поту.

Торговец Кристьяун дошел до угла собственного склада (дальше не решился) и оттуда смотрел во все глаза на это роскошное зрелище: всех этих трудящихся людей под высокими мачтами и тучу чаек над ними. Затем он увидел, как через Затон перевезли человека с белыми волосами: предводитель акулятников из Лощины тяжко восседал на корме, поручив своему мальчишке орудовать веслами, и держал подзорную трубу. На середине Затона он остановил лодку, не осмеливаясь двигаться дальше, и поднес трубу к глазу. Видимость сегодня была такая, что все было отлично видно даже из прошлого.

Капитан Арне Мандаль поднялся на палубу, раздосадованно бранясь после перепалки с коком-датчанином, кинул быстрый взгляд на емкость с селедкой: вот из чрева корабля взмыла еще одна корзина, наполненная сельдью, и тросы сверкнули в полночной светлоте! – а потом побрел обратно на корму. Чайки вспорхнули с гика и пересели на рею, а также очистили место на заляпанном пометом релинге, куда капитан облокотился и стер с лица усталость, уронил плевок в замутненную рыбьими потрохами воду внизу и посмотрел на то множество людей, которое он организовал за один этот день. Он видел, как Эгертбрандсен сидел на швартовой тумбе, широко расставив ноги, которым мешало брюхо, и курил трубку. Дым от него и от трубки устремлялся вертикально вверх, придавая этому вечеру такой же поэтический оттенок, какой могло бы придать звучание гармони. «Ах, неужели сегодня он останется без выпивки?» – подумал капитан, а затем посмотрел прямо на солнце, которое уже переместилось на восток от склада и сидело посередине фьорда, на треть погрузившись в море, словно диск циркулярной пилы – в доску. На коньке крыши склада сидел обсидианово-черный ворон и следил за работами, словно датчанин-надзиратель.

И вдруг Арне увидел, что на камне чуть поодаль на взморье, не доходя нескольких поросших травой землянок, стоит женщина. Светловолосая, в темном пальто, доходящем до икр, она стояла на камне и, словно в трансе, смотрела на фьорд, – и это была она. Она стояла там на камне одна, как статуя, как видение… Он потер усталые глаза и наморщил лицо: нет, она все еще там стоит, на камне на крошечном мысу, и вечер отражает ее облик в небольшой бухте. Что может быть прекраснее красивой женщины, которая стоит вечером на камне, а вечер отражает ее в своих серебристо-чистых волнах, таким

образом переворачивая ее вверх ногами – а заодно и любого, кто смотрит на нее?

И тут капитана как будто подняли с палубы и подвесили на рее, словно какого-нибудь пирата, его жизнь перевернулась, он стал видеть все вверх ногами, и вся кровь у него прилила к глазам, и тут он увидел, как его мечта проявляется в соленой морской воде: в искрящемся, живом и дрожащем горном зале светлого вечера его богиня стоит на камне, а рядом с ней лучится длинный отсвет утекающего солнца, а само солнце – под ним, так что вместе они образуют один яркий-яркий восклицательный знак, потому что между палочкой и точкой вклинивается темная коса, – эта картина была необыкновенно четкой и говорила лишь одно: она!

Когда капитан вновь нащупал самого себя и ощутил свои ноги на палубе, ему подумалось: «Этот день вобрал в себя всю мою жизнь». И он тут же почувствовал, как у него участилось сердцебиение, как будто сердце рвалось вон из груди, за релинг, на сушу, туда, на взморье, к солнцу и к женщине. Ему стоило последовать за ним? Ее местоположение – это призыв? Разве она разместилась так не для того, чтоб моряк увидел ее глазами моря, в портрете, который оно изобразило? А может, подойти прямо к ней было бы слишком дерзким? Раньше ему приходилось платить дорогой ценой за свою горячность, ведь бывали такие женщины, которые предпочитали аккуратную каплю-образец крови из влюбленного сердца целому четырехлитровому шквалу из этого гигантского бидона. Что же ему делать?

И тут ему показалось, что она посмотрела на него, но утверждать это точно было невозможно: слишком велико было расстояние. Но потом она повернулась и стала смотреть на закат, а затем сделала шаг по направлению к Косе. Тут сердце Арне забилось так, что заглушило все мысли, и он помчался по палубе, так что с нее вспорхнули чайки, перемахнул через борт и поспешил на причал, едва не споткнулся о собаку, которую не заметил, потом проскакал мимо селедочного роскошества, вдоль нового склада. Солнце уже почти потонуло в море, из волн виднелась лишь самая его макушка, и Арне почувствовал в глубине души, что, если он не успеет к девушке прежде, чем солнце исчезнет за горизонтом, его жизнь навек будет погружена во мрак. Он увидел, как она скрылась за одним из тех дерновых холмиков, которые здесь служили жилищами.

Глава 13
Хюгльюва

– Бегга! Ты слишком мало отрезаешь от головы!

Так Хюгльюва из Лощины (это, как уже говорилось, батрачка Кристмюнда) крикнула своей товарке, стоя у наполовину заполненной бочки во время небольшого перерыва. Бегга стояла на коленях недалеко от нее над примитивной разделочной доской – отломанным куском обшивки – и рьяно взрезала селедке жабры. Время уже перевалило за полночь, и работников начала одолевать усталость. Бегга стала делать надрез перед жабрами, а не под ними, как положено.

– Вот я сейчас твою отрежу, если не заткнешься! – ответила Бегга, чем вызвала взрыв смеха вокруг кучи рыбы, которая сейчас заметно уменьшилась, потому что мужчины закончили выгрузку уже несколько часов назад. Но шляпа по-прежнему лежала в ее середине и уже основательно пропиталась рыбьей слизью. Хюгльюва в ответ поправила повязку у себя на голове быстрыми грубыми движениями, а потом снова склонилась к блестящим от крови камням. В этой самой первой в Исландии бригаде раздельщиц сельди она была самая старшая: ей было уже хорошо за тридцать.

Родилась она в Лощине – внебрачный ребенок вскоре умершей батрачки. Хозяин выбрал ей отца из своих батраков-моряков, а также дал ей это необычное имя – Хюгльюва Халльдоурсдоттир, и многие восприняли это как насмешку. Но на хуторе Кристмюнда она выросла, стала батрачкой с шести лет и с тех пор так и работала, и никогда не бывала замужем (да ей и не полагалось мужа[129]), никогда не знавала никаких любовных утех, разве что с обратным знаком – в те немногие разы, когда прекрасноволосый хозяин вскакивал на нее верхом, почти ни от кого не таясь, в тот год, когда расцвел цветок ее девичества. От его опыления произрос плод, который хозяин, от большой любви, не велел выносить на пустошь, а пристроил в соседний фьорд. В те дни Хюгльюва была так же красива, как ее имя, и сейчас, хотя тяжелый труд покрыл ее черты патиной, еще можно было разглядеть, что лицо у нее симпатичное: с прямым носом и высокими скулами. Но суровая жизнь стиснула ее губы, искусала ее щеки морозом и сделала выражение глаз

каменным. В бровях и под глазами она носила глубокие следы бессонных ночей.

Но это был совсем новый вид тяжелой работы! И как он был не похож на рабский труд дома! Они – несколько батрачек, – закончив день на сенокосе, забежали на Косу, и она с радостью кинулась в этот водоворот (и это целый день промахав граблями!) просто из любопытства, бездумно; лишь после первой бочки она узнала, что хозяин запретил своим работникам близко подходить к «этой чуши», но она уже вошла во вкус и не могла остановиться. Она была не в состоянии это объяснить, но такая работа была больше похожа на развлечение, наверно, из-за того, что тут было многолюдно: все эти лица… А может, еще и из-за норвегов: один из них, научив ее обращаться с селедкой, со смехом обнял ее, и они посмотрели друг другу в глаза. Он обходился с ней неизвестным ей образом – это называлось «с уважением», – и к тому же мужчины не глядели на нее с прошлого века. Она вся помолодела.

Дважды работники Кристмюнда (те самые, чей корабль застрял в селедке) пытались оттащить ее от бочки, но оба раза норвежцы вмешивались, угрожая теслами и набойками[130], так что землякам пришлось отступить. И сейчас она настолько зарвалась, что превратилась в главную на разделке сельди, начала покрикивать на товарок и приказывать им – такое ее охватило чувство.

Хюгльюва одернула фартук под коленями; ей удалось сделать так, что они по большей части остались сухими, – здесь хватало возни с самой работой, которая сопровождалась этим стоянием на коленях на голых камнях на взморье по полчаса, – и продолжила рьяно взрезать селедке жабры. И все же она позволила себе ухмыльнуться, когда норвежец вернулся и во все горло закричал: *“Nej, nej!”* [131], увидев работу Бегги, – и снова принялся учить ее, как разделывать селедку правильно.

Глава 14
Голова и хвост

На заднем плане этой сцены можно было видеть (хотя никто и не видел, потому что вообще никто не заметил, как они зашли туда с причала) на палубе «Марсея» светловолосую пару, чем-то занятую возле переносной столешницы. Арне взял Сусанну за руки и показывал ей, как обрабатывать селедку, вонзал острый как бритва нож рыбе в глотку под жабрами, затем делал еще один поперечный надрез, так что из рыбины оказывался вырезан треугольный кусочек, и через образовавшееся отверстие вытаскивал внутренности, потроха и кишки и швырял их на палубу. У него руки были голые, а у нее были надеты громадные рабочие рукавицы из неизвестного материала, а еще она опоясалась симпатичным промасленным фартуком, а пальто сняла. Ее изящные ноги утопали в сапогах, которые были ей велики. Кроме стола, ножа и спецодежды Арне раздобыл для нее соли в примитивном ящике, а рядом стояла пустая бочка – это был персональный инструктаж на высшем уровне (уровне палубы первейшего сельделовного судна) для красоты высшего уровня, для любви, озарившей фьорд от края до края, так что в нем все еще было светло как днем, хотя солнце отлучилось.

– А теперь ты берешь селедку и кладешь ее сюда, в ящик. У ящика два отделения, в маленьком у нас соль, а большое нам нужно для того, чтоб обваливать в соли селедку, вот так, прежде чем положить в бочку…

– А почему соль?

Арне изумился и посмотрел ей в глаза: почему соль? Это вопрос основополагающий. С таким же успехом она могла бы спросить, почему море соленое, почему на море и на суше дуют ветры, почему моя кожа так зовет тебя? Он, в сущности, никогда не задумывался об этом, он просто получил этот рецепт по наследству. Но ему было необходимо дать ответ. И он положился на свой язык.

– Потому что… потому что в соли продукты хорошо сохраняются.

– А почему они там сохраняются?

Спору нет: ужасно неприятно не иметь для такой женщины готовых ответов под рукой! Он почувствовал, как его внутренний

человек стал рассыпаться на части. Но ей такое зрелище было не по нраву, и она поспешила к нему на выручку:

– Это потому, что море соленое, а раз все происходит из моря, поэтому и соль нужна?

Он успокоился и вытаращил на нее глаза, сейчас его голова была так близка к ее, что на этой палубе не хватало лишь небольшого оркестра (духовые и струнные), чтоб сейчас свершился поцелуй. – Ja-ha, akkurat! [132] – сказал он на своем бодром норвежском – языке, который лучше всего проявлял себя в таких вот крошечных фразах, и продолжил свой инструктаж по засолке сельди, словно человек, вдруг испугавшийся любви, словно человек, который вместо того, чтоб сделать своей женой женщину, готовую к этому, прячется в бочку? Нет, значит, он попросту капитан-селедочник до мозга костей? На море красавец, а на суше – как рыба? Она почувствовала во рту привкус соли.

– Смотри, вот ты берешь…

Он вновь вынырнул из бочки.

– Нет, давай разделаем еще несколько рыб. Вот так. Да, так. Внутренности вытащить… а теперь в соль, да, вот так. Потом ты берешь одну рыбину и кладешь на дно хвостом на север. А потом еще две и кладешь их вместе рядом с той. А потом еще одну одиночную, и ее кладешь головой к югу, смотри, вот так, чтоб хвост поцеловал голову.

– Поцеловал голову?

– Ну да, коснулся ее, вот так, смотри…

Он отступил от бочки, а она наклонилась над ней, ее ноздри омыл соленый запах рыбьей слизи, ее охватило такое чувство, словно перед ней, по какому-то жуткому недоразумению, распахнули дверь в подвал под миром: темный-темный, сырой и зловонный подвал под миром – перед ней, выросшей на верхних этажах жизни. И там на сумрачном дне лежало несколько слабо посверкивающих пар, крошечных свежеразделанных безжизненных пар. И ее подсознание восприняло эти четы селедок как символическую картину: вот так любовь поступает со своими лучшими людьми.

Но несмотря на это зрелище, она радостно выпрямилась и взглянула прямо в лицо норвежскому Ауртни (вот почему ее подруге жизнь послала пастора, а ей – селедочника?), и сама себя захватила

врасплох. Потому что вопреки всем доводам души она сейчас преисполнилась неизъяснимого желания взять его в мужья, целовать его, обвиться вокруг него, усилить собою его внутреннюю энергию, чтобы выжать из него живое серебро, чтоб смешаться с ним, чтоб отыметь его. Разве после часа ночи женщина, в сущности, не зверь? Погрузив ее голову в пустую селедочную бочку, он посвятил ее в соленый мир.

Он ощутил исходящую от нее страсть и пропал.

Глава 15
Убогий

Месяц медленно поднимался ввысь над горой Пастбищнохуторский рог – ущербный месяц, который парил над по-ночному синей вершиной, словно разбитый щит из утраченной родовой саги.

Так действуют мировые силы. Солнце зашло, а месяц взошел. Женщина захотела любви, а мужчина сбежал.

Он сам себя не понимал: какого черта он делает на суше, когда она стоит на палубе и засаливает селедку? Он с исключительной ловкостью залучил ее на борт («как прекрасен этот вечер, и эта женщина…»), а сам же потом сбежал на берег! С бьющимся сердцем он обходил место, где кипела работа, обводил глазами раздельщиц селедки, мальчишек – таскателей соли и расстановщиков бочек; все это скоро закончится, ведь уже почти два часа ночи. Разве сегодня ночью он не заплатит работникам? Да, так было бы лучше всего. Первый рабочий день непременно должен закончиться выплатой заработка. Это крайне важно. Он хотел, чтоб все ушли домой спать довольные: ведь красна ночь дневными деньгами. Его взгляд упал на корабль. Сусанна по-прежнему стояла там у своей бочки, а сейчас наклонилась, исчезнув в ней, – по всем его весям, от сердца до ушей, пробежала дрожь наслаждения: эта женщина была – наполовину его!

– Скоро заканчиваем! Все здесь достойно себя проявили! Напоминаю, что после полного окончания засолки мы заплатим вам за труды. Выплата будет происходить у склада, и, девушки, не забудьте предъявить бирки от своих бочек!

Из раздельщиц мало кто понял его слова, но все сделали в работе короткий перерыв и восприняли сказанное разболевшимися спинами и коленями. Бирки от бочек были крошечные листочки металла с выгравированными буквами «ЙС»: Йохан Сёдаль из Кристиансунна, владелец всего этого предприятия. Раздельщицы получали одну такую бирку за каждую заполненную бочку и складывали бирки в карманы юбок. Так что здесь все работали согласно и рассчитывали на то, что соперничество между раздельщицами заставит их показать максимальные результаты. Однако сами они в этот свой первый день на

засолке сельди мало обращали внимания на успехи других, зато сейчас принялись соревноваться за оставшихся в куче рыбешек в надежде заполнить последнюю за эту ночь бочку. В конце концов шляпа работника из Лощины осталась лежать одна-одинешенька на сверкающем от чешуи берегу.

Гест стоял у штабеля бочек, вытаращив глаза, и следил за каждым шагом капитана. Его друг Магнус уехал домой; после удара корзиной голова у него слегка кружилась, и жители Старого хутора перевезли его с собой через фьорд. А Гест не мог расстаться со всем этим «дрифтом». К тому же в суете дня он нахватался норвежских словечек и понимал, что *å betale* значит «заплатить», а *lønn* значит «заработок». Ему сильнее всего хотелось крикнуть: «А мы?! Что заплатят нам, у которых бирок нет?!»

По крайней мере, о том, чтоб уйти домой до того, как начнут выплачивать заработанное, не могло быть и речи. Сейчас он проторчал на этой базе без работы два часа с полуночи, и рабочий азарт у него давно выветрился. Даже после самого жаркого дня в году исландская летняя ночь была такой же студеной, как первый день зимы, потому что со временами года в Исландии обстояло так: они никогда не покидали страну полностью, а просто соскакивали в море и дежурили там, всегда готовые заменить друг друга, если кто-то из них сойдет с дистанции, выбившись из сил или отвлекшись.

Мальчик пришел сюда без верхней одежды, в одном лишь свитере, и, пока ждал завершения этого исторического рабочего дня, встряхивался, чтоб не замерзнуть. Правда, Эгертбрандсен, когда плелся домой, остановился возле мальчика и, увидев, как он мерзнет, предложил ему глоток аквавита. Гест вежливо отказался, но китовый сторож проигнорировал это и силой притиснул ему к губам горлышко бутылки. Но мальчик сделал из своего языка затычку, и хмельное не попало ему в желудок, зато губы долго горели в ночной прохладе. Он никак не мог понять, как можно сосать грудь этой змеюки – огненной воды, превращающей лучших людей в новорожденных телят. Он смотрел вслед широкобрюхому норвежцу, бредущему вглубь Косы, словно моряк по палубе в качку, сильно петляющему на пути к дому. Глаза мальчика шептали ушам всевозможные мыслимые объяснения такого поведения людей: может, жажда спиртного – своеобразная тоска по сильной качке? Они выпивали шторм в попытке понять его, по

крайней мере – ощутить, предоставив ему неистовствовать в своих жилах… Нет, разумеется, здесь речь попросту о ненависти к себе в чистом виде: людей сводило с ума желание вывернуть собственное естество наизнанку и позволить другим обрушивать на него ругательства, тумаки, кулаки.

Не восприняв всех этих сообщений (им будет суждено десятилетия пролежать возле корней его сознания), он отвернулся и вновь принялся любоваться знаками, которые стали видны сейчас, когда бочки лежали в штабеле, показывая днища. На каждом днище был один и тот же знак-кружок, в середине кружка помещалось грубое изображение селедки, над ним большими буквами было написано «СЁДАЛЬ», а под ней «СЕЛЬДЬ». По краю днища располагались кругом такие слова: «KRISTIANSSUND NORGE NORWEGIAN HERRING». Черные буквы казались выжженными в древесине и были сильно побитыми непогодой: бочки явно были старыми.

У другого угла штабеля бочек стояли двое молодых жителей Косы и передразнивали то, как Гест дрожит от холода, а потом со смехом прятались в укрытие. Это были дружки-неразлучники Ханс и Бальдвин, последний из них – пухлый бедняцкий сынок из Мучной хижины. Они были на несколько лет старше его и должны были быть уже слишком взрослыми для таких шуточек, но их дружба зиждилась на насмешках над другими, и они славились на весь фьорд своей заносчивостью, хотя многие и хвалили их за живость и веселый нрав. Они умели передразнивать большинство жителей фьорда, помнили то, что те сказали десять лет назад; похоже, на каждого у них была заведена картотека, потому что они знали всё обо всех. Но на высокопоставленных особ их насмешки не распространялись: Ханс и Бальдвин никогда не передразнивали ни преподобного Ауртни, ни Хавстейнна-хреппоправителя, ни Кристьяуна Трюма.

Друзья выделялись среди молодежи Косы тем, что ходили в «датских башмаках» – черных кожаных ботинках со шнурками, которые, казалось, велики им на два размера. Но эти башмаки давали им особое положение и уверенность в себе: они стояли на другом плане бытия, чем простонародье в башмаках из овечьей кожи. Ханс и Бальдвин особенно докучали Гесту и его приятелям, потому что этот молодежный дуэт презирал всех, кто был моложе. Однако при всем их высокомерии они оба родились в хижинах. Пухлый темноволосый

Бальдвин был старшим братом Анны из Мучной хижины, сыном Метты. Поговаривали, что он сын старого врача, того самого, который пил все, что попадалось ему на глаза, и опрокинул в себя анализ мочи мадамы Вигдис. Впрочем, Бальдвин по отчеству назывался Эйдссон, да только о том Эйде никто никогда не слыхал. Его сестра Анна была дочерью Сигюрда. Мать и дочь были худющими, с лицами бледными, как рыбья кость, оголодавшими, а он – мужчина в доме, фактически, пухлым, ведь он был знаменитым едоком. Говорили, что Бальдвин объедал женщин Мучной хижины на половину их порций.

Второй друг был сыном батраков со Старого хутора – тощий белобрысый долговязик, всегда носивший свою бедную одежду очень аккуратно, а кроме башмаков он щеголял шикарными очками крошечного размера, которые когда-то купил у моряка с французской шхуны. Во всем фьорде он был самым никудышным работником, но это ему прощали благодаря его способности развлекать людей – особенно стоять над теми, кто занят трудом, и разбирать по косточкам их манеру работать, передразнивать и травить байки о фермерах с других хуторов.

Ни Ханс, ни Бальдвин в этот вечер не приняли участия в засоле селедки – посчитали, что это дурацкое копошение в слизи ниже их достоинства, – но нашли здесь лакомые темы для своих баек, ведь здесь можно было подсмотреть много комичных моментов: люди делали первые шаги в новых ролях в этом новом норвежском мире. Они подошли к Гесту сзади и принялись потешаться над ним.

– Ах, господин Эвихедсен [133]! Досточтимый туннместер [134]! – прокричал пухлый Бальдвин.

– Лаусин сынок неконфирмованный! Вы изволите дрожать, как барышня в открытом море! – добавил его дружок Ханс.

– Как сиротинушка убогая в поисках, чего бы слопать. Что это ты работу бросил? Давай вкалывай! Ведь мужику деньги платят за то, что ты у него живешь. Ты – убогий на содержании общины. На самом деле весь его хутор только благодаря тебе и прокармливается! – Если бы не ты, Лауси со всем своим выводком и со всеми книжонками уже давно бы отправился в Лощину, и там ему пришлось бы работать как порядочному человеку!

Гест на секунду поднял на них глаза, а потом уставился на обувь друзей и начал фантазировать, как им удалось выклянчить такие

роскошные ботинки из кожи. Значит, он – убогий на иждивении общины? Раньше он такого никогда не слышал.

– Да, чтоб прокормить одну бедняцкую хижину, большой рост не обязателен.

– А еще тут подтверждается, что кто не конфирмуется, тот перестает расти, – сказал Ханс.

– Облатка, мил мой, – это хлеб жизни, – прибавил Бальдвин, искусно копируя покойного пастора Йоуна, того самого, который убился на похоронах Гвюдни и Лауры, матери и сестры Геста. Передразнивать умершего пастора было безопасно.

Гест был слишком юным для пересмешничества, и к тому же его совершенно ошеломила следующая сентенция из уст Ханса:

– Повезло тебе, что ты от французов удрал. Наживке для акул такое раньше не удавалось. А может, они тебя на другой крючок наживили? Зад тебе прокрючили? Значит, у тебя французифилис! – Да, это точно, – прибавил Бальдвин и отступил от мальчика, словно боясь заразиться.

Эти слова колотили Геста по ушам, его разум бился между ними, словно сорвавшийся камень между краями ущелья. Он почти ничего не понял. Что такое французифилис? В этот миг раздался свисток капитана. Первый день засолки сельди в Сегюльфьорде подошел к концу, и у склада началась выплата. Гесту не требовалось дополнительное приглашение, и он оставил шутников у бочек. Они так и стояли там, вытаращив глаза, в своих больших башмаках напоминая злобноватых клоунов. Да, даже Ханс с Бальдвином были слегка растерянными в этом новом норвежском мире.

Глава 16
Ночь выплат

Раздельщицы со вздохами распрямились, смертельно усталые и бесконечно счастливые, и позволили норвежцам созвать себя к складу, причем некоторые из них не поняли, зачем эта выплата. Зачем им получать деньги? Зачем поощрять их за участие в такой сказке? Ведь было так весело! Да и что им делать с этими деньгами? Где хранить? Бегга сорвала с себя самодельный фартук, отшвырнула и зашагала прочь, сказала, что этих денег проклятых и видеть не желает. – Но ведь эти деньги – твои! – кричали ей вслед.

– Нет-нет-нет-нет! – фыркала она.

– Твои же!

– Он все равно их отберет!

Она оставила людей с их вопросительными знаками и пошагала прочь вглубь Косы, в направлении хутора на западной стороне фьорда, Сугробной речки, – хутора, на котором она трудилась с восьмилетнего возраста, когда ее мать купили туда в обмен на молодого бычка. Она перескакивала через сожженные жиротопкой моховины на Косе, держа направление к северу от некрашеной церкви, и ее припрыжка – «по кочкам, по кочкам» – очень хорошо гармонировала с тем холмиком с тремя деревянными фасадами, который открылся у берега фьорда и изо всех сил старался быть видимым в светлой как день летней ночи. Солнце еще не взошло, но поверхность моря сияла как жидкий источник света.

Штурман Мандаля – белобородый широкоголовый человек с винно-красным носом и в голубой фуражке – присел на табуретку у двух селедочных бочек: на одной из них у него была касса предприятия, а на другой – список тех, кто работал. Раздельщицы столпились у этих бочек, а двое норвежцев с теслами попытались выстроить их в простую очередь, но безрезультатно. Единственными очередьми, которые этот народ знал за всю свою историю, были злосчастные вереницы людей к Утопительному омуту на Полях Тинга, когда у палачей выдавалось много работы.

Позади штурмана, производящего выплаты, стоял капитан Мандаль и смотрел, как раздельщицы предъявляют свои бирки, и

одновременно пытался выучить их имена. Сигфрид, Гвюдмюнда, Криструн… Для его ушей это звучало как древненорвежский язык, словно он прибыл в изначальную страну, где на заре времен возрос норвежский народ, прежде чем отправиться по белу свету. Словно сейчас он припал к истоку. Да, ему вдруг показалось, что исландцы – более старый народ, чем норвежцы, хотя первый произошел от последнего всего двадцать поколений назад. Имена этих юных красавиц звучали как имена его праматерей. Скромная, сдержанная и немногословная манера держать себя заключала в себе опыт и мудрость, какой-то род духовного превосходства.

Многие из них усмехались ему с благодарностью в глазах, с полной грудью счастья оттого, что они получили возможность провести вечер в присутствии такой блистательной особы, и молча брали норвежскую купюру. Большинство заработало по целых десять крон, а белобородый штурман заверил их, что десять норвежских крон равны десяти датским, что равно десяти исландским. Это общескандинавское платежное средство. Зато им не сказали, где разменять эту купюру на те ислмонеты, которые имели хождение в лавках этого фьорда. Но, конечно же, в ущельях в глубине долины есть какие-нибудь банкоматы, которые примут такую фиолетовую купюру с изображением двоих неизвестных знаменитостей в шейных платках.

Некоторые раздельщицы ушли, словно зачарованные своей купюрой, прочь с места действия в свои хижины и держали ее перед собой обеими руками, словно карту сокровищ из будущего, а других в это время привлекла гармонь, которую вытащил на причал коренастый стюард и теперь игрой сзывал народ. Послышался голос бодрого матроса, напевающего “*Ja, vi elsker dette landet!*” [135]. А другой матрос попытался вытащить двух исландок с собой на танец, но они прохохотали между собой его приглашение.

Капитан Мандаль бросил взгляд на все это, а затем перевел его на свою девушку, которая все еще стояла на палубе «Марсея» и солила селедку. Да, она работящая!

Одна раздельщица отличилась, самая старшая, она засолила больше других – заработала целых пятнадцать крон и получила свои две купюры. К тому же от остальных отличалось ее имя – Хюгльюва, – а также и манеры, и поведение. Каменно-холодный взгляд ввинтился в глубоко посаженные глаза капитана, стоило ему только похвалить ее

тщательно подобранными словами. Казалось, она не хотела их слышать, потому что сейчас она опустила подбородок и кивнула головой, так что жесткие волосы упали ей на глаза. Но затем она подняла лицо, потому что прибежал мальчишка, принес мокрую от слизи шляпу, сказал, что эта вещь работников из Лощины, и попросил передать ее владельцу, он, мол, нашел ее на взморье.

Место, где кипела работа, теперь заполонили чайки, которые подбирали и съедали оставшихся рыбешек и вкусные внутренности, спрятавшиеся между камнями. А над ними парил угрюмый ворон.

Когда раздельщицы получили то, что заработали за день, и пошли на звук гармони (на причале танцевали две пары) или домой спать, настал черед мальчишек. Некоторые из них не принимали участия в работе, но им захотелось попробовать: а вдруг им все же заплатят. Арне видел людей насквозь и сразу вычислял обманщиков, спрашивал их, как им удалось сохранить свои штаны чистыми при разделке селедки. А когда очередь дошла до Геста, он сразу увидел, как тот много трудился, а к тому же помнил, как этот мальчишка нес селедку по причалу в примитивной лохани. Да, а это часом не тот мальчик, которого он встретил на причале, когда высадился на берег?

Гест не знал, что ему сказать или предпринять, и смотрел снизу вверх нерешительным взглядом на штурмана и капитана, пока последний не вынес вердикт, что этот парень трудился много.

– Дай ему пять крон.

Затем капитан всмотрелся туда, где кончался причал, и увидел: Сусанны у бочки с селедкой не было. Она ушла домой? Он обшарил глазами всю местность до Мадамина дома, но не обнаружил ее светлых волос, и почувствовал, как его сердце забилось так сильно, что выбило из него все спокойствие. Она вот просто так взяла и ушла домой спать? Даже не поблагодарив за этот вечер и ночь, даже не…? Разве она не собиралась подарить ему кое-что в эту ночь, которая по всем приметам была ночью его жизни? А он убежал с борта, какая-то непонятная дурацкая сила велела ему оставить ее – неужели он и в самом деле так испугался ее пыла, блеска вожделения в глазах? Но ведь должна же она была понять, что его звала служба, ему было необходимо выполнить свое обещание, заплатить работникам… куда же она могла уйти?

Глава 17
Золото по́та

Полчаса спустя пятнадцатилетний паренек все еще стоял на оконечности Косы, уставившись на купюру, покрытую бледно-красным замысловатым узором в викингском стиле и украшенную посередине Розой Олава, знаком норвежского короля Олава Святого – по крайней мере, так ему объяснил один матрос. Глаза Геста следили за сложными извивами чужого узора, корни которого восходили к язычеству, а король-христианин присвоил, – и его разум был заворожен. Он снова и снова разглядывал купюру, пока окончательно не поверил, что вот он стоит здесь с пятью кронами в руках, – красиво отпечатанным свидетельством того, что его труды были оценены, что он чего-то стоит в этом мире. И да, если он и был «убогим на иждивении общины», – хотя он им явно не был, – то совсем не простым убогим. И он твердо решил отдать норвежскую купюру Лауси.

Рассматривание красивой купюры так захватило Геста, что он и не заметил, как солнце показалось из морских глубин: сперва как кит, затем как макушка Бога и, наконец, как наполненная кровью околоплодная оболочка, полыхавшая ночной краснотой над светородным морем. Приближались самые красивые мгновения за всю историю фьорда. Норвежцы-корабельщики прекратили свою болтовню за бутылкой и сейчас в полном молчании и восхищении стояли на причале, где звучала гармонь, даже танцующие пары сделали передышку, чтоб лицезреть это светлое событие, хотя ноты все еще взбирались по воздуху, подобно клочьям облачной шерсти. Солнце всех превращает в детей. Даже Гест на миг бросил взгляд на горизонт, но увидел, что сия дивная красота – мелочь по сравнению со сверхсилой, исходящей от денег в его руках.

Деньги! Что́ солнце по сравнению с деньгами!

За быстриной фьорда, близко – рукой подать – стоял хутор Обвал: никогда еще он не казался мальчику столь ветхим, даже безнадежно отставшим от времени, – словно удар ниже пояса, который наносил старый мир! Сколько еще таких купюр ему потребуется, чтоб плотник Лауси смог построить им настоящий дом, с полом и лестницей?

В конце концов он очнулся от своих дум и снова начал искать глазами лодку Лауси, на которой они с Магнусом поутру переплыли через фьорд. Они вытащили ее на берег перед жилищем Йоуи-акулятника. А сейчас она пропала: наверняка насмешники Ханс и Бальдвин так отомстили ему за то, что он сбежал от них в самый разгар потехи. Он дошел до конца мыса и прошел обратно – лодки нигде не было. К тому же все другие лодки уже отправились спать, и нечего было и надеяться, что кто-нибудь перевезет его через фьорд. Большинство уехало домой, танцы под гармонь на причале выдохлись и разбились на доверительные беседы, скованные хмелем. Но вдоль стены склада все же кралась одна новоиспеченная норвежско-исландская парочка, а стая чаек все еще с громким гомоном очищала взморье от рыбьих потрохов. Наконец Гест со своим «уловом» побрел вглубь Косы, и события этого дня, вечера и ночи так переполняли его, что он даже не ругался, что ему приходится идти домой более длинным путем: этих двух часов пешком ему даже не хватило бы, чтоб припомнить и насладиться всеми этими картинами, всей жизнью и весельем, которые он впитал за этот день. И вдобавок у него в кармане была купюра – деньги! *Fem kroner!* [136]

Он прошел наискосок через сельдезасолочную базу, между чайками и причалом. Громкие голоса доносились с корабля «Марсей», который покоился – важный, высокомачтовый – у конца причала. Гест заметил, что на его палубе дело уже доходит до рукоприкладства. Оно разрешилось громким воплем, отдавшимся эхом среди этого спокойствия и тишины, и через пару секунд послышался громкий всплеск. Что-то явно упало за борт: человек или бочка. Норвежцы по-прежнему были верны себе.

Он шел вперед: мимо Мадамина дома, где на верхнем этаже спала прекрасная Сусанна, и далее вглубь Косы. Возле Хреппоправительского дома в предрассветном штиле виднелся Морекамень – погубитель писек, он покоился на старой колодезной кладке и сиял как слиток золота, потому что солнце еще не высушило ночную росу, покрывавшую камень сверху, и до отказа усиливало золото лучей.

«Золото пота», – такое слово излучал славный камень.

Глава 18
Батрачка приходит к себе на хутор поздней ночью

Гест увидел, как по улице впереди него ковыляет нелепое существо: то ли мужчина в юбке, то ли женщина в мужской шляпе.

Это была Хюгльюва из Лощины, идущая домой. Она подоткнула юбки и осторожно ступала по тропинке на густо заросшем туне, потому что ноги у нее почти высохли, и она не хотела вновь замочить их ночной росой. Обе руки она засунула в карманы юбки, в каждом из которых лежало по купюре, – так было надежнее. Она напевала себе под нос, скорее всего, одну из мелодий, которую раньше слышала на причале; она была необычно радостна и приосанилась в своих трех юбках. А сейчас она вынула из кармана левую руку, при этом не выпуская купюру, поправила шляпу на голове – ту самую шляпу, которую ей надо было вернуть на хутор, шляпу, которая давала ей совершенно новое ощущение: сейчас она стала не хуже людей.

И не хуже остальных женщин, – потому что ее память все еще лелеяла взгляд, который бросил на нее в разгар работы один из норвежских бондарей, – самый старший, со шрамом на лбу. Как грустно бродить по миру, когда никому до тебя нет дела! Чтоб облегчить человеку это хождение, требуется всего-то маленькая частица чужого внимания.

Но что же ей делать с этими двумя купюрами? Они были единственной тенью, омрачавшей этот день, наполнявшей ее беспокойством и страхом. Где она могла бы спрятать их от всех этих чертей-работников из Лощины: Херманна, Гюнни и всех прочих? И какова же была ценность этих бумажек? Что она могла бы на них купить? Единственное, что ей приходило в голову: в следующий раз, когда во фьорд придет бродячий фотограф, как тот датчанин, который приезжал в позапрошлом году, она заплатит ему, чтоб он съездил в Хейдинсфьорд и сфотографировал ее дочку Сигрун, которая воспитывалась там на хуторе Дом-в-Заливе: ей так хотелось видеть перед собой дома ее лицо. Может, пятнадцати крон на это хватит, может, нет. Но может быть, потом появится еще работа на засолке:

люди говорили, что так сказал капитан – тот светловолосый, высокий, красивый.

Одна из коров хреппоправителя, которая пристроилась между мокрыми от росы кочками, припав на передние ноги, и жевала там свой пучок травы, обернулась на женщину в шляпе, идущую мимо нее по тропинке. Выше по склону стояли три ее парнокопытные товарки и, хвостокачая, завтракали на пастбище. Эта ночь была такая удивительная!

Хюгльюва дошла до своего хутора – самого крупного владения в этом фьорде, стоявшего на склоне горы чуть выше дороги, и свернула с нее на тропинку, ведущую к дому. Она заметила, как на нее посмотрели ягнята, которых выкармливали дома: они стояли, почти утопая в зарослях мятлика у стены сарая. Они, родимые, все время пасутся и пасутся – а спать им не надо? Один из них сбежал к ней с горы по длинной тропке, – это Ловкач? Да, Ловкач. Ишь ты, малявка! А вот во дворе у дома стоит человек – большой, с белыми волосами, в белой рубахе с длинными рукавами – насколько она могла видеть, это не кто иной, как сам хозяин. Да, точно: Кристмюнд. Он стоял на улице перед своим слегка неопрятным шикарным хутором и курил трубку, выпуская в воздух голубоватые шлейфы, и настроение у него, судя по всему, было такое же прекрасное, как и погода, и освещение, и эта ночь. Но когда она подошла ближе, то увидела, что он хмурится.

– Ну, что там у тебя? Ты явилась домой в шляпе на голове? От мужчины идешь?

Он швырнул в нее эти слова, словно куски конского навоза, когда она приковыляла ближе к нему по тропке-борозде.

– Нет. Нет-нет.

– А где же ты была?

– Мне дали попробовать вот это… с рыбой… селедку разделывать.

Она остановилась возле богача-хозяина, закусила тонкую нижнюю губу; он был на целую голову выше нее.

– У норвегов?

– Да.

– Нет, ну что за чертовня. А потом ты куда пошла? К мужчине?

– Нет.

– Тебя там норвежцы завалили?

– Нет, мы заканчивали работу. Только что освободились.

– Только что закончили? Работу? С этим до ночи копаются?

– Да, нужно было все закончить, селедку нельзя долго держать несоленой.

– Несоленой?

– Да, ее в бочках засаливают.

– Ах, вот как! Прямо целая наука! А зачем тебе шляпа на голове?

– А они ее там забыли, парни. По-моему, это Гюнни Гримссона шляпа.

– Они сказали мне, что ты сегодня днем работала там у бочек, у норвежцев.

– Да, и это было так весело!

– Впахивать по уши в этих… в рыбьих потрохах?

– Да.

– Я своим людям велел там не толпиться, тебе это известно?

– Парни про это что-то говорили, да я им не поверила.

– Это был мой приказ!

Хозяин прекратил посасывать трубку, стал держать эту внушительную курильницу чуть на отлете, так что голубой ручеек дыма вился по воздуху, и строго посмотрел на свою батрачку. Она уже сняла шляпу и встряхнула свои жесткие волосы, быстро наклонив голову вниз, а потом вбок – такая у нее была привычка. Какой же он, родимый, сейчас смурной!

– Да, – прохныкала она, глядя в землю, так что в проборе ее волос отчаянно засверкала белая макушка. Но затем она подняла глаза и посмотрела вдаль, на фьорд. – Я не знала.

– Мои женщины на других не работают!

– Да.

– Тем более на иностранцев!

– Да.

– И уж подавно с такой… такой мерзопакостью… селедкой! Фу!

– Да.

– Ты меня слышишь? Ты на норвегов не работаешь! Ты моя батрачка!

– Но ведь это, можно сказать, и не работа.

– Нет?

– Нет. Это скорее… веселье.

– Ты сюда притаскиваешься в четвертом часу ночи, провкалывав на них со вчерашнего дня! И заявляешь мне, что это не работа! – Но ведь это было так увлекательно!

– Хюлла [137]! Ты моя батрачка, а не его. Не норвега.

– Да-да.

– Батрак не может служить двум господам!

И тут Кристмюнду как будто показалось, что он был слишком резок. Он отвернулся от нее, взял трубку в зубы и пригладил свою белую шевелюру, спадавшую на лоб, сделал глубокую затяжку и придал голосу мягкости – по правде говоря, он редко разговаривал с ней так ласково, по крайней мере с тех пор, как его вожделение к ней совсем угасло:

– Хюлла, я тебя не для того кормлю, чтоб ты на других за бесплатно работала. Ты ведь и сама понимаешь, что так не пойдет.

– А я не бесплатно. Нам заплатили.

– И какими же посулами? Вам обещали, что вы после смерти попадете в норвежскую часть рая?

– Нет, нам деньгами заплатили.

– Деньгами?

Тут хозяин закашлялся – такого он еще никогда не слыхал!

– Деньгами? – повторил он, прокашлявшись. – И когда же они прибудут? Со следующим рейсом?

– Нет, нам уже заплатили. Вот… – сказала батрачка и вытянула вперед руки: в каждой из ладоней лежала фиолетовая норвежская купюра. FEM KRONER и TI KRONER из NORGES BANK [138].

Но Кристмюнд не понял Хюгльюву: он решил, что она хочет отдать эти деньги ему, – а может, она так и хотела, разбираться в этом или принимать решение было недосуг, потому что сейчас хозяин толкнул свою батрачку так, что она упала на спину, а купюры разлетелись по двору.

– Не суй мне деньги! – заорал вне себя от злости хозяин хутора Лощина, стоя над Хюгльювой, которая неудачно упала на правый локоть и морщилась от боли, – хотя выражение лица при этом у нее было скорее усталым и давало понять, что нынешняя боль – всего лишь одна из многих. – Не смей меня унижать вот таким… таким! – Он хотел добавить что-то еще, но ему не хватило слов. Но пока он вот так стоял над ней – пожилой мужчина над женщиной моложе себя, в его сознании

что-то раздуло старые, давно погасшие угли, и он бросил ей, сопроводив табачным плевком, фразу: – И да, радуйся, что я тебя больше не хочу, Хюгльюва Халльдоурсдоттир!

Хозяин приблизился к ней и, судя по всему, собрался схватить, так что батрачка с трудом поднялась на ноги и попыталась ускользнуть в дальний конец двора, но тут он воткнул трубку в зубы и схватил ее за локоть – как раз за ушибленный (она издала вопль, говорящий о том, что уже давно бросила жалеть себя), притянул ее к себе и стал сдирать с нее юбки. Судя по всему, в нем пробудилось старое. Она барахталась и билась в его руках.

Вот какая сцена представилась глазам Геста, который догонял свою тень при солнце на тропинке вдоль фьорда близ хутора: беловолосый фермер перед домом сжимает женщину в юбках, а она, кажется, обронила свою шляпу. И здесь стычки, и там стычки, этот красивый день обещал завершиться конфликтом. Может, так и происходит настоящий перелом эпох: что старое время набрасывается с кулаками на новое? Он едва успел сформулировать эту мысль, как по фьорду раскатился мощный гром выстрела.

Гест резко повернулся, но нигде не увидел ни оружия, ни дыма, но заметил, что фермеру стало так же не по себе, как и ему. Кристмюнд все еще стоял во дворе один и таращил глаза на фьорд и косу. За спиной у него был виден исчезающий в доме подол юбки.

Глава 19
Плюх!

Капитан Арне Мандаль с отвращением выбежал на причал и, запыхавшись, вернулся на палубу. Где она? Почему она исчезла? Она домой пошла? Нет, вряд ли. Так ему подсказывала интуиция, а еще эту догадку подтверждало то, что он наткнулся на ее башмаки – эту обувь из мира деревянных домов, – возле бочки с селедкой на корабле, той самой, которую она засаливала, сейчас наполовину заполненной.

Он забежал под палубу, в каюты своих матросов, где все спало глубоким сном, и из каждой койки доносился облаченный в рубашки храп. Он быстро заглянул в трюм, в соленый сумрак, а потом в два шага выбежал из кубрика и потрусил по палубе. Под сенью бочки с водой лежали двое матросов в последней степени опьянения и дуэтом пели начало «Песни Сольвейг» Грига так, как ее пел бы рыбопромышленник Сёдаль, а потом смеялись до изнеможения. Капитан торопливо спросил их, не видели ли они Сусанну, но не добился толку и поспешил на корму, а оттуда – к спуску в каюты и вниз по трапу. Его собственная каюта была открыта и пуста. А каюты кока и штурмана стояли закрытыми, и из-за одной двери раздавался странный звук, подавленный стон. Мандаль набросился на дверь кока. Он вышиб ее ногой, так что она треснула, и тут увидел свой главный страх и ужас: как будто грудь ему взрезали, и он видел собственное сердце, а рядом – клыкастого волка, у которого белки глаз бесстыдно блестели, пока тот откусывал себе кусок от кроваво-алого лоскута.

Кок-датчанин Прест, охваченный вожделением, одной рукой держал за горло Сусанну, а другой лез ей под нижнее белье. В сумраке каюты сверкала украшенная веснушками сухая лысина и исчерченный морщинами лоб. Лицо было – воплощение похоти, с губ падала пена, судя по всему, он и не услышал, как распахнулась дверь. На его порочном лице не отразилось ни капли удивления. В вытаращенных глазах девушки, выглядывавших из крепкого кулака силача-коротышки, светилось обвинение и одновременно призыв: «А вот наконец и ты! Спаси меня!»

Капитан ринулся в каюту через высокий порог и сотворил то, что запрещено всем капитанам: убил своего кока.

На самом деле непонятно, убился ли тот при первом ударе. Или при втором и третьем. На самом деле непонятно даже, был ли он вообще убит, когда Мандаль втащил его вверх по трапу, так что крепкая датская башка постоянно колотилась о ступеньки под аккомпанемент горького плача, беспрестанно раздававшегося из каюты на исландском: «Нет, нет, нет!» Не ясно даже, испустил ли кок дух, когда капитан отвесил ему мощные пинки в живот и в грудь, пока тот лежал на хорошо освещенной палубе, или даже, когда его тело было свалено за борт под львиный рык капитана, с тем последствием, что кок всей своей тяжестью ухнул в море с громким «плюх!». Зато вполне вероятно, что смерть приняла его в свои объятья, когда его малорослое тело навсегда исчезло в четырехградусной воде.

Какое ужасное зрелище представлял собой капитан, когда ходил взад-вперед по палубе собственного судна, в жилах у него билась лихорадка, красоты горных вершин плыли перед глазами, его бытие разверзлось, большой блистательный мужчина превратился в пустую бочку, в которую все текло и из которой все вытекало. Он не понимал, что произошло. Что он сделал? Что на него нашло? Что, ангел его побери, тут стряслось? Его голова дрожала, сердце трепетало, руки тряслись, он искал поддержки у релинга, крепко вцепился в него и попытался успокоиться, глядя в глубину. Что он наделал? Мандаль оцепенел, когда рядом с ним встали двое пьяных матросов, кренясь от своей внутренней качки, из-за чего им в конце концов пришлось ухватиться за релинг. Затем они посмотрели на капитана, что-то мыча без слов, пока он не ответил им:

– Кок.

– Кок? – повторили они, до слюнотечения пьяные, и потом стали смотреть с ним в глубину, словно скромно одаренные комедианты.

– Кок, – повторил капитан, погруженный в свое послеубийственное раздумье.

Датчанин Прест исчез, умер, утонул. Разве эти недоумки и впрямь не видели, как Арне тащил тушу датчанина по палубе, угощая его пинками в живот, после чего спихнул в его собственный соленый ад? – Кок мертв, его поглотило море. А вы какого ляда так напились? Знаете же: мы завтра утром отчаливаем! – наконец зашипел капитан на своих подчиненных, которые таращили на него глаза, качая колеблющимися головами.

Затем он смачно сплюнул за борт и отпустил релинг, прошел к спуску в каюты и ушел вниз по трапу. Сусанна сидела на краю койки кока, закрыв лицо руками, и беззвучно рыдала, изредка шмыгая носом. Арне дал знать о своем присутствии, склонился к нижней койке и уселся с ней рядом, положив руку на ее дрожащую спину, но его оцепенение все еще не прошло, и он не мог сказать ни слова. Наконец она поднялась, отерла слезы со щек, потом посмотрела на него, но не смогла поймать его взгляд – он просто глядел перед собой. Она так и смотрела на это смотрение, пока он не проговорил:

– Чертовня чертова.

– Что ты с ним сделал? – спросила она.

Он повернул к ней голову, и она увидела в его глазах смерть, он убил того человека, убил ради нее и выбросил за борт. А он увидел в ее глазах, что убил не только его, но и ее – любовь. Теперь она была отмечена смертью, теперь она сама была мертва, а ведь они так и не взяли от этой любви ни единого поцелуя.

Она закрыла глаза (значит, все кончено?) и наклонила голову к его длинной шее, он крепче обнял ее (нет, может, и не совсем кончено?) – и тут перед его взглядом предстали штаны, висевшие на стене напротив койки. Его глаза привыкли к темноте, царившей здесь, в этой безглазой каюте, и он разглядел эти черные коротковатые штаны, висевшие на прикрепленных широких подтяжках светлого оттенка. На коленях у них были выцветшие лоснящиеся пузыри, которые смотрели на него, капитана, словно испуганные зрачки, полные упрека: «Ты убил нашего хозяина! Зачем ты убил нашего хозяина?»

«Потому что он оставил вас», – было бы проще всего ответить, но тут на него нахлынули картины – совсем свежие, с пылу с жару. Он стоял перед датчанином, и кулаки у него болели, а тот что-то мычал сквозь кровь в углу комнатушки – и как же долго он так стоял? Мгновения или минуты? И наконец, когда датчанин пошевелился, он получил второй удар и третий, и тогда она застонала и завопила что есть мочи по-исландски: «Нет, нет, нет!» Затем ярость нахлынула на него с удвоенной силой, и он выволок этого гада из угла и перетащил через порог, – но как ему удалось втащить его вверх по трапу, этого железом подбитого жеребца кровавого? Он пошел на дно как якорный камень, быстро и скучно, море поглотило его, громко рыгнув. Зачем он

позволил Сёдалю навязать себе этого гада, который весь рейс не просыхал и ничего не умел готовить, кроме свинины?

Она подняла голову из-под его шеи, и они посмотрели друг другу в глаза. И сейчас для их губ открылись дороги, сейчас расстояние между ними растаяло, и они прикасались друг к другу, целовались, сближались и терлись друг о друга в койке кока-датчанина. Трепещущие объятья, неистовые поцелуи, подогреваемые жаром в паху и убийственной любовной горячкой. В постели убитого, на его белье, жизнь текла вперед, наслаждение находило себе русло, устраняя на своем пути все благочестивые мечты о роли невесты и достоинстве капитана. Наслаждение в жизни оказалось всего лишь вот этим: убить человека из-за женщины и всего через минуту насладиться ею в его кровати! Смотреть, как двое дерутся, и потом лечь с победителем в постель павшего!

Что за жизнь! Под палубой, молчаливым утром во фьорде, при горах и солнце!

Страсть была такой сильной, а любовные объятья такими неистовыми, что даже большая мачта на этом роскошном корабле, спускавшаяся из синего воздуха до самого сырого трюма, начала слегка покачиваться в утреннем покое. Чайки на ее вершине поспешили покинуть это дрожащее дерево.

Глава 20
Стартовый выстрел

Спустя еще одну волну страсти они поднялись наверх, на сверхъяркое утреннее солнце, словно только что пробудившиеся темнорабочие, и пошли по палубе, взявшись за руки, мимо двоих пьяных матросов (один из них, кажется, так и заснул над бортом), к сходням – и в воздухе вдруг раздался орудийный залп, и они увидели Эгертбрандсена, который с диким видом стоял на крыльце Норвежского дома, торжествующе подняв над головой пистолет. А еще выше над ним в воздухе расплывалось белое облачко порохового дыма. Они остановились, рассматривая это зрелище. Залп все еще звучал у них в ушах, этот звук заполнил весь фьорд от горы до горы.

А они – как и многие другие – ощутили и поняли всё, что таилось в этом выстреле, ведь в него вместился весь уклад истории, все события и вести года и дней, а также недавно пробудившаяся судьба этого утра. Ведь этот мощный выстрел китового сторожа на крыльце солнечным утром был одновременно прощальным словом старого времени и стартовым выстрелом нового. К тому же он поглотил целую человеческую жизнь, убийство и всю связанную с ним вину, и одновременно с этим как бы отстрелил их прочь от себя. В этот звук можно было свалить все гнетущее. И к тому же он таил в себе празднование победы: пробка выстрелила из бутылки! Блистательная счастливая пара сочетается браком!

Но вот что услышали все – птахи, люди и лисы – и вот что было самым главным: тишину нарушили.

Арне проводил Сусанну по сходням на причал, и лица у них сделались похожие друг на друга, как у супругов, причем до такой степени, что даже чайки молча поклонились, прежде чем взлететь прочь от счастья, которое шло здесь, судя по всему, направляясь прямиком в церковь, – и да, даже новехонькие двери церкви открылись сами собой, как в сказке. Для них все было открыто. Но эта сказка тут же и закончилась, потому что единственным, кто вышел им навстречу, был пророк Йеремиас, длиннобородый, голоногий, в белой ночной рубашке, он закрыл за собой дверь и направился домой на Старый хутор.

Они подошли к Мадамину дому, потому что Сусанна хотела проснуться в своей собственной постели, и с нежным лепетом расстались на лестнице. Вокруг дома посвистывал кроншнеп, а на кладбищенской ограде сидела белоснежная чайка.

– Мы отчаливаем с приливом, – сказал норвежец.

– С приливом поцелуев, – засмеялась она, а потом добавила серьезно: – Тебе нужно снова прийти сегодня вечером.

– Сегодня вечером или завтра. Как только мы все заполним.

– Селедкой или любовью? – спросила она и улыбнулась с таким озорством и нежностью, что ему захотелось окончить свою жизнь прямо здесь и сейчас.

Когда он шагал по тропинке прочь от пасторского дома, ему стало ясно, что пришедшее ему в голову, когда он только причалил, оказалось верным: ради большой любви нужно убить преста [139].

Глава 22
Несчастье рано поутру

Четвертый час ночи был уже на исходе, когда Гест наконец добрел до хутора Обвал. Юнона радостно выскочила ему навстречу, наискосок вниз по косогору, виляя хвостом и излучая радость. Он дал ей повалить себя на кочку, тискал ее, лепетал: «Юнона, девчонка моя! Пойдешь со мной завтра на работу? Ты же у нас любишь селедку? Селедочница ты моя!»

Перед Косой и за ней фьорд был как безоблачное зеркало, и солнце медленно плыло над Сегюльнесом. Для этого утреннего часа слово «золото» было чересчур дешевым.

Он нагнулся: из светлоты в сумрак земляночного коридора. В его ушах до сих пор пел гром выстрела, и он не услышал разговора, который доносился в коридор, зато увидел людей в гостевой: хуторянин Сигюрлаус сидел на кровати, положив свои плотницкие руки на колени, а рядом с ним – круглолицая девушка, закутанная в семнадцать шалей, как куколка бабочки – в кокон. Вокруг глаз у нее была какая-то красная сыпь, а может, она была просто заплаканной, а нос – большой, с синими жилками, и толстая шея – в фиолетовых пятнах. Она уставилась большими сероватыми глазами на мальчика, остановившегося в коридоре возле дверей. Можно было видеть, что ее губы замерли посередине фразы. Теперь и Лауси поднял глаза и увидел своего мальчугана; они и не слышали, как он вошел: такова магия башмаков из овечьей кожи на земляном полу.

– Ну вот… да что… А где ты был? – наконец спросил старик.

– Они нашу лодку спрятали. Я ее не нашел.

– А? Да? Кто?

– По-моему, эти, в ботинках.

– Ага. Лодка далеко не уйдет. И ты вокруг фьорда обходил?

– Да.

– Вы так долго работали?

– Да.

– Весь солнечный свет на берег выгрузили? И полностью обработали, и засолили?

– А?

– А что там был за залп?

– Не знаю.

– Ложись-ка ты спать. Нам с Моуфрид надо тут немножко поговорить.

Она – его дочь? Или родственница? Над ними витала какая-то серьезность, которая была хуторянину-поэту совсем не к лицу, в его глазах читалось желание убежать, он слишком часто приглаживал тощей рукой прядки, окружавшие его голову. Девушка постоянно переводила взгляд с Лауси на Геста и сплетала у себя на коленях свои красноватые пальцы один с другим. И да, ему показалось, что атмосфера там как-то пахнет слезами. Этим утром на всех хуторах шли бои – в это-то распротролльское дивнопогодие! Гест на мгновение забылся и рассмотрел их получше. Что здесь делает эта девушка? Она будет у них жить? Сюда никогда не заходили гости. Они сидели на кровати для гостей – той самой, где в былые времена так часто лежал его отец Эйлив, мечтая о Мерике, – и напоминали две души – две судьбы, побежденные жизнью. Их что-то угнетало – но что?

Через три часа он очнулся в своей постели. Женщины уже встали, дети выбежали на улицу, но его разбудил пронзительный детский плач, доносившийся в бадстову из коридора. Вскоре в спальное помещение вошла хозяйка Сайбьёрг, ворча и ругаясь что есть мочи, – и напустилась на мальчика: «Эй, Гест! А ну, вставай! Ты ночь профукал, а дня тебе все равно не прогулять, а ну, ступай в загон для овец! Давай! Пока ты живешь здесь – быть тебе пастухом! Ты вчера сбежал и всех подвел, но больше не будешь!» В руках у нее была дымящаяся чашка, и она подала ее своей матери, которая, как и прежде, сидела на своем месте – своем славном местечке в этом мире, которое она десятилетиями не покидала со времен постройки этого хутора, за исключением тех минут, когда ей надо было справить нужду. Она сидела там и вязала, в прохладной сырости и полумраке под окошком в крыше – в это второе по красоте утро нынешнего лета. Хозяйка продолжала браниться, что, в общем, было не новостью, а вот тон у нее был новый:

– Вот уж эта потаскушка окаянная! Фу!

– Где он? – послышался голос старой Грандвёр.

– Ушел. Пропал. Трус несчастный.

– Куда он пошел?

– Сказал, лодку искать. Я спрашиваю: чтоб ее перевезти?

– А сколько ему лет?

– Мальчику-то? Сама слышишь: только что родился остолоп! Во время окота овец! Черт рогатый с красным пятном.

Хозяйка сейчас вернулась и, проходя мимо постели Геста, прибавила:

– Эй, вставай, кому говорю!

И она вновь умчалась, тряся фартуком и вея юбками, а ребенок все продолжал плакать где-то в передних помещениях – в гостевой? У супругов появился внук? Или внучатый племянник? И они не хотели брать его в дом? Из-за того, что то место уже было занято Гестом? И места для новых ртов здесь не было? Но ведь он мог бы заработать еще денег и заплатить за свое прожитье. И тут он вспомнил о той славной купюре – пяти норвежских кронах, где же они? Он встал, всклокоченный, невыспавшийся, и притянул к себе штаны. Да, они по-прежнему в кармане. Юный работник снова рассмотрел купюру – какая роскошь, какой билет в другой мир, в новые времена… Но тут в дверях снова показалась хозяйка и с небывалой силой обрушилась на него сквозь пронзительный детский плач:

– Чтоб ты после дойки валандался на Косе – нет, так дело не пойдет, твои обязанности – здесь!

– Но, может, она пригодится, – раздался голос старухи, которая явно имела в виду девушку, эту Моуфрид. – Например, она вам с дойкой может помогать.

– Я ее к овцам близко не подпущу! Она здесь не останется! – прогремела Сайбьёрг, затем скрылась в коридоре, бормоча: – Вот уж потаскуха чертова.

Гест напялил на себя одежку, натянул башмаки, затем метнул взгляд вглубь бадстовы, туда, где сидела вязальщица, и спросил:

– А ты знаешь, что такое французифилис?

Спицы на мгновение замерли, а она метнула взгляд через разделяющее их изголовье кровати, а затем вновь взялась за работу. Через один выдох она ответила:

– Язва греха.

– Язва греха? – задумчиво повторил мальчик.

– Всеблагой умеет наказывать.

– А где появляются такие язвы?

– Где всего приятнее, там больше всего и саднит.

Гест долго смотрел на этот старый оракул – и в это время представлял себе ту алую адскую дубинку и блестящий сок, точившийся из ее волдырей, прежде чем она извергала из себя белое. У французов – французифилис. Но он-то не француз. Зачем тогда эти, в башмаках, так сказали? В передних комнатах ребенок разразился новым шквалом плача, избавив мальчика от этих дум. Наконец он отважился задать новый вопрос:

– А кто такая эта, которая?..

– А, это несчастье. Она приходит раз в семнадцать лет.

Он какое-то время рассматривал ее – сгорбленную женщину с шалью на плечах, которая двигала спицами, словно играла на каком-то чудно́м восточном ударном инструменте. При взгляде на нее у него всегда возникали в уме картины сновиденческих пейзажей, поросших лесом холмов, нездешнего неба и спокойствия.

В ней было что-то немного чужеземное – может, в этом и была причина того, что он понимал только половину из всего, что она говорила. А сейчас она что имела в виду? Несчастье?

– Потом поймешь.

И так они сидели вдвоем в бадстове еще семнадцать секунд, без слов, и вновь ощутили между собой ту связующую нить, которую ни один из них не понимал, но которая была сплетена из того факта, что они оба остались в живых после снежной лавины.

Глава 22
Грудь с молоком на утреннем солнышке

Гест не посмел пойти в кухню и попросить себе еды. Гром кастрюль, доносившийся оттуда, хорошо давал понять, какой огонь бушевал в душе у хозяйки. Он услышал, что Сньоулёйг, ее дочь, вроде бы, тоже ругается за компанию с матерью и раздувает угли. Зато он украдкой заглянул в гостевую, выходя по коридору, но там никого не было. Он шагнул в сияние дня и сразу заметил, что за быстриной фьорда шхуна «Марсей» исчезла от причала. Без нее Коса была как безголовая курица. Что такое? Они уехали? Это был сон? И больше не будет еще таких дней, еще бочек, еще купюр?

Тут он услышал за спиной звук дойки и обернулся. Низко у стены дома сидела девушка Моуфрид – та самая, с синим жилковатым носом, серыми глазами и фиолетовой шеей, – прислонившись спиной к гнилым доскам, а ребенка она обхватила своей сильной рукой и кормила грудью. Этот орган высился куполом над маленькой темноволосой головкой, сливочно-белый и восхитительный на вид, сверкая на солнце как молочное желе – сияние плоти посреди сгибов шерстяной шали, в которую куталась эта круглолицая женщина. Гест был просто ошеломлен. Разумеется, и он когда-то принимал такое угощение. Сосал грудь собственной матери, но это воспоминание лежало раздавленное под снежной лавиной времени: согласно логическим машинам своего ума, он никогда не знал родной матери, только приемную. Правда, та рассказала ему, что в первые два года жизни у него была мать, – но разве то, что человеку рассказали, сравнится с тем, что он помнит сам! Он не помнил никакой другой матери, кроме экономки Маульфрид, Маллы, которая сейчас не просто безвыездно застряла далеко-далеко в позатом фьорде, а отправилась еще дальше: за семь гор в какую-то другую жизнь.

И может, как раз в силу всех этих причин он не мог оторвать глаз от этой женщины, которая, к тому же, носила такое имя – Моуфрид. Это было так удивительно похоже на имя Маульфрид. Молодая женщина подняла глаза, увидела мальчика и глядела на него до тех пор, пока его взгляд не соскользнул с полуголой груди вверх и не встретил ее глаза, в

которых серо светилась та же вялость, что и ранним утром, когда он увидел ее на краешке кровати у Лауси в гостевой.

– Ты… – он толком не знал, как закончить свой вопрос, и почти сдался: – Это твой ребенок?

– Да.

– И… ты… ты куда-то идешь? На Сегюльнес собираешься?

– Нет.

– А откуда ты?

– Я батрачила у Стейнгрима в Перстовом. До вчерашнего дня.

Голос у нее был жалкий, словно крик гагарки, только что расставшейся с супругом.

Этот разговор позволил Гесту на шаг приблизиться, и теперь он мог лучше разглядеть, как ребенок сосет грудь. Ее купол опрокидывался в маленький рот, словно заходящее солнце. Которое сосут вечно движущиеся уста волн, и оно слегка вздувается там, где его контуры встречаются с морским горизонтом. Как ребенок знает, что это надо сосать? Кто научил этому такого младенца? Значит, человеческий род в сущности не отличается от овец? Ребенок мусолил сосок, как ягненок. Ведь Сайя как раз с ягненком его и сравнила? – Это мальчик? – спросил Гест, уже стоя над матерью и ребенком, не в силах оторваться от этого чуда. Ребенок питался матерью, как вошь, как блоха, как кровососы фруктовых земель, о которых ему рассказал его друг Магнус.

– Да, – ответила она, шмыгнув носом. – Ольгейр.

– А тебе не больно, что он…?

– Нет, нормально.

Тут из коридора вынырнула Сньоулька, процокала своими телячьими зубами во двор и громко позвала: «Хегга!» Затем она вышла на солнце и как следует поморщилась, а потом снова позвала, сплюснув глаза и обнажив верхнюю челюсть: «Хегга! Бальдюр!» Где-то тявкнула собака, но дети не объявились, и она фыркнула себе под нос и повернулась, но тут заметила Геста и кормильщицу у стены, и еще пуще запфыкала, сделала шаг по направлению к Моуфрид и бросила ей:

– Таскуха нисясна!

После этого она плюнула в кормящую мать. Моуфрид инстинктивно принялась защищать ребенка и отвела одно плечо от

стены дома. Желтоватый плевок светлого оттенка приземлился на ее головную повязку прямо над левым ухом и затем чуть-чуть стек по направлению к нему. Геста передернуло, он ощутил желание защитить мать и сына в священную для них минуту, увидел в своем воображении, как его рука отгоняет Сньоульку, услышал собственный голос, который велит ей убраться прочь, – но сам так и стоял, не шевелясь и ничего не говоря, бессильный против такого напора. Тут Сньоулёйг повернулась к нему и резко проговорила:

– Не асгаваивай с ней! Тя там оцы здут! Пшёл в загон!

И она снова умчалась в дом. Он не решился входить дальше в мир женщин, ведь здесь было такое солнечное утро, а в том мире бушевал снежный буран, – и попятился от кормящей матери. Но как же исключительно больно – слушаться приказов этой скотинки! Но тут со склона за углом дома сбежала Хельга с овечьей костью в руке, а за нею – Бальдюр, который требовал отдать ему кость: из одной ноздри у него свешивалась весьма зимняя сопля, а левая нога была боса: «Отдай! Моё! Это моя лошадка!» Позади них бежала Юнона, она радостно посмотрела на Геста, а потом – на гостей у стены дома. Хельга бросила на Геста влюбленный взгляд – по привычке, а затем, как и собака, посмотрела на чужую женщину, и молниеносно придала своему взгляду холодность, потом помчалась в дом, а разревевшийся Бальдюр – за ней. Гест нагнулся к собаке, взял за шкирку, ласково потрепал и почесал, и наконец спросил женщину с ребенком:

– А ты здесь будешь жить?

Минуло несколько долгих глотков, прежде чем она отняла ребенка от груди и вытерла ему щеки углом одной из своих шалей, а затем положила его на плечо и пару раз легонько похлопала по белопеленочной спине.

– Я нигде не могу жить. Где у вас тут лучше всего в море утопиться?

– А?.. В…? Нет, э… это нельзя.

– Ничего мне нельзя.

– Почему эти бабы на тебя так злятся?

Тут под солнечным небом раздался тихий звук отрыжки, и она положила ребенка себе на колени, шмыгнула носом и стала механически и монотонно укачивать его, а потом спросила Геста:

– Ты его сын?

– Нет. Точнее, он мой третий отец. У меня есть еще два других. Один умер, а другой… он торговец.

– Правда? Хорошо иметь троих отцов. У большинства их всего двое.

– А? У большинства двое?

– Один по крови, другой по бумагам.

– А у него… сколько отцов? – спросил Гест, кивнув в сторону маленького мальчика, качавшегося в объятьях женщины-моуфридницы.

– У Ольгейра-то? Никого у него нет.

– Никого? Почему?..

Но дальше он ничего сказать не успел, потому что из дома выбежала сияющая красотой Хельга. За это лето она подросла на целый подбородок, и у нее стали обозначаться груди. Худая как щепка, импозантная, она была похожа на смычок, сулящий в будущем превратиться в скрипку. Ей более-менее удалось подавить на своем лице выражение обожания, она несла котомку пастушка и сейчас кинула ее ему. Гест поймал мешочек у своей груди и почувствовал, что там лежат какие-то маленькие кусочки еды. Эта котомка была особенная, потому что изначально она была мочевым пузырем быка – вполне возможно, что и отца коровы Хельги, тезки хозяйской дочери с Нижнего Обвала, той самой коровы, которая поддержала жизнь маленького мальчика в обрушенной лавиной Перстовой хижине. И эта сумочка была единственным, что покойный Эйлив передал сыну, когда тот начал свою жизнь на Нижнем Обвале.

– Бабушка говорит, тебя овцы ждут. Их уже давно подоили, – сказал красивый смычок, а затем зло покосился на Моуфрид и ее ребенка.

– Ну?

Гест подозвал собаку и отправился вниз по склону от хутора, от двора в сторону загона для овец, стоявшего чуть поодаль и вниз по обвальному склону, но задержался у одной кочки и оглянулся. Женщина все еще сидела перед домом, укачивая ребенка. В чем была причина? Почему они все так плохо относились к молодой матери? Затем он повернулся и побрел со своей котомкой за Юноной, к тринадцати овчушкам, которые ждали его в загоне, и ему не терпелось пообщаться с ними. Ведь эти замечательные существа без сомнения превосходили в развитии всех этих баб с хутора.

Глава 23
Тринадцать овечек и шхуна

Он побрел со стадом по запутанной овечьей тропе вокруг Мертвяцких обвалов и на Сегюльнес в надежде снова увидеть «Марсей». Наверно, они ушли на промысел. Они должны вернуться. Эта сказка не могла длиться всего один день.

Затон был гладок от штиля за мысом. Но перед мысом в свои права вступал ветер с моря и взбивал поверхность воды до голубизны, отдельные волны плевались белым. Когда в этой части страны на фьорд светило солнце, нарушалось температурное равновесие между морем и сушей. Суша нагревалась и притягивала воздух от холодного моря; в итоге ветер с моря всегда начинал дуть незадолго до полудня и не унимался до вечера, когда солнце садилось в глубину и суша снова холодала. В большом просторном Эйрарфьорде ветер в погожий день мог выдаться фактически ураганный, потому что фьорд далеко врезался в сушу, а там жара была даже больше, чем у берега. Таким образом, фьорд превращался в гигантскую трубу, которая все втягивала. Если в таком потоке ветра распустить парус, то корабль в рекордный срок относило обратно в гавань, откуда он вышел. По этой причине те, кто хотел выехать оттуда, должны были вставать рано, до того, как задует ветер с моря.

А Сегюльфьорд располагался слишком далеко на краю острова, был слишком короткий, слишком гористый, чтоб всасывать в себя ветер с моря, так что он часто превращался в оазис штиля среди всех этих исландских пустынных ветров, которыми изобиловали солнечные дни на севере страны, так что для мореходов могли вызвать затруднение заход на рейд и выход с него. Но многие надеялись, что это неудобство вскоре исчезнет, потому что наступает эра пароходов, в то время как другие считали, что эти «туманоходы» – всего лишь веяние моды.

Гест устроился в зеленой ложбинке высоко на склоне за Сегюльнесскими скалами, там, откуда открывался вид на весь север до самого острова Грамсей. По поверхности моря бегали какие-то малопоплававшие паруса, но сказочной норвежской шхуны было не видать. Они помчались на родину? А может, отправились еще за бочками? Как раз под скалами против ветра шла шхуна, легкая на

радостных волнах, очевидно, акулоловное судно, отправлявшееся на промысел трески. Лауси рассказывал ему истории о том, что Эйлив, его отец, был «самым славным мореходом-акулятником в наших краях», а сам Гест после лета на французском паруснике получил пожизненный иммунитет против мореходства. С точки зрения мальчика, на Косе существовали три типа людей: 1. «Крабы сухопутные» – те, кто постоянно страдает морской болезнью. 2. «Крабы мокропутные» – те, кого на море тошнит только первые три дня, а потом уже не тошнит никогда. 3. «Дуреморы» – те, кому тяжело находиться на суше, и они пьют, чтоб устроить внутри себя качку и шторм, и отдают швартовы, блюя.

Сам он первые две недели только и знал, что блевал. Но он больше связывал это со всей их непонятной едой и красной бормотухой, которую они заставляли его пить под неумолчный хохот.

Овцы рассыпались по склону и, не переставая, щипали траву. Пастушок взял свою котомку и вынул из нее сушеную рыбу и кусок масла и запил их молочной сывороткой из старой склянки из-под лекарства. Таков был завтрак человека, находящегося севернее всех в стране. Когда мальчик позавтракал, его одолела сонливость, ведь после долгой работы и короткого сна ночью он чудовищно устал. Обычно, если пастух засыпает, пока следит за стадом, надо ждать неприятностей, потому что природа исландских овец такова, что они вечно ищут вдали то, что у них под носом, и считают, что на той стороне долины или ручейка трава зеленее. На самом деле у исландского народа природа была такой же, но его очень долго держали в узах батрачества, а эта система не позволяла народу ни пойти по миру, ни просто так отправиться шататься по белу свету, и совершенно не подходила ему. По этой причине люди завидовали своим овцам, но отыгрывались на них, приписывая это их свойство глупости.

Гест не смог сдержать себя, и его сморило на склоне, а Юнона тем временем стояла на страже. Но он не увидел «Марсей» ни когда заснул, ни когда проснулся. И тут пастуху показалось, что в стаде не хватает лучших экземпляров.

Он потратил без малого два часа на то, чтоб собрать вместе всех овец, и когда в середине вечера гнал стадо домой, в загон, на него нахлынуло разочарование, подобное темноте, ведь корабля у причала по-прежнему не было. Значит, в этом славном фьорде больше не будет

«норвеголизов»? Эта мысль была невыносима. И тут он услышал на другом берегу удары молотка и увидел, что трио плотников-норвежцев снова взялось за работу: на этот раз за засолочный помост. Значит, «Марсей» привез немного досок. Они стучали до самого вечера, и Гест как зачарованный сидел на кочке ниже хутора и слушал прекрасную симфонию гвоздей вместе с коричневой собакой, навострившей уши.

Но он не стал переправляться через фьорд, а подкрепился чем мог и рано ушел спать, улегся в постель возле похрапывающего Бальдюра и стал мечтать о новых купюрах. Да, он возместит этим людям расходы на свое содержание, ведь он здесь не сын и не член сельской общины. И тогда бы эти бабы прекратили обижать женщин с маленькими детьми. Но что же стало с синеносой девушкой в куче шалей и ребенком в пеленках? Она исчезла с хутора, и он не смел спросить – даже у Лауси, без конца бурчавшего о своей лодке, которую он нашел на взморье на северном берегу Косы, перевернутую на крыше старого дома на хуторе Молочном. Значит, эти задиры, Ханс и Бальдвин, дали себе труд как следует повозиться.

Нет, Несчастье, как прозвала девушку Грандвёр, явно продолжила свое бесславное путешествие по фьорду и сейчас расплачивалась за кров для себя и ребенка тем, что давала свою грудь мужикам на хуторах Сегюльнеса.

Глава 24
«Вылаусок»

Эти нелепые видения наконец убаюкали пастушка, но в девятом часу утра он резко проснулся оттого, что бадстову вновь заполнил душераздирающий детский плач. Что такое – они еще здесь? Это был тот же плач, что разбудил его минувшим утром. В бадстове было светло, насколько это было возможно без жирника, потому что сквозь окошко в крыше вливалась вселенская светлынь летней ночи. Окошко было над кроватью Сньоульки, которая была напротив их с Бальдюром кровати, чуть вглубь комнаты. Храп везде умолк, очевидно, все проснулись от резких криков: хозяин, хозяйка, старая Грандвёр и Сньоулёйг. Но можно было услышать, что малыш Бальдюр по-прежнему спал своим шумным сопливым сном. Однако возни и шагов было не слышно: никто не вставал. Гест вскочил и сел на кровати; напротив него все еще спала Хельга – или притворялась, что спит, но в дальней кровати не было видно никакого движения.

Ребенок разревелся еще сильнее – горьким голодным плачем. И тут Гесту показалось, что этот звук раздается не в бадстове, а доносится туда по коридору. Мать с ребенком снова вернулись в гостевую? Женщина тайком пробралась туда, когда все заснули? Или это игра воображения? Здесь все еще спят, а это – плач призрака? Или все лежат, навострив уши, и слушают так называемый рев утбурда? Нет. В Исландии детей никогда не выносили на пустошь летом, светлыми как день ночами, когда Господь лучше всего видит – по крайней мере, так говорили, – но может быть, и впустую? Ребенок все плакал и плакал. Ну и гады же они, что на такую жалобную мольбу закрыли уши! Но он и сам лег снова: рано или поздно мать убаюкает ребенка.

Но этот горький плач еще некоторое время продолжил наполнять бадстову, и тогда он больше не смог лежать спокойно, вылез из кровати и получше обшарил помещение взглядом. Лауси представлял собой почти комичное зрелище: он притворялся спящим на своей бумажке у сундука с книгами (больше всего напоминая мертвого хозяина Хуторской хижины), а женщины отвернулись к стене. Но плач лишь усиливался, отчаяние раздирало уши.

Гест проковылял в коридор, пошел на звук. Собака, которая спала то в коридоре, то под кроватями, выскочила ему навстречу, виляя хвостом. В гостевой никого не было, только летний свет потоком лился в грязное окошко с крестообразным переплетом в переднем фасаде дома и пересчитывал косые куски дерна, из которых была сложена стена вдоль кровати. Но как раз в этой каморке и был источник плача, это было очевидно: в ложбинке за скомканным рванью-одеялом у дальнего изголовья, повернутого к окну, виднелось зареванное личико, орущее от жалости и злости, и да – посередине лба было ярко-красное пятно, тянущееся вниз между глаз. Эта головка величиной с кулак, торчащая из белых, похожих на кокон пеленок, выглядела тем более сиротливо, что ручки ребенка были крепко припеленаты к телу. Грудных младенцев обычно завертывали в холщевые тряпки, пеленки, словно какой-нибудь сверток с вещами, вместе с руками, чтоб рот и пальцы не соприкасались друг с другом, ведь в земляночную эпоху, когда младенцы умирали чаще, чем выживали, всегда необходимо было помнить о путях распространения заразы. К тому же это завертывание должно было обеспечить ребенку спокойствие и уют. Поэтому грудных детей называли также и «пеленашками».

Гест некоторое время в нерешительности мялся возле этого громогласного явления и, чтобы развеять все сомнения, обшарил всю гостевую: под кроватью, за старым бочонком для скира в углу: нет, матери нигде не было. Так что он как можно скорее выбежал *из* дома.

Косу и Затон скрывала полоса низкого тумана, слегка заходившая к нему во двор, а над ней были ясный небосвод и отягощенные камнями горы, солнце на вершинах. Желтоклювая чайка медленно парила вдоль берега.

У каждого дня свои украшения.

– Моуфрид! – крикнул он в ночь. Может, она отлучилась по нужде? Он позвал снова – как странно так проникновенно звать человека, с которым едва знаком! – а потом подождал несколько мгновений, повернувшись спиной к дому. Юнона напустила на себя важный вид, словно хотела рассмотреть женщину в тумане, а плач тем временем лился на улицу сквозь непрочные доски фасада.

Тут Гест не мог больше утерпеть, он снова вбежал в дом, склонился над мальчиком, взял его на руки и принялся раскачиваться взад-вперед и приговаривать: «ну, что ты, что ты…», – словно этот

пятнадцатилетний парень был матерь всех на свете детей. Плач слегка ослаб, очевидно, из-за того, что ребенок удивился, а потом разразился с новой силой: Гест заглянул в разинутый крошечный рот – заглянул в самую глубинную потребность человечества – и понял, что же там стряслось. Он вышел вместе с мальчиком в кладовую, где царила темень непроглядная, расположенную по коридору напротив кухни, положил его, ревущего, на плохо видную приступочку, как хозяйка кладет свежевыпеченный хлеб, и начал по запаху искать кадушку, где хранились вчерашние остатки, продолжая бормотать: «Ну же, ну, тихо, тихо». Затем он резко обернулся и едва успел подхватить ребенка, который был уже готов укатиться с полки. О чем он думал? Ведь в этом сверточке – человек, у которого будут и зубы, и целая биография!

Сейчас он спрятал этот плач у себя в объятьях, и ему наконец удалось, ощупью и нюхом, отыскать ту славную кадку с молоком. Он поднял деревянную крышку: жирная белизна овечьего молока засияла навстречу ему в темноте кладовки, словно полная луна. Затем он пошарил перед собой и нашел шнурок, протянутый, словно бельевая веревка, между стенками кладовой: на нем висели черпаки. Он нашел один, жестяной, и погрузил в густое овечье молоко, наполнил до половины густым лунным светом, происходящим из вымени овцематок, и поднес к губам ребенка. Действовал он довольно неуклюже, и половина стекла вниз по подбородку и щекам, но бессловесное существо ощутило вкус и перестало плакать: тут было молоко. Конечно, не материнское, а из других, более развитых созданий, и при этом вполне приличная порция. Гест начерпал следующую порцию и сейчас уже стал поить ребенка более аккуратно: поднял его вертикально и осторожно поднес черпак ко рту. Ничего себе – малыш рьяно хлебал, молочное чавканье было весьма убедительным, хотя его лица не было видно из-за черпака, закрывавшего его полностью.

– Ты что делаешь в кладовой?!

Гест вздрогнул: это был голос Сайбьёрг. Резкий и ледяной.

– Немного молока нашел для не…

– Нечего пастуху в кладовой делать! А ну убирайся! Кому говорю! Живо!

Гест повиновался и вышел на свет коридора с ребенком, у которого появилась молочная «бородка», и черпаком в руке. Хозяйка вырвала у него этот прибор.

– Ты из кадушки молоко воруешь?

Затем она резко шагнула в темноту кладовой, унося черпак. Гест остался стоять в коридоре, держа на руках ребенка, который заплакал с новой силой. Сайбьёрг вернулась из кладовой и строго посмотрела на него, а он оборонился фразой:

– А чем… чем же мне его кормить?

В ответ она посмотрела на него еще более строгим взглядом. Наконец Гест опустил глаза на орущего малыша у себя на руках, затем снова поднял – и столкнулся с тем самым взглядом.

– Зачем…? Он же… всего лишь ребенок.

– Внебрачный, – произнесла женщина тихо, но с такой пронзительной болью, что в сознании паренька вдруг проступило то, что создавалось в самых дальних хреппах жизни: этот проступок был совершен на расстоянии примерно года отсюда, осенью, в ночной глуши, в пьянющем закутке на другом хуторе. Ребенок у него на руках был сыном хозяина, сыном Лауси. Это был вы́лаусок.

Глава 25
Сосание вымени

«Раньше это называлось подкидыш, – через много дней услышал Гест от старухи. – Вместо того чтоб вынести ребенка на пустошь, они их приносили на другие хутора».

А единственное, что текущий момент предлагал Гесту, было – вынести этот плач прочь из дому, в прохладный утренний туман. Хозяйка запретила держать его в гостевой и потом сверлила его взглядом, наглухо застегнув рот, и это выражение лица было красноречивее всех слов, а серая как туман шаль, которую она накинула в спешке, образовывала на твердой выпуклости ее груди большой «Х»: «Этому ребенку запрещено находиться в этом доме!» И сейчас Гест стоял во дворе с этой новой жизнью на руках, а собака смотрела на него вопросительным взглядом. Над тремя лохматыми травяными крышами с вышины пикировал бекас с характерным звуком, а в голове мальчика пикировали такие мысли: «Они больше не хотят его видеть. Мне его вынести на пустошь? Или нам обоим отсюда уйти? Может, на Сегюльнесе его кто-нибудь захочет взять себе?»

Прежде чем пуститься в путь, он положил плачущего ребенка на склон, где кончался двор и начинался тун, велел Юноне стеречь его и забежал в дом за своим бычьим пузырем, котомкой для еды, лежавшей под кроватью, а потом – молниеносно – в кладовую, и уже снова был во дворе, прежде чем хозяйка успела что-нибудь пронюхать.

Плач указал ему дорогу в овечий загон. Овцы, по обыкновению, были на ночном выпасе поблизости. Или не так? Да. Юнона быстро нашла их в сером тумане, и вместе они с Гестом быстро загнали их в загон. Туман поглотил горький голодный плач, словно вой какого-нибудь утбурда. В загоне было тесно и слякотно, но овцы обычно сами выстраивались в два плотных ряда вдоль длинных стен отсека: шесть со стороны горы, семь со стороны моря, потому что за сотню поколений овечий род примирился с тем, что люди сосут из них молоко средь бела дня. Гест с ребенком на левой руке сел на корточки позади овцы Фригг, у которой вымя было самое большое, и схватил за один сосок между ее задними ногами. Наш пастух раньше лишь однажды доил овцу украдкой, но результатов добился мало, – так что сначала он

не смог выжать из скотинки ни капли молока; ведь обычно доили так: одной рукой придерживали за переднюю часть вымени, а доили другой, большим и средним пальцами, а сейчас у него была свободна только правая рука. И наконец ему с большим трудом удалось выжать из крупного соска белую струйку и поднести к ней ребенка: крошечную головку – к заляпанным грязью скакательным суставам Фригг, и пустить струйку ребенку на лицо. Но малыш потребовал, чтоб сосок запихнули ему в рот, и отчаянно запротестовал, когда ему его не дали; ведь Гест боялся двух вещей: что овца, почувствовав рот другого вида существ, начнет буянить и что крошечному беззубому ротику ребенка не удастся выжать из такого соска ни капли. Но маленький Ольгейр быстро научился хватать ртом молоко и вскоре стал проглатывать струйки одну за другой, с видом как у генерала.

Затем Гест положил мальчика в ложбинку между кочками: затихшего, сытого и обмочившегося, и сам улегся рядом. Так они дремали, невидимые дояркам, до самого конца дойки. Гест дал им несколько раз окликнуть себя и поругаться, но не отозвался. А едва мать и дочь ушли в дом, он появился в загоне, чтобы выпустить овец, и сам пошел за тринадцатью овчушками и коричневой собачкой, с ребенком на руках, словно сейчас создалась самая новая в этой стране семья.

Глава 26
Молодой парень с младенцем

Сын троих отцов и сам стал отцом. Малыш Ольгейр спал у него на руках, а потом – под пятнистым ото мхов камнем, когда Юнона посчитала, что они пришли на нужное пастбище. Гест попытался выгнать стадо наверх из тумана, потому что температура в тумане и над ним, где светило солнце, могла отличаться на много градусов, но как бы высоко он ни поднимался в гору, травинки тумана всегда успевали зацепиться за солнце. Гест присел возле младенца и принялся считать его вдохи, он не мог оторваться от этой жизни, о которой ему вдруг выпало заботиться. Вы только взгляните на этот крошечный нос, на этот упрямый рот! И эти красивореснитчатые глаза, которые ребенок закрывал в счастливом ощущении сна и сытости! Красное пятно исчезло, лицо было красивого бледного оттенка со слабым румянцем на щеках.

Но неужели он перестал дышать? Кажется, да. Он не дышит! Кстати, а ведь это, пожалуй, лучший выход для всей этой проклятой мороки?

Гест отпрянул от свертка, колеблясь между надеждой и безнадегой, а затем ощутил, как по его телу прокатилась радостная дрожь, когда ротик недовольно задвигался, словно у старика, которого толкнули во сне. Он дышит! Он жив!

Но тут пастушок забеспокоился, что ребенку холодно, снял свою мятую шаль и набросил на него. Что красивее ребенка, спящего на земле в то время, как на небесах происходят всякие события? Сейчас туман быстро рассеивался, и сквозь него пробивались лучи солнца. Гест подвинулся на солнечную сторону, чтоб его тень закрывала ребенка, и почувствовал жар на своей спине. Малыш чуть-чуть пожевал пустоту губами и повернул головку на правую щеку, устроился поудобнее, почти совсем уютно. Пастушка больше всего поражало, что эта миниатюра была весьма точной «копией» взрослых людей: он с первых дней так же и рыгал, и зевал, и даже ногти на пальчиках были полностью сформированы, что сделало бы честь любой красавице. Ни одна сила, мирская или небесная, не могла бы изменить их форму или развитие – они все равно стали бы такими, какими стали. Какими были!

Жизнь была цельнооформленной и совершенной с самого первого своего дня; единственным, что к ней добавили люди, было имя Ольгейр – и да, полный желудок парного овечьего молока…

Значит, он Сигюрлауссон? Ольгейр Сигюрлауссон? А что стало с матерью, батрачкой из Перстового? Они, там дома, должны передумать. Сегодня вечером для него должно стать возможным прийти домой с мальчиком. Ведь это же сын, которого у хозяина никогда не было! Или Сайя подкрадется к грудничку и задушит его во сне?

Наконец солнце окончательно пробилось сквозь туман и к полудню полностью изгнало его из фьорда. Как и прежде, стало видно, что большого корабля «Марсей» у причала все еще нет. Но все же в тени близ Норвежского склада можно было различить, что там раскинулся белый дощатый помост. Солнечный свет искрился на некрашеной крыше церкви, а ее фасады были покрашены до половины – белым. Старая церковь всегда была черной.

Пастух принялся присматривать за овцами, возиться с котомкой, но не спускал глаз с ребенка и дважды отгонял криком коварного ворона, на которого обратила его внимание Юнона: черная птица низко воспарила над украшенным камнями склоном и села чуть повыше, на высоко вытянувшейся скале, каркая, потому что ему хотелось отведать двухмесячных глаз. Затем Гест сел и потянулся за своей котомкой: он стащил кусок подового хлеба большего размера, чем ему давали обычно. Поскольку в очажных кухнях духовок не было, исландские хозяйки наловчились печь хлеб на листе железа, который накрывали перевернутым горшком, так что получалась своего рода печка. И у Сайи подовый хлеб был не самым худшим, во всяком случае, с куском масла толщиной в лезвие ножа он всегда составлял основу его обеда, и с ним он допил сыворотку из коричневой склянки. Это был молитвенный час пастуха.

Покончив с обедом, он смотрел на малыша Ольгейра, спавшего под курткой как под одеялом, пока тот не проснулся и не начал снова плакать: пришла пора снова кормить его. Гест продумал этот день только до времени первого сна и сейчас беспомощно озирался в поисках выхода. Он только что допил последнюю молочную порцию! Ну что он за балбес! Не мог же он сейчас доить этих овец прямо здесь на открытом склоне горы. Он снова заглянул в свою котомку-пузырь в поисках мягких кусочков, но нашел там только крошки сушеной рыбы,

кусок акулятины и весьма твердый ком нутряного жира, а в придачу два лоскутка рыбьей чешуи, которые Сньоулька весной поджарила на углях. Еще там завалялась старая сушеная тресковая голова, болтавшаяся там уже несколько недель, от которой он порой отщипывал кусочки, – но вся эта еда не годилась, потому что была слишком жесткая. Зачем он и хлеб тоже весь съел! Ни о чем не позаботился! Только о себе думает!

Для беззубого рта годился лишь кусочек масла, но его ему было, если честно, жаль. Но все-таки – вот: зачерствевшая корка лепешки, которую сунула ему на Иванов день старуха. Он отломил кусочек, положил в рот, долго размачивал слюной, а потом дал ребенку. Но, очевидно, жвачка размокла недостаточно сильно, потому что малыш закашлялся, ему стало дурно: он подавился. О чем он только думал?! Гест побледнел и принял меры: перевернул ребенка и стал похлопывать по спине: словно вытрясал из пустого бочонка из-под бреннивина засунутую туда монетку. Ребенок не издавал никаких звуков, и Гест снова перевернул его, толком не соображая, что делает. И тут, наконец, раздался короткий кашель, кусочек показался на языке, малыш задышал и снова принялся реветь, к немалому облегчению для пастуха.

Гест сделал несколько вдохов и осмотрелся вокруг. Расстояние до ближайших овец невелико, но их будет непросто изловить. Он уложил ребенка между камнем и кочкой и велел Юноне отогнать двух овец, которые стояли поодаль от других и паслись на солнышке. Правда, они обе были безрогие, так что их будет непросто удержать, но плач настаивал, чтоб он попытался. Собака послушалась и яростно зарычала на овец, а они всполошились и гуськом побежали вниз по склону. Собака быстро перерезала им путь. И сейчас они стояли между собакой и пастухом и тряслись. Одна из них заблеяла, словно хнычущий пропойца на пороге магазина. Гест кинул взгляд на своего маленького звереныша, который все еще горько плакал, а потом приблизился по каменистой моховине к овцам и взглядом велел Юноне подойти поближе. Собака показывала овцам зубы, и когда овцы хотели бежать в сторону севера, прыгала туда, а когда на юг – то туда. Так пастуху и собаке удалось выстроить невидимый передвижной загон, и Гест приготовился броситься одной овце на шею, обхватить руками это часто бьющееся в остриженной шерстяной груди сердце. Но тут Юнона вдруг помчалась прочь вверх по склону, лая и злобно рыча!

Гест увидел, как над ребенком вышагивает ворон, и испуг заполнил его грудь, словно волны – каюту. Но хищный зверь примчался к хищной птице с быстротой молнии, и ворон едва успел ретироваться в воздух, в свое крылатое царство, пока собака не откусила ему крыло. Юнона потрусила вниз по склону, запыхавшись после бега и погавкивая на птицу, но остановилась возле ребенка, который плакал как никогда сильно, и понюхала его и мох вокруг.

Гест прискакал вверх по склону и выдохнул возле ребенка – но его лицо тотчас ужаснуло его: левый глаз был сплошной кровоточащей раной, из него текло красное, словно ребенок плакал кровью. Ворон все-таки клюнул мальчика – погрузил свой черный нож в его левый глаз. Везде разлилась мгла, и Гест почувствовал, как его хватает за шиворот железная лапища. Он наскоро помолился Богу, чтоб глазик остался цел, чтоб ребенок выжил, чтоб он сам получил возможность зажить лучше. О чем он вообще думал раньше? Какая глупость! Он же видел, как ворон нарезает над ними круги. На самом деле он совершил целый ряд ошибок с самого того момента, когда ему в руки была вверена жизнь этого существа.

И вдруг, словно снежная лавина, на мальчишку-подростка нахлынуло ощущение, что жизнь в этой проклятой стране на северах – это борьба, от одной секунды до следующей, одна масштабная бесконечная борьба не на жизнь, а на смерть. Не успеешь оглянуться – и жизнь кончена, век вышел. И тотчас Гест почувствовал сильнейшее желание позаботиться о том, чтоб Ольгейр – это чудо, пришедшее к нему из светлой ночи, вырос и возмужал. И в его голове мгновенно нарисовалась удивительная картина: младенец спешит к нему навстречу на двух взрослых ногах, обе из которых обуты в великолепные резиновые сапоги, похожие на те, которые в первый день Второго заселения страны носили Арне Мандаль со товарищи. У ребенка на одном глазу была черная повязка. Картинка сопровождалась уверенностью в том, что его план непременно удастся: что этот малыш, который сейчас плачет кровью, дорастет до того, что у него появится борода.

Гест поднял ребенка и поспешил к ближайшему ручью, промыл глаз холодной водой и осторожно вытер уголком пеленки. Ребенок орал как резаный, но потом немного успокоился, когда пастух вытащил из кармана свою шапку, намочил холодной водой, поднес к глазу и

подержал там. Юнона встала посреди ручья и с любопытством следила за этими действиями, наклоняла голову и хмурила брови. Гест мысленно поблагодарил ее за то, что она спасла ребенку жизнь. Затем он поднял шапку от лица мальчика и рассмотрел кровавый кратер на месте левого глаза. И тотчас на ум ему пришли слова, когда-то услышанные в лавке у Трюма: «Клюв ворона – как острый нож, когда взрезает брюхо объевшейся овцы».

И вот – он сидит здесь, как худшая в мире мать, у которой дитя без глаза, и плачет за компанию с ним!

Глава 27
Врач, женщина, слезы, селедка

Он погнал овец домой, в загон, хотя до вечерней дойки было еще далеко, шатаясь и переваливаясь, с залитым кровью краснопятнистым свертком на руках, раненный в сердце, хнычущий от самообвинения, но не забывающий постоянно держать свою холодно-мокрую шапку у щеки ребенка. Ему удалось, при существенной поддержке Юноны, загнать овец. А потом он поступил так же, как утром: подоил в рот своему подопечному овцу Вёр, а тот сперва воспринял это неохотно: боль пересиливала голод.

Рана воспалилась, и из нее все еще сочилась кровь и еще какая-то незнакомая жидкость, которая вселила в Геста такой страх, что он мигом поспешил с мальчиком к берегу, забыв закрыть за собой калитку загона. Там он отыскал лодчонку Лауси, быстро столкнул на воду, поскольку в тот час был прилив, пристроил в ней малыша, а потом влез сам, с мокрыми ногами. Юнона обиженно смотрела им вслед. Гест неистово греб веслами, приплыл на Косу, прямо к Норвежскому причалу, привязал лодку там и взмыл по стенке причала на его верх. Несколько детей с Косы и двое плотников-норвежцев слегка ошарашенно посмотрели на то, с какой скоростью он пронесся мимо нового сельдезасолочного помоста по направлению к Докторскому дому.

Маргрьет, экономка врача Гвюдмюнда, была во дворе – женщина с сильными руками и добрым лицом. Она стояла у северного угла дома с граблями и разговаривала со светловолосой женщиной в длинной юбке и светлой кофте, которая стояла спиной к Гесту. Но когда он добежал до докторского туна и пошел прямо по сену, которое только что сгребли, она повернулась, и он узнал Сусанну. Не представившись, не объяснив ничего про ребенка и его рану, он быстро спросил, где врач, а женщины заохали сами себе и тотчас шагнули ему навстречу: он принес покалеченного младенца? «Господи ты боже мой!» Маргрьет отшвырнула грабли, поднялась впереди него на крыльцо и зашла в дом.

Врач Гвюдмюнд уютно сидел у письменного стола и записывал температурные показатели сегодняшнего дня: в 06:00, в 9:00 и в 12:00: помимо врачебной службы он еще исполнял в этом месте роль

метеоролога. Он отложил самопишущую ручку и повернулся в огромном вращающемся кресле, так что коротко подстриженные бакенбарды с шорохом потерлись об его убийственно белый воротник-удавку, от ажиотажа у него сперло дыхание, и он стал непроизвольно потирать руки, словно гурман, которому принесли жирный бифштекс. Про врача Гвюдмюнда уже давно поговаривали, что он «охотится за ранами» – а сейчас одну из них ему как раз и доставили – весьма любопытный *specimen* – младенец, которому ворон выклевал глаз. Гвюдмюнд попросил Маргрьет помочь ему, а Гесту велел убраться из своей гостиной одним лишь простым взглядом – а потом дверь захлопнулась.

Сусанна все еще стояла на крыльце, но отвернулась и смотрела на причал, а наш паренек взялся за дверной косяк и повесил голову – и снова начал всхлипывать. Влюбленная дева обернулась и подошла к подростку, положила руку на его вздрагивающую спину. Так прошло много времени: Гест хныкал, Сусанна молчала, но вот он наконец оторвался от дверного косяка и уткнулся в мокрую от крови шапку, спрятал лицо в крови ребенка, а затем принялся бить себя шапкой по лицу – снова и снова, от злости и горя. И последствия не заставили себя долго ждать: его лицо превратилось в кровавую маску, когда он наконец повернулся к женщине из Мадамина дома – подруге пасторши; она стала задавать ему вопросы:

– Это твой братик?

– Нет.

– Ты с Обвала, да? С Нижнего?

– Да.

– Что это за ребенок?

– Сам не знаю. Его нам просто подкинули. Он не нужен никому…

Его голос был слабым, захлебывающимся и надломился на последнем слове «никому». Он не нужен никому. Наверно, в этом мире нет ничего, более достойного слез, более грустного, чем ребенок – такой крохотный малыш, которого никто не хочет видеть и никто не хочет держать у себя.

И тут он окончательно сломался. Сейчас потрясение обрушилось на него всей тяжестью. Он никогда не простит себе, что из-за него глаз ребенка достался ворону, а может быть, мальчик еще и умрет… Он уронил голову на грудь, и из нее хлынули слезы, полились сопли. Она

почувствовала необходимость обнять его, прижать к себе, и не важно, что на ней была кофта светлого цвета, а его лицо перепачкано кровью и выделениями из носа. Он был на голову ниже ее, и его голова исчезла в другом мире – в женском, в груди земли и персях небес, в самом лучшем месте, которое существовало на свете: он приложил окровавленную щеку к груди, исполненной любви. Там было хорошо плакать – что он и делал. Он слышал собственные рыдания, но не мог их сдержать: потрясение было гораздо сильнее его самого, он ревел, как баран, провалившийся в болото, откуда брали дерн, но его рев частично приглушался объятиями женщины.

Он плакал не только из-за выклеванного глаза, он вдобавок оплакивал все то, что пережил, и все то, что ему пережить не довелось, все, что он до этих пор никогда не оплакивал. Он оплакивал свое происхождение, свой хутор, мать, сестру, оплакивал своего вечного отца, а также того отца, который был к нему добр, но недолго, – плакал о том, что ему не довелось пожить ни с тем отцом, который был его собственным, ни с тем, который ему не принадлежал; а еще он оплакивал то лето с бретонцами, все их семяизвержение и брожение, и еще он оплакивал недели, проведенные в Хуторской хижине, и то, как лютовала тамошняя баба, как убила хозяина – Эйнара, и угнетенное расположение духа, которое последовало затем, и бедняцкую жизнь на Нижнем Обвале, сложности с Лауси, насмешки здесь, на Косе, и вообще безнадегу исландского подростка в начале века – скупом начале этого сверхстолетия.

Такой плач подступает, когда все кончено, – и прежде чем все начнется.

Равным образом и она, Сусанна Й. Йенсен, была незнакома с такой ролью: утешать такого окровавленного мальчика, совершенно чужого, – она, всю жизнь прожившая в мире деревянных домов, не имевшая обязанностей по отношению к кому бы то ни было, кроме пасторши и ее дочери. Но она недавно оказалась посвящена парусам и морю, омыла свою душу в бочке с селедкой, а свое тело – в смертных простынях, и в этот миг ей выпало стоять в этом коридоре перед открытыми дверями, полными послеполуденного солнца, на третий день без дождя – стоять и быть надежей и опорой для него, этого пастушка из-за фьорда. Она погладила его по спине, по голове, наконец предложила зайти в кухню к Маргрьет, отпустила его и заглянула себе в душу – и увидела следы

крови и размазанные сопли на кофте, но не стала их счищать, затем нашла тряпочку, намочила в ведре с водой, стоявшем на низенькой табуретке у рукомойника, и подала мальчику, – но тотчас заметила, что он сейчас не в состоянии совершать много движений, и сказала: «Позволь мне», успокоила его, положив левую руку ему на плечо, и смыла кровь с его лица, осторожно проводя по нему тряпкой.

Он чувствовал себя так, словно с оконного стекла соскоблили изморось: зрение мало-помалу вернулось к нему после потрясения, и он начал рассматривать лицо женщины, пока она стирала кровь с его щек, подбородка и шеи. И сейчас в нем пробудились новые ощущения, ведь он никогда не стоял так близко к такой женской фигуре, даже почувствовал, как от нее исходит любовь: пышет с алых щек, наполняет алые губы и искрится в голубоватых глазах – она вся полна жизненного жара и жизненной страсти. И постепенно он ощутил, как в его крови поднимается волна, из пучины выплывает небольшой кит, и вот все забурлило, проснулись неизведанные чувства.

Она представала его взорам подобно склону горы у хутора, где он жил: он смотрел все вверх и вверх, и выше, вверх от этих губ, вверх от этих щек, здесь могло бы быть пастбище для стада в тысячу и более голов, высоко под этими глазами он был бы непрочь заснуть вместе с собачкой Юноной и тринадцатью овчушками. Да, под этими лунно-белыми щеками его кровь вздымалась как море: высокая приливная волна мочила даже самые сухие его мысли, пока она не улыбнулась ему жалостливой улыбкой, не взяла его голову руками и не поцеловала в лоб, словно понимала, что в нем бродят мысли, посвященные ей, которые, впрочем, лучше и не вынимать на свет. Он уловил это ее послание и сейчас увидел за этим лицом корабль: штаги и реи, паруса, подобные горам.

– Когда они опять будут?

– Норвежцы?

– Да.

– Должны были еще вчера. Они отправились на остров Хнисей за бочками. У Сёдаля там база. Они должны появиться сегодня вечером или ночью.

Не успела она закончить эту фразу, как он увидел в окнах паруса, шхуну, заползающую за угол склада. Его душа взмыла в воздух. Он мигом забыл и рыдания, и желания, и ребенка, и рану.

– Смотри! Это уже они!

Он подлетел к окну кухни и стал смотреть, как парусник ползет по направлению к острию мыса в устье фьорда. Они показались! Сказка не закончилась! Будет еще селедка! И еще купюры!

– А по-твоему, это точно «Марсей»? – спросила она, стоя позади него. Ее голос едва заметно дрожал, что выдавало нетерпеливое ожидание, судя по всему, также смешанное с неким опасением. – Да, я узнаю их паруса! – отвечал подросток и выбежал вон, на крыльцо, на тун, за церковь, – сейчас корабль полз мимо внешней стены Старого хутора, – с губ мальчика сорвался крик: – Они едут!

Эта весть быстро разнеслась по городку. И вскоре показался хреппоправитель, шагающий на своих ногах колесом по направлению к причалу, а также батраки и вольники, парни и девки. Может, сейчас будет еще один селедочный день! Чем больше «Марсей» углублялся в штиль, заполнявший фьорд, тем больше замедлял ход, и так долго подползал к концу Косы, что Гест снова успел вспомнить о ребенке, маленьком Ольгейре, плакавшем кровью, и обернулся назад, на Докторский дом, и увидел, что Сусанна стоит на его крыльце и жестом подзывает его. Он поспешил назад через туны, круглившиеся копнами сена. Гвюдмюнд открыл дверь в свою гостиную, а экономка Маргрьет ушла на кухню к своей гремячей работе. Гест склонился над ребенком, лежавшим в пеленках, на этот раз чистых, на очень оригинальной больничной койке и спавшим сном пациента: на одном глазу повязка, и голова до половины замотана бинтами.

– Я обеззаразил рану, как только мог, – сказал врач Гвюдмюнд, пошелестев бакенбардами.

– А… а глаз? – спросил Гест.

– Он останется одноглазым. Если выживет, – сказал врач с нарядной безучастностью.

– А… он не будет жить? – Гест чуть не расплакался снова.

– С моей точки зрения, на это существуют блестящие шансы. Но быть до конца уверенным нельзя. Для маленького ребенка это большой шок.

– Шок?

– Удар. Потрясение.

Гест молча рассматривал лицо Ольгейра – ту его малую часть, которая была видна из-под пеленок и бинтов: из носика доносилось

слабое дыхание, его жизнь теплилась как крошечный уголек во чреве огромного очага. Он приготовился взять ребенка на руки, но Сусанна не дала: «Нет. Позволь мне!» Пастушок тотчас увидел по ее ласковым движениям, что здесь малыш Ольгейр будет в более надежных руках, чем его – неловких, со всеми сопровождающими их ошибками. Но куда она его денет?

Они уже спустились с крыльца, и тут она остановилась, кивнула в сторону шхуны, которая уже пришвартовалась к своему Норвежскому причалу, и сказала:

– Ступай на причал и посмотри, не найдется ли для тебя работы. А я отнесу его в Мадамин дом. Ему нужен хороший отдых и покой.

Гест заглянул ей в глаза и ощутил весьма взрослое чувство: смутное ощущение, будто он прощается со своими сыном и женой.

Через час он уже вовсю работал на засолке сельди – как и половина фьорда.

Глава 28
Ребенок-спаситель

Сусанна понесла сверток в Мадамин дом – и обрела в нем опору: здесь была беда гораздо бóльшая, чем ее собственная. Сама она не сомкнула глаз с тех пор, как распрощалась с капитаном на крыльце рано поутру, хихикая; а сейчас прошло 36 часов. Вначале любовь бродила в ее голове, но постепенно наваждение слетело и остались лишь одни голые мысли: «Что она наделала? Она тоже виновна? Она тоже убийца?»

Она лежала у себя в комнате, то смотря в потолок, то зарываясь лицом в подушку. Она растратила себя на морепьяницу и головореза? Конечно, он был блистательным, и она буквально проглотила его, – но ведь здесь она «пошла на поводу у своей страсти», как часто говаривала фру Артнфрид, мать Вигдис? Когда все было в разгаре, он говорил о свадьбе, снова и снова, снова и снова называл ее царицей земной, – но в остатке оказались лишь злость, жестокость, кровожадность. Он убил человека – а она видела, как он убивает. Он убил из-за нее. И это убийство заставило их, опьяненных любовью, подняться на новые вершины страсти. А сейчас, когда он уже около полутора суток был в море, этот поступок предстал перед нею во всей ясности – так отлив обнажает то, что принес прилив.

Конечно же, этот гад датчанин был одним сплошным сгустком похоти и ничего хорошего не заслуживал. Но почему тогда она дала ему заманить себя в каюту? Затем последовали несколько часов самообвинений: разве это все не из-за нее? Она проявила к нему, своему почти соотечественнику, радостную вежливость и говорила с ним на самом лучшем своем датском языке. Но она, конечно же, должна была увидеть, что кроется за его словами, ведь эти мужчины все такие, она уже слишком взрослая, чтоб этого не понимать.

И все-таки, и все-таки. Убийство – это убийство. Она не спала две ночи, и бдение очистило ее разум. Стало ясно как день, что убийство – более серьезная вещь, чем любовь. Убийство – это что-то конкретное, оно свершилось, убийство – это факт, осязаемый, склизкий и быстро гниющий факт, а любовь – всего лишь мерцающий луч света,

играющий вокруг этого тяжелого трупа; одно – лишь воздух, другое можно взвешивать на килограммы.

А труп-то где?

Ее приключение на палубе корабля не обсуждалось вслух в Мадамином доме – он стоял словно скала молчания в море сплетен, захлестывавшем Косу. Но в этих рассказах не было ни слова об убийстве, только дополнения об исчезновении кока-датчанина: он, мол, с перепою бросился за борт, а кто-то говорил, что от ревности. Но Вигдис распознала отчаяние своей подруги и порекомендовала обратиться к врачу: у того наверняка найдутся какие-нибудь капли, которые помогут ей отправиться в страну сна. Про эту-то надобность Сусанна и говорила с Маргрьет, экономкой врача Гвюдмюнда, когда к ним пожаловал нежданный сверток. И когда она несла этот сверток домой, повернувшись спиной к шхуне «Марсей», только что пришвартовавшейся с полным трюмом селедки, она ощутила, что в нем – спасение, она сейчас может сосредоточиться на беде этого раненого маленького мальчика, а не барахтаться в своих грехах. Пока Сусанна несла его по ступенькам крыльца в Мадамин дом, она осознала, что у нее напрочь вылетело из головы, за чем она пошла к врачу. Уходила за каплями – а вернулась с ребенком.

Но такова цель жизни: постоянно производить новые, более изящные, поводы для беспокойства, чтоб заменить ими старые.

Прием, который получил младенец в пасторском жилище, отнюдь не был торжественным, – если не считать малышки Кристин, которая требовала, чтоб ей давали посмотреть его семь раз на дню, и называла его «Ольги», а Вигдис понимала, насколько он важен для ее подруги, – но не более того. В комнате Сусанны на верхнем этаже поставили колыбельку, и ее бессонница получила более высокое предназначение, пока священная усталость, сопровождающая заботу о грудном ребенке, не одолела эту бессонницу. Но труп кока-датчанина, как и прежде, плавал по глубинам ее души, и внизу, в гостиной, за этикетной чашкой кофе капитану Мандалю сообщили, что Сусанна прилегла: у нее недомогание.

Спрятавшись за штору, она следила, как он спешит обратно к кораблю. Он воистину был любителем больших шагов и редко стоял на месте. «И это был мой возлюбленный и муж – этот упрямец, этот рысак, этот самый влюбленный в мире человек, этот убийца?..» Едва

засолка сельди завершилась, корабль снова отчалил. Штабель бочек подрастал с каждым днем, с каждой ночью. А как же они двое? Сусанна вздыхала и снова садилась на кровать, над колыбелькой несчастного мальчика, сидела так до вечера и размышляла о своем месте в мире. Она собирается замуж за убийцу? – спрашивала она себя, склонясь над замотанным бинтами личиком ребенка, который, прерывисто дыша, боролся за свою жизнь, словно в нем крылось истолкование ее неполной искренности и ее великой нерешительности.

Она перестала спускаться вниз с мальчиком, еду ей приносили наверх. И она уже почувствовала во взгляде пастора холод, поняла, что он больше всего на свете желает, чтоб этот покалеченный незаконнорожденный ребенок исчез из его дома.

Однажды ночью, когда наша красавица со светлыми волосами и мешками под глазами десять часов кряду просидела на кровати с бутылочкой наготове, на случай если удастся влить молоко в сонно покачивающегося мальчика, она услышала, что по коридору кто-то идет: по деревянным половицам тихо скользят пятки, словно стая бабочек потеряла способность летать и теперь волочит крылья по полу, опираясь на усики. Это он? Любовь подняла свою ало сверкающую голову в ее груди и разразилась нежностью. Он прокрался к ней на этаж? И стал таким ласковым от любви и стыда?

Дверь в ее комнату была приоткрыта (она забыла закрыть после того, как спускалась вниз за водой), и сейчас в проеме возникло лицо в полумраке позднеиюльской ночи. Это была старая ласковая пасторша, старшая мадама, королева фьорда, Сигюрлёйг; она на миг остановилась перед проемом, словно бабочки перестали волочить крылья по полу и запорхали у нее перед глазами, но затем успокоились. И Сусанне стали видны серые глазищи в дощатом сумраке коридора: там два древних драгоценных камня сверкали среди морщинистого шелка, два всевидящих глаза, следивших за всей этой историей с верхнего этажа, и они промолвили на языке ангелов:

– Пока бьется – то бьется.

Затем она подняла руки с открытыми ладонями, и это было очень странное движение – словно она держала между ладоней более-менее горячее солнце, и это сопровождалось губосверкающим выражением, которое лишь на волосок отстояло от того, чтоб считаться улыбкой. Но

вот все это закончилось, и бабочки опять принялись за свой тяжелый труд, и престарелая пасторша скрылась в коридоре.

А Сусанна осталась сидеть, слегка растерявшаяся, хотя мысль, которую хотела донести до нее мадама, тотчас начала действовать, как полив на растение. Сказанные слова забываются, а несказанные – нет.

Глава 29
Июль, август

Первое сельдезасолочное лето продолжалось. Прибавились две норвежские шхуны, а затем – еще четыре. Тогда многие исландские акулоловные суда сменили масть и попробовали промышлять мелкую рыбешку – впрочем, с весьма посредственным результатом. Им не хватало ни умения, ни бочек. А люди, работавшие на суше, блаженствовали, и купюры копились в кроватях мальчишек-рассыльных и батрачек, хотя некоторые из них тотчас исчезали в комоде хозяина.

После того как появился сельдезасолочный помост, условия стали совсем другие, раздельщицам больше не приходилось ползать на коленях: теперь они стояли у специального низкого стола, по которому рыбины заплывали под нож, а оттуда в соль, а оттуда в бочку. А бочек было много – с тех пор как «Атилла» пришел во второй и в третий раз. Полные, заколоченные – их ставили штабелем к северу от Норвежского склада, и там довольно скоро выросла целая гора бочек. Погожими вечерами по окончании смены растягивали гармонь и плясали там же, где взрезали селедке жабры, на перепачканных потрохами досках, ведь многие считали, что этот помост – самая большая во всей стране гладкая поверхность. «Вальсовать» по нему в объятьях незнакомца, а потом прижиматься щекой к заморской щеке, заглядывать глазами в чужеземные глаза – было самым новым в стране ощущением. Всю зиму о нем разносились вести по фьордам и долинам.

«Фактор» Кристьяун писал в Фагюрэйри и горько жаловался. Даже спиртное сейчас продавалось не через его лавку, а прямо из трюмов. «Скоро мы совсем упустим эту новую действительность, которая каждодневно швартуется у нас к причалу. Необходимо принять меры». Не могли бы уважаемые господа поспособствовать тому, чтоб Альтинг вмешался и принял закон о защите старого доброго исландского уклада жизни?

Однажды вышло так, что наша парочка поднялась в гору у всех на глазах – Сусанна и Арне-норвежец – и сидели там на камне, пока от них не ушло полуночное солнце. Они пошли за ним еще выше на гору и исчезли оттуда вместе с ним, а через несколько часов появились и

зашагали по извилистой тропинке, взявшись за руки, с утренним солнцем за плечами. Любовь и свет держались за руки, а темная пучина в это время продолжала хранить датчанина кока, словно какую-нибудь китовую тушу, принадлежащую норвежцам.

Но в августе ночи стали темные, и начали пробуждаться жизненные заботы.

Малыш Ольгейр Лаусасон продолжал дремать в Мадамином доме у Сусанны и бороться за свою жизнь. Врач Гвюдмюнд каждый день наблюдал его, не в последнюю очередь из чисто научного интереса, но, по мнению окружающих, относился к его «во́ронову глазу» весьма безучастно. У женщин при виде этого незрячего глаза перехватывало дыхание, так как он каждый день менял цвет: синел, фиолетовел, чернел. А опухоль, кажется, и не думала спадать, из мест покраснения в ней сочились жидкости разной степени прозрачности, и наконец показался и гной.

Когда Сусанне требовалось отлучиться для любовных трудов, кормлением ребенка занималась экономка Халльдоура. Мальчик питался слегка подогретым коровьим молоком со Старого хутора. Пастор Ауртни терпел это все из-за увещеваний жены, но по вечерам, отстегивая подтяжки, ворчал о том, что, мол, убогим сиротам вроде этого не место в мире деревянных полов Мадамина дома.

– Уж если надо было его куда-то определить – то лучше бы жил на Старом хуторе.

– Ты не отберешь его у моей Сусанны. Разве ты не видишь, как она ожила?

– Ты имеешь в виду, что она таскается с этим капитаном долговязым? Эти женщины…

– Ауртни, не выражайся так. У них любовь.

Она уже легла в постель и говорила с подушки. Он разделся и залез в постель в нижнем белье прошлого века, и тут же вспомнил собственные беззубые времена и не стал больше обсуждать эту тему.

Гест, как и раньше, работал на двух работах: днем был пастухом, а вечером грузчиком рыбы, а за ужином и завтраком сидел молча, не думая ни о чем, кроме норвежских купюр и глаза Ольгейра. Мысли о глазе Ольгейра не давали ему покоя. Положение усугублялось тем, что он услышал разговор двух засольщиц рыбы, которые считали, что мальчик непременно умрет: «Нет, после такого не выживают». И все же

он не мог заставить себя поговорить с отцом ребенка, а сам Лауси ни словом не обмолвился об исчезновении младенца из своей хижины, ничего не спросил о его судьбе, а значит, не знал и о том, что ребенок потерял глаз. Единственное, что имело к этому хоть какое-то отношение – было ежедневное ворчание хозяйки, которая сейчас начала обвинять свою мать в том, что та вытащила из своей кровати эти беспутные стихи: мол, эти бесовы Холодномысские римы возбудили в ее муже «телесность», как она выражалась.

В конце концов Гест собрал все мужество и навестил этого своего ребенка – ребенка, которого унес от ненависти, по овечьим тропам и запутанным стежкам, в мир деревянных домов. Сусанна так расположила пеленки и повязки на голове ребенка, что парнишка с Обвала видел только правую часть его лица; она развеяла все сомнения о будущем, убедила его: мол, что бы там ни говорили, малыш выживет, а также в том, что тому будет лучше оставаться у них в Мадамином доме. «Не переживай так сильно, мой милый Гест. Ведь это же ты занялся мальчиком, когда он был никому не нужен». На следующий день пастух пошел работать, слегка приободрившись. И проходили недели лета, и постепенно стал виден результат лечения у врача Гвюдмюнда: опухоль стала спадать, и ребенок пошел на поправку.

Глава 30
Церемонии

В третье воскресенье августа месяца, как и всегда по воскресеньям, все норвежцы были на берегу. Церковь уже полностью отделали и докрасили: туловище у нее было белое, а голова черная, и всех позвали на ее освящение. Почтенный викарный епископ, – сероусый морской окунь в красном вине, ради такого случая был переправлен сюда морем с Мёрюветлир в Эйрарфьорде. Пастор Ауртни был горд собой, когда шел, в полном облачении, от Мадамина дома до калитки в церковной ограде, вместе с этим слегка подвыпившим отцом церкви, женой и дочерью, впервые с тех пор, как покойный Сакариас отчалил на предыдущем церковном корабле – а было это девятнадцать месяцев тому назад. Потом он произнес вдохновенную речь, в которой, правда, больше говорилось о морском серебре [140], чем о небесном злате.

– Южный ветер унес нашу первую церковь, а сейчас новый – и лучший – дом Божий принес нам восточный ветер, ведь мы обрели эту церковь благодаря нашим добрым друзьям из Норвегии. Им мы приносим самую сердечную благодарность и желаем удачи на море и, да, надежды на богатый улов.

По рядам прокатился смех, в котором было мало веселья.

В новой церкви на скамьях могло разместиться семьдесят человек, и народ теснился на них в этот день, в который погода была на любой вкус: и солнце, и дожди, и внезапно налетающие ветры с какой угодно стороны. Здесь сидели три норвежских экипажа и в придачу к ним семь норвежек – засольщиц сельди, больше всего напоминавших тренированную гандбольную команду из Олесунна. Но бóльшую часть скамей занимали сегюльфьордские фермеры и батраки, а также гости из окрестных краев, потому что новости о работе за деньги, сельдезасолочном помосте и невероятной горе бочек разнеслись по соседним фьордам: прогресс, приятная работа, вальсы на потрохах и денежные купюры привлекали народ. В это утро освящения Гест насчитал на Затоне целых пятьдесят семь разных судов: галеасы, яхты, шхуны, катера, шлюпы и два норвежских парохода, которые пришли забрать летний улов. Здесь было больше дымовых труб на море, чем на

суше, а мачты заполонили фьорд. Норвежцы привезли с собой целый сосновый лес.

В новой церкви исландцы сидели с недоумевающим видом, словно стадо овец, – как и всегда, когда их так тесно рассаживали по загонам, – а сейчас даже больше, чем всегда, потому что сейчас прошло уже довольно много времени с последней мессы в Сеглоу – так некоторые теперь стали называть этот городок.

В этот день не только освятили церковь, но также посвятили и «вылауска» Ольгейра в человеческое общество. Во время крещения мальчика с белой повязкой на глазу держала экономка Халльдоура, потому что и Сусанна, и Гест были заняты другим: она ждала в приделе в свадебном платье, а он – на передней скамье с восточной стороны у самого окна, в роскошном костюме для конфирмации, который Сусанна нашла для него в закромах Мадамина дома и подколола рукава и штанины с помощью *sikkerhedsnaelum* [141]. К ним прилагались белая рубашка и белый бант. Из-за бесцерковности минувших лет сейчас возникла необходимость провести сразу много церемоний. (А на складе товарищества «Крона» вдобавок два покойника ждали погребения, но преподобный Ауртни решил, что гробы на этом празднике не нужны, и сосредоточился на «радостной работе».)

С Нижнего Обвала в церковь пришло мало народу. Сайбьёрг наотрез отказалась присутствовать при крещении полуслепого незаконного ребенка, даже несмотря на то, что тогда же конфирмовался их пастух. Мужу она тоже строго запретила туда ходить. А он, никогда не бывавший на богослужениях, отчаянно клялся в том, что сейчас просто не может не пойти – «ради покойного Эйлива», раз уж конфирмуется его сын. Так что Лауси сидел здесь, на четвертой скамье с восточной стороны, в одиночестве, позади всех норвежцев, а через проход от него – его дочь Сньоулёйг с красавицей Хельгой. (По причине свадебной церемонии мужчины сидели в церкви с правой стороны, а женщины с левой; это был чисто исландский обычай: перед лицом единения новой любви все остальные притворялись старыми девами да отшельниками.) Хельга потребовала, чтоб ее тоже взяли, она хотела увидеть, как человека ее мечты посвящают в общество – нарядного и причесанного, во взрослой одежде. И да, когда он наконец конфирмуется, ему можно будет жениться! Ее мать Сньоулька громко выразила возмущение (это она обещала своей матери), когда пастор

сообщил пастве имя новокрещенного: «Ольгейр! Я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа…»

Отчество ребенка все еще находилось на рассмотрении. Магнус Пустолодочный из Мадамина дома предложил назвать его Ольгейр Всемирссон, а остряки дали ему имя Живчик Перстовый. Это давало понять, что ребенок появился на свет на Перстовом хуторе, и сейчас Стейнгрим и Эльсабет, хозяева Перстового, сидели каждый со своей стороны прохода со строгими лицами, словно несли неприятную ответственность за этот одноглазый плод мимолетного увлечения.

Купель в новенькую церковь еще не привезли, и преподобный Ауртни воспользовался большой серебряной миской, приданым жены, фамильной вещью семейства Торгильсенов. Согласно действовавшим церковным уложениям, святую воду нельзя было наливать в неосвященную купель, и это вызвало раздражение у пастора, которому пришлось целый час убить на такую ерунду, как освящение купели. «Формальность несчастная!» Он, как и прежде, был погружен в собирание народных песен, уже далеко продвинулся в переписывании начисто всех 480 мелодий, которые он записал сам и которые ему прислали, и жалел о каждой четверти часа, которую ему приходилось тратить на что-то другое.

Когда крещение завершилось, пасторша Вигдис спела одну из народных песен, записанных ее мужем от бродяги, который постучался в дверь в начале лета: слова как раз подходили к одноглазому мальчику:

Пусть та звездочка ярка,
свет ее нежит,
глаз мне не режет…

Затем на сцену вышли Гест и конфирмующаяся вместе с ним Анна из Мучной хижины. Сюнна с Пастбищного была конфирмована в прошлом году, на Пасху, в церкви Хейдинсфьорда пастором Ауртни. Пастора перевезли за Сегюльнесские скалы местные, а пастбищнохуторское семейство шло пешком через перевал Подкову и чуть не погибло во время пасхального заморозка, который в том году был необычайно силен. Сюнна так обморозила руки, что в день конфирмации у нее отвалился кусок пальца. Об этом поэт-нехристь с Обвала сложил такой стишок:

Сюнна шла конфирмоваться —
к Богу путь направила.
Да только пальчик свой она
в язычестве оставила.

Этот стишок облетел весь фьорд, и многие посчитали, что у его автора у самого рыльце в пушку. Батрак-стихоплет из Лощины сочинил про Лауси:

Он горазд детей строгать
на все четыре стороны.
А коль их некуда девать,
на склон относит во́рону.

Затем последовали еще стихи, и в некоторых из них перелагалась история об Одине, боге язычников, который был одноглазым, как Ольгейр, и его всегда окружали во́роны. Так что новокрещенный малыш уже вызвал к жизни целые поэмы.

Анна из Мучной хижины возмужала на засолке сельди и щеголяла румянцем во всю щеку; она подошла к алтарю, словно раздельщица – к своей бочке: большерукая, долговязая, в ее размашистой походке было что-то мужское. Поговаривали, что она почти обручена с одним не очень молодым матросом с «Марсея», – во всяком случае, он сидел на скамье, беспрестанно моргая, и улыбался до ушей, так что во рту сверкали зубы и дырки в них. И эта улыбка была такой ослепительной, что едва не превратила конфирмационное платье в подвенечное. Анна и Гест прочли «Символ веры»: без выражения и без запинки, а потом их попотчевали кровью и плотью Христа. Первая представляла собой наикрепчайший коньяк из закромов хреппоправителя, а последняя – торт «Наполеон» в чистом виде из печки экономки Халльдоуры. И едва они, уже полностью конфирмовавшиеся, успели проглотить свои порции, по Косе пробежал радостный ветер и отогнал тучи от солнца, так что все доски в пахнущей лаком церкви засияли.

На боковой скамье справа на хорах сидел Арне Мандаль: нарядный, шикарный, очень светловолосый, а рядом с ним –

белобородый штурман. Капитан отметил про себя, что стена над алтарем остро нуждается в алтарной доске.

Затем юным конфирмантам велели отойти в сторону, занять место сбоку от алтаря и смотреть вперед в помещение церкви. Органистка Вигдис налегла на орган, и оттуда грянул сопровождающийся громким скрипом современный свадебный марш в честь ее подруги. Внутренние двери церкви распахнулись, и Сусанна важно вошла в сопровождении господина, которого раньше в этих краях никто не видел: очевидно, это был ее отец-датчанин. Однако оказалось, что нет: это прибыл не кто иной, как сам Йохан Сёдаль, рыбопромышленник из Кристиансунна, который поставил на этот короткопалый фьорд в морской дали абсолютно все, а сам до сегодняшнего дня не ступал на его землю. Сёдаль был толстоватым, кустистобровым, средних лет, голова у него была почти лысая, а нога, судя по всему, широкая: его снаряжение и манеры говорили о том, что это человек большого достатка, большого размаха, но при этом всем было ясно, что его основа – неотшлифованная, грубая и ржавоболтная: что сам он выбился из тяжкого труда и боли, что фундамент своего богатства он тащил на своей собственной широкой спине. Он и впрямь был широким, с медленными движениями, тяжелыми мясистыми щеками, подбородком, носом и ртом, а глаза были почти не видны на его безбрежном лице. Он носил усы, оканчивающиеся длинными тонкими навощенными кончиками, и эти усы, контрастируя с его солидным телом и грубой кожей, в какой-то степени были на его лице гостями – горизонтальной поперечной черточкой, протянувшейся за щеки. А вот в правой руке у него была вертикальная черточка, черная: роскошная трость, которая, как и усы, казалось, служила одной-единственной цели – придать этому человеку как можно более властный вид.

Около этого якоря при полном параде порхала невеста – длинношеяя русалка, прямоспинная, океански-плавная в движениях. Фате так и не удалось скрыть ее красоту – она лишь усиливала ее почти дьявольским образом. Моряки и мужики, дамы и бабы, дети и пророки повернули головы и едва не проглядели все глаза, а рассудок у них помутился. Никогда еще они не видали такой королевы – и сам этот фьорд не видал, ее красная помада взорвалась во всех их ветропродутых головах словно бомба – она была как живописное полотно! Кроме помады, здесь было и много других новшеств,

усиливающих эффект от этой сцены для жителей ледяного края: исландские свадебные церемонии до того не подразумевали ни фаты, ни марша, ни такого роскошного выхода невесты, – обычно жених с невестой шли в церковь вместе и всю церемонию сидели на так называемом брачном стуле. А тут были новые, чужие обычаи в новой церкви, и после кое-кто ругал этот «спектакль накрученный».

И такой роскошной трости, как у Сёдаля, сегюльфьордцы тоже никогда не видели: блестящей, обсидианово-черной, с золотым набалдашником и позолоченным острием.

Свадебное платье Сусанны было длинное, просторное – белопенный сугроб, который она втолкнула перед собой в проход между скамьями по направлению к алтарю, где уже стояли они: Ауртни-исландец и Арне-норвежец, один в пасторском облачении, другой в жакете. Также там стоял свидетель – штурман с «Марсея», тот самый широколицый и краснощекий белобородик. Из-за фаты невеста видела все это великолепие в сновиденческой дымке, от чего оно лишь усиливалось. Она не сводила глаз с мужчины, поджидавшего ее. «Бог ты мой, я выхожу за него – за этого приезжего бога», – подумала Сусанна под фатой и ощутила, как ее грудь потряс порыв любви; а на улице начался дождь.

Норвежский ярл-корабельщик приземлился на переднюю скамью (после того как все подвинулись на один зад в сторону окна) со слегка комичной гордостью, которая, казалось, говорила:

вот, взгляните-ка все на эту красоту, на платье, за которое я заплатил и которое перевез через океан; а затем он положил на трость правую руку – большой кулак. Ни от кого не ускользнуло, что эта трость стала новой вехой в истории – начальной вехой нового Сегюльфьорда: эта норвежская лапища держала будущее городка – Сёдаль мог бы запросто хоть завтра все свернуть и уехать домой – и да, кстати, почему он вообще привел сюда свои капиталы? Наиболее вероятное объяснение – чтоб нажить еще большие капиталы, – но это никому не пришло в голову, здесь люди все еще были ошеломлены чудом начала и каждое событие воспринимали с удивлением, – штабеля бочек, выраставшие на глазах, заслоняли от них все причины, мотивы и последствия. Двадцать семь тысяч двести девяносто две бочки! И каждая – сто шестьдесят килограммов. По ночам, в убогих постелях,

людям снились бочки, полные селедкой, они катались в их головах туда-сюда, их тащили баграми или отвозили на тачках.

Сельдезасолочная база сейчас стала даже больше, чем склад самого товарищества «Крона»!

Блистательный жених смотрел на свою невесту с замиранием сердца, а на своего рыбопромышленника – с гордостью, а они шагали навстречу ему и его счастью, этот миг был одной сплошной свежевыкрашенной сказкой, высотной грезой, сколоченной из свежих норвежских досок, с чужеземными горами и любящей девой-альвом! Очевидно, в начале этого лета он попал в земную мечту. Ни один человек на свете не переживал такого сильного блаженства, такого сильного вожделения, такой великой красоты, как он! И все это усиливалось ощущением чужестранности, всегда сопутствующим новым местам.

Когда отзвучал орган, стало слышно, как по стеклам барабанят капли. Арне не сводил глаз с невесты и ее губ, покрашенных красным. Они подчинили себе его сознание, словно сладчайший яд, так что дождь показался ему красным – кровавым; сейчас он пребывал не только в счастье, словно нож в торте, но и словно нож в ране – в убийстве: перед пастором – по колено в крови Преста. И вдруг на него нахлынуло все это: сгинувшая жизнь кока, тайна, которую они с ней разделили на двоих, которая объединила их в вине и низринула в пучину любви глубже, чем было дано другим. И в то же время он осознавал, что без всего этого они бы не стояли здесь сегодня. Тайна связала их и побудила к действиям. Теперь он понял это. У Сусанны было только два пути: или объявить, что он убийца, или выйти за него.

Эгертбрандсен заявил добряку хреппоправителю о пропаже кока, и тот записал это событие в книгу: «Пропал человек: Кок с судна «Марсей», М. Прест, датчанин, пьян». – И вот Прест-датчанин, кажется, пробудился к жизни в самый разгар свадебного ливня и захотел попасть хотя бы на застолье: сразу после всех церковных церемоний к Хавстейнну вбежали двое промокших мальчишек и сообщили, что на взморье за Углом нашли мертвое тело. Хреппоправитель велел оседлать двух лошадей и поспешил на встречу с покойником в сопровождении Магнуса Пустолодочного. Кок стал к этому времени совсем неузнаваем, раздулся от газов собственной злости и больше всего напоминал белого тюленя-хохлача. Если бы на нем не болтались остатки одежды, никто

бы и не догадался, что это труп человека. Глаза после шести недель в море все еще были открытыми – и в бешенстве пялились из-под сердитых бровей на эту свадьбу, в которую и он внес свою лепту. Хавстейнн попросил Магнуса оттащить тело на склад – в этой мертвецкой прибавился третий покойник – и снова ускакал веселиться. Дождь кончился, а новобрачные перешли в Аквавыть, дом Эгертбрандсена, где капитан Мандаль устраивал пир для именитых людей городка и прибывших судов.

Гест держался на полянке между местом проведения застолья, складом товарищества «Крона» и лавкой «Трюм». Он только что конфирмовался – и притом был очень возбужден: он не сводил глаз с затылка человека в высокой шляпе, который вместе с Кристьяуном Трюмом поднимался на крыльцо Аквавыти. Перед ними виднелся пастор Ауртни, увлеченно беседующий с большим Сёдалем-тростеносцем.

Гест заметил этого человека еще в церкви, когда стоял у алтаря с белым бантом и блуждал глазами по рядам, пока пастор произносил преамбулу к венчанию на исландском и весьма закоченевшем датском. В четвертом ряду он увидел Лауси, который уставился прямо перед собой на спинку впереди стоящей скамьи и ни разу не поднял взгляда, хотя его соседи уже проглядели все глаза, рассматривая красоту невесты, когда она проходила мимо них. Как будто старик чувствовал какую-то угрозу себе от этого великолепия, и его серые глаза сверкали, застыв глубоко в складках наморщенного лица.

А прямо перед ним, на третьей скамье, среди крепко-бородатых норвежцев, сидел усатый мужчина: коротконосый, толстощекий, румяный скорее от вина, чем от работы на улице, нарядный, огалстученный, запрокинувший голову на воротник пальто, так что подбородок смотрел в воздух, и под ним просвечивал второй подбородок. Это лицо чем-то напомнило Гесту форель: щеки розовые, низ белый. Этот человек ему не знаком? Что-то было в этом доверительном пленительном облике, этом дружеском выражении лица, – и вот свершилось: тот мужчина посмотрел на него, и их глаза встретились. Гест впитывал в себя его взгляд, пока тот человек резко не отвернулся и не сосредоточился на новобрачных и свадебной церемонии. В этом лице было что-то такое: оно перевернуло в его душе страницу.

В сутолоке перед церковью, где по людям хлестали последние капли непогоды, Гест снова заметил его: сейчас этот щекастый надел роскошную шляпу – высокую, блестящую, черную, и это тоже задело струнку в душе пятнадцатилетнего конфирманта, у него стало на сердце как у путешественника, идущего издалека, который вновь увидел дымоход отчего дома. А немного погодя он услышал, как торговец Кристьяун громко поздоровался с тем человеком и назвал имя Копп. Сердце замерло. Это же он! Это Копп! Его отец номер два! Конечно, это он! Как же он его сразу не узнал? Значит, за те два с небольшим года, как они расстались, так много всего произошло? Перед его взором навесили так много всякой черноты, что он не сразу разглядел его за ней? Или сам торговец так изменился? А что же он здесь делает? Он узнал, что будет конфирмация? Или его просто пригласили на свадьбу?

Но он же вряд ли знает Мандаля и всех остальных? У Геста голова шла кругом: Купакапа приехал! Он здесь! Его жизнь снова перевернется?

Мальчик очнулся, когда Хельга встала перед ним, и подергала за пиджак, и закричала сквозь шум толпы вокруг: «Фирмовался!» А потом рядом встала Сньоулька со всеми своими зубами, которые сейчас напоминали не что иное, как горную цепь, которая, изогнувшись подковой, возвышалась над всей этой сценой.

– Папкя где? – спросила она, и глаза мальчика непроизвольно начали искать черный цилиндр-дымоход, а потом женщина ответила сама себе: – Не, воть он где!

Они все посмотрели вбок и увидели сквозь толчею побитых дождем локтей, что старый плотник с Нижнего Обвала подошел к экономке Мадамина дома, стоящей у угла церкви. Он стоял там и во все глаза смотрел на новокрещенного ребенка у нее на руках, а потом вытянул жилистую руку и положил на середину пеленки. Халльдоура неловко улыбнулась и в ответ на это отвернула ребенка от его распутника отца. Затем ее окружила стайка девочек, которые хотели посмотреть повязку на глазике, и Лауси на мгновение остался один: согбенный, седой, украшенный морщинами. Когда в дождливое царство прокрался единственный солнечный луч и осветил его лицо, старый плотник стал словно нарисованный гениальным Рембрандтом. Луч исчез, едва появившись, и Лауси поднес тыльную сторону ладони к

одной глазнице и вытер со своего глаза слезинку, которую вызвал у него этот маленький глазок.

– А тебе можно будет одежду себе оставить? – спросила Хельга Геста.

– Нет, мне ее вернуть нужно, – ответил он и тут увидел, как Кристьяун ведет своего коллегу Коппа прочь из толчеи в сторону норвежских домов, просторного склада и славной горы бочек. Новобрачные уже выдвинулись; они выбежали из церкви на полянку почти бегом, и было заметно, что они смеются. «Какое облегчение», – пробурчал кто-то. А жених снял пиджак и натянул его над обоими, словно крышу, для защиты от дождевых капель.

«Глянь-ка, Гриму не свезло / в день такой жениться[142]», – раздался выкрик в толпе. А батрачки со Старого хутора в это время пытались поскорее увести пророков домой: из них Йеремиас пришел на праздник в подштанниках-мокроштанниках, дырявых как решето и в желтых пятнах. Лауси побрел к своим домашним и пригласил их сесть в лодку, но Гесту не хотелось домой, он хотел остаться. Сньоулька взяла слово у своего отца и возмутилась: неужели он не придет на застолье в честь собственной конфирмации?

– Мама мясной суп свайила, а еще Манги пидёт!

– Мне нужно остаться здесь, – сказал Гест, и голос его был тверд – как узел на бантике у него под кадыком.

– Ну и дуйень! Сва́бный обед – эт ток для знати!

– Что такое? – тихо спросил Лауси; его голос все еще был склонен над ребенком в пеленках.

– Мне надо… Я…

Больше мальчик ничего сказать не мог, он убежал к норвежскому складу, базе и помосту, спрятался в углу за бочками и начал всхлипывать.

Глава 31
Длительность горя

Гест мыкал свое горе и сомнение наедине с двадцатью семью тысячами бочек и оплакивал ту черствость, которую проявил к этим своим близким, этим хорошим людям, которые были к нему так добры. Значит, он больше хотел, чтоб он был Копп, а не Сугроб? Он не мог дать ответ. Но он украдкой выглянул одним глазом из-за бочек и сквозь слезы увидел, как его близкие, повесив голову, семенили на берег, на старое место высадки перед Мадаминым домом, где стояла их жалкая лодчонка. Лауси все еще не привык швартовать лодку к причалу, который сам же и построил, так что на сегодняшнее богослужение – как и по другим своим делам на Косе – он пришел с мокрыми ногами. Гест смотрел, как лодка исчезает за тремя норвежскими сельделовными шхунами, а потом снова появляется из-за них. Он задумчиво глядел на эту темную одушевленную точку, которая, плеща веслами, медленно двигалась по тихой быстрине фьорда, словно мысленно прощался с ними всеми. Затем он в изнеможении сел под сильно пахнущим штабелем бочек и глядел на аккуратную кучку потрохов в камнях на взморье, пока туда не занесло норвежца-бондаря: тогда он нехотя поднялся и поплелся к тому месту, где шло застолье.

На туне близ Аквавыти была ватага мальчишек-подростков и пара-тройка девчонок. Ребята интересовались пиршеством, и кто-то швырнул им полбутылки, и теперь они ссорились из-за нее, как чайки из-за мыши. На парадную одежду Геста обратили внимание, его обступили, стали дергать за бантик, а потом начали передразнивать. Один ушлый мальчишка играл роль пастора и женил всех желающих, свидетели вставали в позы и сильно переигрывали, а кто-то играл и солидного рыбопромышленника, опирающегося на трость, соорудив себе усы из черных верхушек щавеля, а самый младший вдруг разразился тирадой на крайне забавном норвежском, и вся сцена перешла в визг и смех. Мимо прошли Ханс и Бальдвин, раскрасневшиеся от желания попасть на застолье; они напоминали двух неизданных писателей, курсирующих по орбите на ярко освещенном банкете в честь вручения литературной премии. Да, как же могло

случиться, что людей, у которых башмаки датские, не пригласили на такое торжество?

Когда начало смеркаться, в окнах дома проступил свет, а раскаты смеха, доносящиеся изнутри, с течением вечера становились все громче, и в конце концов послышалось пение. Сначала красивые песни, в которых слышался голос Вигдис, а потом они сменились фривольными шлягерами, и наконец просто криками без мелодии и без голоса в темноту с крыльца и площадки за домом. Норвежцы попáдали друг на друга, и вскоре экипажи кораблей начали драться. Пасторская чета поспешила убраться восвояси через полянку, а лица у них были строгие.

Гест целую вечность проторчал близ дома, в котором шло застолье. Сперва с ребятами, потом с остряками и под конец один, в кромешной темноте, и сторожил входную дверь, словно в ней было заключено начало мира. Этот обед в честь конфирмации выдался довольно студеный. Но тот, щекастый, все не выходил. И вот наконец ему послышалось, что за домом кто-то крикнул: «Копп!» Он перешел на ту сторону, но однако держался на почтительном расстоянии – и ему показалось, что он увидел, как коротконосый профиль показался на фоне освещенного окна среди каких-то других людей. Снова раздался зов: «Копп!» – и другой голос ответил: «Сделай подкоп!» За этим последовал громкий хохот.

Юный конфирмант осторожно приблизился, но никого не увидел: очевидно, люди зашли в дом, все голоса смолкли, лишь окна светились во мраке. В одном из них виднелась толпа веселых людей, а в другом можно было различить человека, берущего в руки гармонь. Гест подошел еще ближе – и тут у него перед глазами высветилось лицо: огненно-красное, с круглым пылающим углем вместо рта. Он сообразил: это лицо человека, всосавшего огонь своей сигары, так внезапно осветился его облик в темноте, вислощекий, с большими мешками под глазами – единственная красноватая тлеющая луна среди ночи. Это видение сопровождалось звуком: струя мочи хлынула на землю, а затем лицо человека пропало, лишь огонек сигары слабо трепетал.

Это он. Справляет нужду. Один в темноте. Стало быть, судьба вновь свела их вместе, примерно таким же образом, как в первый раз, когда Гесту было два года, а этот торговец рано поутру занимался

мочеиспусканием позади собственного дома в Фагюрэйри. – Ко… Копп? – произнес Гест из темноты.

– Кто там? – рявкнул торговец и засосал сигару, так что его лицо вновь осветилось.

Гест подошел ближе и увидел, что мочащийся торговец заметил его, свет из окна позади осветил лицо мальчика.

– Что ты хочешь? Кто ты? – недовольно спросил он с произношением человека, держащего сигару в зубах.

– Я… я Гест, – ответил мальчик и подошел еще чуть поближе.

Торговец стряхнул каплю со своего шланга и затем убрал его в ширинку, застегнулся и вынул сигару изо рта, раскачиваясь, шагнул к мальчику, стараясь сделать шаг пошире, чтоб не наступить в лужу из своего собственного мочевого пузыря, и из-за этого чуть не опрокинулся, потому что был пьян. Для подстраховки он ухватился за плечо нарядного мальчика, таким образом снова обрел равновесие, встал и произнес:

– Гест?

– Да.

– Гость, значит? – спросил он, а затем заплетающимся языком прибавил: – Гость здесь на празднике? Тогда пойдем в дом.

Он подтолкнул мальчика рукой, все еще лежавшей на юном плече, к дому, но Гест возразил:

– Нет, не на празднике. Я Гест. Меня зовут Гест.

Кажется, это затронуло сознание торговца, и он остановился и развернул мальчика к себе так, чтоб свет из окна лучше освещал его. И Гест сейчас тоже смог увидеть лицо своего бывшего отца, независимо от огонька сигары. Но вымоченный в вине мозг торговца застрял в той же колее:

– Значит, ты гость. Да? И так… так наряжен.

– Меня сегодня конфирмовали.

– Да? Ты… сегодня в церкви?

– Да.

– Так это ты был! И ты гость. А какой? Где ты гость?

– Да не гость я. Меня зовут так – Гест.

– Да? Так зовут? Да-а… Гест?

– Гест Эйливссон.

Тут до торговца что-то дошло, он вытаращил глаза и тяжко вздохнул, немного помолчал, затем склонил голову и немного подержал ее на своей вытянутой руке, которую так и не убрал с плеча мальчика, и наконец сказал:

– Эйливссон?

– Да.

– Гест Эйливссон?

– Да. А ты – Купакапа.

Купакапа. Торговец сартикулировал это слово губами, но из его рта вылетел только тихий звук зевка. И тут из дома раздались громкие голоса и заиграла гармонь. Начинались танцы. А Гест все не сводил глаз с лица напротив себя, этого зевающего вислощекого облика мягкости и человечности, этого лица, которое так долго было для него небесным ликом в ту пору, когда непогода была к нему несурова, а его жизнь была в надежном убежище. Когда он верил, что он и впрямь – сын торговца, один из радостных детей мироздания, один из счастливчиков, житель мира деревянных домов. Тогда это отеческое выражение лица значило для него все.

Губы торговца повторили слова, а его глаза мгновенно наполнились пьяными слезами, которые затем покатились на щеки и вниз, мимо битком набитых подглазных мешков, и далее по щекам, пропахшим аквавитом. Так он стоял некоторое время, давая своим чувствам течь за воротник перед лицом Геста и Бога, перед лицом ночи и фьорда, перед своим пропащим, но горячо любимым сыном, а потом сделал третью попытку произнести слово «Купакапа», и тут ему удалось произнести это слово так, что его отзвук донесся до Геста сквозь танцевальную музыку в доме. И за словом последовала церемония: торговец Копп повернулся своим туловищем, так что левая рука качнулась в сторону Геста, словно он хотел прижать сына к себе, но поскольку правая рука все еще застыла в горизонтальном положении на плече мальчика, ему не удалось сделать это – не удалось обнять его и прижать к себе, – вместо этого он держал его на расстоянии вытянутой руки, застыл на такой дистанции, продолжая плакать и бормотать волшебное слово:

– Купакапа…

Но тут собутыльники торговца закончили танцевать и приблизились к нему, голося, Гест смотрел, как они оттаскивают его

прочь от него, в дом, где веселье. Задняя дверь закрылась за ними, и Гест остался стоять один в августовской ночи с белым бантиком в черной темноте.

Глава 32
Сейчас они видят…

Он проснулся под сложенным парусом в том углу Норвежского склада, куда сваливали всякий хлам, все еще наряженный для конфирмации, продрогший и голодный. Августовская ночь была такая же зябкая, как и светлым-светлая июньская, хотя первая, из-за темноты, казалась теплее. Его разбудили крики на норвежском и лязг инструментов и железок, которые волочили по полу. Он незамеченным вышел через заднюю дверь и вошел в серое царство, сельдяное и сырое: дома и корабли поглотила морось.

Он прошел на Норвежский причал и увидел, что шхуна и все суда Сёдаля исчезли: у норвега брачная ночь выдалась короткой. Затем он поспешил к Аквавыти, но там все спали мертвым сном, точно так же, как и в Мадамином доме. Он бродил по Косе, всеми покинутый. Народу на улице было мало, и за работой – мало, не считая норвежцев – плотников и бондарей, которые трудились не покладая рук за приоткрытой дверью склада: от них потоком выходили бочки, открытые, без крышек, их расставляли на сельдезасолочном помосте двое подростков, и Гест смотрел, как эти бочки заполняются там дождевой водой.

С неба ничего не лилось, но сама атмосфера была как будто напитана осадками; глаз не видел капель, пока они не проступали на шерстяной материи пиджака. Он почувствовал, что у него промокли плечи и спина, и укрылся в лавке.

– Ну, ты так и будешь ходить в костюме для конфирмации до самой свадьбы?

И хохот. Это Бальдвин Пухлый.

Они, как обычно, торчали в лавке – великие башмаконосцы Ханс и Бальдвин. Она была их главным местом действия, здесь они узнавали все истории и то множество сведений о разных лицах, которое служило им духовным топливом, на все лады славословя и расхваливая этот магазин, семейство Трюма, а по большей части – самого Тони (сидящего за прилавком обладателя красивого подбородка – сына самого торговца), они сделались в лавке желанными гостями и угощались за счет товарищества «Крона» рюмочкой-другой и печеньем

– и это при том, что Тони был еще более сквалыжным угощателем, чем его отец-торговец. Тому, кто покупал у него рюмку бреннивина, она обычно отмерялась с такой скрупулезной скупостью, что ее нельзя было ни назвать полной, ни пожаловаться, что налили лишь половину. Гесту больше всего хотелось развернуться в дверях и уйти, но он настолько промок, продрог и проголодался, что решил смириться и вошел в царство насмешек словно селедка в сеть.

– А я раньше не видел, чтоб сиротинушка убогая с бантиком ходила!

– Хо-хо-хо, – захохотали они.

Гест прошел прямо к прилавку, достал десятикроновую купюру и попросил кандиса[143] на одну крону. Бумажные деньги уже вошли в употребление, и лишь неделю назад торговец снял запрет на них в своей лавке, – но до первого исландского минимаркета было еще далеко: здесь нельзя было купить ни стакан кофе, ни кусок хлеба, лишь муку в кульке да кофейные бобы в мешках. Острословы ненадолго прикусили языки: у них самих купюр в карманах не водилось, но быстро нашлись и обрушили на мальчика град насмешек, пока Тони отпускал ему кандис. «Ты ведь не дашь ему все пособие от общины на сласти прососать?» Гесту такие реплики были как с гуся вода, за последние недели он и не к такому привык, к тому же он теперь был человек конфирмованный, и у него были более масштабные заботы. Значит, его мечте о купеческом житье конец? Ему никогда вновь не стать Коппом? Он засунул сдачу в карман, забрался в угол и стал там сосать свой завтрак. Что-то подсказывало ему, что надо еще подождать здесь, тем более что в лавке погода была не дождливая.

Наконец дуэт комиков оставил попытки задеть Геста и возобновил предыдущий разговор, полностью посвященный вчерашнему застолью: кто первым вырубился, кто кого подцепил да кто кого побил. Как будто прошла целая неделя – они говорили об этом пиршестве как о давно минувшем событии. Как уже говорилось, ни Ханса, ни Бальдвина на свадебный обед не пригласили, а вот Тони там был и почти все знал.

– А кто этот щекастый, у которого такой цилиндр как труба?

– Это Копп, папин приятель. Торговец с Фагюрэйри, – ответил Тони.

– Ничего себе – такой толстый и шикарный! – сказал Бальдвин.

– Да, папа говорит, его так разнесло.

– Постой-ка, он ведь у вас ночует?

– Да, только он уехал – они уехали, папа с ним.

– В Фагюрэйри?

– Да. Они на пароходе поплыли, на норвежском.

– А тут вчера и пароход был?

– Да. Правда, это был парусник, но с паровым двигателем. Очень быстроходный.

– Я это пропустил. А что они затевают?

– Копп хочет начать промысел селедки и разместить его здесь.

– Вот как?

– Да, сейчас они видят в этом выгоду.

Несмотря на юный возраст, по натуре Ханс и Бальдвин были консерваторами, как юмористы, они привыкли иметь дело с постоянными величинами – миром, каков он есть и был всегда. Поэтому всяческие перемены были им неудобны: смех – первая жертва любой революции. И сейчас лица приятелей приняли неописуемое выражение: «Надо ли им воспринимать всерьез всю эту возню с селедкой?» – А когда это будет? – спросил Ханс.

– Я слыхал, как можно раньше.

– А разве он не акулу промышляет?

– Да, но он говорит, что будущее за селедкой. Он и папе это говорит, но мой старик упрям. Хотя сейчас он тоже уже во всем этом крутится.

– Да, сейчас все крутятся как вертушки.

– Да, все видят, что это дело доходное.

– Да, все, кроме Христосика из Лощины!

И все захохотали. Их это рассмешило. Даже Тони – сын торговца – смеялся, даже насмешники над селедкой, – с такой чудовищной скоростью они приспособились к новой эпохе. Таким образом, Коса незаметно передвинулась на новое место, и даже в лавке стали смеяться над акулоловами – этим оплотом старины и оппозиции норвежцам. Селедка победила акулу – этого не отрицали, просто не хотели признать. При этих словах дверь отворилась, и низкорослый хреппоправитель перенес одну ногу через высокий порог, а вторую оставил за порогом и крикнул внутрь лавки:

– Ну, ребята! Как все стурартово! Скоро селедка будет! К нам Мандаль плывет! И брюхо у него шире, чем даже у китового сторожа! –

Тогда Сусанне надо раздеться и лечь в постель, – отозвался Ханс, и лавку снова заполнил хохот троих мужчин.

– А, это вы? – спросил хреппоправитель, на миг сощурив глаза, а потом исчез.

Реакция Хавстейнна и нотки разочарования в его голосе, слегка напоминавшие сутенера, случайно забредшего к скопцам, выбили шутников из колеи, и разговор с Тони окончился. Они поплелись прочь из лавки, а Гест успел прошмыгнуть вон за их спинами.

Непогода закончилась; перед Норвежским домом струились из тумана паруса, прекрасные, словно будущее – словно то будущее, от которого мы пока еще даже штевня не видели, – прекрасные как сама надежда. Гест увидел, как хреппоправитель рысью бежит к причалу, косолапый, будто медвежонок, предвкушающе-радостный, точно ребенок. Предвкушение стащило фартуки с крючков, вынуло ножи из ножен, землянки и лачуги отворились, и мужики, жаждущие работы, и женщины, любящие труд, высыпали на туны, словно кто-то только что вывесил эту новость на сайте *seglo.is*. Гест пошел вместе со всеми, и прибежал на причал первым, и поймал брошенный причальный конец. Он повеселил экипаж: в костюме, с бантиком, но ему это была трын-трава, и он стал самым нарядным сельдераздельщиком века – по крайней мере, на неполный день, пока белый воротник не заляпался слизью.

Начался праздник засолки, продолжавшийся до полуночи. Радость от работы была так велика, что мальчик позабыл и пропавший глазик, и глаза, плакавшие жженым вином. Ночью его перевезли на убогой лодчонке на Обвальский берег, и он явился к себе на хутор смертельно усталый и ужасно голодный и проглотил мясной суп и попреки.

Потом ему три ночи снился Копп: в первую из его сигары текла вода, во вторую – слезы, в третью – кровь.

И так работа продолжалась еще десять дней, а потом промысловый сезон закончился. Йохан Сёдаль хотел, чтоб все его суда вышли в море до шестого сентября. Пароходы поглотили бóльшую часть той славной горы бочек, а остаток распределили по сельделовным шхунам. И вот все закончилось, все склады закрыли, все двери заперли, норвежцев в городке не осталось, кроме Эгертбрандсена и его двух китов, которые все еще болтались в дальнем конце фьорда словно призраки минувшего века.

Говорят, будто Арне Мандаль при отплытии залез на грот-мачту и громко пел горам и фьорду, вне себя от счастья, покуда Сусанна отдыхала под палубой. В Мадамином доме царило народно-песенное спокойствие: как у пасторской четы и ее ребенка, так и у Магнуса, Халльдоуры и двух мадам: и красавица невеста, и одноглазый младенец исчезли из дома. А потом так и оказалось: утром шестого сентября налетел сильный шторм с севера с дождем и градом. По окончании сказочного лета, полного приключений и новшеств, старая Исландия завыла в дверных щелях и оконцах.

Глава 33
Народ на склоне горы

Кто держит на руках ребенка – сам больше не ребенок. Кто держит на руках младенца – сам стал кем-то другим, бóльшим. Тот, у кого в руках жизнь, не может умереть.

Вот что ощущал Гест, когда стоял на берегу перед снегобитой горной цепью, перед целой стеной белого, перед Столбовой вершиной и Вредоносной впадиной, перед этой изнанкой Исландии в ясный день. И держал на руках одноглазого мальчика.

Он глубоко вздохнул. Ему предстояла непростая работа, здесь было нужно дерзание и старание. Как внести ребенка на хутор? Как пристроить незаконного в брак?

Снежная светлота горы заполнила глаза, так что ему пришлось закрыть их, а когда он открыл их снова, к нему пришло видение: весь народ – весь исландский народ выстроился над ним на горной гряде, а сам он стоял перед всеми своими родичами, будто футболист перед заполненной трибуной, исполинской, битком набитой трибуной на 78 470 человек. И тут вся эта толпа начала петь мальчику, лица – белые на белом – мелькали и высвечивались на каждом камешке; на каждом валуне, каждом уступе сидел человек – исландец – мужчина, женщина или ребенок, и пел синхронными движениями рта и головы, но мальчик их не слышал, ведь пока что у этого народа не было ни гимна, ни флага, он все еще не оторвался от своей горы.

И все-таки они пели, он видел и ощутил ту силу, которая живет в единении; он не подведет этих людей, он будет хорошо вести свой «мяч», хоть бы и одноглазый. Он окинул взглядом сверху вниз целую гору лиц, целый склон людей. Ах, какой же это крошечный народ! Его весь можно разместить на одной трибуне, на одном горном склоне. Весь этот кладезь историй, рим, песен, вся эта культура – это плод трудов одной-единственной трибуны, одного склона. Если люди в верхних рядах потеряют равновесие – людская лавина обрушится, и весь народ канет в едином падении.

Здесь каждый человек важен, здесь каждому надо стараться, здесь у нас обширные обязанности, лишь так мы выживем и перешагнем тот порог, через который сейчас карабкаемся: из мира землянок в мир

дерева, от носков – к башмакам, от вёсел к паровой тяге, от батрачества к ишачеству, от хуторизма к капитализму.

От «ничего» к «нечто».

Раньше Гест никогда не представлял себе Исландию как нечто цельное, он до этого момента вообще не думал о народе, – а сейчас увидел его перед собой, сидящим на горе, словно сам стал немногословным Эйливом. К тому же он ощутил исходящую от ребенка святую силу: кто вооружен младенцем, того ничто не сокрушит.

Тот, у кого в руках жизнь, не может умереть. Он пошел с берега по направлению к хутору.

Мальчик спал.

По дороге Гест начал думать о той, которую сейчас вводят в семейную гостиную в далекой стране. Он ничего не мог с собой поделать – но его мысли все еще витали вокруг ее шеи и щек и до самых глаз – этих пьянящих глаз; отчего она так смотрела на него в прошлом году, когда он разговаривал с пастором? Она – самая красивая женщина в этом фьорде, если не на всей земле. А потом он стоял на ее территории и даже прятал свое лицо у нее на груди, под знаменем утешения, на том основании, что он еще ребенок – но внутри него уже проклевывался, как из яичной скорлупы, мужчина. Первый раз в объятья женщины он попал невероятно окольными путями, – и сейчас был захвачен ею – богиней мира деревянных домов Сусанной. Она вошла в церковь и прошествовала к мальчику с белым бантом, приподняла фату и склонилась над ним, нежно поцеловала его поцелуем утешения, который на удивление быстро превратился в гологрудое вожделение, а церемония – в непросыхающую свадьбу.

Да. Запоздалого конфирманта внезапно охватила похоть.

Он отложил ребенка (мальчик по-прежнему спал), расстегнул ширинку, повернулся спиной к горному склону, вынул свой детородный орган, ощутил, как его – стоящий – приятно овевает прохладный ветерок, и ему потребовалось всего несколько движений руки (и лицо Сусанны в воображении), чтобы отстреляться. Он даже испугался, когда белая капля изверглась на дальнее расстояние над фьордом и Косой: казалось, брызги пролетели над церковью и Мадаминым домом. Ничего себе! Раньше, в те немногие разы, когда он пробовал этим заниматься, из него едва что-то сочилось, словно слеза из глаза, гной из раны. Но все эти предыдущие попытки были халтурой,

сопровождаемой муками совести (неужели Бог наказывает его за непристойность, оттягивая его конфирмацию?), подпорченной его первым знакомством с плотскими желаниями, этим неласковым, вином залитым французошхунством. К тому же он слышал, как старый врач гремел, обращаясь к мальчишкам с Косы: «Себя осквернять – это крайне опасно для здоровья! Вы ослепнете!»

И вот, он конфирмовался и наконец вошел в то сообщество христиан, которое так презирал его приемный отец, этот распутник, и черт возьми! – если уж Бог создал похоть и руки ровно такой длины – чего он еще ожидал от мальчишек?! Это ж думать надо было! Результат не заставил себя ждать, конфирмация подействовала как доза витаминов, и все месяцы без семяизвержения исторгнулись из него с такой бешеной силой. Если бы это все попало в женщину – то с лихвой хватило бы и ей самой, и ее матери, и бабушке. Ей-богу, он бы мог с помощью этого семени сети закидывать: ведь оно пролетело целых полпути до фьорда!

Он стоял под тем самым утесом, под которым укрывался работник Йоунас, когда начинял детьми Сньоульку – один раз в присутствии Эйлива.

Гест застегнул свои шерстяные портки, получше подтянул их, немного гордый собой и опьяненный от переполняющего его вожделения. Но потом он взглянул на ребенка и увидел, что тот открыл глазик – маленький бог любви, который второй глаз отдал за то, чтоб Гест очутился в объятьях прекрасной обольстительницы. Значит, малыш Ольгейр все видел? Это для него не вредно? Нет, черт возьми, ребенок мог смотреть только прямо вверх, думал Гест, когда я кончал; они глядели друг другу в глаза: маленький божок и большой Бог на небе. Сам Гест застукал Купакапу с Маллой-мамой на чердаке лавки, когда ему было шесть лет. Он не понял, чем они занимались, но его душа обрадовалась их занятию, ему показалось, что это логично. И после этого сердце мальчика признало Маллу своей настоящей матерью.

Гест поднял ребенка – белый сверток пеленок в белоснежных камнях под белесым небом, и подумал о том, как только что исторгнул из себя что-то белое. Сейчас все побелело, конечно же, скоро придет смерть…

Почему ему такое взбрело на ум?

Он поломал над этим голову и продолжил свой путь. Когда он вышел из-под утеса, то заметил, что народа на склоне горы больше не было. Значит, он эпатировал 78 470 человек? Он действительно тешил свою похоть перед всем народом? Он не мог сказать наверняка. Он даже не мог сказать, точно ли видел всех этих людей. Тут все слилось: ви́дение и виде́ние, потаенное и воплощенное, снег и бред. А может, и это семяметание – всего лишь фантазия?

Он улыбнулся всей этой мешанине, а также ребенку у себя на руках и пошел к хутору: собственная мужская мощь придала ему бодрости, а святость младенца – силы.

Глава 34
Белый конец

– Но ему нельзя здесь быть, – сказала Хельга.

– Тогда и я уйду, – ответил Гест.

– Что ты об этом так хлопочешь?

– Он мне родня.

– Не-ет!

– Да: он сын твоего дедушки, братик твоей мамы.

– Ты совсем рехнулся? Это просто ребенок, который родился от распутства.

– Распутство, распутство… А ребенок – это всегда ребенок. И он тебе родня.

– Если он мне родня, то я его не хочу. Брось его. На пустошь вынеси…

Ситуация была патовая. Гест сидел на кровати в бадстове на Нижнем Обвале, держа на руках спящего Ольгейра, а в кровати напротив копошились дети – Хельга и Бальдюр; Хельга что-то говорила. Из-за младенца на хуторе вновь поднялась буча; стоило им обоим вернуться – как все так и вспыхнуло. Кончилось все тем, что Лауси выбежал в овчарню, за ним Сайбьёрг, а за ней и Сньоулька. Осталась лишь старуха с малышами, а также Юнона, которая не знала, что ей предпринять, и просто переминалась с ноги на ногу (что занимало много времени, так как у нее их было целых четыре).

– Он мене ‘одня! – сказал Бальдюр, при этом смущенно улыбнулся, откинулся на спину с края кровати и пополз в ее середину на спине, словно четвероногий краб.

Гесту вручили ребенка после школы: ведь сейчас в Сегюльфьорде учредили школу для детей на первый доход, который принесло это лето. Кроме той самой славной арендной платы, хреппоправителю Хавстейнну пришлось сочинить так называемый сбор за бочки, после того как прискакавший из Фагюрэйри гонец привез требование об этом от сислюманна. Правда, сислюманново письмо он потерял по дороге, а суммы не помнил. Из-за этого хреппоправителю пришлось выдумывать сумму сбора на месте, перед горой бочек, пока в Затоне перелаивались паровые двигатели. Первым ему пришло в голову число 20 – дата

рождения Мильды и день их свадьбы. На том и порешили. Двадцать эйриров за бочку в итоге составило 5 458 крон 40 эйриров. Так из нищих минут того серого утра возникла целая школа. Трёнделагские герои плотники за пару дней сколотили домик с двумя классами: он вырос на старой жиротопной площадке к северу от склада товарищества «Крона».

Гест утра напролет сидел вместе с долговязым Магнусом, Сюнной с Пастбищного, Анной из Мучной хижины и маленькими ребятишками с Косы и изучал волшебный мир математики и страны Европы. И в один прекрасный день он заглянул в Мадамин дом, чтоб проверить, как там живет мальчик. Но ему просто отдали его на руки. Больше в этом благородном семействе кроватки для него не было. Сусанна – уже замужняя женщина, уехала в Норвегию, а с ней ушли и все ее любовные причуды. «Вот тебе, паренек, держи; этот ребенок – дело зафьордное, мы с ним возиться не будем», – сказал пастор одним выражением глаз. Но экономка Халльдоура все же успела с черного хода снабдить младенца дополнительными пеленками, маленькой шапочкой, которую сама связала, и молоком в специальной бутылочке, да только попрощалась чересчур поспешно, потому что не хотела плакать при Гесте.

Наш школьник немного постоял на площадке перед домом, смотря в чердачное окошко – и увидел в нем лицо молодой мадамы.

Едва их глаза встретились, она трусливо отвела взгляд и исчезла из этой застекленной картины.

И вот – теперь он сидит здесь и ждет, что будет, ждет, что хозяин выйдет из овчарни. Если Ольгейру не позволят находиться в этом доме, Гест тоже уйдет, в этом он убежден. Но куда? Может, Стейнка из Хуторской хижины приняла бы к себе еще двоих? Она была, по крайней мере, довольна им в качестве работника.

От матери ребенка – семнадцатишальной девушки Моуфрид – до сих пор не было ни слуху ни духу. Она все-таки утопилась в море?

– У него одного глаза нет? – вдруг раздался голос старухи Грандвёр из-за вязальных спиц.

– Да, – ответил Гест. – Его дважды выносили на пустошь, и во второй раз он лишился глаза. А выносить одного и того же ребенка три раза нельзя.

– Почему нельзя? – спросила Хельга.

– Потому что… иначе в рай не попадешь. Потому что тогда он сам будет сидеть на руках у Бога и судить мужчин и женщин.

Копна густых прямых волос колебалась у него перед глазами, пока он говорил; он и сам не ожидал от себя таких уверенных ответов, преувеличений и просто вранья.

– А сам-то ты, по-твоему, в рай попадешь? – спросила в свою очередь девочка.

– Не знаю, – ответил он и посмотрел на сон у себя в объятьях. – А по-твоему?

Но на это она не могла дать отрицательный ответ: для этого она была слишком переполнена любовью к нему, поэтому она просто промолчала и посмотрела на него, встав у прикроватного столба: плечами оперлась на него, руки за спину, ноги вместе и прямые на наклонном полу. Миги молчания дали Гесту возможность как следует рассмотреть ее: пленительно-мягкие щеки, рдеющие губы, ручейково-чистые глаза, а над ними – черные брови. Она уже почти выросла в молодую женщину. Гест был слишком юным, чтоб думать о таких вещах – но его история нашептывала ему, что сейчас эта девочка находится в самом расцвете, а потом на нее навалятся хлопоты в землянке, и постепенно она превратится в такую же жесткую сушеную рыбину, как и ее бабушка Сайбьёрг.

Тут Ольгейр проснулся у него на руках и забеспокоился; Гест забежал с ним в кладовую и влил в него десять глотков молока под строгим взглядом Хельги.

– А бабушка говорит, тебе нельзя молоко брать!

– Забрать молоко или забрать жизнь, вот в чем вопрос, – ответил Гест. Ему хотелось сделать запас молока в бутылочке на случай самого худшего.

Потом вернулась домой вся толпа, с сугробами на плечах и шапках, потому что на улице разыгралась нешуточная метель. Начались новые парламентские слушания по поводу судьбы незаконнорожденного ребенка, и самые длинные речи произносила Сньоулька, мать Хельги. «Она посто таскуха!» Лауси выслушивал эти тирады, словно терпеливый премьер-министр, сидящий возле самой трибуны, и думал сложные мысли, касавшиеся Холодномысских рим, рождения Сньоульки, ноши Геста и девичьей плоти Моуфрид. Его единственным вкладом в дебаты были вот такие строки:

Начало жизни бурлогично,
каким бы ни было рожденье,
прилично или неприлично,
все нет вины в происхожденье.

Как и прежде, Сньоулька захотела, чтоб последнее слово осталось за ней, и в ответ проревела:

– А у его анавó гылáзыка нету!

Когда эти третьи дебаты затянулись уже до самого вечера, их решили отложить, а заседание закончить. Геста с ребенком услали спать в гостевую и выдали ему кадушку с достаточным количеством молока, чтоб не слышать плача и скрежета зубовного. В итоге получился трогательный момент: Лауси пришел к ним с антилавинной веревкой и тщательно обвязал ею двоих своих сыновей: вокруг малыша Ольгейра сделал крошечную петельку, а вокруг Геста – побольше. Затем он ненадолго остановился и стал смотреть на них – ласково, внимательно, словно ему было не суждено их больше увидеть. Затем сказал: «Спокойной ночи, да благословит вас Господь, мальчики», и последняя фраза едва не растрогала его самого: он не привык слагать стихи в честь Отца Небесного.

Зато все остальные ссоры в эту ночь утихли, потому что пришло такое время. Осенний снег – самый опасный, если его навалило слишком много. Вредоносная Впадина в эту осень заполнилась непривычно рано, а этим вечером и ночью в нее добавилось еще. И из-за того, что снежный груз образовался слишком быстро, он не успел как следует сцепиться с прошлогодними сугробами.

В шестом часу утра Впадина изронила небольшую каплю снега – которой оказалось достаточно, чтоб полностью засыпать хутор и поломать кровли. Гест услышал треск досок – и одновременно ощутил, как его сметает прочь с хутора и далеко вниз по склону, а затем очнулся, окруженный темно-белым адским холодом, и не смог пошевелиться. При этом он дышал. Кажется. А может, это и есть рай. Сначала он не понимал, где верх, а где низ, но через несколько мгновений почувствовал, что его лицо и живот, вроде бы, смотрят вниз, а спина и затылок – вверх. А где мальчик? Тут он почувствовал пылающую боль в правом боку и уколы в пояснице, – но также и холод, который погасил это пламя, дав его телу и сознанию общую заморозку. Значит, Бог

наказал его, и сейчас он заморожен в ледяной капле семени этого славного малого, сейчас он за все поплатился. Он попытался пыхтением создать себе побольше пространства, чтоб дышать – и ему это удалось: каждый выдох чуть-чуть растоплял ледяную стену, и вот он уже мог дергать головой. А его одноглазый кроха погиб? Сколько же после этого у него в роду лавин?

– О Эйлив, отче мой на небеси, молю тебя: вызволи меня из мертвой хватки Господа, ледяного семени Бога!

Постепенно ему удалось расширить пространство вокруг головы, а потом и правому плечу стало немного просторнее. Он ощутил слово НАДЕЖДА у себя в груди, в жилах – хотя и сидел здесь: целиком замороженный над фьордом, в горизонтальном положении, в одном исподнем, с вытянутыми руками, словно летящий труп. Но лед все еще был здесь, стальная ледниковая хватка смерти все еще не отпускала его ноги и затылок. А хуже всего был холод, больно кусавший пальцы ног и рук.

Постепенно в глыбе льда под его подбородком образовалась сквозная проталина. Во всяком случае, так ему показалось. Ночная темнота все еще была густой – хотя его глаза уже отличали, где снег, а где пустота. Любопытство придало ему сил, и в результате получасового терпения ему посчастливилось высвободить кисть правой руки настолько, что ей удалось процарапать себе путь к голове. Закоченевшими пальцами он продолжал скрести у себя перед ртом и носом и под ними, пока ему не удалось посмотреть вниз перед собой, и там он увидел, как среди снежного сумрака смутно маячит что-то темное.

Глава 35
Снежная могила

На склоне горы сидел народ, и это была вся Исландия, и сам я отдал ей все, а сейчас она приняла меня в свои объятья – свои студеные объятья, и здесь я окончу свою жизнь. В снежной могиле. И теперь я умру, как мои сестра и мать, как мой отец в бурных волнах, как хуторянин Эйнар в постели, как пастор во время похорон, как кок-датчанин в холодном море, как пророк в тонущей церкви.

Надежда таяла. То темное пятно, которое он, вроде бы, увидел в сугробе перед собой, тотчас пропало. Как только он попытался скрести лучше, ледяная каша застлала ему взор. Он долго лежал, словно скат на дне морском, в ледяной мгле, словно ребенок, принявший кристалльную му́ку.

Но тут начало светать. В сугробе рассвет смутен, но там все, что ни происходит, воспринимается с радостью. Свет сочился внутрь лавины, словно вода в почву.

Сейчас Гест видел чуточку получше, чем прежде, и начал скрести вновь: осторожно, тщательно. И вот он вновь заметил у себя под подбородком темное пятно. Что это? Он разрыл еще лучше, отгреб ледяную кашу, а потом легонько погладил это пятно: оно было необычайно мягким. Это была макушка ребенка! Сейчас он ясно видел, как темные волосы, слипшиеся от сырости, окаймляли маленькую головку. Это он! Ольгейр! И тут на душе у Геста стало как у повитухи, которая увидела макушку ребенка в самый разгар родов.

Мальчика каким-то образом отбросило под него, ведь они лежали в кровати, плотно прижавшись друг к другу, – может, их удержала вместе Лаусина антилавинная веревка? Он жив? У Геста вновь пробудилась надежда, и он стал лучше разгребать вокруг детской головки – осторожно, слабо. Постепенно показался бинт, придерживающий повязку на глазу. Ничего себе – а вот и лоб уже видно! Он собрал всю свою недюжинную силу, и ему удалось так повернуться в тесноте, что под его грудью образовалось пустое пространство. Он разгреб себе еще места локтями и теперь мог лучше видеть, что у него внизу, и рыть вперед, по направлению к мальчику. Там, под глыбой грубозернистого снега, оказалось такое же пространство для дыхания, как то, которое

спасло его самого. Мальчик все еще был румяным, все еще теплым, он дышал! Сквозь Геста пробежала теплая волна, и он пролепетал целую кучу ласковых слов и утешительных фраз, не переставая ворочаться и рыть, – и вот наконец мальчик повернул к нему глаз: это был не глаз Одина, а что-то другое – и большее! Этот взгляд доказывал не только что ребенок жив – но и то, что жив он сам! Что он – не где-то в грезах своего задремавшего «я», а именно здесь и сейчас, он с головой погружен в саму жизнь! Он еще никогда столь явственно это не чувствовал.

Они живы!

Малыш оставался невозмутим и сохранял безучастное выражение лица с дьявольским терпением, отчаянным мужеством.

Гест будил его каждые полчаса, как ему казалось (на самом деле это были, может, от силы пять минут), и смотрел ему в глаз до тех пор, пока мальчик снова не засыпал. Может, ребенок чувствовал себя просто отлично, так запакованный в пеленки? Но в конце концов внутренности начали ныть, ребенок плакал от голода, пока его не одолела усталость. Сам Гест не ослаблял внимания: это маленькое красное личико в белой дыре под ним заставляло его сосредоточиваться и постоянно надеяться на лучшее, он смотрел, как на лбу у Ольгейра зажигается красное пятно, когда тот плачет, и выключается, стоит ему замолкнуть, словно маяк, который указывает полумертвому дорогу прочь из царства смерти. Он думал, что вполне в состоянии пролежать здесь до первой оттепели.

Так прошло семь часов.

Наконец Гест услышал над собой человеческие голоса, а затем – что кто-то скребется. Он несколько раз звал их, но замолкал, как только Ольгейр поднимал плач. Его пугали громкие крики. Гест пытался утешать его из мерзлой дали, разделявшей их, и наконец ребенок затих. Но тогда и звук раскапывания над ними пропал. Целую вечность ничего не происходило, и вот снова послышались звуки – возня в снегу, приглушенная снегом же. В этот раз он решил молчать. И вдруг пламя в его боку кто-то раздул, а потом снова – еще больнее. Кто-то дергал за веревку!

Первое лицо, которое он увидел, было хмурое бесподбородое лицо Магнуса с Верхнего Обвала. А потом позади него стал виден Лауси, дрожащий в исподнем, надевший шерстяные варежки на ноги. К тому

же кто-то накинул ему на плечи грубое пальто, и в итоге хозяин хутора выглядел совсем по-пасторски, не в последнюю очередь потому, что в его правой руке лежала маленькая книжечка. Его облегчение было омыто слезами:

– Мальчик мой, мальчик мой…

По небу ползли низкие тучи, и красок никаких вокруг не было, а воздух был наполнен духом мокро-тяжкого мороза. Фьорд представлял собой одну рябящую черно-белую картинку, хотя басовый тон моря был глубоко-зеленого цвета.

Гест не стал тратить время на изъявления радости, а сразу направил людей к снежной могиле, и вместе они подняли одноглазика наверх, в синеющие вечерние сумерки. Ребенок был явно изможден, но жизнь в нем билась – да еще как! Повязка с него слетела, и был виден покалеченный глаз, напоминающий сугробно-холодную овечью задницу. Третий копатель, очевидно, батрак или гость Магнуса, потный раскрасневшийся громила в шапке-капюшоне, взял Ольгейра на руки и начал нянчить. Чуть выше по склону Гест увидел еще спасателей, двое из них хлопотали вокруг угловатой кучи конечностей, лежавшей в снегу: это была то ли овца, то ли Грандвёр. Ага, а вот и Сньоулька: сидит на снегу, раскинув ноги, словно оглоушенный теленок. А что же стало с остальными?

– Хельга и Бальдюр погибли. И моя Сайбьёрг тоже, – сказал Сигюрлаус, повесив голову. – Нет в этом мире справедливости!

– Хельга? – переспросил Гест и тотчас ощутил, что полюбил ее с первого взгляда, и что с тех самых пор его жизнь была ожиданием великого радостного дня, и что сейчас его единственная любовь умерла.

– Хельга, да, и Бальдюр. Их первыми нашли. А они не привязались. Они… я недосмотрел…

Больше старый плотник не смог сказать ничего. Его голову заполнила видная всем мысль: «Как, черт побери, меня угораздило построить здесь этот хутор и предложить им такую участь?»

– Веревка пришлась кстати, – сказал Магнус, чтоб как-то утешить его. – Это факт.

– А как же сундук с книгами? Ты же говорил, он тоже был привязан к этой веревке? – спросил громила, державший Ольгейра. – Да, надо его отыскать, – сказал Лауси, без особой надежды водя глазами по окрестности.

– А книга, которая у тебя в руках?

– А я ее в портках держал.

У них не было ни сил, ни времени улыбнуться этому, потому что сейчас они очнулись, и Магнус встал на колени у ног Геста и развязал на нем антилавинную петлю. Как только мальчик выпрямился, боль у него в боку вспыхнула с новой силой, а когда он застонал от боли, началось кое-что похуже: легкие наполнились воздухом в сильно поломанной грудной клетке. Он чуть было не сник, но Лауси подхватил его и не дал упасть. Гест склонил голову, выплюнул слюну, а затем поднял подбородок, посмотрел на фьорд и на Косу своими дважды рожденными, две лавины видавшими, глазами под снежно-мокрым шлемом волос, и ему показалось, что жизнь еще никогда не бывала так прекрасна. Норвежский причал дрожал у него перед глазами.

---

notes

Примечания

1

Это имя означает «Вечный». *(Здесь и далее примечания переводчика. Более подробные комментарии приведены в конце книги.)*

2

Так по традиции называется 23 декабря. Изначально это был день гибели епископа Торлаука Тоурхатльссона (1133–1193), канонизированного католической церковью; после Реформации день памяти этого католического святого не забылся благодаря своей близости к Рождеству и стал осмысляться в первую очередь как день последних предрождественских приготовлений.

3

В старинных постройках на исландских хуторах стены складывались из дерна и камней, деревянным были только фасад и детали внутреннего убранства. (Так как своего строевого леса на острове не было, полностью деревянные дома были доступны только состоятельным людям.) Крыша была земляная, и на ней росла трава. Обычно в крыше располагалось окно (оно могло быть единственным). Такие домики были тесными и низкими (боковые стены фактически были скатами крыши). Внутри землянки по обеим сторонам вдоль боковых стен стояли кровати, на которых хуторяне сидели, когда ели или занимались рукоделием. Кухня, хлев, кладовая и другие постройки, необходимые на хуторе, размещались в таких же землянках, которые лепились друг к другу; обычно между жилой землянкой и землянкой-хлевом был коридор, в который вела входная дверь. В жилом помещении на таком хуторе могло не быть отопления (особенно если речь шла о жилище бедняков).

4

«Черт раздери мои брамсели!» *(датск.)*

5

Имеется в виду кровяная колбаса.

6

Старинное деление Исландии по географически-административному принципу – деление на Четверти страны.

7

Бреннивин – крепкий (37,5 %) исландский алкогольный напиток, выгоняемый из картофеля, часто приправленный тмином.

8

Городок в Дании.

9

Исландский молочный продукт, по консистенции и вкусу напоминающий нечто среднее между творогом и несладким йогуртом.

10

Человек не хуже людей *(датск.).* Калька с исландского “Maðurinn með mönnum”, значение которой и есть: «не хуже других».

11

Торговая монополия была введена в североатлантических владениях Датского королевства – в Исландии и на Фарерских островах (в Исландии с начала XVII по конец XVIII в., на Фарерских островах – до середины XIX в.). Она подразумевала торговлю местных жителей исключительно с датскими купцами; торговля с иностранными судами строго каралась. Отсутствие конкуренции часто приводило к тому, что датские торговцы позволяли себе продавать местным жителям некачественные товары втридорога. Оплата датских товаров обычно производилась не деньгами, а вязаными изделиями или продуктами рыболовного промысла.

12

Область, округ *(датск.)*.

13

– Да, девяносто девять форелей! *(датск.)*

14

Сислюманн – представитель высшей налоговой, судебной и административной власти в сисле (единица административного деления страны, существовавшая в Исландии до XX века).

15

Бадстова – жилая комната в землянке на традиционном исландском хуторе.

16

Традиционная исландская обувь – цельнокройные башмаки из кожи (обычно овечьей, но иногда и из кожи других животных и рыб). Такая обувь изготовлялась самими хуторянами, была непрочной и пропускала влагу.

17

Стихотворение в традиционной исландской поэтической манере с обязательной рифмой и аллитерацией.

18

Хрепп – наименьшая территориальная единица в старинном административном делении Исландии.

19

Йоун Арасон (1484–1550) – последний католический епископ Исландии, обезглавленный в эпоху Реформации.

20

Йоун Сигюрдссон (1811–1879) – лидер движения за независимость Исландии от Датского королевства в XIX веке, одна из крупнейших фигур в истории Исландии.

21

Снорри Стурлусон (1179–1241) – великий древнеисландский литературный и политический деятель. Справедливо ли утверждение автора в его отношении, сказать трудно, т. к. о внешности Снорри сведений не сохранилось.

22

Хатльгрим Пьетюрссон (1614–1674) – крупнейший исландский поэт XVII века, пастор и автор псалмов.

23

Персонаж «Саги о Ньяле», жена Гуннара из Хлидаренди, своим поведением спровоцировавшая развитие конфликта, в т. ч. гибель Гуннара. Один из вариантов значения ее прозвища – «Длинноволосая». Отношение исландцев к этой героине действительно много веков было резко отрицательным.

24

Это название (как и все место действия романа) вымышлено – но недвусмысленно отсылает к североисландскому городку Сиглюфьорду (Siglufjörđur), с которым у места действия романа совпадает географическое положение и основные события в истории рыболовного промысла.

25

Fy faen! – Тьфу ты, черт! *(норв.)*

26

В лютеранских церквях скандинавских стран тексты псалмов и гимнов идут в псалмовниках под номерами, и номера псалмов, предназначенных для исполнения хором во время того или иного богослужения, выставляются на стене перед скамьями прихожан.

27

«Нет, что за черт» *(норв.)*.

28

Аллюзия на начало «Саги о Гисли», в котором отец заглавного героя, находясь в доме, подожженном его недругами, укрывается от огня в бочонке с кисломолочным продуктом.

29

Псалом авторства Хатльгрима Пьетюрссона, который в Исландии обычно исполняется на похоронах.

30

В сельской Исландии минувших веков осиротевший ребенок обычно помещался на какой-нибудь хутор, и местная сельская община платила хозяевам этого хутора за его содержание; при выборе хутора предпочтение отдавалось тем хозяевам, которые соглашались приютить сироту за наиболее скромную сумму (часто выбор по этому критерию происходил в ущерб всем другим необходимым условиям жизни). Находиться на иждивении сельской общины считалось позором.

31

В старинном исландском календаре – четвертый месяц зимы, длящийся с конца января до середины февраля, самый суровый зимний месяц.

32

– Земля обетованная – не просто обещание! *(англ.)*

33

Отсылка к поэмам великого древнеисландского скальда Эгиля Скаллагримссона.

34

Имеются в виду «Страстные псалмы» Хатльгрима Пьетюрссона.

35

Исландский термин «lausamaður» – человек, не связанный узами батрачества ни с одним крупным хутором, возможно, бродяга. В годы действия романа подобный социальный статус, строго говоря, был вне закона.

36

Морской бог древнескандинавской мифологии.

37

Старинная датская монета.

38

Тун – на исландских хуторах сенокосный луг перед жилым домом или вокруг него.

39

В описываемое время Исландия входила в состав Королевства Дании, и датский был там языком высших сословий, торговцев и чиновников (среди которых действительно преобладали датчане). В исландских семьях, близких к этим кругам, было заведено по воскресеньям говорить по-датски.

40

Большинство исландских переселенцев в Америку было бедняками, находящимися на попечении сельских общин. (Некоторых из них эти общины отправляли на новые земли, стремясь избавиться от нахлебников.)

41

– На этом корабле преступник! *(искаж. англ.)*

42

Эйрир – исландская мелкая монета (вышла из употребления в конце XX века); сто эйриров составляют одну крону.

43

Аллюзия на Гуннара из Хлидаренди, персонажа «Саги о Ньяле», который вошел в обыденное сознание исландцев как непобедимый герой и бесстрашный боец. Гуннар владел видами оружия, редкими в Исландии: луком и алебардой.

44

Намек на значение имени Эйлив.

45

Датой крещения Исландии считается 1000 год.

46

Боулю-Хьяульмар (Хьяульмар Йоунссон, 1796–1875) и Лаутра-Бьёрг (Бьёрг Эйнарсдоттир, 1716–1784) – талантливые поэты, сатирическим и хулительным стихам которых современники приписывали магическую силу. Солон Исландус (Сёльви Хельгасон, 1820–1895) – художник и философ. Все трое провели существенную часть жизни в нищете и скитаниях по сельской местности и еще при жизни стали персонажами исландского фольклора, а впоследствии к их биографиям обращались писатели. (В частности, Сёльви Хельгасон наиболее известен по роману Давида Стефаунссона «Солон Исландус».)

47

«Король Кристиан стоял у высокой мачты!» *(датск.)* – патриотическая песня на стихи датского поэта Йоханесса Эвальда (1743–1781), гимн Королевского дома Дании.

48

Аллюзия на «Торговое товарищество «Грауна» – североисландское торговое объединение XIX века, но также и на современную исландскую сеть супермаркетов «Крона».

49

Ущелье на Полях Тинга, окруженное высокими скалами. В эпоху народовластия там проводились народные собрания; в наши дни это туристская достопримечательность.

50

Бильдюдаль – долина и поселок на Западных фьордах.

51

Намек на значение имени Гест, которое переводится как «гость».

52

В окошки землянок, при отсутствии стекол, обычно вставлялись околоплодные оболочки ягнят.

53

Выкинутые морем бревна считались богатством в Исландии минувших веков, испытывавшей недостаток строевой древесины.

54

Альвы, или «скрытые жители», – существа из традиционного исландского фольклора: они обладают красивой внешностью и магическими способностями, всегда живут в достатке; жилищами им служат холмы и валуны. Альвы показываются далеко не каждому человеку, и увидеть, что тот или иной камень на самом деле является их хутором, обычно под силу только ясновидцам.

55

Деревянный сосуд с крышкой для еды.

56

Т. е. с конца апреля.

57

Вид сдобы, который обычно подается к кофе, продолговатой формы, вкусом и способом приготовления напоминающий пончики.

58

Вымышленная цитата.

59

Уменьшительное от имени Магнус.

60

Лк. 20:28–30.

61

«Поэт, которого поцеловало солнце» – устоявшийся перифраз для поэта Гвюдмюна Бёдварссона (1904–1974), первая книга которого называлась «Поцелуй меня, солнце» (1936).

62

Исландский вариант названия острова Гернси.

63

Т. е. Сын солнечного света.

64

Рёгнвальд пересказывает одну из знаменитейших исландских народных историй о призраках и исполняет народную песню, входящую в нее. (Более краткая и более распространенная версия записана в XIX веке крупным исландским фольклористом Йоуном Ауртнасоном. Перевод на русский язык см.: http://norroen.info/src/tales/draug/kvikvi/ru.html.) Практика вынесения «нежелательных» младенцев в горы на погибель существовала в Исландии не одно столетие; часто к ней были вынуждены прибегать батрачки, прижившие ребенка от хозяина. Призраки таких младенцев назывались утбурдами (*букв.* «вынесенными»); считалось, что они могут являться своей матери с упреками или угрозами; по ночам они воют на горных пустошах.

65

Римы – распространенный в исландской сельской устной культуре жанр поэзии, восходящей к поэзии скальдов, обычно – длинные тексты повествовательного характера, исполнявшиеся речитативом в особой манере. В римы часто перелагались прозаические тексты: от саг и библейских сюжетов до биографий выдающихся современников. (Наиболее известное произведение Хатльгрима Пьетюрссона «Страстные псалмы» вобрало в себя много черт этого жанра.)

66

Вымышленная цитата.

67

Рыбная, или подводная, банка – мель в океане, где водится много промысловой рыбы. Здесь имеется в виду место между Гренландией и Северной Исландией; название было дано в честь немецкого биолога Антона Дорна (1840–1909).

68

Искаж. франц.: L´homme du mer – люди моря.

69

Сигюрд (Эйрикссон) Брейдфьорд (1798–1846) – исландский поэт, прославившийся сочинением рим.

70

Имя и адрес героини написаны по-датски.

71

Начало «Прорицания Вёльвы» цитируется в переводе А. И. Корсуна.

72

В имени «Сай-бьёрг» первый компонент обозначает «море», второй – «спасение».

73

Грим Томсен (Grímur Thomsen, 1820–1896) – известный исландский поэт эпохи романтизма. Он долго работал на датской государственной службе, занимался литературоведческими штудиями. Вдохновение для собственных стихов часто черпал в древнескандинавской словесности. Его перу принадлежит, в частности, текст “Á Sprengisandi” (“Ríđum, ríđum…”), ставший одной из самых знаменитых исландских песен.

74

Свейнбьёртн Эйильссон (Sveinbjörn Egilsson, 1791–1852) – богослов, переводчик, поэт. Наиболее известны его переводы на исландский язык «Илиады» и «Одиссеи» (эддическими размерами) и переводы на латынь саг и «Эдды» Снорри Стурлусона с комментариями. Также он – автор словаря языка древнеисландских скальдов, ставшего надежным подспорьем для всех будущих поколений исследователей древнеисландской поэзии.

75

В лютеранской Исландии конца XIX века, разумеется, уже не было настоящих постов; это слово удержалось в традиционном календаре как название предрождественских недель.

76

На старинных исландских хуторах, ввиду их тесноты, обычно спали по двое на одной кровати.

77

Месяц старинного исландского календаря, следующий за торри и длящийся с двадцатых чисел февраля до двадцатых чисел марта.

78

Все эти птицы прилетают в Исландию по весне.

79

Кеннинг – метафорическое обозначение субъекта или предмета в древнеисландской скальдической поэзии. Из древнеисландской поэзии искусство применения кеннингов перешло в исландскую народную авторскую поэзию Нового времени (в т. ч. римы).

80

У овец исландской породы рога растут у представителей обоего пола; иногда помимо основной пары рогов встречается также и дополнительная. Четырехрогость считается красивой.

81

Имя матери Вигдис и название фьорда, откуда она родом, оба связаны с орлами.

82

Годи – в древней Исландии жрец, имевший одновременно религиозную и административную власть в своем округе.

83

Морской великан в древнескандинавской мифологии, варивший в огромном котле пиво для пиршеств богов.

84

«Да, он силен, силен, как Греттир Сильный! Хо-хо!» *(норв.)* Греттир – главный герой древнеисландской саги.

85

Фарерский язык близкородственен исландскому, но значительно отличается от него произношением.

86

От *норв.* sprĺk – «язык».

87

Регион на северо-западе Исландии, к востоку от Западных фьордов.

88

Milda означает «мягкая, милосердная».

89

От *норв.* flink – способный, талантливый, успешный.

90

От *норв.* drift – инициативность, djevels – чертов, storartig – невероятный, грандиозный.

91

Крылатая цитата из «Речей Высокого» из «Старшей Эдды».

92

Хвостоеды! *(норв.)*

93

Выдерживание в кислой сыворотке – традиционный в Исландии способ консервации мясных продуктов.

94

Норв. lensmann – название полицейского чина в сельской местности в Норвегии (а также Швеции). Не является прямым соответствием исландской должности хреппоправителя.

95

Имя Хавстейнн означает «морской камень».

96

«У каждой вещи есть история! А у этого морского камня очень хорошая история!» *(норв.)*

97

«Только подумайте об этом!» *(норв.)*

98

Исландский фразеологизм, имеющий значение: «Продолжаем!» (восходящий к сбиванию масла вручную). Персонаж буквально переводит его на норвежский язык.

99

Датская колония *(норв.)*.

100

Краеугольный камень нового Сегюльфьорда *(норв.)*.

101

Китовая моча *(норв.)*.

102

«Я буду в руках Господа, / когда заря забрезжит на западе…» *(норв.)*

103

Вымышленная пословица.

104

«Нет, черт возьми! Я упустил церковь в море!» *(норв.)*

105

«Это не я! Это все мое ужасное похмелье» *(норв.)*.

106

Богиня, нимфа.

107

– Ох, Господи, как же красиво *(датск.)*.

108

Имеется в виду фраза Гуннара из Гл. 75 «Саги о Ньяле»: «Красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда не видел: желтые поля и скошенные луга. Я вернусь домой и никуда не поеду». Решение остаться оказалось гибельным для этого героя. (Слово, которое в современном исландском языке означает «розовый», в древнем означало «бледный», «желтый, палевый», так что Стейнка не так уж сильно заблуждается.)

109

Хейди – высокогорная пустошь.

110

Добрый день! *(норв.)*

111

Аллюзия на известный сюжет из «Книги о занятии земли»: перед высадкой на новой земле Ингольв Арнасон, который считается первым поселенцем в Исландии, выбросил за борт столбы от своего почетного сиденья, чтоб поселиться там, где их прибьет к берегу.

112

Так персонажи прозвали город Виго на северо-западе Испании.

113

Норв. – «супруга».

114

Аллюзия на Лейва Эйрикссона Счастливого, который, согласно древнеисландской саге о нем, доплыл до атлантического побережья современной Канады – края, которому он дал имя «Винланд» – и обосновался там с семьей.

115

«Да?» *(норв.)*

116

Жители Сегюльфьорда путают исторические события. Исландия была заселена в период правления норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого, и переселенцы действительно бежали в Северную Атлантику от его «произвола». Официальной датой заселения Исландии считается 874 год. Крещение Исландии датируется 999 или 1000 годом, и это событие обошлось не без влияния норвежского конунга Олава Трюггвасона (963–1000), развившего активную миссионерскую деятельность в Норвегии и в Северной Атлантике. Олав Святой правил Норвегией уже позже (годы правления – 1015–1028).

117

Норв. Stabilitet – «стабильность».

118

Т. е. Ставангер.

119

Отсылка к Гуннару с Конца склона (Гуннару из Хлидаренди) – одному из основных персонажей «Саги о Ньяле», который в исландском народном сознании является эталоном великого героя.

120

«Хо-хо! Боже мой!» *(норв.)*

121

– Как же это грандиозно! *(норв.)*

122

«Ах, боже, как же она красива!» *(норв.)*

123

Аллюзия на исландскую народную сказку, в которой братья-дураки пытались носить солнечный свет в темное помещение.

124

Это имя означает «милая, любимая, приятная».

125

– Соль! Нам нужна соль! *(норв.)*

126

Девушки *(норв.)*.

127

Исландское произношение названия фарерского города Клаксвуйк.

128

«Со мной он об этом не говорит, нет!» *(датск.)*

129

В описываемую эпоху батракам, не имеющим собственного имущества, запрещалось вступление в законный брак.

130

Бондарные инструменты: топорик для заколачивания бочек и особое деревянное долото для набивки обручей.

131

«Нет, нет!» *(норв.)*

132

– Да-а, точно! *(норв.)*

133

«Перевод» отчества Геста на датский язык. Evighed – вечность *(датск.)*.

134

«Мастер бочек» *(искаж. датск.* или *норв.)*.

135

«Да, мы любим эту землю!» *(норв.)* – гимн Норвегии.

136

Пять крон! *(норв.)*

137

Уменьшительное от имени Хюгльюва.

138

«Пять крон» и «Десять крон» из «Банка Норвегии» *(норв.)*.

139

Слово «Прест» (Prćst) означает по-датски «пастор».

140

Перифраз сельди.

141

Безопасных булавок (смесь *датск.* и *исланд.*).

142

Цитата из народного стишка, в котором речь идет о человеке, венчающемся в дождливую погоду.

143

Леденцовый сахар.

Table of Contents

Хатльгрим Хельгасон Шестьдесят килограммов солнечного света
Книга 1 Из сугроба ты вышел
- Глава 1 Адам на ледяной пустоши
- Глава 2 3 кг пшеничной муки
- Глава 3 Киоск с окошком
- Глава 4 99 форелей
- Глава 5 Ромул в снежной обители
- Глава 6 Трое с чайными ложками
- Глава 7 Пение двух душ
- Глава 8 Какие в той местности были волосы
- Глава 9 Магнит
- Глава 10 Ледяная лава
- Глава 11 К северу от солнца и от Рождества
- Глава 12 Падение пастора
- Глава 13 Мадама
- Глава 14 В одной связке
- Глава 15 Mr. Eternal
- Глава 16 Ночные картины
- Глава 17 Двое на одном камне
- Глава18 Завтрашняя туманность
- Глава 19 Беглец
- Глава 20 Веселая компания акулоловов
- Глава 21 Сосед по комнате
- Глава 22 Простой человек из народа
- Глава 23 Взыскание долга
- Глава 24 Акулье сердце
- Глава 25 Дверная ручка
- Глава 26 Пережидая шторм
- Глава 27 Кофа!
- Глава 28 Шнурки

Книга 2 В скитании и с китами
- Глава 1 Сын троих отцов
- Глава 2 Пастор Ауртни
- Глава 3 Ось фьорда и новый год природы

Глава 4 Мочебдение
Глава 5 Светлопечальные летние ночи
Глава 6 Крепкая хватка страны
Глава 7 В хуторской хижине
Глава 8 Думы под стеной дома-холма
Глава 9 Угли в углу
Глава 10 Недели недоли
Глава 11 Бдение в хижине
Глава 12 Летнее солнышко
Глава 13 Ночной разговор
Глава 14 Заполонили берег
Глава 15 Мальчик-мореход под одеялом
Глава 16 Экономка
Глава 17 Новости на двух этажах
Глава 18 Первый носок
Глава 19 Грандвёр
Глава 20 Стихомания
Глава 21 Зимний гест
Глава 22 Ягнята и айсберги
Глава 23 Подруги с западных фьордов
Глава 24 «Это же Вигдис!»
Глава 25 Полное ведро слез
Глава 26 Подбородочница и борода
Глава 27 «Норвеголи́з»
Глава 28 Сын торговца
Глава 29 Halespisere![92]
Глава 30 Августовский вечер на китовом кладбище
Глава 31 Морекамень
Глава 32 Чужой шторм
Глава 33 Ураганные истории
Глава 34 Вихрь с юга
Глава 35 Выуживают церковь
Глава 36 Один народ, две страны
Глава 37 Когда церковь исчезла
Глава 38 Золотое вино
Глава 39 Любовь и искусство
Глава 40 Любование цветком

Глава 41 Земляночник
Глава 42 Красота, нищета
Глава 43 Болтовня на подушке под вечер
Глава 44 Чтение в овчарне
Книга 3 Утро на Марсе
Глава 1 God dag![110]
Глава 2 Дым в гостиной
Глава 3 Плата за пользование
Глава 4 Плотники-боги
Глава 5 Серьезные споры и крупный кусок
Глава 6 Космический путешественник
Глава 7 Звездный час
Глава 8 Жена пастора
Глава 9 Все равно, что сквозь войлок кричать…
Глава 10 Первый день засолки
Глава 11 Рыбья слизь и хло́пок
Глава 12 Женщина вверх ногами
Глава 13 Хюгльюва
Глава 14 Голова и хвост
Глава 15 Убогий
Глава 16 Ночь выплат
Глава 17 Золото по́та
Глава 18 Батрачка приходит к себе на хутор поздней ночью
Глава 19 Плюх!
Глава 20 Стартовый выстрел
Глава 22 Несчастье рано поутру
Глава 22 Грудь с молоком на утреннем солнышке
Глава 23 Тринадцать овечек и шхуна
Глава 24 «Вылаусок»
Глава 25 Сосание вымени
Глава 26 Молодой парень с младенцем
Глава 27 Врач, женщина, слезы, селедка
Глава 28 Ребенок-спаситель
Глава 29 Июль, август
Глава 30 Церемонии
Глава 31 Длительность горя
Глава 32 Сейчас они видят…

Глава 33 Народ на склоне горы
Глава 34 Белый конец
Глава 35 Снежная могила
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143